Ираклий Андроников

1

Ираклий Андроников

1

Ираклий Андроников

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Ираклий Андроников

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

●

ТОМ ПЕРВЫЙ

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Р 2
А66

Предисловие
М. Шагинян

Оформление художника
Н. Крылова

Андроников И. Л.

А 66 Собрание сочинений. В 3-х т.— М.: Худож. лит., 1980.—

Т. 1. /Предисл. Мариэтты Шагинян. 1980. 496 с.

В том входят произведения, названные автором «Рассказы литературоведа»,— о поисках, открытиях, об увлекательных исследованиях («Загадка Н. Ф. И.», «Портрет», «Сокровища замка Хохберг» и др.).

А $\frac{70302\text{-}252}{028(01)\text{-}80}$ подписное 4702010200 **Р 2**

Слово Андроникова

Писатель Ираклий Луарсабович Андроников начинал «устно». Всем памятны его замечательные выступления в больших залах Москвы и Ленинграда. Его удивительные устные образы писателей, называвшиеся иногда пародиями, хотя правильнее было бы сказать — перевоплощения в характеры изображаемых им лиц. Его чудесные рассказы — юмористические, биографические, историко-литературные, историко-музыкальные.

Но слово Андроникова не было только произнесенным словом — в его рождении участвовал весь человек: его жесты, мимика, интонация — глубокое выражение мыслей и чувств.

Когда мы слушали Ираклия Андроникова на сцене, мы видели перед собой всего человека, создавшего себя как объект искусства.

Он не был ни профессиональным чтецом, ни артистом, ни исполнителем чужих текстов. Может быть, потому, что во всех его выступлениях: в великолепных портретах, в замечательных рассказах-показах на голубом экране, в воспоминаниях о Большом зале дорогой нам Ленинградской филармонии, получившей имя Дмитрия Шостаковича,— мы чувствуем Ираклия Андроникова прежде всего как устного творца-писателя; и слово его не только слышится, но и как бы пишется перед нами в сокращении мускулов его лица, в движении щедрых губ, в жестах ладоней и пальцев, в остроте и всегда улыбчивой доброте (или доброй улыбчивости) его взгляда.

Именно эти творческие особенности Андроникова отразились во всей их полноте в лежащих перед нами трех томах его прозы. Такие черты его творчества придают особую привлекательность прозе, независимо ни от сюжетности, ни от ее тематики, способных и сами по себе увлечь читателя.

Но чтение произведений Андроникова не только увлекательно. Оно имеет очень большое познавательное значение.

Мир, охваченный его пером, широк и многообразен. Он пишет о музыковеде Соллертинском, об искусстве Шаляпина и Улановой, об актерах Сальвини, Остужеве, о нижегородском фотографе Дмитриеве... Начиная с историко-литературных эскизов и до глубоких исследований творчества Лермонтова и Пушкина, от литературных архивов и до музыки Арама Хачатуряна им всегда сказано нечто новое, захватывающее читателя,— от этих страниц вам трудно оторваться, и они остаются в вашей памяти.

Я ничего более точного о музыке к «Маскараду» Арама Хачатуряна, чем несколько страниц Ираклия Андроникова, не читала в музыковедческой литературе. Слово его само звучит со страниц книги как музыка, словно это не написал, а произнес сам автор.

В своих работах Андроников не раз касается важной для его творчества темы — разницы сказанного и написанного слова, того, что мы называем (и это в нашу эпоху играет в общественной жизни советских людей огромную роль) «ораторским искусством», хотя слово «ораторское» несколько занижает и формализует великое пропагандистское воздействие устного слова. В статьях «Что же такое искусство Яхонтова?», «О новом жанре», «Слово написанное и слово сказанное» и во многих других Андроников делится с читателем мыслями и об особом виде искусства слова. Он пишет, например, что если заранее заучить свою устную речь, то она будет бездейственна в прямом своем назначении, потому что оратор в это время работает за счет памяти (вспоминает, как у него написано), а не за счет творческой мысли, рождающейся у него импровизационно: «...писать — это не значит «говорить при помощи бумаги». А говорить — не то же самое, что произносить вслух написанное. Это процессы, глубоко различные между собой».

В Собрании сочинений Ираклия Андроникова читатель найдет во множестве интереснейших деталей все то, о чем я говорю тут обобщенно.

Неповторимое своеобразие творческой манеры Андроникова сказывается на всех жанрах литературы, в которых он работает, от рассказов-перевоплощений до его докторской диссертации о Лермонтове.

В этом смысле Ираклий Андроников — явление уникальное. И читателя ждет много радостей от чтения его прозы, звучащей, как живая устная речь.

7 мая 1979 года *Мариэтта Шагинян*

Оглядываюсь назад

Так с давних пор повелось, что писатель сначала пишет рассказы, а уж читает потом. У меня получилось иначе: сперва я читаю, а уж потом берусь за перо. Чтобы уяснить это, наверно, надо начать с того, что именно привело меня к рассказыванию. А для этого следует обратиться к семейной истории. Превосходными рассказчиками были братья моей бабки с материнской стороны — Ильины. В доме бабки и деда — известного петербургского историка и педагога Я. Г. Гуревича бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, поэты А. Н. Плещеев, Я. П. Полонский, П. И. Вейнберг, судебный деятель и красноречивый оратор А. Ф. Кони и, что особенно важно для меня — Иван Федорович Горбунов, знаменитый автор «устных рассказов», исполнявший их с искусством неподражаемым. Отзвуки вечеров с Горбуновым я слышал с тех пор, как стал себя помнить.

Мой отец Луарсаб Николаевич Андроникашвили, или, как писалось в ту пору, Андроников, родился в Грузии, в небольшом кахетинском селении Ожио близ Телави, в доме скромного капитана, потерявшего на войне зрение. По окончании тифлисской гимназии отец отправился в Петербург и выбрал юридический факультет, а потом продолжил образование за границей. Приобретя обширные философские и юридические познания, он вернулся в Россию и, вступив в петербургскую адвокатуру, участвовал в крупнейших политических процессах. Назову такие, как дело батумской рабочей демонстрации 1902 года, дело Совета рабочих депутатов, дело матросов Черноморского флота,

дело участников ростовского вооруженного восстания 1906 года, дело «гагринской республики». Он считался выдающимся судебным оратором. И грех мне не вспомнить здесь, что он был увлекательнейшим рассказчиком. Вот теперь, кажется, очередь дошла до меня.

Я родился в Петербурге в 1908 году и в девять лет был свидетелем Октябрьской революции — тех событий, которые происходили на нашей Знаменской улице, названной потом улицею Восстания.

В 1918 году отец получил приглашение читать курс истории философии в Тульском педагогическом институте, куда и переехал, а нас — семью — поселил в деревне, под Тулой. Там мы прожили безвыездно около трех лет. Отсюда пошло у меня знакомство с народной образной речью и «вкус к языку».

Потом мы недолго жили в Москве, а осенью 1921 года переселились в Тифлис.

В Тифлисе я учился и кончил школу, узнал, что такое театр и музыка, познакомился с нотною грамотой, много читал, последовательно проходя через увлечения Лермонтовым, Пушкиным, Гоголем, Руставели, Шекспиром, Толстым, драматургией Горького, Чеховым, Тютчевым. Только в ту пору еще не знал, кто станет для меня главным. Но самое важное было то, что я узнал и полюбил Грузию, ее природу, ее историю и поэзию, ее песни, обычаи — все то высокое, что соединяло и соединяет две великих культуры.

Дом наш был всегда полон — писатели, режиссеры, актеры, художники, музыканты, юристы, ученые; кто только не бывал здесь — Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Котэ Марджанишвили, Сандро Ахметели, приезжие из Москвы и из Ленинграда... Разумеется, в этой среде моя природная склонность к литературе, искусству, к наукам гуманитарным получала подтверждение и крепла. С окончанием школы решено было, что я поеду держать экзамены в Ленинградский университет. Летом 1925 года я отправился в Ленинград и поселился у родных матери.

В их квартире жил историк и теоретик литературы Борис Михайлович Эйхенбаум, находившийся в те годы в зените. Наша семья была знакома с ним издавна. С первых же дней я попал в круг талантливых ученых и литераторов и, принятый на историко-филологический факультет уни-

верситета, поступил еще и на словесное отделение Института истории искусств.

Историю и теорию литературы, стилистику, историю русского языка я проходил одновременно в двух вузах у Б. М. Эйхенбаума, у В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, Г. А. Гуковского, В. В. Виноградова, занимался в семинаре замечательного лингвиста Л. В. Щербы, на других отделениях слушал историков А. Е. Преснякова, С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле, языковеда Н. Я. Марра, но старался выбирать тех, кто отличался красноречием, умел увлекать аудиторию и даже, как, например, Тарле, полностью покорять ее.

Ходил на физико-математический факультет — слушал блестящего лектора профессора физики О. Д. Хвольсона. Впоследствии в филармонии восхищался красноречием Ивана Ивановича Соллертинского.

К этому времени относится мое знакомство с Юрием Николаевичем Тыняновым, перешедшее потом в дружеские отношения учителя и ученика. А началось с того, что я добывал для него справки в Публичной библиотеке, а он читал мне страницы новых своих исследований и «посвящал» меня в пушкинскую эпоху. Сам он не только тонко ее ощущал: он жил в ее атмосфере и как бы играл ее и в романах и в жизни. Рассказывая, изображал Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера, генерала Ермолова. Уважительно. И слегка. Намеком. Современников же своих — очень похоже, остро, смешно. Гротескно.

Однажды в кабинете Бориса Михайловича Эйхенбаума я с трепетом слушал самого Маяковского. Не из двадцатого ряда зала Капеллы, а на расстоянии руки.

С 1926 года литературные мои интересы стала затмевать любовь к музыке. Я начал ходить на все симфонические концерты и по запискам посещал классы консерватории, дома занимался теорией и историей музыки. Но практическую мою деятельность определил университетский диплом — литература.

В 1930 году один из самых серьезных, веселых и добрых людей — Евгений Львович Шварц, в ту пору начинавший драматург, устроил меня секретарем в редакцию журналов «Еж» и «Чиж». Если юмор шлифуют и «ставят» подобно голосу, то здесь была отличная школа. Я в ту пору ничего не писал, а только присматривался, как рождались толковые и полезные, а порой и высоко поэтические книги,

и считаю себя многим обязанным этому опыту. Но я мог при этом сказать словами М. И. Глинки: «Музыка — душа моя!» По протекции Ивана Ивановича Соллертинского я поступил лектором в Ленинградскую филармонию. Что из этого вышло, знает каждый, кто слышал мой расказ «Первый раз на эстраде». Как лектор я оказался труслив, скован, косноязычен.

Пришлось поклониться музыкальной редакции Радио. Потом взяли в Публичную библиотеку — стал библиографом. Наконец, И. С. Зильберштейн пригласил меня на должность ленинградского представителя «Литературного наследства» (редакция находилась в Москве). Эта работа принесла мне обширные связи с миром писателей, литературоведов, историков, научила меня сложным архивным и библиографическим поискам, оснастила техникой литературоведческого труда. К тому же времени относится начало моей усердной работы в помощь учителю моему Борису Михайловичу Эйхенбауму. Собирание справок и фактов для комментариев к сочинениям Лермонтова возбудило во мне желание и самому открыть нечто новое. Ленинградский Пушкинский дом Академии наук СССР с его архивом, музеем, библиотекою стал для меня родным домом.

Очень скоро мое увлечение поэзией Лермонтова приобрело характер неугасимого азарта и страсти. Мне помогало в работе знание «географии Лермонтова»,— Петербург, Москва, Кавказ были знакомы мне с детства. Я видел Лермонтова «вписанным» в реальную жизнь, на стихи наплывали улицы, степи, горы, ущелья, реки. Да и сейчас конкретно-образное представление — где? как? и когда? — отлично помогает в работе.

Разнообразие занятий и увлечений меня не смущало, хотя, кроме Лермонтова и музыки, была еще одна страсть — страсть «изображать» и рассказывать. Никто меня этому не учил — я делал это по неисповедимой потребности перевоплощаться, становиться другим человеком, мыслить и говорить за него, воспроизводить в образе то, что он говорил, и то, чего даже не говорил, но мог бы сказать. И при этом импровизировал так, чтобы моим героям трудно было опровергнуть эти изображения. Чтобы, опровергая, они становились бы еще более похожими на мои рассказы о них.

Когда это началось? Кажется, в детстве. Во всяком случае, в школе я уже изображал певцов, дирижеров, оркестр,

актеров, учителей, знакомых, особенно знакомых старух. И делал это, как говорили, похоже. Кроме того, любил пересказывать прочитанные книги, драматические и оперные спектакли. Но тут дело осложнялось тем, что рассказывать я не умел,— говорил несвязно, сбивчиво, бестолково и при этом первый смеялся. Мне посчастливилось: классы первой ступени я проходил в те годы, когда школа искала новые формы работы и классная наставница,— звали ее Верою Генриховною Берг,— учеников, выражавших желание рассказать что-нибудь «от себя», всячески поощряла. Но при этом постоянно нас останавливала. То задаст наводящий вопрос, то сама перескажет скомканное. Меня она научила слушать, что я рассказываю, как бы со стороны. Мешала мне больше всего патологическая застенчивость, которая странным образом уживалась с беспечностью и безудержным стремлением смешить, лицедействовать, причем — как только я скрывался за образом — скованность начисто исчезала. А начну от себя рассказывать — дрожу! Но я жил и воспитывался в Грузии — самой красноречивой стране! Импровизаторы, рассказчики, собеседники! Тут было у кого поучиться.

Коридор Ленинградского университета стал для меня и аудиторией и лабораторией, где я под свежим впечатлением мог подолгу импровизировать в образе того профессора, лекцию которого только что слушал. Вокруг собиралось обычно от двух до десяти человек. Если больше — я замолкал: много!

Это была пора всеобщего увлечения жанром художественного чтения, искусством Яхонтова, Закушняка. Проза произнесенная, интерпретированная, воплощенная в интонациях, удостоверенная личностью живого рассказчика, ставшая театром в одном лице; стих Маяковского, воплотивший его разговорные интонации, с беспредельной свободой исполнявшийся им самим,— все это сообщало необыкновенную выразительность печатному слову. Великая революция в стране, где было мало бумаги и миллионы неграмотных, вызвала к жизни новую форму искусства, уже подготовленную расцветом русского психологического театра. Слово писателя, сказанное с эстрады, обращалось уже не к отдельным читателям, а к огромной аудитории, воздействовало на них не порознь, а восхищало всех вместе, одновременно. Новое искусство требовало воображения, восприятия творческого, активного. В искусстве Яхонтова

чудесно соединились слово трибуна, оратора с искусством актера и вдохновением поэта. Это открывало путь устной литературе. Но слово классиков и знаменитых писателей современности — было одно, а лицедейство никому не ведомого студента — другое. Для «имитатора» (как меня называли некоторые) — для «имитатора» известных писателей, музыкантов, актеров места на серьезной литературной эстраде не было. С одной стороны, пример Тынянова ободрял, но тот же Тынянов не советовал идти на эстраду. Поэтому я рассказывал в гостях, рассказывал в коридорах издательств, на лестнице Публичной библиотеки — всюду, только бы слушали. Число тех, кто, узнавая моих героев, смеялся, росло. У меня же возникали все новые «роли», которые в процессе рассказывания варьировались, уточнялись и шлифовались. Я изображал Алексея Николаевича Толстого, с которым познакомился еще в 1925 году и с тех пор постоянно бывал у него на даче, изображал С. Я. Маршака, и великого актера В. И. Качалова, и другого замечательнейшего актера — И. Н. Певцова, показывал профессоров В. М. Жирмунского, Н. К. Пиксанова, академика Л. В. Щербу, тбилисского дядюшку Илью Элевтеровича Зурабишвили — литератора и вдохновенного меломана, и старую глухую актрису М. М. Сапарову-Абашидзе, и других разнохарактерных тбилисских старух. В разные годы у меня были замечательные «тренеры» — Евгений Львович Шварц, Валентин Петрович Катаев, Юрий Карлович Олеша. Они «дразнили» меня, задавали вопросы, требуя мгновенных ответов в образах А. Н. Толстого, С. Я. Маршака, академика О. Ю. Шмидта или других моих персонажей. Замечательного таланта ученый Григорий Александрович Гуковский, которому я многим обязан в знании русской литературы, всегда очень горячо принимал мои рассказывания и «представления» и делал мне множество строгих, но очень полезных для меня замечаний. И пусть это не покажется странным, я многому научился у тех, в образы которых «внедрялся». Я до сих пор становлюсь находчивее, думая в образе. И уж во всяком случае то, что я говорю за другого, «шире» моих личных возможностей. Так я научился председательствовать на собраниях, «думая за Фадеева». Довольно толково редактирую рукописи в образе С. Я. Маршака. Вникаю в структуру стихов, поверяя их мелодику и логические акценты голосом Яхонтова. Становясь Борисом Леонидовичем Пастер-

наком, начинаю видеть вокруг то, чего никогда не замечал, и удивляюсь ассоциациям, которые в собственном моем сознании никогда не родились бы. Что же касается И. И. Соллертинского, то в его образе я могу быть и «быстроумным» и остроумным, отнюдь не обладая этими качествами в той мере, в какой был наделен ими легендарный по уму и талантам Иван Иванович... Но все это было уже потом, а сейчас надо вернуться к середине 30-х годов.

Рассказы возникали один за другим. Их хватало уже на несколько вечеров. Исполнялись они за столом, и случалось, что границы между бытовым разговором и началом моего «представления» люди не замечали. И тогда все воспринималось, словно исторгнувшееся впервые, сейчас, в ту же минуту. Этим я гордился больше всего.

К этому времени не только писатели, но и довольно широкие круги художественной интеллигенции Ленинграда с рассказами моими «по домам» уже познакомились. А публично я еще ни разу не выступал. Но случай представился. Приехавший из Москвы Ф. М. Левин, тогдашний директор издательства «Советский писатель», услышал меня и предложил мне дебют в московском клубе писателей. Я согласился.

Выступление в Москве состоялось 7 февраля 1935 года. К удивлению моему, писателей пришло много и много смеялись, но меня, по счастью, восприняли по-серьезному. Очень ободрило меня присутствие Владимира Николаевича Яхонтова, добрые напутствия которого успокоили.

Четыре дня спустя появилась рецензия в «Литературной газете», где меня сравнивали с известными сатириками и пародистами. Еще до этого Всеволод Иванов рассказал обо мне А. М. Горькому. И Горький выразил желание послушать меня.

День, проведенный на его даче в Горках, определил всю мою жизнь. Горький — великий мастер устных воспоминаний — поддержал меня. Вследствие этого в журнале «30 дней» были напечатаны стенограммы трех моих устных рассказов с его, весьма лестными для меня, вступительными словами. Передо мной открывался путь в литературу и на эстраду.

Но перспектива стать профессиональным артистом эстрады меня беспокоила. Возникала проблема репертуара. О чем я буду рассказывать, когда первый интерес ко мне схлынет? Как буду представлять свои тексты, если я

не пишу их, а говорю, и каждый раз по-иному? Почти все, кто слышал меня, считали, что то, что я делаю, доступно только им и узкому кругу «прикосновенных» к искусству. Сам я того не думал, но с мнением этим считался... Стать писателем? Но стоило мне взяться за перо — и все пропадало: не ложился устный текст на бумагу! Самым верным показался мне скромный путь комментатора, разыскателя новых фактов о Лермонтове. И вот, решив навсегда остаться в Москве, я поступил в Рукописное отделение Ленинской библиотеки, а в свободное время продолжал заниматься Лермонтовым.

Между тем, стремясь разгадать тайны его биографии, я переживал то неудачи, то радости, встречал на пути своих розысков множество людей — интересных, острохарактерных. И с увлечением пересказывал знакомым свои «научные приключения». Однажды — это было летом 1937 года — я в поезде стал рассказывать редактору «Пионера» Б. А. Ивантеру, как интересно и трудно было разгадать таинственные инициалы некоей Н. Ф. И., которой Лермонтов в юности посвятил десятки своих стихов. Ивантер усмотрел в этом занимательное чтение для ребят школьного возраста и убедил меня записать эту историю. В сущности, ее застенографировали, а я только выправил текст. Так в 1938 году в «Пионере» появился мой первый «письменный» серьезный рассказ — «Загадка Н. Ф. И.». В ту пору я еще не догадывался, что он опять станет устным и я буду исполнять его с эстрады. Тогда я понял только одно: что нашел способ доступно рассказывать о приключениях литературоведа, который, подобно детективу, обнаруживает мельчайшие, почти неуловимые факты и связывает их между собой. Строить умозаключения, ведущие от частных наблюдений к общим выводам и, наоборот, от общих положений к наблюдениям частным, я учился еще у отца, который всю жизнь требовал от меня строгой логики, приохотил к чтению судебных отчетов и речей крупнейших адвокатов и нередко рассказывал о судебных процессах, в которых участвовал сам. Неожиданно для меня самого из работы над примечаниями возникло опять что-то совершенно другое. С «верного пути» комментатора меня снова отнесло в сторону. Немалую роль сыграла здесь дружба с Виктором Борисовичем Шкловским, который, прочитав в журнале мою компилятивную статейку, обрушился на меня, запретив «искать творческое счастье на

обыкновенных путях» и писать то, что может написать любой грамотный человек.

Копаясь в архивах, я продолжал выступать понемногу то в Москве, то в Ленинграде — в клубах интеллигенции, обретал профессиональный опыт. Как и теперь, немалую пользу оказывали мне советы и замечания жены — Вивианы Абелевны Андрониковой, актрисы, работавшей в ту пору в театре-студии под руководством Р. Н. Симонова. И все же от предложений выступать с афишей, с продажей билетов я упорно отказывался: жанр не был защищен прочной традицией, не входил, как говорится, в систему.

Колебания кончились в марте 1941 года, когда организатор концертов П. И. Лавут, не спросив меня, а ссылаясь на какое-то мое согласие, данное «в том году», расклеил афишу, под которую продал три выступления. Открытый концерт в Комаудитории МГУ рассеял некоторые из моих опасений и опроверг разговоры о том, что изображение конкретных людей может быть интересно лишь тем, кто знает их лично. Воспринимались характеры, ситуации. Если хотите, широкая публика реагировала объективнее, глубже. Сходство с незнакомыми ей моделями моих устных рассказов угадывалось по самим рассказам. Критик В. Б. Александров привел в подтверждение этого мысль о живописных портретах, которую обронил когда-то современник Пушкина комедиограф А. А. Шаховской: «Мы не знаем, с кого они списаны, но уверены, что они похожи».

Я стал выступать с афишей два раза в неделю, поехал на открытый концерт в Ленинград. Появилась рецензия в «Правде» — похвальная, веселая, добрая. И превосходные статьи Виктора Шкловского и Владимира Александрова.

Утром 22 июня 1941 года, когда я читал напечатанную в тот день в «Правде» мою статью о лермонтовском стихотворении «Бородино» (приближалось столетие гибели Лермонтова),— радио сообщило о фашистском вторжении и о начале войны.

Ожидая назначения в одну из армейских газет, я продолжал работать на юбилейной выставке Лермонтова, потом поступил в Литературный музей, стремившийся раскрыть в передвижных выставках патриотические темы русской литературы. В январе 1942 года я был назначен в газету «Вперед на врага» и отбыл на Калининский фронт. Исполнение устных рассказов пришлось отложить. Правда, иногда мне удавалось выступить на фронте перед

бойцами, а на Смоленщине, у партизан Бати, я исполнял однажды рассказы перед отрядом, уходившим на операцию. Но до конца войны в основном я был писателем пишущим. Это давалось мне нелегко. Речь устная и речь письменная — формы выражения мыслей различные. Написанное кажется искусственным, ненатуральным в звучании. А сказанное, но лишенное интонаций выглядит на бумаге как набор неточных, приблизительных выражений. И текст этот надо еще уметь выправить. Вряд ли кто-нибудь из советских литераторов моего поколения скажет о себе, что он выучился писать в армейской газете. Я — говорю!

Также положительно отразился фронтовой опыт и на устных моих рассказах. В них вошли герои в прямом смысле этого слова, и главный из них — Герой Советского Союза генерал Порфирий Георгиевич Чанчибадзе, с которым я не раз встречался в боевой обстановке — сперва под Ржевом, потом — на Миусском фронте.

Пределы рассказов раздвинулись. Новые персонажи пришли из другой жизни. Рассказы стали серьезными. Я многое видел и многое понял. Тогда же, на фронте, созрело решение — вступить в партию.

В конце 1942 года я появился перед московской публикой с новыми — фронтовыми — рассказами. А после окончания войны с прежней страстью вернулся к работе над Лермонтовым. В 1947 году защитил диссертацию на тему «Разыскания о Лермонтове». И в том же «сезоне» произошло для меня событие не менее важное.

До тех пор устные рассказы были одно, а работа научная — совершенно другое. Тут я решил вынести «Загадку Н. Ф. И.» на эстраду. Таким образом в программе появился «детективный» рассказ — история поисков, в которую были вмонтированы лермонтовские стихи и образы современников наших — владельцев старинных альбомов и хранителей семейных преданий. Раньше я играл в лицах. Теперь же я не только в лицах играл, но и повествовал. А так как каждая история поисков легко становилась сюжетом еще одного рассказа, открылось как бы «месторождение». Нужно было только «бурить». А потом рассказывать с эстрады, как, путешествуя по Кавказу, приходилось отыскивать места, зарисованные Лермонтовым во время его кавказских скитаний. Или о своей командировке в Актюбинск, где в частных руках хранилось более полутора

тысяч рукописей великих русских людей. Можно было сделать отчет о «Тагильской находке». Не следует думать, однако, что это было чтением вслух рассказов написанных. Нет! Я сперва их рассказывал, а записывал потом, найдя и обточив форму. К сожалению, передать на бумаге ни интонации грузинских колхозников, ни владелицы баснословной коллекции, ни голосов современников Пушкина я не могу. Только в устном рассказе, только в живой речи, *как* человек сказал превращается — в *что* человек сказал, ибо интонация может придать слову множество новых смыслов и даже обратный смысл. Это повышенное ощущение интонации идет у меня, очевидно, от точного слуха, от музыки.

Вот я встретил интересного для меня человека, наделенного ярко выраженными чертами — в поведении, разговоре, интересного своим взглядом на мир. Я начинаю вникать в его характер, ход мыслей, интонации, структуру речи... Вникая в его образ, я начинаю с увлечением рассказывать о нем, стремясь схватить его речь, жесты, походку. Я им любуюсь. Меня интересуют его глубинные черты, облеченные в неожиданную, еще неизвестную форму. Я улавливаю в нем то, что интересно не только тем, кто знает его, но и тем, кто никогда не слышал о нем. Я вбираю в себя неисчислимое количество оттенков его характера и, рассказывая, каждый раз вношу новые, еще небывалые в тексте подробности. Возникающая форма рассказа в ходе рассказывания изменяется. Вот я уже начинаю рассказывать его на эстраде. А он все еще не застыл и живет не только потому, что продолжает видоизменяться сюжет, но за счет новых интонационных открытий. Бывает, что я сам уже не ощущаю никакой новизны интонаций, а они все же есть. Но когда я понимаю, что рассказ «застыл»,— я начинаю «ломать» его, чтобы сообщить ему первоначальную импровизационность.

Меня часто спрашивают, почему я называю свои рассказы, с которыми выступаю на эстраде, устными?

Потому что в процессе их сочинения к бумаге не прикасаюсь. Рассказ рождается как импровизация, построенная на уловлении интонационной структуры речи, присущей моей «модели». Я сравнил бы этот процесс с поисками сходства и неповторимой индивидуальности, когда портретист добивается выявления характера, тех его черт, которых глаз другого не замечает. В сущности, вначале у меня никакого рассказа нет. Есть ядро образа или ядро сюжета.

Но во время исполнения образ отливается сразу, без «помарок», без подыскивания слов. Произнесенный текст я не запоминаю и запоминать не стремлюсь. Запоминается *форма* рассказа. Запоминается интонация. Ее-то я и воспроизвожу со всеми особенностями ритма, темпа и характера речи своих героев и своей собственной речи. Слова приходят как бы сами собой, но произносятся под очень строгим контролем автора. Причем рассказ ведет меня, а не я его. Этим образом я живу, от него мыслю. Это уже нетрудно, потому что, схватив суть образа, уже нельзя ошибиться. Главное — это отобрать самое главное в нем. Он возникает из множества разновременных наблюдений, но лепится не по частям, а «с ходу». Лично я вижу этого человека перед собой, несколько сбоку, в воздухе. И в то же время чувствую, что я его повторяю. И что я создаю портрет. И если считать, что живописный портрет документален, то и мой тоже. Конечно, он антифотографичен. Он — собирательный. Десять разговоров я сливаю в один, из них отжимается то, что наиболее характерно. Естественно, отстой оказывается очень густым. Рассказы зарождаются в общении с интересными, острохарактерными людьми. Я еще не знаю, что это — мой герой. А он уже герой, запал в память и держит меня. И я уже одержим. А потом выясняется, что вышел рассказ. Годы идут, и ход времени превращает рассказы в воспоминания. В наше время есть все возможности для того, чтобы создавать «звучащие книги». Кое-что из моих рассказов записано на пластинки, на магнитную ленту. Я верю, что скоро рассказывание станет для многих привычным жанром. И писатели будут выпускать «говорящую литературу». Не просто будут читать свою прозу по написанному, а будут ее говорить. К этому ведет телевидение.

Считаю, что мне в высшей степени повезло. Родись я несколько раньше — я со своим рассказыванием так и не узнал бы ни радио-, ни телеаудитории. А сейчас!.. Впрочем, я отвлекся.

Я говорил о том, что научные разыскания, истории поисков стали входить в репертуар моего «театра». И уже обкатанные на публике, записывались и печатались в журналах и в книгах. Что касается исполняемых мною монологов и сцен, то они на бумагу и до сих пор не положены. И хотя попытки я делаю, для меня несомненно, что, скажем, мои «остужевские» рассказы — «Горло Шаляпина» и

«Ошибка Сальвини» — в изначальном, устном, своем варианте гораздо органичнее и богаче по смыслу. Напечатанные, они теряют большую часть своих выразительных средств, а тем самым и содержания. Они просто пропадают без мимики, жеста, без интонаций, без портретного сходства с теми, о ком идет речь, без экспрессии исполнения, без «самоличности» рассказчика, наконец.

Седьмого июня 1954 года я выступил впервые по телевидению. Это число я никогда не забуду. От него пошел отсчет времени моей работы для телевидения и по телевидению. Меня предупредили, что монолог не может продолжаться по телевидению больше десяти — двенадцати минут: телевизионный экран требует действия в кадре. Но я верил в интерес зрителей к Лермонтову, к его несчастной любви, к его молодым стихам, верил в «Загадку Н. Ф. И.», в ее сюжет, в целый калейдоскоп «портретов» и уговорил предоставить мне целый час. И тут стало ясно, что зрителя может занимать не только действие в кадре, но и действие в монологе, произнесенном в кадре. С того дня я верно служу телевидению, выступаю с устными рассказами, с беседами, репортажами, комментариями, пишу о телевидении. А когда возникла мысль закрепить мои программы в форме телевизионного фильма, я предложил ту же «Загадку Н. Ф. И.», плюс «Подпись под рисунком», плюс «Земляка Лермонтова». Это — фильм-монолог, фильм-рассказ, в котором зритель видит то, о чем говорит рассказчик, и его самого в других обстоятельствах. Чередуется «любительский фильм», снятый рассказчиком, и изображение рассказчика в студии телевидения,— действие развивается как бы в двух временах. Сценарий я написал в сотрудничестве с С. И. Владимирским, постановку осуществил на «Ленфильме» режиссер Михаил Шапиро. Во втором фильме с малоудачным заглавием — «Ираклий Андроников рассказывает», представляющем сюиту из моих устных рассказов, я «играю» А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. И. Качалова, С. Я. Маршака, Всеволода Иванова, В. Б. Шкловского, И. И. Соллертинского, В. Н. Яхонтова, А. А. Остужева, А. В. Гаука и, кажется, еще шесть или семь ролей. Есть у меня и другие телевизионные монофильмы («Страницы большого искусства», «В Троекуровых палатах», «Портреты неизвестных», «Воспоминания о Большом зале», серия «Слово Андроникова» и еще ряд других).

Все это не значит, однако, что я могу рассказывать с эстрады и телеэкрана решительно все: публицистические статьи или книгу «Лермонтов в Грузии в 1837 году», которую я защитил в МГУ в качестве докторской диссертации, с экрана рассказывать я не могу, хотя они и написаны разговорно. Рассказ есть рассказ.

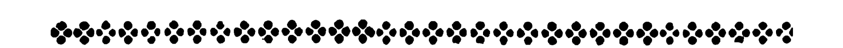
Хотя я занимаюсь Лермонтовым всю жизнь, Лермонтовым не ограничиваюсь. Привлекает множество явлений культуры русской, грузинской, их взаимная связь, фигуры Пушкина, Руставели, Александра Чавчавадзе, Бараташвили, Гоголя, Горького, Леонидзе, Чиковани, захватывают тайны древней грузинской нотописи и образ Шаляпина, искусство Яхонтова, искусство Довженко, увлекают жанр научного поиска и теория телевидения, сокровища наших музеев и Пушкинские праздники поэзии. Что касается книг, назову три — «Лермонтов. Исследования и находки», «Я хочу рассказать вам...» и «Рассказы литературоведа», выпущенную издательством «Детская литература» шесть раз. Эту книгу считаю для себя особо принципиальной. В ней утверждается жанр, который иные иронически называют «занимательным литературоведением», что неверно потому, что тут излагаются не чужие открытия в доступной для восприятия форме, а «детектив без преступления» — «история приключений ученого».

Читатель обратит внимание на то, что некоторые сюжеты в настоящем издании являются дважды. Дело объясняется тем, что в одном случае это — исследование, в другом — рассказ о том, как исследование протекало. И это разные жанры.

Годы идут. И пора мне понять, что главное в жизни пройдено. Но, к сожалению, кажется, что в работе до главного я еще не дошел, что многое надо еще исследовать и многое рассказать...

1974—1979

Рассказы литературоведа



Загадка Н. Ф. И.

Я не могу ни произнесть,
Ни написать твое названье:
Для сердца тайное страданье
В его знакомых звуках есть;
Суди ж, как тяжко это слово
Мне услыхать в устах другого.
Лермонтов

Таинственные буквы

На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне предстояло выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах.

В этих стихотворениях семнадцатилетний Лермонтов обращается к какой-то девушке. Но имени ее он не называет ни разу. Вместо имени в заглавиях стихотворений, ей посвященных, стоят лишь три начальные буквы: «Н. Ф. И.». А между тем в лермонтовской биографии нет никого, чье имя начиналось бы с этих букв.

Вот названия этих стихотворений:

«Н. Ф. И.», «Н. Ф. И...вой», «Романс к И...», «К Н. И...»

Читая эти стихи, нетрудно понять, что Лермонтов любил эту девушку долго и безнадежно. Да и она, видимо, сначала любила его, но потом забыла, увлеклась другим,

и вот оскорбленный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком:

Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но... женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит! —
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье! —
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!

Значит, эта девушка понимала Лермонтова, была его задушевным другом. Кто-то, видимо, даже упрекал ее за сочувствие к поэту...

Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не написал ее имени. Я не знаю, почему за сто лет эту загадку не удалось разгадать ни одному биографу Лермонтова. Я знаю только одно, что в новом издании сочинений Лермонтова надо сделать точное и краткое примечание: «Посвящено такой-то».

И я принялся за работу.

Дневник в стихах

И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и при ярком свете настольной лампы перелистываю томик

юношеских стихотворений Лермонтова. Внимательно прочитываю каждое, сравниваю отдельные строчки.

Вот, например, в стихотворении, которое носит заглавие «К ***», Лермонтов пишет:

Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья,—
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье...

«Надо заметить,— думаю я,— что о прощальном поцелуе в этом стихотворении сказано почти так же, как в стихах, обращенных к Н. И. Написаны же они почти в одно время».

Так, может быть, и это стихотворение обращено к ней? Может быть, под тремя звездочками скрывается все та же Н. Ф. И.? Тогда, наверно, ей адресовано и другое стихотворение «К ***»:

Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила...
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.

А в таком случае о ней же, видимо, идет речь в стихотворениях: «Видение», «Ночь», «Сентября 28», «О, не скрывай! ты плакала об нем...», «Стансы», «Гость» и во многих других. Потому что в них тоже говорится о любви и об измене.

Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа.

Да, теперь уже понятно, что Лермонтов посвятил неведомой нам Н. Ф. И. не четыре, а целых тридцать стихотворений. Непонятно только, как звали эту Н. Ф. И., и еще менее понятно, как я смогу это узнать.

И вот я снова перечитываю все, что Лермонтов создал в это время.

Летом того же 1831 года Лермонтов написал драму «Странный человек». Он рассказал в ней о трагической судьбе молодого поэта Владимира Арбенина. Арбенин любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Любит и она его. Но вот она увлеклась другим, забыла Арбенина, изменила своему слову. В конце пьесы Арбенин сходит с ума и погибает накануне свадьбы Загорскиной.

И тут, в этой пьесе, как в стихах, Лермонтов рассказывает об измене.

«Мы должны расстаться: я люблю другого!.. я подам вам пример: я вас забуду!» — говорит Наташа Загорскина Арбенину.

«Ты меня забудешь? — ты? — переспрашивает Арбенин в бесконечном отчаянии,— о, не думай: совесть вернее памяти; не любовь, раскаяние будет тебе напоминать обо мне!..»

Совсем как в стихах «К Н. И...»:

Тебя раскаянье кольнет...

Прямо поразительно, до чего речи Арбенина напоминают послание Лермонтова к Н. Ф. И.!

Но вот стихотворение Арбенина:

Когда одни воспоминанья
О днях безумства и страстей
На место славного названья
Твой друг оставит меж людей,
Когда с насмешкой ядовитой
Осудят жизнь его порой,
Ты будешь ли его защитой
Перед бесчувственной толпой?

Это стихотворение Арбенин посвятил Загорскиной. Но так и кажется, что последние четыре строчки я уже где-то читал, в каком-то другом стихотворении Лермонтова... Впрочем, я, кажется, совсем сошел с ума! Ведь это же «Романс к И...»!

Сравниваю оба стихотворения: так и есть! Сначала Лермонтов вписал в черновик «Странного человека» «Романс к И...». А потом первые строчки переменил.

Значит, Арбенин посвящает Наталье Федоровне Загорскиной как раз те самые стихи, которые Лермонтов посвящал Н. Ф. И. Так, наверно, в «Странном человеке» он и рассказывает о своих отношениях с Н. Ф. И.?

«Постой,— говорю я себе,— ключ где-то здесь... Если в «Странном человеке» Лермонтов изобразил свои отношения с Н. Ф. И., а Загорскину зовут Наталией Федоровной, то... может быть, и Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной? Очевидно, это имя Лермонтов выбрал для пьесы не случайно?»

Чувствую, что разгадка близко, а в чем она заключается — понять не могу... «Дай,— думаю,— перечитаю всё сначала!»

Открываю «Странного человека». На первой странице — предисловие Лермонтова. Сколько раз я читал его!

А тут вдруг словно в первый раз понимаю его конкретный смысл. Лермонтов пишет:

«Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня, и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет. Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны...»

Как я раньше не понял этого! Лермонтов изобразил в своей драме подлинные события и живых людей. Мало того: он хотел, чтобы они были узнаны. Сам Лермонтов, можно сказать, велит мне узнать имя Н. Ф. И. и выяснить подлинные события!

Истинное происшествие на Клязьме

Легко сказать: выяснить! Как выяснить? Если бы сохранились письма Лермонтова — тогда дело другое. Но из всех писем за 1830 и 1831 годы до нас дошло только одно. Это коротенькая взволнованная записочка, адресованная Николаю Поливанову — другу университетской поры, уехавшему на лето из Москвы в деревню. Написана она 7 июня 1831 года, когда Лермонтов, как видно, находился в ужасном состоянии.

«Я теперь сумасшедший совсем,— пишет он Поливанову.— Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было...»

Сообщая Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины, Лермонтов посылает к черту все свадебные пиры и пишет: «Мне теперь не до подробностей... Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы...»

Такое письмо мог бы послать другу Владимир Арбенин. Впрочем, это совершенно понятно. И письмо и «Странный человек» написаны почти в одно время: письмо — от 7 июня, а «Странного человека» Лермонтов закончил вчерне 17 июля. Очевидно, приступил к работе над ним в июне. Значит, в пьесе рассказано о тех самых событиях, о которых Лермонтов сообщает Поливанову. Но Поливанов знал об этих событиях, а я не знаю!.. Взглянуть бы на это письмо своими глазами! Может быть, там есть какая-нибудь начатая и вычеркнутая фраза или неверно разобранное слово. Мало ли что бывает!.. Где оригинал письма?

Оригинал хранится в Пушкинском доме.

Еду в Пушкинский дом. Прошу в Рукописном отделении показать мне письмо к Поливанову. Гляжу — и глазам не верю: да оказывается, это вовсе не письмо Лермонтова! Это письмо лермонтовского друга Владимира Шеншина, а на этом письме — коротенькая приписка Лермонтова. А Шеншин, сообщая Поливанову различные московские новости, между прочим пишет: «Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве, у Ивановых), меня утешает своею беседою...»

Теперь все ясно! В начале июня 1831 года Лермонтов гостил у каких-то Ивановых. Весьма возможно, что к этой семье и принадлежала Н. Ф. И.— Наталия Федоровна... Иванова?!

Шеншин пишет: «...пять дней не видался». Значит, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. Что это так именно и было, подтверждается «Странным человеком». Там описано, как Арбенин едет в имение Загорскиных, расположенное на берегу Клязьмы. А Клязьма протекает под Москвой. И там же, неподалеку от Клязьмы, Лермонтов каждое лето гостил у родных — у Столыпиных, в их Середникове. Итак, все сходится!

7 июня 1831 года Лермонтов вернулся в Москву от Ивановых, где узнал об «измене» Н. Ф. И., и тут же начал писать «Странного человека», в котором рассказал об этой «измене». А если так, то, значит, в стихотворении, которое носит заглавие «1831-го июня 11 дня», Лермонтов обращается все к той же бесконечно любимой им девушке:

Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?

Он хотел, чтоб рядом с его именем мы повторяли ее имя. Но — увы! — для того чтобы повторять, надо знать это имя. А этого-то как раз мы и не знаем.

Забытый драматург

Хорошо! Допустим, что ее звали Наталией Федоровной Ивановой. Но кто она? В каких книгах, в каких архивах хранятся сведения об этой таинственной девушке?

Прежде всего, конечно, следует взглянуть в картотеку Модзалевского в Пушкинском доме. Это самый полный и самый удивительный словарь русских имен.

Надо вам сказать, что Борис Львович Модзалевский — основатель Пушкинского дома Академии наук, известный знаток жизни и творчества Пушкина, изучая исторические труды и воспоминания, старинные альбомы и письма, журнальные статьи и официальные отчеты, имел обыкновение каждую встретившуюся ему фамилию выписывать на отдельный листок и тут же на листке помечать имя и отчество того лица, название журнала или книги, том и страницу, на которой прочел фамилию. Этой привычке он не изменял никогда. И через тридцать лет в его картотеке оказалось свыше... трехсот тысяч карточек. Картотека — это шкафчик с широкими плоскими ящиками. Каждый ящик разделен на отсеки, плотно набитые маленькими карточками, написанными рукой Модзалевского. После смерти Модзалевского картотеку приобрел Пушкинский дом. Если Модзалевский хоть раз в жизни встретил имя Н. Ф. Ивановой в какой-нибудь книжке, то, значит, он выписал его на карточку и я непременно обнаружу его в картотеке.

Неудача! Наталии Федоровны Ивановой в картотеке Модзалевского нет. Это значит, что собрать о ней даже самые скудные сведения будет необычайно трудно. А я не знаю даже, когда она родилась.

Про Загорскину в «Странном человеке» сказано, что ей восемнадцать лет.

Если допустить, что и Н. Ф. И. в 1831 году было восемнадцать лет, то выходит, что она родилась в 1813 году.

Значит, она была на год старше Лермонтова. Очевидно, так и было в действительности.

А что можно еще извлечь из текста «Странного человека»?

Снова перелистываю пьесу. Отчеркиваю любопытную деталь. Приятель Арбенина спрашивает про Загорскиных:

«— Их две сестры, отца нет? так ли?

— Так», — отвечает Арбенин.

Если в драме изображены подлинные события, то весьма возможно, что и у Н. Ф. И. была сестра, а отца не было. То есть... как «не было»? Не было в 1831 году! В 1813 году, когда Н. Ф. И. родилась, отец был. Звали его, как нетрудно сообразить, Федором Ивановым.

Другими словами, мне нужен такой Федор Иванов, который в 1813 году был еще жив, а к 1831 году уже умер. И чтоб у него было две дочери. И хотя у меня не слишком много примет этого Иванова, тем не менее такого Иванова надо найти. И посмотреть, не годится ли он в отцы Н. Ф. И.?

Еду в Пушкинский дом. Просматриваю в картотеке Модзалевского всех Ивановых. Выбираю всех Федоров. Узнаю, что один из них умер в Москве в 1816 году. Этот подходит.

Выясняется, что это популярный драматург начала XIX века, Федор Федорович Иванов, автор интересной трагедии «Марфа Посадница» и имевшего в свое время шумный успех водевиля «Семейство Старичковых», друг поэтов Батюшкова, Вяземского и Мерзлякова, известный всей Москве хлебосол, весельчак и театрал.

Просматривая в библиотеке книги, из которых Модзалевский выписал имя Иванова, я обнаружил некролог Иванова, а в некрологе — строчки: «Он оставил в неутешной печали вдову и двух прелестных малюток» .

Значит, у Ивановых было двое детей лермонтовского возраста — может быть, Н. Ф. И. и ее сестра? Но, к сожалению, только «может быть». А «наверное» я так ничего и не узнал.

Тайна Ваганькова кладбища

Я сам понимал, что иду неправильным путем. Ясно, что в начале 30-х годов Н. Ф. И. вышла замуж и переменила фамилию. Гораздо естественнее было бы обнаружить ее под фамилией мужа, чем в биографии Федора Федоровича Иванова, умершего в то время, когда она была еще младенцем.

Сведения о том, за кого она вышла замуж, проще всего почерпнуть из родословных. В дворянских родословных книгах каждый представитель рода занумерован по порядку и о каждом пропечатано: когда родился, где и когда служил, на ком был женат, каких имел детей, какими награжден орденами и чинами и когда умер. А про женщин — за кого вышла замуж.

Существуют сотни таких родословных сборников — и княжеских, и графских, и баронских, и просто знатных дворянских фамилий. Беда только в том, что фамилия Ива-

новых не принадлежала к числу знатных. И родословная дворян Ивановых не составлялась. Следовательно, узнать по родословным книгам, за кого девица Иванова вышла замуж, нельзя.

Оставалось последнее: выяснить, кто в XIX веке женился на девицах, носивших фамилию Иванова.

Я выписал в библиотеке Пушкинского дома все родословные книги, какие там есть, сложил их штабелями возле стола и принялся перелистывать. Сколько испытал я за этим многодневным занятием внезапных радостей и сколько ужасных разочарований!

«Иванова. 2-я жена князя Мещерского...» Не годится — Елена Иванова!

«Иванова. Любовь Алексеевна, жена коллежского регистратора Бартенева...» Не годится.

«Иванова. Жена штабс-капитана Кульнева...» Глафира Ильинична! Не подходит.

«Иванова Наталья Федоровна, жена...»

Чувствую: все замерло во мне и перевернулось. Чья жена?

Оказывается, мой палец остановился в середине родословной дворян Обресковых. И Наталия Федоровна Иванова значится в этой книге женой какого-то Николая Михайловича Обрескова, о котором тут же и сказано, что это поручик, за «постыдный офицерскому званию поступок» разжалованный и лишенный дворянства в 1826 году. В 1833 году уволен из военной службы 14-м классом, в гражданской службе с 1836 года.

Далее указано, что ему возвращены права потомственного дворянства и что в конце 50-х годов он имел чин надворного советника.

Ну, думаю, сейчас буду знать решительно все! В картотеке Модзалевского пересмотрю карточки с именем Обрескова, перелистаю несколько книг, в которых он упомянут, и тогда мне уже станет ясной судьба Н. Ф. И.

Из читального зала снова отправляюсь в Рукописное отделение.

Роюсь в картотеке Модзалевского... Отец Обрескова, генерал-лейтенант, есть. Брат, посланник в Турине, есть. Про них Модзалевский читал. Но никакого Николая Михайловича Обрескова нет и в помине. А это значит, что Модзалевский и не читал о нем ничего — ни разу в жизни не встретил его имени в печати. Это тем более удивитель-

но, что Обресков разжалован в 1826 году, когда как раз закончился суд по делу об арестованных за участие в декабрьском восстании 1825 года. И я уж даже подумал, не был ли Обресков замешан в восстании.

Посмотрел в «Алфавит декабристов». Обрескова нет!

Выходит, что Н. Ф. И. и замуж вышла за человека, о котором известно почти так же мало, как и о ней самой. А если так, то уж теперь, кажется, больше ничего не придумаешь. На этот раз, видно, заехал в тупик.

Впрочем, один ход у меня еще остается.

Я нигде ничего не мог узнать о Наталии Федоровне Ивановой, но это еще не значит, что я не найду какихнибудь сведений о Наталии Федоровне Обресковой.

Правда, этого имени в картотеке Модзалевского нет. Но, может быть, я найду его в каких-нибудь адрес-календарях или справочниках, которые Модзалевский на карточки не расписывал.

И я снова принялся перелистывать страницы алфавитных указателей и адрес-календарей. Раньше я изучал в них букву «И», теперь перешел на «О». И снова принимаюсь просматривать некрополи.

«Некрополь» — по-гречески «город мертвых». Поэтому некрополями называются также алфавитные списки умерших и погребенных людей. Другими словами — адресные книги кладбищ. Только вместо улицы и номера дома в некрополе указана могильная плита или надгробный памятник. И тут же вслед за именем погребенного приводится все, что написано на могильной плите или памятнике: годы рождения и смерти, изречения, стихи.

В конце XIX — начале XX века были изданы описания и петербургских, и московских, и некоторых провинциальных кладбищ, и даже описания русских могил за границей.

Беру «Московский некрополь» — второй том. Буква «О»... Батюшки! Целая страница Обресковых!!!

«Обрескова Екатерина...»

«...Марина...»

«Наталья Александровна...»

«Обрескова Наталия Федоровна! Умерла 20 января 1875 года, на шестьдесят втором году от рождения. Погребена на Ваганьковом кладбище»!

Если в 1875 году ей шел шестьдесят второй год, следовательно, она родилась, как я предполагал, в 1813 году.

Значит, она — Н. Ф. И., Наталия Федоровна Иванова. Значит, я все узнал!

И тут я понял, что по существу-то я ничего не узнал!

Ну и что из того, что Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной Ивановой? А что нового вынесет из этого читатель? Что это откроет ему в стихах Лермонтова? Что скажет его уму и сердцу?

И я понял, что надо искать дальше.

Но так как из книг уже невозможно было больше извлечь решительно ничего, а познакомился Лермонтов с Ивановой в Москве, я поехал в Москву.

Знаток старой Москвы

Был в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков,— историк и литературовед, великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей. Уж никто лучше его не мог сказать вам, кто когда родился, кто где жил, кто в каких служил департаментах и полках, кто на ком был женат, кто к кому ходил в гости, где чей дом стоял и где кто умер. На все подобные вопросы, если только в его силах было ответить на них, Николай Петрович давал самые точные и самые подробные разъяснения. И чаще всего прямо на память. А память у него была удивительная.

Он так хорошо знал старую Москву, что когда строили первую очередь метро, обратились к нему за советом. Один он мог точно указать, где в районе Остоженки — нынешней Метростроевской улицы — были в старину глубокие подвалы и старые, заброшенные колодцы, которые могли встретить на своем пути строители метро.

Старик повел комиссию по Остоженке и по прилегающим к ней переулкам — палочкой указывал границы бывших барских особняков и усадеб, объяснял, в каком углу двора был погреб, в каком — колодец.

А потом его попросили спуститься на трассу метро. И выдали пропуск «Действителен под землей». Николай Петрович смутился и расстроился и даже, кажется, принял это за неуместную шутку. Но, когда ему объяснили, что

у всех пропуска такие, он спустился на трассу и ответил на все вопросы.

Как все люди, беззаветно и бескорыстно любящие свою профессию, Николай Петрович охотно делился знаниями со всяким, кто в том нуждался, и никогда не заботился о том, будет ли в печати упомянуто его имя.

Последние годы Николай Петрович работал в архиве Государственного Литературного музея в Москве. Я не был знаком с ним, но, зная о его необыкновенной щедрости и отзывчивости, понимал, что он охотно поможет советом и мне — незнакомому.

Прихожу в Литературный музей. Прошу вызвать Чулкова ко мне в вестибюль.

И вот выходит крошечный старичок с несколькими коротко подстриженными над губой серыми волосками, такой милый, такой предупредительный, что даже глазками перемаргивает поминутно, словно опасаясь просмотреть какое-нибудь выражение лица своего собеседника, недослышать какое-нибудь слово.

Я представился, вкратце изложил свою историю. Чулков внимательно слушал и помаргивал. Наконец я кончил. И тут настала моя очередь слушать и моргать.

— Вы совершенно правы,— сказал Николай Петрович тихим голоском и откашливаясь в кулачок.— Наталия Федоровна Иванова действительно дочь Федора Федоровича, московского драматурга. Правильно и то, что она вышла замуж за Николая Михайловича Обрескова. А вот теперь запишите: у Обресковых была дочь Наталия Николаевна, которая в шестидесятых годах вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. У Голицыных тоже были дочери, родные внучки Наталии Федоровны: Александра Сергеевна — в замужестве Спечинская, Наталия Сергеевна — Маклакова и Христина Сергеевна — Арсеньева. Наталию Николаевну, дочку Ивановой, я лично знал, даже бывал у нее. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталия Николаевна скончалась совсем недавно: в 1924 году. Кроме нее, я знаком с одной из ее дочерей — с Христиной Сергеевной Арсеньевой. Бывал у нее. Она тут жила недалеко, возле храма Христа Спасителя. Но храм...— тут Николай Петрович несколько затруднился, подыскивая подходящее слово,— храм и домик около храма... подверглись реконструкции... и уже не нахо-

дятся на месте. Поэтому я просто даже не представляю себе, где может быть Христина Сергеевна в настоящее время. Вот только в связи с вашим рассказом...— Николай Петрович покашливал и потирал то один кулачок, то другой,— в связи с вашим рассказом у меня возникло маленькое недоумение. Ведь довольно близко зная и дочь и внучку Наталии Федоровны, я тем не менее никогда не слышал от них имени Лермонтова. Между тем они должны были хорошо представлять себе, что знакомство его с Наталией Федоровной должно было меня заинтересовать. И вот поэтому я опасаюсь, что Наталия Федоровна Иванова — это не та Н. Ф. И., о которой говорится у Лермонтова. Но, конечно, прежде всего вам надо бы повидаться с Христиной Сергеевной...

— Где же мне достать Христину Сергеевну? — спросил я внезапно осипшим голосом, ошеломленный последним замечанием Чулкова.

— Да адрес-то можно, пожалуй, узнать через адресный стол...— заметил Чулков.

— Ах да, через адресный стол!..

И, поблагодарив Николая Петровича, я опрометью бросился из музея.

«Новое несчастье,— думаю,— не та Н. Ф. И.!»

Прибежал в адресный стол. Подаю в стол заказов длинный, узенький бланк с именем Христины Сергеевны. Жду ответа.

Наконец слышу:

— Арсеньеву кто спрашивает?

Подбегаю к окошечку:

— Я!

— Арсеньева, какая нужна вам, в городе Москве не проживает.

— Как так «не проживает»?

— Гражданин! Наверно, выбыла. Сведений о ней не имеется.

Поплелся восвояси. «Эх,— думаю,— пора бросать эту затею! Так можно искать до конца жизни. Куда теперь девалась эта Христина Сергеевна? А если она уехала? А если на Урал, на Кавказ, на Камчатку? Что же, ехать за ней?»

А сам чувствую, что поеду.

Христина Сергеевна — урожденная Голицына. Арсеньева — это по мужу. Следовательно, знать о ней может кто-нибудь из Голицыных.

Вспоминаю, кто-то говорил, что в редакции журнала «Ревю де Моску» переводчиком с русского языка на французский работает Николай Владимирович Голицын.

Еду к нему. Вбегаю в редакцию, первому встречному начинаю объяснять: «Лермонтов, Н. Ф. И., она Иванова, она за Обресковым...» Вижу — на другом конце комнаты от стола поднимается невысокий пожилой человек с окладистой бородой.

— Это, очевидно, ко мне! — удивленно говорит он, обращаясь к своим сослуживцам.

Я снова начинаю рассказывать о своих злоключениях.

— Рад вам помочь и буду с вами совершенно прямодушен,— говорит Голицын, задумчиво комкая и снова разглаживая бороду.— Александра, Наталия и Христина Сергеевны — это мои сестры. Не могу только сказать вам точно — четвероюродные или пятиюродные. Когда-то часто встречал их. Только это было очень давно. И единственное, что запомнилось,— это то, что в молодости они очень хорошо танцевали. Что касается Александры и Наталии Сергеевны — не знаю, давно не слышу о них. Что же касается Христины Сергеевны, то в отношении ее у меня более положительные сведения. Дело в том, что Христина Сергеевна умерла. Жила она где-то тут, под Москвой... Вы, мне кажется, правы: возможно, что у нее и хранилась какая-нибудь связка старинных писем или какой-нибудь сувенир ее бабушки. Проще всего было бы узнать адрес у ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева. Но он, к сожалению, умер. Ивану Васильевичу, брату его, тоже безусловно был ведом адрес. Но Иван Васильевич тоже умер. Вот, пожалуй, кто может знать — это сын Ивана Васильевича Арсеньева, Сергей Иванович. Он, насколько я понимаю, жив и находится здесь, в Москве. Поэтому вам прежде всего следует повидать его, поскольку он сын покойного брата покойного мужа покойной Христины Сергеевны. Я, правда, не в курсе того, где он живет. Но, вероятно, можно навести справку в бюро адресов...

Я снова кинулся в адресный стол.

Достаю адрес Сергея Ивановича, еду к нему в Обыден-

ский переулок и в полумраке небольшой передней вступаю в переговоры со старушкой — тещей Арсеньева, которая стремится побольше узнать от меня и поменьше сообщить мне.

Выспросив решительно все, старушка начала подавать мне советы, и весьма дельные.

Прежде всего она объяснила, что, несмотря на солидный возраст, Сергей Иванович получил разрешение вторично поступить в вуз, потому что в молодости выбрал себе профессию не по сердцу. Он человек занятой, дома бывает редко, и мне застать его будет трудно.

— За Сергеем Ивановичем вам не стоит гоняться, да и не к чему,— говорит мне старушка.— Он ничего ровно вам не скажет. И адрес Христины Сергеевны вам тоже ни к чему. А лучше всего сходить бы вам к сестре ее, к Наталье Сергеевне.

Я всполошился:

— К какой Наталье Сергеевне?

— Как «к какой»? К Маклаковой.

— Да разве Маклакова жива?

— Да как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала!

— Чек в кассе?

— Ну да, в «Гастрономе». Поздоровались с ней да и разошлись.

— А где она живет, Маклакова?

— Тут где-то, на Зубовском.

— А дом номер?...

— Номера дома не знаю. Чаю у нее не пила. Сходите в адресный стол.

Дом на Зубовском

Снова прибежал в адресный стол, нацарапал на бланке: «Наталия Сергеевна Маклакова», и наконец в моих руках адрес: «Зубовский бульвар, 12, кв. 1».

Не буду занимать вас описанием, что я перечувствовал по пути к этой — живой! — внучке. Это понятно каждому.

...Маленький деревянный домик, вход со двора, несколько ступенек и дверь. Я постучал.

Открывает дверь женщина: немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице.

— Вам кого?

— Простите,— говорю,— можно видеть Наталию Сергеевну Маклакову?

— Да, это я. А что вам угодно?

— Здрассьте, Наталия Сергеевна,— говорю я в сильном волнении.— Я узнал ваш адрес через адресный стол... Я занимаюсь Лермонтовым. И вот в связи с этим мне надо бы с вами поговорить...

— Голубчик! — с сожалением перебивает она.— Вы напрасно искали меня. Я ничем не смогу быть вам полезной. Ведь все стихи, которые Лермонтов посвящал моей бабушке, Наталии Федоровне, все его письма, которые со стихами вместе хранились в ее шкатулке, давно уже сожжены. Их уничтожил еще мой дед, Николай Михайлович Обресков, из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось.

— Наталия Сергеевна! — вскричал я.— Вы, наверно, даже не представляете себе, что вы сказали!

— А что я сказала? — встревоженно спросила Маклакова.— Я ничего не сказала и ничего не скажу интересного. Мне, мой милый, известны только те стихи, которые напечатаны во всех изданиях Лермонтова и которые вы знаете, конечно, не хуже меня.

Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила...—

прочла Маклакова слегка дрожащим голосом.— Со слов мамы,— продолжала она,— я знаю, что эти стихи написаны для бабушки, Наталии Федоровны. Вот и все, что я знаю.

— Наталия Сергеевна,— спросил я, удивляясь все более,— почему вы никогда никому не рассказали о знакомстве вашей бабушки с Лермонтовым, о его любви к ней? Почему имя ее никогда не появлялось в печати? Для чего вы хранили его в тайне?

— А для чего нам было сообщать в печать имя бабушки? — спросила Наталия Сергеевна.— Чем нам гордиться? Тем, что бабушка... предпочла дедушку?

Тут я уже просочился через порог. Маклакова пригласила меня в комнату, посадила на потертый диван, и я стал

задавать ей вопросы, какие только способно было породить мое воспаленное от радости воображение.

Она знала действительно очень мало. Но и это «мало» было для меня очень «много». Я услыхал от нее, что в «Странном человеке» Лермонтов рассказал о своих отношениях с Ивановой. Что у Ивановой хранился экземпляр этой пьесы, аккуратно переписанный самим Лермонтовым и с посвящением в стихах. Что у Наталии Федоровны была сестра, Дарья Федоровна, которая вышла замуж за офицера Островского. Что Дарья Федоровна прожила всю жизнь в Курске, а дочери ее жили в Курске до самой революции. На мои вопросы о дедушке своем, Николае Михайловиче Обрескове, Маклакова ничего не могла ответить, никак не могла объяснить, за что он разжалован.

— Я что-то ничего не слыхала об этом,— говорила она.— Знаю только, что в старости дедушка был предводителем дворянства в каком-то уезде Новгородской губернии. Там у него было именье.

— А я уж подумывал, не декабрист ли он,— сознался я.

— Милый мой,— ахнула Маклакова,— как хорошо было бы, если б он оказался декабристом!

Наконец я ушел от нее. Но дорогой вспомнил, что забыл задать ей еще какие-то вопросы, повернул назад. И с тех пор стал ходить к Маклаковой, как на службу.

Сундук с Белорусской дороги

Маклакова предложила мне, что обойдет всех своих московских родственников и сама расспросит их, не помнят ли они чего о Наталии Федоровне и о Дарье Федоровне, об их отце, матери, тетках, дядьях и знакомых. Чтоб я только написал ей вопросы, какие она должна задавать. Все это было, по ее словам, гораздо проще узнать ей, чем мне.

Я обрадовался и притащил ей на дом целую картотеку вопросов.

Захожу к ней вскоре. И, сообщив мне целый ворох имен дальних родственников Наталии Федоровны по линии нисходящей и восходящей, Маклакова говорит мне:

— У меня к вам просьба. Помогите мне достать машину.

Я удивился:

— Какую машину?

— Автомобиль,— говорит Маклакова.— И такой, чтоб на него можно было поставить сундук покойной сестры Христины. Я ведь вам говорила, что последние годы Христина Сергеевна жила по Белорусской дороге, недалеко от Перхушкова. Вещи, которые после нее остались, мы отдали там на хранение соседям. И знаете, уже столько прошло с тех пор времени, что я опасаюсь, цел ли сундук. Мне хотелось бы его сюда привезти, да он такой громоздкий, что не принимают даже в багаж. А последнее время я все стараюсь припомнить, нет ли там чего-нибудь для вас интересного?..

Тут я живо достал машину. Маклакова послала кого-то за сундуком. Я же заблаговременно явился к ней на Зубовский и принялся расхаживать возле ворот: войти в дом — слишком рано, стесняюсь, а в то же время боюсь опоздать к прибытию сундука.

Под вечер машина пришла. Отвалили заднюю стенку. Стащили огромный, с коваными наугольниками сундук и поволокли его в дом. Я хотел, чтоб наибольшая тяжесть легла непременно на меня — ревновал к сундуку, говорил: «Не надо!.. Я сам!..» Наконец водворили его в комнате. Маклакова принялась за разборку. И тут пошли из него такие вещи, каких я вовсе никогда не видывал. Прежде всего пошли какие-то флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Перламутровые альбомчики, старые веера и лайковые перчатки, перья и булавки для шляп, старые пуговицы, каких теперь вовсе не увидишь, металлический чайник, корсет, утюг, кривая керосинка, кофейная мельница!.. Колун пошел! Маклакова над каждой вещичкой умиляется, ахает... А для меня — ничего?!

И вот, когда уже почти пуст сундук, Маклакова вынимает со дна старинную, светло-коричневой кожи рамку и, улыбаясь, что-то рассматривает.

— Вот видите, и для вас под конец нашлось...

А мне виден только оборот — и, гляжу я, на обороте рамки старинным почерком надпись: «Наталия Феодоровна Обрескова, рожденная Иванова».

Взял я эту рамку в руки, повернул ее и увидел наконец лицо той, которую Лермонтов так любил и из-за которой я... так страдал.

Нежный, чистый овал. Удлиненные томные глаза. Пухлые губы, в уголках которых словно спрятана любезная

улыбка. Высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи... А выражение лица такое, как сказано в одном из лермонтовских стихотворений, ей посвященных:

С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна...

А Маклакова протягивает другую такую же рамку:

— И дедушка нашелся! Помнилось мне, что портреты эти были парные: оба нарисованные карандашом и оба в одинаковых рамках...

Смотрю на Обрескова. Молодое лицо его довольно красиво, окружено кудрявыми бачками. Но выражение надменное и словно брезгливое: неприятное выражение.

Он в штатском: высокий воротник фрака, как носили в пушкинские времена; бархатный бант, цепочка с лорнетом и в петлице фрака — орден: крест на полосатой ленте. Очевидно, Георгиевский.

«Ну чего,— думаю,— проще: зайду в Ленинскую библиотеку, посмотрю список георгиевских кавалеров за все годы существования этого ордена и узнаю, когда и за что Обресков был награжден. Тогда не трудно будет узнать, за что был разжалован».

Еду в Ленинскую библиотеку... Выдают мне список георгиевских кавалеров... Удивительно! Николай Обресков Георгиевским крестом не награждался. Георгиевский крест был у его отца.

Ничего не могу понять! Неужто Обресков сел в кресло позировать художнику, вдев при этом в петлицу отцовский орден? Это уж, казалось бы, последнее дело!

И решил я тогда выяснить во что бы то ни стало, так это или не так и что за человек вообще был Обресков.

Солдат Нижегородского полка

Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:

ДЕЛО
генерал-аудиториата 1-й армии
военно-судное
над поручиком
Арзамасского конноегерского полка
ОБРЕСКОВЫМ

И когда я перелистал это «дело», то узнал наконец, в чем там было самое дело. По формулярам, аттестациям, донесениям и опросным листам я установил историю этого человека.

Обресков родился в 1802 году в семье генерала и по окончании Пажеского корпуса был выпущен в один из гвардейских полков, из которого вскоре его перевели в конноегерский Арзамасский. В 1825 году полк этот квартировал в городке Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры полка часто бывали званы на балы к воронежскому гражданскому губернатору Н. И. Кривцову, женатому на красавице Е. Ф. Вадковской. Обресков находился с нею в близком родстве, и в губернаторской гостиной его встречали как своего.

После одного из балов губернатор случайно обнаружил, что из спальни его супруги похищены жемчуга, золотая табакерка и изумрудный, осыпанный брильянтами фермуар. Кривцов заподозрил гостей. На знамя Арзамасского полка легла позорная тень. Вскоре драгоценности были нечаянно замечены у одного из офицеров. Полковой командир вызвал его к допросу; отдав командиру все пропавшие вещи, он сознался в краже.

Это был поручик Обресков.

Военный суд лишил Обрескова чинов и дворянского звания и выписал его солдатом в Переяславский полк. Оттуда он попал на Кавказ, в Нижегородский драгунский, который в 1829 году участвовал в Турецкой войне. Рядовой Нижегородского полка Обресков отличился и был награжден «солдатским Георгием», как называли тогда в войсках «знак военного ордена». Этот крестик носили на такой же точно черно-оранжевой георгиевский ленточке, только права на включение в списки георгиевских кавалеров он не давал. С этим крестом Обресков и изображен на портрете.

Семь лет прослужил Обресков в солдатах. Только в 1833 году он был наконец «высочайше прощен» и уволен с чином коллежского регистратора. В таком чине в царской России служили самые маленькие чиновники — например, пушкинский станционный смотритель,— и с этим чином Обресков должен был начинать новую жизнь. В 1836 году он поступил на службу в канцелярию курского губернатора.

Дальнейшая жизнь его не представляет для нас никакого решительно интереса. Первое время он занят был хло-

потами о возвращении ему дворянства, а в 60-х годах действительно служил предводителем дворянства в Демянском уезде, Новгородской губернии.

Для нас важно другое. В тот год, когда он поселился в Курске и поступил на службу к тамошнему губернатору, он уже был женат на Наталии Федоровне Ивановой.

Что побудило ее выйти замуж за этого опозоренного человека, для которого навсегда были закрыты все пути служебного и общественного преуспеяния? Любовь? Или, может быть, она знала, что Обресков взял на себя чужую вину? Или потому, что он был состоятельным человеком? Этого мы никогда не узнаем.

Альбом в бархатном переплете

Опять нехорошо! Я много узнал про Обрескова и мало про Лермонтова. Кроме того, у меня скопилось множество фамилий близких и дальних родственников Наталии Федоровны Ивановой, с которыми надо что-то делать.

Прежде всего я узнал, что у нее был отчим. Мать Наталии Федоровны после смерти Федора Федоровича вышла замуж за Михаила Николаевича Чарторижского. Наталия Федоровна воспитывалась в его семье.

Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Надо выяснить, кто он такой.

Спрашиваю Маклакову. Не знает.

Спрашиваю Чулкова. И он не знает.

Тогда я начинаю снова выспрашивать Маклакову, что это за Чарторижский и как мне что-нибудь вызнать о нем. Маклакова уверяет меня, что не помнит. Но я очень прошу и даже настаиваю. И тут она вспомнила.

Она вспомнила, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой — урожденная Чарторижская.

— А кто такая Нина Михайловна Анненкова?

— Это старушка одна,— говорит Маклакова.— Живет она в семье Анатолия Михайловича Фокина, очень славного и обязательного человека. Я вам дам к нему записку, он вас с ней познакомит. А дом их напротив нашего: Зубовский бульвар, пятнадцать.

Я перешел через улицу и во дворе восьмиэтажного дома обнаружил старинный особнячок, в котором и жили Фокины. И вот навстречу мне танцующей походкой выходит

очень высокий человек лет пятидесяти. Лицо чисто выбрито, и вокруг губ все время гуляет небольшая усмешка.

Встряхнув мою руку, он рекомендуется: «Фокин».

Я вручил ему записку Маклаковой, которую он пробежал, извинившись. Сунув ее в карман, он снисходительно склонил голову:

— Чем могу служить!

И театральным, широким жестом пригласил в комнату.

Я объяснил цель своего прихода.

Фокин тяжело вздохнул и горестно надломил бровь. Лицо его выразило крайнюю степень сожаления. Нина Михайловна — человек престарелый и нездоровый, с весьма расстроенной памятью. Еще несколько лет назад она действительно сама как-то упомянула в разговоре с ним, Анатолием Михайловичем, что девичья фамилия ее бабки Чарторижская и что бабка эта погребена на кладбище Донского монастыря, где мраморный ангел распростер крылья над ее надгробьем. Большего она, конечно, припомнить не в силах и только взволнуется. Стоит ли тревожить старушку? Ему очень неприятно, что я напрасно потратил время. У него самого касающегося Лермонтова, к сожалению, ничего нет. Старинные реликвии, принадлежавшие когда-то бабушкам и дедушкам, уже разошлись: кое-что пропало, другое продано. Впрочем, у его жены, Марии Марковны, сохранился еще доставшийся ей по наследству альбом Марии Дмитриевны Жедринской, супруги того Жедринского, который в конце 60-х годов был курским губернатором. В альбоме имеется стихотворение Апухтина, собственноручно им вписанное.

— Может быть, вам любопытно взглянуть? — гостеприимно спрашивает Фокин.— Автограф Апухтина еще не опубликован.

Апухтин?.. К чему мне Апухтин? К работе моей никакого отношения он не имеет. Но Фокин уже достает из письменного стола большой альбом в темно-синем бархатном переплете. Действительно, на первой странице — стихотворение Апухтина, посвященное хозяйке альбома.

Я не запомнил его точно: помню только, Апухтин пишет, что нашел «оазис» под кровом губернаторского дома и отдыхал там душой, что он снова уходит в далекий путь, но надеется сложить когда-нибудь свой страннический посох «у милых ног» курской губернаторши. Под стихотворением —число: «2 августа 1873 года». Стало быть, первая

страница этого альбома написана через тридцать с лишком лет после смерти Лермонтова. Что интересного может заключаться для меня в этом альбоме?

— Ничего нового, кроме Апухтина, в этом альбоме нет,— предупреждает Фокин.— Пожалуй, не стоит и перелистывать. Все остальное — давно известные стихи, которые сама Мария Дмитриевна просто переписывала из книг.

В самом деле, стихи все известные: «Выдь на Волгу...» Некрасова, «Сенокос» Майкова, Лермонтов — «На севере диком стоит одиноко...». Потом — стихи Фета, какого-то Свербеева, опять Некрасов, Тютчев, Пушкин...

Я уже собираюсь отдать альбом, перевернул еще несколько страниц... И вдруг! Вижу — рукою Жедринской переписано:

В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ

Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести?
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости.
И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.

М. Ю. Лермонтов

И даже год указан: «1832».

Я прямо задохнулся от волнения. Неизвестные стихи! К Ивановой! И фамилия ее написана полностью! Да так только в сказке бывает! Прямо не верится. И откуда взялось это стихотворение, да еще в альбоме 70-х годов? Перевел глаза на соседние строки... А!

В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ

Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет!

М. Ю. Лермонтов

И снова год: «1832».

Перевернул страницу: «Стансы» Лермонтова. И тоже неизвестные!

Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было,—
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило.

Как настоящее, оно
Страстями бурными облито,
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в степи забытый.

Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.

Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула,
И, бывши все мне на земле,
Как всё земное, обманула.

М. Ю. Лермонтов

И дата: «1831».

— Этот альбом,— говорит Фокин, иронически наблюдая за тем, как я его изучаю,— собственно, уже не принадлежит Марии Марковне. Она уступила его Государственному Литературному музею, и с завтрашнего дня он поступает в их собственность. Поэтому я просил бы вас: пусть то, что мы его с вами рассматриваем, останется между нами...

— Можете быть уверены,— бормочу я, а сам думаю: «Сказать ему или не говорить, что в альбоме — неопубликованный Лермонтов? А вдруг он решит не продавать альбом, оставит его у себя, а потом что-нибудь случится — и стихотворения, уже раз уцелевшие чудом, погибнут, как погибли десятки других лермонтовских стихов!.. Нет, думаю, не стоит подвергать альбом риску. Продал — и продал».

И я возвратил ему альбом со словами:

— Да, очень интересный автограф Апухтина.

А на следующий день побежал в Литературный музей и, словно невзначай, спрашиваю:

— Вы, кажется, покупали альбом у Фокина?

— Купили.

— Посмотреть можно?

— Нет, что вы! Он еще не описан. Опишут — тогда посмотрите.

Опишут?! Это значит: обнаружат без меня лермонтовские стихотворения — и пошла тогда вся моя работа насмарку.

Зашел снова через несколько дней:

— Ну что? Альбом Жедринской не описали еще?

— Нет, уже описали.

Стараюсь перевести незаметно дыхание:

— А что там нашли интересного?

— Особого ничего нет. Только автограф Апухтина.

Я прямо чуть не захохотал от радости. Не заметили!!!

И тут же настрочил заявление директору с просьбой разрешить ознакомиться с неопубликованным стихотворением Апухтина. Но скопировал я, конечно, не Апухтина, а стихотворения Лермонтова. И только после этого попросил разрешения опубликовать их.

Прощанье с Н. Ф. И.

Остается объяснить, как неизвестные стихотворения Лермонтова попали в альбом курской губернаторши.

Это довольно просто. С 1836 года Наталия Федоровна поселилась с Обресковым в Курске. Дарья Федоровна прожила в этом городе до самой смерти. А после нее там продолжали жить ее дочери. Понятно, что стихи Лермонтова, посвященные сестрам Ивановым, курские любительницы поэзии переписывали из их альбомов в свои. И таким же путем в 70-х годах стихи эти попали наконец в альбом Жедринской.

Может быть, кто усомнится: лермонтовские ли это стихи?

Лермонтовские! Окончательным доказательством служит нам то, что несколько строчек из «Стансов», обнаруженных в фокинском альбоме, в точности совпадают с другими «Стансами», которые Лермонтов собственноручно вписал в одну из своих тетрадей, хранящихся ныне в Пушкинском доме.

Теперь уже становится более понятной вся история отношений Лермонтова с Н. Ф. И. Теперь уже ясно, что и под зашифрованным обращением «К *» в замечательном стихотворении 1832 года скрыто имя все той же Ивановой.

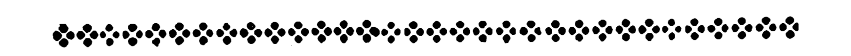
В последний раз обращается Лермонтов к Н. Ф. И., чтобы навсегда с ней расстаться. С какой горечью говорит он ей о двух протекших годах! И с какой гордостью — о своем вдохновенном труде, с какой верой в великое свое предназначение!

Вот они, эти стихи на разлуку:

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец?
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец?
Я горд! — прости — люби другого,
Мечтай любовь найти в другом:
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил —
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не зная коварную измену,
Тебе я душу отдавал; —
Такой души ты знала ль цену? —
Ты знала: — я тебя не знал!

Вот и конец истории этой любви. А вместе с ней — долгой истории поисков.

1935—1938



Портрет

Знакомое лицо

Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета, который изображает человека, давно умершего и тем не менее хорошо вам знакомого. История эта не такая старинная, как самый портрет, но, хотя она началась совсем недавно, это все-таки целая история.

От одного московского издательства я был как-то командирован в Ленинград и пробыл там несколько дней. Событие это, само по себе ничем не примечательное, не стоило бы даже и упоминания, если бы другое событие — или, попросту, совершенно ничтожный случай, о каких мы забываем ровно через минуту,— не положило начала целому ряду приключений.

Итак, я был командирован в Ленинград — город, особенно близкий моему сердцу. Там я учился и окончил университет, вступил на литературное поприще, обрел там первых друзей — словом, был счастлив.

Какое это удивительное, какое радостное чувство — вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять! А уж если вам случалось бывать в Ленинграде, да еще в белые ночи, вы, конечно, поймете меня.

Прямота набережных. Неподвижный строй бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов и их опрокинутые отражения в зеркально-черных водах окантованной гранитом Невы. Ажурные арки мостов на фоне розово-желтой зари. Лиловые контуры башен, колонн и скачущих

бронзовых коней в этом обманчивом полусвете. И кажется еще прямей, чем всегда, прямота проспектов и набережных. Будто легче и ближе один от другого стали мосты, будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной, загадочной тишине. Словно все уменьшилось вокруг, но город стал еще лучше, прекрасней, если только может стать еще прекраснее этот великий город! Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования.

По приезде в Ленинград я не преминул наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР.

Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова, я, приезжая в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме, где собраны почти все рукописи Лермонтова, где можно видеть его портреты, картины и рисунки, сделанные его рукой, где целая комната уставлена шкафами, в которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литература о нем.

Когда-то я даже служил в Пушкинском доме — по старой памяти пользуюсь там полной свободой и по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты.

Так и на этот раз я явился в музейный отдел, к Елене Панфиловне Населенко, и получил от нее разрешение хозяйничать: просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги, самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки. И вот, пользуясь ее гостеприимством, я уже расположился в рабочей комнате музея, заставленной шкафами, письменными столами и шифоньерками.

Бывают же такие неудачи! Не успела Елена Панфиловна отвернуться, как я, пробираясь мимо ее стола, смахнул рукавом какую-то разинутую папку с незавязанными тесемками. Папка шлепнулась на пол, и тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое: штук пятнадцать портретов известного педагога Ушинского, гравированный портрет митрополита Евгения, составившего словарь русских писателей, несколько изображений Ломоносова с высоко поднятой головой и бумагой в руке, Бестужев-Марлинский в мохнатой кавказской бурке, фотография: Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке, памятник дедушке Крылову, поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне и вид южного побережья Крыма...

— Как это меня угораздило! Прямо слон...— бормочу я, ползая по полу.— Простите, Елена Панфиловна, не сердитесь!

— Ну уж ладно, что с вами делать! — улыбается Елена Панфиловна.— Давайте-ка папку сюда.

Но я медлю отдать ей.

— Простите,— говорю.— Разрешите мне еще разок взглянуть на эти картинки...

— На что они вам?

— Сейчас...— отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке.— Сейчас!..

Неужели это мне только почудилось? Нет, конечно, я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо. Оно мелькнуло, когда папка упала.

— Одну минуту... Секундочку... Вот!

И я быстро выхватил из кучи картинок небольшую пожелтевшую любительскую фотографию, изображавшую молодого военного.

Никогда в жизни не видел я этого портрета. Но откуда же я тогда знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз, чуть вздернутый нос, тонкие темные усы над пухлым детским ртом, упрямый подбородок, высоко поднятые, словно удивленные брови и ясный, спокойный лоб будто совсем и не согласованы между собой, а лицо между тем чудное, необыкновенное. Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели виднеется эполет.

Перевернул. На обороте — надпись карандашом: «Прибор серебряный». И все! Кто же это?

Это, конечно, он! Я узнал его сразу, словно знаком с ним давно, словно видел его когда-то вот точно таким. Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет?

И сразу удивление, и радость, и сомнение: Лермонтов?! Среди каких-то случайных картинок... А вот уверен, что он был такой, каким изображен на этой выцветшей фотографии, хотя, по правде сказать, и не очень похож на другие свои портреты. Но все-таки кто это?

— Елена Панфиловна, это, случайно, не Лермонтов?

— Считается почему-то, что Лермонтов,— отвечает Елена Панфиловна, и мне уже нечем дышать,— только почему так считается, в точности никому не известно.

И вот смотрю я — и ведь еще неизвестно, кто это, а уже кажется, словно короче стали сто лет, которые отделяют нас от него, и Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии. И какая заманчивая тайна окружает его лицо! Сколько лет ему на этом портрете? В каком он изображен

мундире? Как попала сюда эта выцветшая фотография и где самый портрет? И на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?

— Елена Панфиловна, на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?

— Эта фотография,— говорит Елена Панфиловна,— попала к нам в Пушкинский дом из Лермонтовского музея при кавалерийском училище, очевидно, в 1917 году. Наверно, там ее и считали репродукцией с лермонтовского портрета. А уж коли вам кажется, что это действительно Лермонтов, вам надо заняться этим вопросом и найти самый портрет. Портрет интересный,— с улыбкой заключила она и, выдвинув ящик каталога, взялась за перо.

«Г 1-08-87»

Итак, прежде всего надо было установить, как попала фотография в музей, на стол к Елене Панфиловне.

В Рукописном отделении Пушкинского дома я выписал инвентарные книги бывшего Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище. Действительно, все материалы, и в том числе инвентарные книги этого музея, в 1917 году поступили в Пушкинский дом.

Перелистал инвентарную книгу. Теперь я уже знаю: фотографию с портрета М. Ю. Лермонтова в Лермонтовский музей пожертвовал некий В. К. Вульферт, член Московской судебной палаты.

Мне стала известна, таким образом, фамилия владельца портрета. Но когда, в какие годы он владел им? Когда пожертвовал в музей фотографию? Может быть, еще в 80-х годах прошлого века, когда при кавалерийском училище в Петербурге впервые открылся Лермонтовский музей?.. Как искать этого Вульферта? Жив ли он? В Москве ли? Хранит ли портрет?

«Установим сперва,— говорю я себе,— кто такой Вульферт. Прежде всего надо проверить, нет ли этой фамилии в картотеке Модзалевского».

Да, картотека эта — настоящее чудо библиографии. Есть! Я без особого труда выяснил, в каких именно книгах встречается имя В. К. Вульферта. Потом перешел в библиотеку Пушкинского дома и там, снимая с полок книги и раскрывая их на указанных страницах, постепенно

узнал, что Вульферта звали Владимиром Карловичем, что в его коллекции хранились рукопись гоголевской «Женитьбы» и письма поэта Батюшкова, что и сам Владимир Карлович печатал рассказы в 80-х годах, что отец его, Карл Антонович, был женат на сестре Николая Станкевича — молодого мыслителя, с которым Лермонтов учился в Московском университете. В книге «Список гражданским чинам» я вычитал, что Владимир Карлович Вульферт «в службе с 1866 года».

Смекаю, что, должно быть, его давно нет на свете. Беру книгу «Вся Москва на 1907 год» — адресную московскую книгу. Гляжу: Владимира Карловича нет и в помине. Зато есть какой-то Иван Карлович Вульферт, Молчановка, 10. Вероятно, брат Владимира Карловича. Следовательно, и этот годится.

Пропускаю несколько лет. Перелистываю том «Вся Москва на 1913 год». Все идет хорошо. К Ивану Карловичу Вульферту прибавился какой-то Анатолий Владимирович. Очевидно, сын Владимира Карловича. Адрес: Большой Николо-Песковский, 13.

Рука тянется к книге «Вся Москва на 1928 год», а в душе — целая буря... Сколько было событий с 1913 года по 1928! Живы ли Вульферты? В Москве ли? Цел ли портрет? В их ли руках или, может быть, продан давно? А... Б... В... Вуль... Вульф... «Вульферт Анат. Влад., улица Вахтангова, 13, кв. 23».

Живы!!!

Живы в 1928 году! А сейчас?

— Простите,— говорю,— где тут у вас стоит последняя телефонная книжка?

— Вон на той полке.

— Так ведь это же ленинградская, а мне московскую надо.

— Московской у нас нет.

— Батюшки!..

И, недолго размышляя, я опрометью бегу на междугородную телефонную станцию и требую, запыхавшись, московскую телефонную книжку.

«Вульферт А. В., улица Вахтангова, 13, телефон Г 1-08-87».

— Есть!

Вернулся в Москву. И вечером, в тот же день, отправился на поиски Вульферта. В портфеле у меня фотография, переснятая в Пушкинском доме с той фотографии.

Живу, оказывается, от Вульферта на расстоянии одного квартала, крышу дома вижу из своего окна каждый день, а даже и не подозревал, что так близко от меня неизвестный лермонтовский портрет.

Удивительно!

Сворачиваю с Арбата на улицу Вахтангова. Поравнялся с домом 13. Поднимаюсь по лестнице, рассматриваю дощечки на дверях и наконец стучу в дверь 23-й квартиры.

Открывает какая-то заспанная старуха.

— Простите,— говорю,— можно видеть Анатолия Владимировича Вульферта?

— Опомнились! Они уж давно не живут здесь.

Я обомлел:

— Да что вы! А где же они?

— Не скажу.

— А у кого же теперь узнать?

— У сына ихнего, у Сашеньки. Он военным инженером работает. Сходите к нему домой. Он и скажет.

— А он где живет?

— На Новинском живет, дом двадцать три вроде... Туда, к площади Восстания поближе. А вот квартира какая, не помню... Александра Анатольевича спрóсите!

И вот я уже бегу на Новинский.

Дом 23. Квартира, оказывается, 17. На двери ящик почтовый. Из ящика высунулся угол газеты «Советское искусство». Ну, думаю, коли здесь искусство в чести, цену портрету знают. Очевидно, он цел-невредим.

Звоню. Слышу за дверью шаги и голос мужской:

— Кто?

— Можно видеть Александра Анатольевича?

— Простите! Если вы подождете минуточку, я отворю дверь и скроюсь. Я принимаю ванну...

Замок щелкнул. Зашлепали туфли. Голос из глубины квартиры крикнул: «Входите!»

Не успел я еще и дверь за собой закрыть — уже чувствую, угадываю по вещам: портрет здесь!

В передней, под вешалкой, старинный, с горбатой крышкой баул.

В стенном шкафу — корешки старинных альманахов и книг.

Над шкафом, тут же в передней, старинная картина: пруд и деревья.

Пока я оглядывал переднюю, вышел хозяин дома — высокий, красивый, тонкий, чуть-чуть сутулится. На мокром проборе — сетка. Увидел меня — и:

— Ах, простите! Я не знал!.. Я по голосу принял вас за одного своего приятеля... Мне так неловко!

— Помилуйте! Это мне должно быть неловко.

— Позвольте познакомиться: Вульферт.

— Андроников.

— Очень приятно. Кстати, я, очевидно, знаком с вашим однофамильцем в Тбилиси.

— Почему же с однофамильцем? Может быть даже и с родственником...

— Ах, значит, вы из Тбилиси? В таком случае, вы должны хорошо знать театр Руставели.

— Еще бы! Можно сказать, воспитан на этом театре.

— Значит, вы видели Акакия Хораву?

— Разумеется. И страшно люблю его.

— По-моему, это совершенно гениальный актер! В этом театре есть другой, тоже потрясающий актер — Васадзе. Скажите, вы их когда-нибудь в «Разбойниках» видели? Я лично просто влюблен в их игру!

И тут завязался у нас торопливо-восторженный разговор о грузинском театре, о Малом театре, о МХАТе.

Александр Анатольевич оказался записным театралом. Несколько лет он проработал инженером на Колхидстрое и, постоянно бывая в Тбилиси, как говорится, не выходил из театра.

Из передней Вульферт ввел меня в комнату. Я покосился на стены: старинные гравюры, акварели. «Моего» портрета не видно. И за интересной беседой я чуть не забыл, зачем и пришел. Наконец я раскрыл свой портфель, вынул из него фотографию и переложил к себе на колени. Затем обратился к Вульферту:

— Простите, Александр Анатольевич, этот портрет вам знаком?

И с этими словами показал ему фотографию.

— Так это же наш Лермонтов! — вскричал Вульферт.— Откуда он у вас?

— Так это действительно Лермонтов? — удивился, в свою очередь, я.— Неужели он цел? Покажите!

— А я не спросил вас даже, зачем вы зашли, и замучил своими восторгами. Объясните мне, ради бога, откуда у вас фотография!

Я объяснил.

— Восхитительная история! — поражается Вульферт.— Сейчас настанет конец вашим поискам. Портрет где-то здесь, в этой квартире. Дед мой очень ценил его и, даже когда жертвовал свою библиотеку и рукописи в Исторический музей, с портретом не захотел расставаться. Кстати, вот фотография деда. А это вот прадед. Рядом с ним прабабка моя, Надежда Владимировна, сестра Николая Станкевича. Другая сестра была замужем за сыном Михаила Семеновича Щепкина. У деда хранился где-то портрет Михаила Семеновича, но теперь я не знаю...

Итак, я попал в дом к москвичу, предки которого были связаны со Станкевичем — выдающимся русским мыслителем, с великим актером Щепкиным.

— Погодите, сейчас покажу вам Лермонтова,— сказал Вульферт.

Он заглянул за шкаф. На шкаф. В шкаф. Под шкаф. За ширму. Пошарил за письменным столом. Потом отодвинул диван, сундук в передней...

— Странно! — проговорил он.— Портрет довольно большой, в хорошей овальной раме, писан маслом и, к слову сказать, недурным художником. Ума не приложу, где он. Очевидно, мама его куда-то запрятала... Давайте условимся так: через несколько дней моя мать, Татьяна Александровна, приедет из Крыма. Мы с ней отыщем портрет, и я вам сразу же позвоню.

Я записал ему свой телефон и ушел, оживленный приятною встречей.

«Вы не расстраивайтесь...»

Прошло две недели. Наконец Вульферт звонит.

— Вы не расстраивайтесь,— предупреждает он с первых же слов.— С портретом произошла маленькая неприятность, и я в результате чувствую себя виноватым перед вами за то, что невольно вводил вас в заблуждение. Мне

прямо не хочется говорить, но портрет, к сожалению, уже не в наших руках и, боюсь, не погиб ли...

Я не мог вымолвить слова.

— Пять лет назад,— продолжал Вульферт,— когда мы переезжали из Николо-Песковского в новую нашу квартиру, моя мать отдала этот портрет одному человечку за совершенный бесценок. Это паренек, по имени Боря; раньше он служил в лавке старинных вещей на Смоленском рынке, у старика антиквара. Мама заходила иногда в эту лавку и видела там этого Борю. Потом он раз или два приносил что-то к нам на квартиру и присмотрел для себя овальную раму от лермонтовского портрета, просил продать ему, но мама отказывалась. И вот в день переезда он снова появился у нас и пристал... ну, прямо с ножом к горлу: продайте ему эту раму! Мама отдала ему раму, потом спохватилась: оказывается, он унес ее вместе с портретом.

— Как фамилия этого Бори? — спрашиваю я.

— К сожалению, мама не знает.

— А почему вы говорите, что портрет мог погибнуть?

— Да ведь, очевидно, этот Боря не представляет себе, что в его руках Лермонтов,— отвечал Вульферт.— Татьяна Александровна ему ничего не успела сказать. А после этого случая она его не видела... Я очень жалею,— заключил он,— что так получилось. Но если мы что-нибудь узнаем случайно об этом портрете, я вам позвоню.

Мы попрощались. Мне показалось, что я узнал о гибели друга.

Потеряны следы. Нить поисков оборвана. Смоленского рынка нет. Лавки древностей нет. Старика антиквара нет. Фамилия Бориса, купившего этот портрет, неизвестна. С момента продажи прошло целых пять лет. Пять лет назад портрет купил в Москве некто Борис. Это все, что я знаю. Увы! У меня слишком мало данных, чтобы продолжать дальнейшие поиски.

Однако если этот Борис не знает, что купил Лермонтова, то портрет не обнаружится сам. На это надеяться нечего. Портрет нужно искать, искать упорно, настойчиво! Если у меня мало данных, чтобы продолжать мои поиски, значит, надо собрать эти данные. И прежде всего порасспросить Вульфертов об этом бесфамильном Борисе.

Я отправился к Вульфертам.

На этот раз меня встретила немолодая, но статная черноволосая женщина с умными серо-голубыми глазами.

— Знаю, знаю все! — отвечала она с живостью, как только услыхала мою фамилию.— Саша мой мне все рассказал. «Приходил,— говорит.— Так интересно мы с ним поговорили». Я как узнала, что он начал прямо с театра, так ему и сказала: «Ты его, верно, заговорил до смерти, он больше к нам не придет!» Я и то удивляюсь, как вам не противно с нами водиться,— продолжала она, жмурясь с шутливым неудовольствием.— Ведь с этим портретом я и сама себе места не нахожу, а уж будь я в вашем положении, я прямо с ума бы сошла!

— А как,— спрашиваю,— унес Борис эту раму?

— Да очень просто! — смеется Татьяна Александровна.— Взял под мышку да и понес. Она не тяжелая... И откуда он тут вывернулся, никак не пойму,— недоумевает она.— Нагрузили, значит, машину полную, а Саша куда-то побежал и все деньги унес. Шоферу платить нечем. И вдруг тут этот Борис, эдакий вертлявенький, белобрысенький, шепелявенький: «Отдайте мне рамощьку жа пятьдещат!» — «Да ну вас совсем! — говорю.— Берите!» Он сунул мне деньги и унес. Хватилась — милые мои! — утащил вместе с портретом... Да вы не печальтесь! Сейчас напою вас кофе, а уж как горю помочь, мы придумаем... В тридцать пятом году,— припоминает она,— Борис этот работал в Торгсине, на улице Горького, кассиром в колбасном отделе. Раньше-то он мне часто на глаза попадался, а с тех пор, как портрет купил, канул как в воду: верно, боится меня. Ну, да ведь не умер же он! Вот встретила бы его — мигом бы к вам отрядила моего Александра, и достали бы вы портрет за милую душу... Да пейте же кофе, пока горячий!

Тут стало мне казаться, что все еще можно поправить: так успокоительно действовала певучая московская речь Татьяны Александровны, ее шутливый тон, ее радушное гостеприимство.

Встреча в комиссионном магазине

Нашел я знакомых, которые достали мне адрес бывшего директора магазина на улице Горького. Оказалось, что он работает директором во Владивостоке. Написал ему. Спрашивал, не помнит ли он фамилию кассира в колбасном отделе. Наверно, мой вопрос показался ему удивительным. Ответа я не дождался.

Тогда я узнал адрес бывшего замдиректора. Оказалось, что он переехал в Одессу. Написал и ему о своих злоключениях. Опять нет ответа.

Должно быть, за ненормального приняли.

Обошел я комиссионные магазины Москвы. Расспрашивал, не встречал ли кто по комиссионным делам шепелявого Бориса.

— Как фамилия? — спрашивают.

— Фамилию-то как раз и не знаю.

— Трудно сказать,— отвечают.— В Москве много Борисов.

Выкладывал перед ними на прилавок фотографию с бывшего «вульфертовского» портрета:

— Не попадал к вам этот портрет?

— Не попадал.

— Если поступит к вам на комиссию, не откажите сообщить мне по телефону.

Побывал с этой фотографией в Литературном музее. Просил позвонить, если портрет принесут к ним.

Встречаю знакомых, советуюсь с ними, как разыскать Бориса.

Заглянул к Вульфертам. Татьяна Александровна дома.

— Как живете, Татьяна Александровна?

— Не спрашивайте!

— Что так?

— Я все погубила!

— Что погубили?

— Ваш портрет.

— То есть как «мой» портрет погубили?

— Да вы слушайте!.. Зашла я как-то в Столешников переулок, в комиссионный. Только вхожу, вдруг вижу — среди публики Борис этот самый! Я как крикну: «Боренька! Боря!» — и прямо к нему. Даже самой неловко. Он обернулся. «Я,— говорю,— Татьяна Александровна Вульферт, из Николо-Песковского. Неужели не помните?» А он смотрит на меня телячьими своими глазами. «Помню,— говорит.— Я у вас рамощьку купил».— «Шут с ней, с этой рамочкой! — говорю.— Вы мне портрет верните. Это портрет нашего предка и не мне принадлежит, а моему брату. (Это я нарочно. А то сказать ему: «Лермонтов» — не отдаст!) Брат меня,— говорю,— поедом ест каждый день, требует портрет обратно». И слышу тут я от него, что портрет он какому-то художнику отдал и у того он за шкафом ва-

ляется. А раму кому-то другому уступил. Я как узнала, что цел портрет, прямо взмолилась: «Продайте его мне!» А он смеется: «Если я вам портрет принесу, вы мне за него миниатюры отдадите?» Я согласилась. «Пускай,— думаю,— миниатюры даром берет». Условились, что он на другой день принесет мне портрет. Записала ему новый адрес... И вот сижу жду его, жду — три недели прошло, а его нет!

— А вы фамилию узнали? — торопливо спрашиваю я.

— Вот то-то что нет.

— Ах! Как же так?

— Да я спросила, а он говорит: «Ведь вам не фамилию мою к брату нести, а портрет! Не волнуйтесь, завтра приду...» Да бросьте вы хмуриться! — уговаривает меня Татьяна Александровна.— Главное, портрет цел. А уж если мне попадется теперь этот Борис, силой заставлю сказать фамилию, к милиционеру сведу. Одного только боюсь: не вздумал бы этот художник расчищать холст. Ведь там под мундиром у Лермонтова будто еще виднеется что-то. Знакомый художник один к нам ходил, все просит, бывало: «Татьяна Александровна, дайте кусочек отколупнуть, посмотреть, что там просвечивает!»

— Позвольте... А что же там может просвечивать? — спрашиваю я в испуге.

— Да я ему сама говорю: «Душа там, наверно, просвечивает». Уж не знаю, что он там нашел, только ковырять я ему не позволила.

— Ничего,— отвечаю я многозначительным тоном.— Отыщем — проверим в чем дело. Только бы отыскать поскорей! Остальное нетрудно.

Николай Палыч

Время идет — нет портрета. Нет ни портрета, ни Бориса, ни адреса художника, у которого портрет за шкафом. Знакомые интересуются:

— Нашли?

— Нет еще.

— Что-то вы долго ищете! Портрет, наверно, давно уже ушел в другие руки. Кто же станет Лермонтова за шкафом держать!

Я объясняю:

— Так ведь нынешний владелец не знает, что это Лермонтов.

— Ну-у...— тянут разочарованно,— в таком случае, вряд ли найдете.

«Ладно,— думаю,— докажу им!»

А доказать нечего.

Решил я тогда потолковать на эту тему с Пахомовым, с Николаем Палычем. Николай Палыч знает редкие книги, старинные картины и вещи и среди московских музейных работников пользуется известностью и авторитетом.

«А Николай Палычу вы показывали?», «А что говорит по этому поводу Николай Палыч?» Такие вопросы постоянно слышишь в московских музеях.

А уж что касается Лермонтова, то никто лучше Пахомова не знает портретов Лермонтова, рисунков Лермонтова, иллюстраций к произведениям Лермонтова, музейных материалов, связанных с именем Лермонтова. По этой части Николай Палыч осведомлен лучше всех. А тут я еще узнаю, что он работает над книгой «Лермонтов в изобразительном искусстве». «Дай,— думаю,— зайду к нему. Сперва удивлю его новым портретом, а потом посоветуюсь».

Сговорился с ним по телефону и пошел к нему вечерком.

Пьем с Николай Палычем чай, звякаем ложечками в стаканах, обсуждаем наши лермонтовские дела, обмениваемся соображениями.

Наконец показалось мне, что настал подходящий момент. Расстегнув портфель, я переложил заветную фотографию к себе на колени.

— Николай Палыч,— обращаюсь я к нему с напускным равнодушием,— какого вы мнения об этом портрете?

И с этими словами поднимаю фотографию над стаканом, чтобы Николай Палычу лучше ее разглядеть. Улыбаюсь. Жду, что он скажет.

— Минуточку,— произносит Николай Палыч.— Что-то не вижу, родной, без очков на таком расстоянии.

Он протягивает руку к письменному столу.

— Вы говорите об этом портрете? — и показывает мне фотографию, такую же точно.

Я не мигая смотрю, надеясь отыскать в ней хоть небольшое отличие. Нет! Никакой решительно разницы! Так же виднеется серебряный эполет из-под воротника шинели, так же удивленно приподняты брови у Лермонтова, и

глаза смотрят так же сосредоточенно и серьезно. Такой же нос, и губы, и волосы. Даже самый размер фотографии точно такой же!

Первое мгновение ошарашило меня, как нечаянный выстрел. В следующий миг и портрет, и Борис, и комиссионные магазины, и разговоры в музеях показались мне пресными, никому уже больше не нужными, как вчерашние сны.

Молчим. Я прокашлялся.

— Любопытно,— говорю.— Совершенно одинаковые!

Пахомов положил фотографию на стол и улыбнулся.

— М-да! — сказал он коротко.

Мы прихлебнули чаю.

— Откуда у вас фотография? — помолчав, спрашивает Николай Палыч.

— Пушкинский дом. А ваша?

— Исторический музей.

— Там оригинал?

— Нет, фотография. Оригинал был у Вульферта.

Все знает! В какое глупое положение я поставил себя! Снова отхлебнули чаю и снова молчим. Наконец я решаюсь заговорить:

— Что вы думаете, Николай Палыч, об этом портрете? По-моему, интересный.

— Согласен,— отвечает Пахомов.— Весь вопрос только в том, чей портрет!

— То есть как «чей»? Понятно, чей: Лермонтова!

— Простите, а откуда вы знаете?

— Ниоткуда не знаю,— говорю.— Я только делаю выводы из некоторых признаков. Например, офицер этот необыкновенно похож на мать Лермонтова. Вы ведь, наверно, помните, что Краевский, бывший с Лермонтовым в дружеских отношениях, говорил, что более, чем на свои собственные портреты, Лермонтов был похож на портрет своей матери. Помните, Висковатов в своей биографии Лермонтова приводит слова Краевского. «Он походил на мать свою, и если,— говорил Краевский, указывая на ее портрет,— вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик — так вот вам и Лермонтов...» Поверьте, Николай Палыч,— продолжал я,— что я уже прилаживал усики к лицу матери Лермонтова и ментик пристраивал — и сходство с «вульфертовским» портретом получается просто поразительное. И это сходство можно

объяснить, по-моему, только в том случае, если на портрете изображен ее единственный сын — Михаил Юрьевич Лермонтов.

— Предположим,— допускает Пахомов.

— Затем,— продолжаю я,— очевидно, у Вульферта были какие-то основания считать этот портрет лермонтовским. Не стал бы он держать его у себя да еще жертвовать фотографии в музеи, если бы ему самому он казался сомнительным. И, наконец, Лермонтов изображен здесь, очевидно, в форме Гродненского гусарского полка. В пользу этого говорит серебряный эполет на портрете, потому что в остальных полках, в которых пришлось служить Лермонтову — в лейб-гвардии гусарском, в Нижегородском драгунском и в Тенгинском пехотном,— прибор был золотой.

— Вы кончили? — спрашивает Пахомов.— Тогда позвольте возразить вам. Прежде всего, я не нахожу, что этот офицер похож на мать Лермонтова. Простите меня, но это аргумент слабоватый. Вам кажется, что похож, мне кажется — не похож, а еще кому-нибудь покажется, что он похож на меня или на вас. Мало ли кому что покажется. Нужны доказательства.

А я думаю: «Кажется, он прав. Действительно, это не доказательство».

— Вы ссылаетесь на мнение Вульферта,— продолжает Пахомов.— А я вам покажу сейчас портреты, которые их владельцы тоже выдавали за лермонтовские... Вот, полюбуйтесь.

И он протягивает мне две фотографии. На одной торчит кретин, узкоплечий, туполобый и равнодушный. На другой — пучеглазый, со щетинистыми усами и головой, втянутой в плечи, с гримасой ужасного отвращения курит длинный чубук. И впрямь, даже оскорбительно подозревать в этих изображениях Лермонтова! И снова я вынужден согласиться: мало ли что Вульферт считал...

— Что же касается формы,— продолжает неумолимый Николай Палыч,— по фотографии, конечно, ее определить невозможно, но вспомните, что серебряные эполеты носили во многих полках, не в одном только Гродненском. Лично я остерегся бы делать какие-либо выводы на основании столь шатких соображений. А теперь, родной, скажите почестному...— и Николай Палыч дружески улыбается,— скажите положа руку на сердце: какой же это Лермонтов?

Да возьмите вы его достоверные изображения! Разве есть в них хоть капля сходства с этим портретом?

— Есть, конечно.

— Ну в чем же? — недоумевает Пахомов.— Как вы докажете это?

Молчу. Доказать нечем.

Существо спора

Вышел на улицу, словно ошпаренный.

Неужели же я ошибся? Неужели это не Лермонтов? Не может этого быть! Выходит, напрасно старался. Досада ужасная!

А я уже представлял себе, как Лермонтов, такой, каким он изображен на этом портрете, ранней весною 1838 года приехал на несколько дней в Петербург. Служба в военных поселениях близ Новгорода, где расквартирован Гродненский полк, подходит к концу. Бабушка хлопочет через влиятельных лиц при дворе. Со дня на день можно ожидать перевода обратно в Царское Село, в лейб-гвардии гусарский полк. И, прежде чем навсегда снять мундир гродненского гусара, Лермонтов уступил, наверно, просьбам бабушки и согласился посидеть перед художником.

Портрет, судя по фотографии, очень хороший. Очевидно, бабушка пригласила известного живописца.

Вот Лермонтов воротился на несколько дней в город, откуда за год перед тем за стихи на смерть Пушкина был сослан в Кавказскую армию. Он возмужал. Путешествие по странам Кавказа, встречи с новыми людьми в казачьих станицах, в приморских городишках, у минеральных источников, скитания по дорогам кавказским исполнили его впечатлений необыкновенных, породили в нем смелые замыслы. Пустое тщеславие и порочную суетность светского общества, где скованы чувства, где глохнут способности, не направленные ни к какой нравственной цели, он стал понимать яснее и глубже. Уже приходила ему мысль описать свои впечатления в романе, обрисовать в нем трагическую судьбу умного и талантливого человека своего времени, героя своего поколения.

Разве не можем мы прочесть эти мысли в глазах Лермонтова на «вульфертовском» портрете?

Вот, представлял я себе, Лермонтов — такой, каким он изображен на этом портрете,— возвращается под утро домой по Дворцовой набережной, вдоль спящих бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов. Хлопают волны у причалов, покачивается и скрипит плавучий мост у Летнего сада, дремлет будочник с алебардой у своей полосатой будки. Гулко отдаются шаги Лермонтова на пустых набережных. И кажется, город словно растаял в серой предутренней мгле и что-то тревожное таится в его сыром и прохладном рассвете.

Уже представлял я себе, что Лермонтов — такой, каким он изображен на этой выцветшей фотографии, в накинутой на плечи шинели,— сидит, откинувшись на спинку кресла, в квартире у бабушки, в доме Венецкой на Фонтанке, и видит в окне узорную решетку набережной, черные, голые еще деревья вокруг сумрачных стен Михайловского замка. Уже чудился мне возле Лермонтова и низкий диван с кучей подушек, и брошенная на диван сабля, и на круглом столе стопка книг и бумаги... Свет из окна падает на лицо Лермонтова, на бобровый седой воротник, на серебряный эполет. И совсем близко, спиной к нам,— художник в кофейного цвета фраке. Перед художником — мольберт, на мольберте — портрет, этот самый...

Нет, не могу убедить себя, что это не Лермонтов! Никогда не примирюсь с этой мыслью!

Почему мы разошлись с Пахомовым во мнениях об этом портрете?

Да потому, очевидно, что по-разному представляем себе самого Лермонтова.

Правда, в этом нет ничего удивительного: даже знакомые Лермонтова расходились во мнениях о нем. Те, кто сражался и странствовал с ним рядом, рассказывали, что Лермонтов был предан своим друзьям и в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Но многим он казался заносчивым, резким, насмешливым, злым. Они не угадывали в нем великого поэта под офицерским мундиром и мерили его своею малою меркой.

Так почему же я должен согласиться с Пахомовым? Разве он представил мне какие-нибудь неопровержимые данные? Разве он доказал, что на портрете изображен кто-то другой? Нисколько! Просто он очень логично опроверг мои доводы, показал их несостоятельность. Он справедливо считает, что на основании фотографии у меня нет пока

серьезных данных приписывать это изображение Лермонтову. Но если бы у меня серьезные доказательства были, тогда Пахомову пришлось бы согласиться.

Значит, надо отыскать портрет во что бы то ни стало. Выяснить, кто из нас прав.

Выставка в Литературном музее

Звонят мне однажды по телефону, приглашают в Литературный музей на открытие лермонтовской выставки.

— Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наш директор, очень просит вас быть. Соберутся писатели, товарищи с кинофабрики, корреспонденты.

Потом позвонил Пахомов:

— Хорошо, если бы вы завтра зашли. Нам с Михаилом Дмитриевичем Беляевым удалось отыскать для выставки кое-что любопытное: неизвестные рисунки нашлись, книжечка с автографом Лермонтова.

Я пришел, когда уже расходились. В раздевалке было много знакомых. На ступеньках, перед входом в залы, стоял Бонч-Бруевич — с одними прощался, с другими здоровался, благодарил, напоминал, обещал, просил заходить.

— Вот хорошо, что пришел! — пробасил он, протягивая мне руку.— Вам надо показать все непременно.

— Поздновато, поздновато! — с любезной улыбкой приветствовал меня Пахомов и гостеприимно повел в залы.

Несколько опоздавших, закинув голову, рассматривали портреты, картины, скульптуры.

— Это потом поглядим,— проговорил Пахомов.— Начнемте лучше отсюда.

И повел сразу во второй зал.

— Тут недурные вещицы,— говорил он.— Вот занятная акварелька Гау: портрет Монго Столыпина. Отыскалась в фондах Третьяковки.

Я переходил от одной вещи к другой. Около нас остановились Бонч-Бруевич и Михаил Дмитриевич Беляев.

— Ну как? — спросил Бонч-Бруевич.

— Чу́дная выставка! — отвечал я, поднял глаза и, остолбенев, вдохнул в себя полной грудью: — А-а!

Передо мной висел «вульфертовский» портрет в скромной овальной раме. Подлинный, писанный масляными

красками. Так же, как и на фотографии, виднелся серебряный эполет из-под бобрового воротника офицерской шинели, и Лермонтов смотрел поверх моей головы задумчиво и печально.

— Падайте! — воскликнул Пахомов, жмурясь от дружелюбного смеха и протягивая ко мне обе руки, словно я падал.

Я стою молча, чувствуя, как краснею, и в глубоком волнении разглядываю портрет, о котором так долго, так неотступно мечтал. Я растерян. Я почти счастлив. Но какая-то тайная досада омрачает мне радость встречи. К чему были все мои труды, мои ожидания, волнения? Кому и какую пользу принес я? Все даром!

— Что ж, сударь мой, не скажете ничего? — спрашивает меня Беляев.

— Он онемел от восторга,— с улыбкой отвечает Пахомов.

— Дайте, дайте ему рассмотреть хорошенько! — требует Бонч-Бруевич.— Все-таки, можно сказать, из-за него портрет куплен.

— Почему из-за меня? — оживляюсь я.

— Это потом! — машет рукой Пахомов.— Как купили, я расскажу после. Скажите лучше: каков портрет?

— По-моему, превосходный.

— Портрет недурной,— соглашается Пахомов.— Только ведь это не Лермонтов, теперь уже окончательно.

— Как — не Лермонтов? Кто же?

— Да просто себе офицерик какой-то.

— Почему вы решили?

— Да по мундиру.

— А что же с мундиром?

— Офицер инженерных войск получается, вот что! Поглядите, дорогой мой: на воротнике сюртука у него кант... красный! А красные выпушки и серебряный прибор были в те времена в инженерных войсках. Тут уж ничего не поделаешь.

— Значит?

— Значит, ясно: не Лермонтов.

— Так зачем же вы его повесили здесь?

— Да хоть ради того, чтобы вам показать, услыхать ваше мнение. Хоть и не Лермонтов, а пока пусть себе повисит. Он тут никому не мешает.

— А по-моему, Николай Палыч, тут еще все-таки не до конца ясно...

Пахомов мотает головой:

— Оставьте!..

Семейство Слоевых

Оказалось, портрет попал в Литературный музей всего лишь за несколько дней до открытия выставки.

Пришла в приемную музея старушка, принесла четыре старинные гравюры и скатанный трубочкой холст. Предложила купить. Развернув, предъявила портрет молодого военного, который оценила в сто пятьдесят рублей.

Закупочная комиссия приобрела гравюры, а портрет неизвестного офицера решила не покупать. Зашла старушка за ответом. Ей возвращают портрет:

— Не подходит.

Разложив на столе газету, старушка уже собиралась снова скатать холст в трубочку, но тут как раз в комнату вошел Михаил Дмитриевич Беляев.

Увидев в руках старушки портрет, он заявил, что это тот самый, который разыскивает Андроников и фотографию с которого приносил в Литературный музей. Для точности заметил, что Андроников считает портрет лермонтовским, хотя Николай Палыч Пахомов держится на этот счет совершенно иного мнения. Вошедший вслед за ним Николай Палыч стал настаивать, чтобы портрет непременно приобрели. И тогда Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич распорядился купить. После этого портрет был внесен в опись музея под № 13931.

Спрашиваю в музее:

— Что за старушка?

— Слоева Елизавета Харитоновна.

— Где живет?

— Здесь, в Москве, Тихвинский переулок, одиннадцать.

Поехал в Тихвинский переулок.

— Слоеву Елизавету Харитоновну можно?

— Я Слоева.

— Вы продали на днях портрет в Литературный музей?

— Я.

— Откуда он у вас?

— Старший сын дал.

— А где ваш старший сын?
— В той комнате бреется.
— Простите, товарищ Слоев. Где вы достали портрет?
— Младший братишка принес. Он сейчас войдет... Коля, расскажи товарищу, откуда взялся портрет.

И этот Коля, студент железнодорожного техникума, рассказал мне конец моей многолетней истории:

— Ломали сарай дровяной у нас во дворе. Выбросили ломаный шкаф и портрет. Иду по двору, вижу: детишки маленькие веревку к портрету прилаживают, мокрого кота возить собираются. Я говорю: «Не стыдно вам, ребята, с портретом баловаться! Что вы, из себя несознательных хотите изображать?» Забрал у них портрет и положил на подоконник на лестнице. А старший брат шел. «Эдак,— говорит,— от парового отопления покоробятся и холст и краски». Снес я портрет домой, брат починил, где порвано, подреставрировал своими силами, протер маслом и повесил. А потом мама говорит: «Это какой-то хороший портрет. Снесу-ка я его в музей, предложу».

— А кому принадлежал шкаф из дровяного сарая? — спрашиваю я.

— Художнику Воронову.
— Где этот Воронов?
— Умер два года назад. А вещи его — портрет, шкаф — сложили в сарай.

Концы истории с портретом сошлись. Так я узнал наконец, что все эти годы портрет пролежал в Тихвинском, за шкафом у художника Воронова.

Ответ из Третьяковской галереи

Вышла книга Пахомова. «Вульфертовский» портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. «Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова,— прочел я на 69-й странице.— Только лоб и нос на этом портрете имеют отдаленное сходство с Лермонтовым».

Дочитал я до этого места, задумался.

Раньше мне казалось, что самое главное — найти портрет. Теперь он в музее, а главное не решено и решено, вероятно, не будет. И хотя я по-прежнему верю, что это Лермонтов, доказать это я, очевидно, не в силах. Годами, десятилетиями будет стоять портрет в темном шкафу, и

тысячи пылких, вдохновенных читателей Лермонтова никогда не взглянут на это необыкновенное лицо. Великий поэт по-прежнему будет скрыт под военным мундиром. Этот мундир не снимешь...

Не снимешь? А если все-таки попытаться?

Татьяна Александровна Вульферт говорила, что под мундиром что-то виднеется. Если портрет реставрировался, как знать... может быть, поверх сюртука был написан другой сюртук, с другими кантами.

Пришел в Литературный музей, в отдел иконографии. Обращаюсь к сотрудникам:

— Можно посмотреть вульфертовский портрет Лермонтова, который висел на выставке?

— Какой?

— Вульфертовский. Вульфертам раньше принадлежал.

— Нет у нас такого.

— Ну, слоевский, который у Слоевой куплен.

— В первый раз слышим.

И вдруг одна сотрудница молоденькая восклицает:

— Так это, наверно, он говорит про андрониковский, фальшивый!

Я покраснел даже.

Выдали мне портрет. И снова я подивился выражению лица — ясного, благородного, умного.

Поднес к окну. Действительно, под серебряной пуговицей шинели и под воротником в одном месте что-то просвечивает.

Попросил лупу. Вглядываюсь. Действительно, так и кажется — под зеленой шинелью сквозь трещинки в краске что-то виднеется. Словно шинель и сюртук написаны поверх другого мундира.

А вдруг, думаю, этот мундир соответствует форме Нижегородского, Тенгинского или Гродненского полков, в которых Лермонтов служил, когда отбывал ссылку?

Выяснить это можно только с помощью рентгеновых лучей. Ведь именно благодаря им художник Корин обнаружил недавно в Москве знаменитую Форнарину. Рентген показал, что фигура ее скрыта одеждой, которая дописана позже. Корин снял верхний слой красок с картины и открыл творение Джулио Романо, ученика Рафаэля.

— Нельзя ли,— спрашиваю,— просветить портрет рентгеновыми лучами?

— Отчего нельзя? Можно. Пошлем его в Третьяковскую галерею, там просветят.

Послали портрет в Третьяковскую. Я наведывался в музей каждый день, ждал ответа.

Наконец портрет возвратился с приложением бумажки. Смысл ее был таков:

«Ничего под мундиром не обнаружено». И подпись профессора Торопова.

Лаборатория на улице Фрунзе

Слышал я, что, кроме рентгеновых, применяются еще ультрафиолетовые лучи. Падая на предмет, они заставляют его светиться. Это явление называется вторичным свечением или люминесценцией.

Предположим, что на документе вытравлена надпись. Она неразличима в видимом свете, ее нельзя заметить на фотографии, ее нельзя обнаружить рентгеном. Но под ультрафиолетовыми лучами ее прочесть можно.

Эти лучи обнаруживают замытые пятна крови. Они узнают о наличии нефти в куске горной породы. Они разбираются в драгоценных камнях, в сортах древесины, в составах смазочных масел, красок, чернил. Они обнаружат разницу, если вы дописали свое письмо чернилами того же самого цвета, обмакивая перо в другую чернильницу. В лабораториях консервных заводов при помощи ультрафиолетовых лучей сортируют сотни тонн рыбы. По свечению легко отличить несвежую рыбу от свежей.

Если в лермонтовском портрете мундир был дописан позднее — значит, в него были введены новые краски, которые под ультрафиолетовыми лучами могут люминесцировать иначе, чем старые.

На мысль об ультрафиолетовых лучах навела меня сотрудница Литературного музея Татьяна Алексеевна Тургенева, внучатая племянница И. С. Тургенева.

Зашел я в музей. Татьяна Алексеевна спрашивает:

— А вы не думали обратиться с вашим портретом в криминалистическую лабораторию? Это лаборатория Института права Академии наук, и находится она рядом с нами, на улице Фрунзе, десять. Вообще говоря, там расследуют улики преступлений, но вот я недавно носила к ним одну книгу с зачеркнутой надписью: предполагалось,

что эта надпись сделана рукой Ломоносова. И знаете, никто не мог разобрать, что там написано, и рентген ничего не помог, а в этой лаборатории надпись сфотографировали под ультрафиолетовыми лучами и прочли. И выяснили, что это не Ломоносов! Я присутствовала, когда ее просвечивали, и уверилась, что ультрафиолетовые лучи — просто чудо какое-то! Все видно как на ладошке...

В тот же день мы с Татьяной Алексеевной, взяв портрет, отправились на улицу Фрунзе.

Когда в Институте права мы развернули портрет перед сотрудниками лаборатории и объяснили в чем дело, все оживились, начали задавать вопросы, внимательно вглядываться в Лермонтова. Это понятно: каждому хочется знать, каков он был в жизни, дополнить новой чертой его облик. Поэтому все так охотно, с готовностью, от души вызываются помочь, когда речь идет о новом портрете Лермонтова.

В комнате, куда привели нас, портрет положили на столик с укрепленной над ним лампой вроде кварцевой, какие бывают в госпиталях и в больницах. Но через ее светофильтры проходят одни только ультрафиолетовые лучи.

Задвинули плотно шторы, включили рубильник. Портрет засветился, словно в лиловом тумане. Краски потухли, исчезли тени, и вижу: уже не произведение искусства лежит предо мной, а грубо размалеванный холст. Бьют в глаза изъяны и шероховатости грунта. Проступили незаметные раньше трещины, царапины, след от удара гвоздем, рваная рана, зашитая Слоевым...

— Это вам не рентген,— замечает Татьяна Алексеевна шепотом.

— Вижу,— отвечаю я ей.

— А полосы видите под шинелью?

— Вижу.

— Под сюртуком и впрямь что-то просвечивает,— говорит Татьяна Алексеевна вполголоса.

— По-моему, не просвечивает.

— Вы слепой! Неужели не видите? Пониже воротника безусловно просвечивает.

— Нет, не просвечивает.

— Да ну вас! — Татьяна Алексеевна сердится.— Неужели же вам не кажется, что там нарисован другой мундир?

— К сожалению, не кажется.

— Мне уже тоже не кажется! — со вздохом соглашается Татьяна Алексеевна.

Работники лаборатории разглядывают каждый сантиметр холста, поворачивают портрет, делятся мнениями.

— Как ни жаль,— говорят,— а существенных изменений или каких-нибудь незаметных для глаза надписей на полотне этим способом обнаружить не удается, и мундира там тоже нету. Видны только какие-то небольшие поправки.

— Ничего у него там нет,— соглашается Татьяна Алексеевна и с гордостью добавляет: — Предупреждала я вас, что все будет видно как на ладошке! Прямо замечательные лучи!

А криминалисты смеются:

— Есть еще инфракрасные...

Глаза художника

Написанное карандашом письмо при помощи инфракрасных лучей можно прочесть, не раскрывая конверта. Это потому, что бумага для инфракрасных лучей полупрозрачна. А сквозь карандаш они не проходят. Документ, залитый кровью или чернилами, в свете инфракрасных лучей читается совершенно свободно, потому что лучи проходят сквозь кровь и чернила и натыкаются на типографскую краску. Благодаря этому свойству самые ловкие махинации — подделки, подчистки, поправки на деловых бумагах, на облигациях, в денежных ведомостях — инфракрасные лучи, можно сказать, видят почти насквозь.

Если бы в составе красок, которыми написан портрет, оказались краски, не прозрачные для инфракрасных лучей, то тайна мундира была бы раскрыта.

Портрет сфотографировали в инфракрасных лучах и с лицевой стороны, и с обратной.

Но и этим способом ничего невидимого так и не увидали.

Не оправдались мои расчеты! А между тем, кажется мне, способ доказать, что это лермонтовский портрет, один: обнаружить у него другой мундир под этим мундиром.

«Э,— думаю,— лучи лучами, а это — искусство. Здесь нужен живой человек. Посоветуюсь с Кориным. Это ху-

дожник замечательного таланта, тончайшего вкуса, глаз у него острый. Поможет!»

Позвонил ему, попросил зайти в Литературный музей.

Встретились. Привел его к портрету.

— Вот,— говорю,— Павел Дмитриевич, хочу услышать ваше мнение: может ли тут оказаться под мундиром другой мундир или нет? Ни рентген, ни ультрафиолетовые лучи, ни лучи инфракрасные ничего не показывают.

— А что вы хотите узнать? — тихим голосом и неторопливо спрашивает Корин.

— Хочу установить, кто изображен на портрете.

— Так, мне кажется, это довольно ясно: Лермонтов, очевидно?

— Позвольте, как вы узнали?

— По лицу узнаю: похож! А по-вашему, кто это?

— И по-моему, тоже Лермонтов.

— Так в чем же дело?

— Дело в том, что у меня нет доказательств.

— Как же нет! Главное доказательство — сходство.

— Но ведь сходство — не документ!

— Так вы же не спрашиваете документы у своих знакомых, прежде чем поздороваться с ними,— так узнаете! — улыбается Корин.

— Верно! Но согласитесь, Павел Дмитриевич,— отвечаю,— сходство можно оспаривать. Есть люди, которые с вами и со мной не согласны. Считают, что не похож.

— Как же так — не похож? — недоумевает Корин.— Овал, пропорции, черты лица — лермонтовские. Писано с натуры. В хорошей манере. В тридцатых годах. Мастер безусловно очень умелый. А почему, собственно, вас интересует, есть ли другой мундир?

— Да этот мундир не подходит.

— Ах, вот что! Понятно! Но, к сожалению, вмешательства чужой кисти здесь нет,— озабоченно говорит Корин.— Снизу кое-где видны мелкие авторские поправочки. И все. Расчищать портрет незачем. Вы его только испортите.

— Что же вы посоветуете?

— Поищите другой способ утвердиться в вашей точке зрения. Такой способ, мне кажется, должен существовать. Идите от лица, от сходства. У меня лично оно сомнений не вызывает.

Вторая специальность

В то время когда я еще жил в Ленинграде и работал в Пушкинском доме, сдружился я с Павлом Павловичем Щеголевым. Его давно уже нет на свете. Он умер еще в тридцать шестом году.

Это был молодой профессор, очень талантливый историк, человек великолепно образованный, острый.

У него я познакомился с его другом — известным юристом, профессором Ленинградского университета Яковом Ивановичем Давидовичем, большим знатоком трудового законодательства.

Сидя в кабинете у Щеголева, я не раз бывал свидетелем необыкновенной игры двух друзей. Яков Иванович еще в передней, еще потирает руки с мороза, а Пал Палыч уже посылает ему свой первый вопрос:

— Не скажете ли вы, дорогой Яков Иванович, какого цвета были выпушки на обшлагах колета лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка?

— Простите, Пал Палыч, это детский вопросик,— снисходительно усмехается Яков Иванович, входя в комнату и раскланиваясь.— Что выпушки в Кирасирском полку были светло-синие, известно буквально каждому. А вас, в свою очередь, дорогой Пал Палыч, я попрошу назвать цвет ментика Павлоградского гусарского полка, в котором служил Николай Ростов.

— Зеленый,— отвечает ему Пал Палыч.— А султаны в лейб-гвардии Финляндском?

— Черные!

— Ответьте мне, дорогой Яков Иванович,— снова обращается к нему Пал Палыч,— в каком году сформирован Литовский лейб-гвардии полк?

— Если мне не изменяет память, в тысяча восемьсот одиннадцатом.

— А в каких боях он участвовал?

— Бородино, Бауцен, Дрезден, Кульм, Лейпциг. Я называю только те сражения, в которых он отличился. Я не сказал еще, что этот полк в числе первых вошел в Париж.

— Яков Иваныч, этого, кроме вас, никто не помнит! Вы гигант! Вы колоссальный человек! — восхищался Пал Палыч.

По правде сказать, эти восторги были мне недоступны. Я ничего не знал ни о выпушках, ни о ташках, ни о валь-

трапах, в специальных вопросах военной истории был не силен. Я уставал следить за этой игрой, начинал потихоньку зевать и прощался. Теперь, размышляя о портрете, я все чаще вспоминал о необыкновенных познаниях Якова Ивановича.

«Если,— рассуждал я,— Корин прав:

1) если о поисках другого мундира надо забыть (а в этом Корин прав безусловно);

2) если исходить из того, что это все-таки Лермонтов, то остается —

3) подвергнуть изучению мундир, в котором Лермонтов изображен на портрете».

Одному мне в этом вопросе не разобраться. И специально, чтобы повидать Давидовича, поехал я в Ленинград.

Изложил свою просьбу по телефону. Прихожу к нему домой, спрашиваю еще на пороге:

— Яков Иваныч, в форму какого полка мог быть одет офицер в девятнадцатом веке, если на воротнике у него красные канты?

— Позвольте... Что значит красные? — возмущается Яков Иванович.— Для русского мундира характерно необычайное разнообразие оттенков цветов. Прошу пояснить: о каком красном цвете вы говорите?

— Об этом! — И я протягиваю клочок бумаги, на котором у меня скопирован цвет канта.

— Это не красный и никогда красным не был! — отчеканивает Яков Иванович.— Это самый настоящий малиновый, который, сколько мне помнится, был в лейб-гвардии стрелковых батальонах, в семнадцатом уланском Новомиргородском, в шестнадцатом Тверском драгунском и в лейбгвардии Гродненском гусарском полках. Сейчас я проверю...

Он открывает шкаф, перелистывает таблицы мундиров, истории полков, цветные гравюры...

— Пока все правильно,— подтверждает он.— Пойдем дальше... Если эполет на этом мундире кавалерийский — в таком случае стрелковые батальоны отпадают. Остаются драгуны, уланы и Гродненский гусарский полк. Тверской и Новомиргородский тоже приходится исключить: в этих полках пуговицы и эполеты «повелено было иметь золотые». А на вашем портрете дано серебро. Следовательно, это должен быть Гродненский... А как выглядит самый портрет?

Я показываю ему фотографию.

— Вы дитя! — восклицает Яков Иванович.— Это же сюртук кавалериста тридцатых годов. В это время в Гродненском полку введены перемены и на доломаны присвоены синие выпушки. Но сюртуки оливкового цвета сохранены по 1845 год, и до 1838 года на них оставался малиновый кант. В этом вы можете убедиться, посмотрев экземпляр рисунков, специально раскрашенных для Николая I... Итак,— заключает Яков Иванович, складывая книги высокими стопками,— все сходится в пользу Гродненского.

— Яков Иванович,— восклицаю я,— вы даже не знаете, какой важности сообщение вы делаете! Ведь на основании ваших слов получается, что это Лермонтов.

— Простите,— останавливает меня Яков Иванович,— этого я не говорю! Пока установлено, что это офицер гусарского Гродненского полка. И не больше. А Лермонтов или не Лермонтов — это не по моей части.

Метод опознания личности

Гродненский гусар! Круг людей, среди которых жил этот офицер, сузился теперь до тридцати — сорока человек: офицеров в Гродненском полку в 30-х годах было не больше...

Кажется, уже близок конец. И тем не менее вот тут-то и не понятно, что делать дальше.

Вернулся в Москву. Снова ломаю голову. Снова сижу и смотрю на фотографию, словно жду, что она заговорит. Конечно, было бы недурно, если бы портрет сам сказал, с кого он писан.

А как же, интересно, поступают в тех случаях, когда человек не говорит? Когда он не может или не хочет назвать свое имя? Совершенно ясно, что такого должны опознать другие.

А если его никто не знает или не хочет назвать? Тогда, очевидно, опознают по фотографии.

А если нет фотографии? Может ли служить этой цели живописный портрет?

Снова отправляюсь с портретом в криминалистическую лабораторию.

— А, здравствуйте! — говорят.— Снова к нам?

— Да, интересуюсь, как опознают личность при розыске, если нет фотографии.

— В таких случаях применяется учение о словесном портрете.

— А что такое словесный портрет?

— Сейчас объясним.

Криминалистическая наука отбрасывает при опознании личности такие признаки, как, например: толстый, худой, румяный, бритый, седой. Сегодня человек румян — завтра бледен. Сегодня брит — через месяц с густой бородой. Сегодня седой — назавтра взял и покрасился. Поэтому криминалисты опираются на признаки внешности характерные и устойчивые, которых не могут изменить ни обстоятельства, ни время, ни сам человек. Устойчивыми признаками криминалисты считают: рост, строение фигуры, фас и профиль лица; строение и размеры лба, носа, ушей, губ, подбородка, разрез глаз, цвет радужной оболочки и проч. Составленное на основании этих признаков описание — словесный портрет — оказывается каждый раз очень точным. И это потому, что устойчивые признаки внешности одного человека никогда не совпадают со всеми признаками другого, как не совпадают, например, отпечатки их пальцев.

— А что вы, собственно, хотите узнать? — спрашивают у меня.

Я объясняю:

— С мундиром все уже выяснил. Теперь помогите опознать изображенную на портрете личность: Лермонтов, в конце концов, или не Лермонтов?

— Знаете что,— говорят,— посоветуйтесь с Сергеем Михайловичем. Может быть, он и возьмется. Уж если он даст заключение — ваши сомнения будут разрешены.

— А кто такой Сергей Михайлович?

— Как? Вы не знаете? Это профессор Потапов! Ученый с мировым именем, один из основоположников русской криминалистики, лучший знаток судебной фотографии, создатель научного почерковедения, высший авторитет в области криминалистической идентификации! Он, кстати, любит разные сложные, запутанные вопросы и, вероятно, заинтересуется вашим портретом...

— Сергей Михайлович, можно к вам?

И вводят меня в кабинет.

За столом — пожилой человек, с волосами, гладко за-

чесанными наверх, с крохотной бородкой. На спокойном, умном лице — карие глаза, живые и быстрые.

Представили меня ему. Выслушал он мою просьбу внимательно, рассматривал портрет пристально, тонким голосом задавал вопросы. Наконец обратился к сотрудникам.

— Попробуем применить к данному случаю учение об идентификации на основе словесного портрета,— сказал он. И мне: — Попрошу вас доверить нам этот портрет, прислать репродукции со всех имеющихся изображений этого же лица и дать месяц сроку.

Выходим из кабинета, я спрашиваю:

— Что он собирается делать?

Мне объясняют:

— Учение об идентификации, которое Сергей Михайлович решил применить для вашего случая, построено на основе словесного портрета. Это учение доказывает, что если на сличаемых изображениях представлено одно и то же лицо, то при совпадении двух устойчивых точек лица сами собой должны совпасть и все остальные точки. Если же они не совпадут, то, следовательно, это — изображение разных людей, ибо изображения разных людей, как доказывает криминалистика, не совпадают и не могут совпасть. Фотографические изображения сличаются часто, но живописные портреты — впервые.

Прощаемся — жмут руку:

— Можете спать спокойно. Раз взялся сам — через месяц точно будете знать: да или нет.

Ответ профессора Потапова

Прошел месяц. И вот мне вручают пакет и письмо на мое имя. Разрываю конверт, и первое, что вижу,— заглавие:

МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА С. М. ПОТАПОВА...

Я не знаю еще приговора, но судьба моя уже решена. С глубоким волнением начинаю читать строки этого документа.

«С целью осуществления попытки решить поставленный вопрос путем сравнения признаков лица... с имеющимися образцами несомненных изображений Лермонтова,— читаю я,— были рассмотрены существующие репродукции с его известных портретов...»

Из присланных ему репродукций профессор Потапов выбрал фотографию с миниатюры, написанной в 1840 году художником Заболотским, на которой Лермонтов изображен в том же повороте, что и на «вульфертовском» портрете. Эти изображения Потапов решил сличить. Прежде всего он довел их до равной величины, заказав с них такие фотографии, чтобы расстояние между двумя устойчивыми точками лица было на них совершенно одинаковое. В качестве масштаба для обеих фотографий он взял расстояние между окончанием мочки уха и уголком правого глаза на портрете Заболотского. Когда лица на портретах стали одинакового размера, по ним изготовили два крупных диапозитива — пересняли изображения на стеклянные пластинки.

«При наложении этих диапозитивов один на другой и рассматривании их на просвет...» — читаю я...

Очевидно, они в пакете. Разрываю бечевку, торопливо скидываю крышку с коробки, осторожно вынимаю из нее два темных стекла — диапозитивы, о которых пишет Потапов.

Поднимаю их к свету. На одном — увеличенная миниатюра Заболотского, на другом — уменьшенный «вульфертовский» портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончания мочек ушей... совмещаю уголки глаз... И — чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино, в новый — третий — портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши!.. Не совпали только прически, да левую щеку на портрете Заболотского ободком облегает щека «вульфертовского» портрета. Но разве прически и полнота щек относятся к устойчивым признакам? И еще прежде чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод:

«...следует высказать мнение, что доставленный тов. Андрониковым портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова».

«Какая радость,— думаю я.— Какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого

века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов!»

Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось.

И я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд «вульфертовского» портрета сделался пристальным и сосредоточенным и, кажется, устремлен теперь прямо на вас. Какое счастье, что оба художника были верны натуре! Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника.

Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложенный мною вопрос — это ответ и тем, кто не узнает Лермонтова на новом портрете.

Результаты достигнуты не случайно. Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи. Криминалисты применили к портрету свои точные методы, и если бы мне не помог Яков Иванович, то Сергей Михайлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов.

Гляжу я на этот портрет и только теперь, когда уже окончены поиски и собраны доказательства, могу сказать вам, как полюбил я его и как трудно было бы мне приучить себя к мысли, что это не Лермонтов. Сколько лермонтовских стихов, сколько представлений о живом Лермонтове связал я с этим благородным изображением!

Скажем же о нем на прощание словами самого Лермонтова:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой.

1937—1940

Подпись под рисунком

Как-то пришлось побывать мне в Железноводске.

Пить воды — дело, конечно, хорошее. Но куда интереснее оказались отлучки из санатория! Вместе с писателем С. П. Бабаевским, с которым мы служили в армейской газете в годы Отечественной войны — после войны он поселился в городе Пятигорске,— поехали мы в Ставрополь, побывали в районах; посмотрели прославленные колхозные электростанции, впервые увидел я электрострижку овец знаменитой ставропольской породы, из шерсти которых сделан каждый четвертый костюм в нашей стране. Потом махнули в Черкесию... А ехать пришлось по той самой дороге, по которой когда-то все ездил и ездил Лермонтов — с Кавказа и на Кавказ, из ссылки и в ссылку. И решил я тогда объехать все лермонтовские места на Кавказе. Ведь он путешествовал в тележке, двигался с военным отрядом, ездил верхом... Долго ли, думаю, на машине! Мне же по роду занятий моих — который год изучаю Лермонтова! — необходимо было в конце концов побывать во всех этих городах и станицах, повидать все, что довелось видеть ему.

Скажу сразу: спидометр показал около 15 тысяч километров. Я проехал тогда по многим местам, где бывал Лермонтов, но во всех побывать не успел.

Из Пятигорска я отправился в Георгиевск, оттуда в Прохладный, Моздок, выехал на Терек. Через терские станицы — Червленую, Шелковскую, Старогладовскую, связанные с именами Грибоедова, Лермонтова и Льва Тол-

стого,— попал в Кизляр. Тут развернулся, взял направление на Грозный. Побывал на речке Валерик, где происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении. Объехал территорию Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Через Орджоникидзе по Военно-Грузинской дороге попал в Тбилиси. Оттуда, перевалив Гомборы, поехал в Цинандали, затем в Царские колодцы — ныне это Цителцкаройский район Грузии,— добрался до селения Караагач, где квартировал Нижегородский драгунский полк, в котором Лермонтов в 1837 году отбывал ссылку. Потом переправился на пароме через Алазань и, оказавшись на территории Азербайджана, в Закаталах, покатил к югу — по направлению к Нухе и Шемахе, потому что в Кахетию Лермонтов мог попасть из Шемахи только по этой дороге.

Шамаханской царицы из пушкинской сказки я не видал, но побывал в местах сказочных...

Ехал я не просто так, не для одного удовольствия. На коленях у меня лежали фотографии с картин и рисунков Лермонтова. Известно, что Лермонтов хорошо рисовал, обладал большими способностями к живописи. Сохранились виды Кавказа, сделанные им с натуры,— хранятся они в московских и ленинградских литературных музеях, но снабжены необычайно унылыми этикетками: «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами»... Однако и без подписи ясно: если нарисована скала, и арба на дороге, и горная река — то это «вид с арбой». А верблюды возле скалы и горы на горизонте представляют собой «вид с верблюдами». Но что именно изображено на этих рисунках и полотнах Лермонтова, где, в каких местах исполнены им эти работы,— ничего не известно. Поэтому я до боли в шее вперялся в ветровое стекло машины, беспрестанно вертел головой, озираясь по сторонам и сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мной видами. Вдруг увижу изображенное Лермонтовым!

Мне везло. «Кавказский вид с арбой» обнаружился в Дарьяльском ущелье. «Кавказский вид с верблюдами» Лермонтов, как выяснилось, писал маслом с натуры в окрестностях селения Караагач. На других репродукциях оказались селение Сиони близ Казбека, замок Тамары в Дарьяльском ущелье, окрестности Мцхета, Тифлис... Постепенно опознанных рисунков становилось все больше, неопознанных — меньше. И наконец остался один. Как

назло, именно под этим рисунком имеется подпись: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» — обозначение достаточно точное.

Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы — от того места, где она впервые соприкасается с Военно-Грузинской дорогой, до слияния ее с Курою во Мцхете,— ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу. На вершине скалы — крепость с зубчатой стеной, по углам — башни с бойницами, за стеной — острый купол грузинской церкви. В середине рисунка река с двух сторон бурно омывает утес. Башня и сакля на другом берегу. Ущелье замыкает горный хребет. Готов поручиться: на Военно-Грузинской дороге похожего места нет!

Уже собрался писать, что этот вид Лермонтов набросал на память или, может быть, даже не имел в виду никакого определенного места... Но если сам не убежден в том, что пишешь, как можно уверять в этом других?

Пришлось предпринять новую поездку по Военно-Грузинской дороге.

Из Тбилиси я выехал на рассвете. Неужели и на сей раз не удастся найти эти несчастные развалины? Куда они могли деться? Что за таинственное ущелье?

Остановился в Пасанаури. Прижатые прозрачным потоком Арагвы к подножию лесистых гор, толпятся возле дороги опрятные домики; это как раз полдороги от Тбилиси к Орджоникидзе.

День был воскресный. Я пошел на колхозный базар, где продаются куры, мацони, грецкие орехи, чеснок, стопки душистого грузинского хлеба, и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка.

Очень скоро я достиг значительных результатов: превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все перестали торговать. Фотография пошла ходить из рук в руки. Послышались советы: надо ехать в Ананури, обратно, километров за двадцать. Там и церковь, и крепость, и тоже Арагва течет...

Я только что миновал Ананури и сам догадался, конечно, еще раз осмотреть Ананурский собор.

Я сказал им об этом. Мне возразили: не так хорошо посмотрел, как надо, у молодых глаза зоркие, если посмотрят — покажут.

Я пригласил в машину трех юношей — порывистых и

молчаливых; поехали мы в Ананури, со всех сторон обошли знаменитую крепость. Воздвигнутая на пологой горе, она господствует над окружающей местностью. Река течет здесь спокойнее; зеленые склоны гор, прикрытые одеялами посевов и пашен, расступаются, образуя долину. Ни утесов, ни скал... Словом, проводники мои убедились, что на рисунке точно не Ананури.

В Пасанаури я с ними расстался.

Отсюда с каждым поворотом дороги окрестность резко меняется. Все сильнее шумит река. Прохладнее и словно легче становится воздух. Пасмурно. Лесистые склоны кончились. За ближними зеленеющими горами поднимаются строгие сине-лиловые горы; в углублениях и складках их гранитных вершин отливают атласом снега. Нельзя оторваться! Много удивительных мест на Кавказе, но Военно-Грузинскую дорогу словно смонтировал великий художник. Она как кинолента, в которой нет повторений, нет лишнего: вся она — чередование контрастов.

У подножия Гуд-горы в Кайшаурской долине расположено селение Квешеты. Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился его совершить. Тут ночевал Грибоедов. Тут родились великие строки Пушкина:

На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною...

В этом месте стоял духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице «Бэлы».

С тех пор много воды унесла шумящая Арагва. На месте духана выстроен сельский продмаг. По случаю воскресного дня возле него было весьма оживленно. Только лошади, оседланные и с перекидными ковровыми мешками — хурджинами,— лениво дремали у изгороди.

Я вылез из машины и стал предъявлять толпившимся возле продмага фотографию лермонтовского рисунка. Послышались голоса, что надо поехать в Ананури, что в этих местах нет похожей церкви и крепости.

Но тут молодая колхозница, по имени Русудан, выдвинулась вперед и сказала:

— Покажите поближе то, что издали видела...

Я передал ей фотографию.

Взглянув, она посоветовала:

— Возьмите хорошую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагви. Там в осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете.

Другие ей возразили:

— Зачем ему садиться на лошадь! Тучный человек — не привык ездить. И куда ты хочешь послать его — там нет ни церкви, ни крепости, давно все упало, одни камни лежат. Что там увидит?

— Хорошо помню, еще в школе учила,— ответила молодая женщина,— что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас. Но это было уже сто лет назад с лишним. Может быть, когда Лермонтов ездил к истоку реки — церковь и крепость стояли, а за это время упали, и потому одни камни лежат?

В ответ, смеясь, зашумели:

— Камнями угостить его хочет. Человек не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему так далеко ехать? Старая башня и там вон упала — в ущелье, и там — на горе. Туда пусть пойдет...

— Меня лучше послушайте,— сказала колхозница, обращаясь ко мне.— Я вам хорошо посоветовала.

Я не мог сразу воспользоваться этим советом. Было уже часа два, а лошадь и проводника достать не так просто. Поездку к верховьям Арагвы пришлось отложить, а тем временем я решил пройти по старой Военно-Грузинской дороге, которая прежде шла от Квешеты на Кайшаури и дальше к Крестовой — совсем не так, как сейчас. В 60-х годах прошлого века дорогу по берегу Арагвы продлили до селения Млета, взорвали там могучие скалы и, минуя станцию Кайшаури, проложили удобный зигзагообразный подъем, который сравнивают чаще всего с серпантином. А прежнюю трассу Квешеты — Кайшаури — Крестовая, которая шла на Гуд-гору без всяких зигзагов, поднимая путешественника на протяжении трех верст на высоту целой версты, с тех пор забросили. А между тем по ней-то и ездили прежде. Именно эта часть дороги описана в «Герое нашего времени».

Машине не взять такой крутой уклон, и мы решили с шофером: он поедет обычным путем и будет ждать меня под Крестовой, а я, сократив расстояние вдвое по старой дороге, приду туда к вечеру.

Когда машина ушла и, выражаясь лермонтовским слогом, пыль змеею завилась по гладкой дороге,— я стал ис-

кать попутчиков на Кайшаури. Откликнулись дети: они идут, они укажут дорогу...

За углом продмага внизу, в глубоком ложе, кипела и стремительно улетала Арагва. Вместо моста через нее перекинуто бревно необычайной длины. Сбоку — ни перил, ни веревки...

Постукивая по бревну тростью, стараясь не смотреть вниз, опасаясь зажмуриться, потеряв интерес к окрестностям, одеревенелый, ступал я, и шумела Арагва подо мной.

В середине произошла остановка.

— Не туда помещаете ногу,— беспокоились дети, перебежавшие уже на тот берег.— Посмотрите, куда собрались пойти!

Тогда я лег на бревно и, зажмурившись, пополз, как под пулеметным огнем.

— Может быть, забыли что-нибудь купить в магазине? — фыркая, спрашивали дети, когда я, добравшись до берега, чистил костюм.— Хорошо будет, если еще раз пройдете.

Но мы уже были на другом берегу!..

За рекою — селение. Сразу за ним — подъем, подобно карнизу огибающий гору, иссеченный промоинами, прижатый к пропасти осыпями мелких камней. Он идет, разворачиваясь, над излучиной Арагвы, и Арагва уходит все ниже... Мы вышли на обрывистое плато. Изумрудно-зеленое, оно поросло кудрявым кустарником. И горы, кажется, придвинуты так близко к этой площадке, что еще бы немного — и их можно коснуться рукой. На самом же деле горы с обеих сторон отделены от этого зеленого плоскогорья долиной. К склонам величаво-пустынных гор прилепились селения, и в каждом — древняя четырехугольная башня. Сурово. А туда — в сторону Тбилиси!.. Прячась порою в кулисах лесистых склонов, сверкает Арагва и пропадает в напоенной солнцем дымной дали. Понятно, почему в «Герое нашего времени» Лермонтов описал именно эти места!

Мы шли, беседуя о том, кем они — дети — собираются стать, когда вырастут, какие у них отметки, кому из них девять, десять, одиннадцать... И вот уже входим в селение.

— Пожелаем,— сказали дети,— чтобы вам хорошо было. А мы уже дома.

— Дети,— сказал я с некоторым удивлением,— а как же я буду без вас?!

— Дорогу укажем, так и пойдете.

— Дети,— спросил я снова,— а как же собаки?

— Вы же ничего не хотите взять,— отвечали мне дети,— зачем вам опасаться собак?

— Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму.

И дети сказали:

— Тогда, наверно, собаки возьмут вас.

Я отказался путешествовать один и просил найти мне проводника. Отвечали, что проводника нет, никто не идет в Кайшаури. Я согласен был ждать до утра. Наконец сказали, что есть проводник: он обедает, освободится через сорок минут.

Я ждал терпеливо. Наконец вышел мой спутник — с мешком на плече, девяти лет от роду и назвался Арчилом. Он шел в селение Сетури.

— Арчил,— сказал я,— дай я понесу твой мешок. Мне нетрудно, а тебе будет легче идти.

— Спасибо,— отвечал он,— но это не надо. Поручение имею доставить лук и, если вы понесете, как смогу сказать, что выполнил поручение?

— Арчил,— спросил я,— а как ты относишься к собакам?

— Никак,— отвечал он,— я еще маленький.

— А как же мне относиться?

— Не беспокойтесь,— отвечал он,— они сами к вам отнесутся.

Я поплелся за ним, почти совсем потеряв интерес к этой высокогорной прогулке.

Вдруг увидел я в стороне группу молодых колхозников, которые о чем-то живо беседовали. Я поклонился. Не буду уточнять, как я кланялся; у меня имеются основания подозревать, что я поклонился подобострастно. Один из юношей вышел ко мне на дорогу и поинтересовался, почему без пальто и без шляпы, с одной тростью в руках, я путешествую по этим местам, не заблудился ли, не нуждаюсь ли в помощи.

Я ответил, что по этим местам путешествовали в прошлом столетии Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, что, занимаясь историей русской литературы и этой эпохой, я как историк и критик (я не стал говорить — «литературовед») счел долгом своим повторить их маршрут.

И вместо одобрения услышал:

— Да. К сожалению, наша критика иногда еще отстает от литературы и жизни. Давно бы надо было прийти... Хорошо,— продолжал он,— что трость захватили с собой, она вам поможет...

И он стал отбиваться дубиной от желто-белых чудовищ. Мохнатые, короткотелые, с обрезанными ушами, с черными, словно сажей намазанными, физиономиями, с мелкими, как у щук, зубами, с кривыми, как ятаганы, клыками, они хрипели, кидались, метались, внутри у них клокотало. Оскорбительно было слышать этот сиплый, надсадный лай, несовместимый с человеческим достоинством!

Наконец новый знакомец отбился от них и сказал:

— Должен расстаться с вами: в правление колхоза иду.

Я снова зашагал за Арчилом.

Завидев Кайшаури — цель недавних моих вожделений, но предвидя новые встречи с овчарками, я решил внести на обсуждение проект.

— Зачем нам идти в Кайшаури? — сказал я Арчилу.— Обойдем его стороною, подышим воздухом. Что мы там потеряли?

— В горах живем: неужели вам нашего воздуха не хватает? — резонно спросил Арчил.— А кроме того, я никогда не прячусь и всегда хожу по дороге.

Мы вошли в Кайшаури. Гляжу: стоит машина совершенно того же цвета, как и та, в которой я приехал в Квешеты. Около машины тот же самый шофер...

— Я не стал ожидать у Крестовой,— заговорил он, отделяясь от машины и степенно выходя мне навстречу.— Узнал, что дорога плохая, но все же можно проехать, и прибыл сюда. А пока здесь стою, выяснил: вот в этом доме сто пятнадцать лет назад ночевал Лермонтов. Чайник у него с собой был, воду разогрел, пил чай, беседовал с товарищем. Это никто пока не знает, я первый открыл; так и напишите в вашей книге.

Спасибо Арчилу! В хорошее положение попал бы я, если бы обошел стороною это селение, оставив шофера с машиной в тылу!

Простились мы тут с милым моим провожатым и проехали за Крестовый перевал, где надо было еще уточнить подписи к уже разгаданным лермонтовским рисункам. А что означает подпись «Развалины на берегу Арагвы», так и осталось невыясненным.

Пришлось предпринять новую экспедицию в эти места.

Приехали мы через несколько дней в Кумлисцихе — селение на склоне Гуд-горы на Военно-Грузинской дороге, вошли в дом, где разместилось правление колхоза. Оно как раз заседало: решался вопрос о перегоне баранты на зимние пастбища в Кизлярскую степь. Шофер мой, весьма увлеченный опознанием лермонтовских картинок, сказал председателю:

— Как погнать баранов на зимнее пастбище — это потом решите. Каждый год посылаете... А вот тут есть неотложный научный вопрос: ваши это места или не ваши? — спросил он, предъявляя рисунок и начиная сердиться.— Кто-то должен принять ответственность? Написано: Арагви. Ездим-ездим — нет желающих. Свои места должны знать? Хорошо посмотрите!

Наверно, в первый раз в истории литературной науки вопрос решался в такой обстановке. Члены правления рассмотрели рисунок, обменялись мнениями, и председатель сказал:

— Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано,— нет у нас. Если место хотите видеть похожее — Нико пойдет, который ночью кооператив сторожит, и покажет. Это выше колхоза Ганиси.

Взяв с собой сторожа, поехали мы, петляя то влево, то вправо, все выше и выше, и добрались почти до Крестовой. Там, где в склоне горы образуется зеленая впадина, носящая наименование Чертова долина, где лежат обломки гранитных скал, по преданию набросанные здесь из ревности разгневанным духом Гуда, полюбившим красавицу, жившую в этих местах,— мы остановились и закрыли машину. Тропинка повела нас в расселину между скалами, и по этой тропинке мы бросились бежать на дно двухверстной пропасти.

И пастырь
нисходит
к веселым
долинам,
Где мчится
Арагва
в тенистых
брегах.

Как серебряный ручей с нарисованными волнами, мчится на дне этой пропасти, вернее, хранит вид движения бесшумная, неподвижная Арагва; безлюдными кажутся крохотные макеты селений. Под ногами крутая тропа,

справа скалистая стена, слева пусто, словно идешь в воздухе по крылу самолета.

Упираясь ногами в тропу, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая на бегу локтями, жалея, что в теле нет тормоза, мы сбежали наконец в слышимый мир, на каменистое ложе пенистой, шумной Арагвы, к малолюдным осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней.

Впереди, у самой Арагвы, на том берегу — гора. Нет, не гора. Огромная глыба словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы — розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная — так богата оттенками, что кажется, гору покрыли богатым цветистым ковром. И это особенно удивительно, потому что ущелье безлесно.

Форма горы отчасти напоминает колпак, каким покрывают домашние чайники: скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне — развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы; он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами; они тянутся одна над другой, эти узенькие террасы, в несколько сантиметров ширины. Хватаясь за землю руками, можно боком взобраться по ним.

Наверху — осыпь камней, остатки крепостной стены, основания башен, развалины церкви, ступени разрушенной лестницы, выходящей на этот зеленый склон. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки.

День ясный. На солнце греются змеи и с шорохом ускользают, заслышав шаги.

Отсюда тропинка ведет вниз — к селению Хатис-Сопели. Это несколько домиков с плоскими кровлями.

Мы спустились и вышли на русло Арагвы. Когда же отошли вниз по течению примерно полкилометра и я оглянулся — сердце от радости покатилось в колени.

— Глядите!

Мы ахнули. Это и есть то самое!.. Гора, покрытая рощей, повороты ущелья, селение на другом берегу, те же контуры дальних вершин, что на рисунке!.. У Лермонтова, если хорошенько вглядеться, видно: часть башни уже обрушилась. А теперь разрушилось все до самого основания.

Отошли от этого места — проводник указывает на отверстие в отвесной скале.

— Это пещера, где привязан несчастный Амирани,— говорит он.— Рассказывали, будто бога обидел и бог его наказал. Не может порвать цепь и потому стонет Амирани. Между прочим, что рассказывают о Прометее,— это наша легенда. Но очень известная. И уже забывают, кто рассказал первый...

Амирани стонет в пещере! Конечно, Лермонтову была известна эта легенда. Помните, в «Демоне»: путнику, который слышит рыдания Тамары, кажется:

«...то горный дух,
Прикованный в пещере, стонет»,
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

Может быть, Лермонтов здесь и услышал эту легенду?

Дальше пошли. На гребне горы — часовня. Интересуюсь, что за часовня.

— Иконы раньше там были,— отвечает сторож Нико.— Говорили, надо молиться в этой часовне, чтобы не пострадать от лезгин. Кто помолится — в бою победит. Все это выдумки, пережитки, идеалистическая точка зрения... Старые люди не знали хорошо и сказали эту легенду...

Но ведь и Лермонтову она была, очевидно, известна! Жених Тамары — «властитель Синодала» — спешит на брачный пир, он пренебрег обычаем прадедов, не помолился в часовне — и убит в ночной стычке!

И вдруг все стало ясно: эти места и описал Лермонтов в «Демоне»! Он оживил эти древние развалины, населил их людьми, превратил в замок Гудала. Здесь живет его Тамара. Сюда прилетает Демон навевать сны на ее «шелко́вые ресницы». А в конце — в эпилоге — он описал этот замок, но уже заброшенный, опустелый, напоминающий о прежних днях, о том, что волновало в поэме:

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;

И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут звеня издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.
Но грустен замок, отслуживший
Когда-то очередь свою;
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью...
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

...Вернулся я в Тбилиси. Интересуюсь: где же мне довелось побывать? Что я видел?

Постучался к историку. Повидался с этнографом. Посоветовался с искусствоведами, с археологом, с башневедом — есть и такая редкая специальность! Стал рассматривать старые карты. На рукописной карте Грузии, составленной в 1735 году историком и географом Вахушти Батонишвили, увидел я кружок с крестиком на том месте, где побывал, и подпись: «Монастырь всех святых».

Открываю «Географию Грузии» того же Вахушти. Читаю: «Выше (то есть у истоков Арагвы) есть «Монастырь всех святых», ныне уже упраздненный».

Упраздненный уже в первой половине XVIII века?! Значит, Лермонтов изобразил средневековую крепость!

И рисунок неожиданно приобрел новое содержание. Это — исторический документ! Изображение памятника, более не существующего! Не удивительно, если репродукции этого лермонтовского рисунка появятся скоро в истории грузинской архитектуры, в путеводителе по окрестностям Военно-Грузинской дороги...

Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок Лермонтова дополняет наши представления о работе Лермонтова-поэта. Оказывается, этот рисунок — иллюстрация к «Демону», возникшая еще до того, как поэма была написана. Более того: можно считать вообще доказанным, что рисунки Лермонтова — не развлечение странствующего

офицера, не занятие от нечего делать, а род записных книжек поэта, часть его вдохновенной и упорной работы. В них отразилась культура работы Лермонтова, внутренняя связь его многообразных талантов...

Рисунок помогает понять нам творческую историю «Демона», подтверждает, что Лермонтов слышал в ущелье Арагвы народные предания и легенды, что он положил в основу своей поэмы произведения грузинской народной поэзии.

Не только в поэме, но и в рисунках отразилось отношение поэта к народу, в ту пору неравноправному, угнетенному; в самом факте создания их сказалось то великое чувство дружбы, которое доставляет нам высокое наслаждение и вызывает в нас чувство гордости.

Вот на какие мысли наводит рисунок Лермонтова. А подпись? Подпись останется прежняя: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Только теперь в этой подписи и в этой картинке заключено будет для нас более глубокое содержание.

1952—1954

Земляк Лермонтова

В июне 1948 года, в дни чествования памяти Виссариона Григорьевича Белинского, большая делегация писателей и ученых выезжала из Москвы в те места, где прошли его юные годы,— в Пензу и Пензенскую область.

Никогда и нигде не бывало,— это бывает только у нас! — чтобы чествования памяти великих людей превращались в события такой огромной важности для каждого, кто принимает участие в осуществлении этих торжеств. И хотя меня никто не уполномочил на это, я решаюсь заявить от лица всей нашей делегации, от имени тех, кто присутствовал при закладке памятника Белинскому в Пензе, кто находился на торжественном заседании в Пензенском областном театре, и, наконец, от собственного своего имени,— я решаюсь заявить, что эти дни навсегда останутся для нас одним из самых сильных и благородных воспоминаний.

Из Пензы мы поехали в город Чембар, которому как раз в те дни было присвоено имя Белинского. А в семнадцати километрах от Чембара находятся Тарханы — ныне село Лермонтово, где Лермонтов провел первые тринадцать лет — почти половину своей короткой жизни — и где похоронен. А я, к стыду своему, долгие годы занимаясь изучением жизни и творчества Лермонтова, никогда не бывал в Тарханах. Прежде туда было довольно трудно добраться: от Москвы по железной дороге часов восемнадцать; на станцию Каменка поезд приходил ночью, а от станции — пятьдесят километров проселка... Потом от людей бывалых

узнал, что все это не так уж и трудно. Но тут как раз приблизилась лермонтовская дата: в июле 1941 года делегация от лермонтовского юбилейного комитета должна была ехать в Лермонтово и возложить венки на могилу поэта. В составе этой делегации собирался побывать и я в селе Лермонтове. Все эти планы отменила война.

Теперь же, едучи на торжества Белинского, я был уже совершенно уверен в том, что так или иначе побываю в эти дни и у Лермонтова.

И вот мчатся машины делегации по холмистым пензенским степям, и вдруг через левое стекло, чуть в стороне, вижу старый ветряк, зеленую крышу двухэтажного дома среди зелени старого парка, белую церковь и село, так хорошо известное мне по картинкам. Лермонтово! Чувствую, не могу мимо проехать, не имею на это права.

Стал я тут уговаривать моих спутников повернуть ненадолго в Лермонтово.

— Нет,— говорят,— сегодня не стоит. Заскочим на обратном пути.

А если не «заскочим»?

Все же съехали на обочину. Вышел я на дорогу, поднял руку. Одна за другой стали выруливать нá сторону остальные машины нашего каравана. Захлопали дверцы. Выходят наши делегаты размяться, узнать, за чем остановка.

Начал я просить, чтобы отпустили меня в село Лермонтово.

Руководитель нашей делегации Фадеев Александр Александрович подумал-подумал... и не разрешил. Сказал, что не один я такой — особенный, не одному мне хочется в Лермонтово.

— Всем хочется в Лермонтово!

И повернули все машины в село Лермонтово. Проехали по сельской улице, обогнули большой пруд, остановились во дворе дома-музея. А там, оказывается, и без нас много машин. Делегации из соседних районов и областей, ехавшие чествовать Белинского, тоже догадались по дороге завернуть к Лермонтову.

Входим в небольшие комнатки мемориального дома — в каждой толпа приезжих, слышны голоса невидимых экскурсоводов — объяснения дают в разных углах директор, работники музея, учителя... Вытягиваю шею, приподымаюсь на носках, стараюсь рассмотреть, что показывают,— ничего не разглядеть толком. Понимаю, что минут через

двадцать уедем отсюда, и, конечно, можно будет сказать, что в Лермонтове я побывал, но ничего не видал.

Тут я стал хлопотать, чтобы разрешили мне остаться в Лермонтове до следующего утра. Мотивировал свою просьбу тем, что все мои обязанности в Белинском исчерпываются правом посидеть в президиуме торжественного собрания.

Александр Александрович Фадеев послушал-послушал... и разрешил. Но тут же порекомендовал мне условиться с кем-нибудь из делегатов:

— Чтобы все-таки завтра сюда завернули, не забыли бы о тебе второпях!

Я подошел к писателям и каждого попросил заехать за мной на обратном пути. Застраховался! И, не подозревая того, на следующий день нечаянно повернул тем самым всю делегацию в село Лермонтово. Однако, как я потом выяснил, никто на меня за это не рассердился.

Наконец все уехали: наша делегация, гости из соседних районов и областей, делегация лермонтовских колхозников, директор музея, экскурсоводы, учителя... Уехал даже сельский милиционер. Все отправились на торжественное заседание в город Белинский. Я же был оставлен на попечение сторожихи и получил наконец полную возможность подробно все рассмотреть. Обошел все комнаты, погулял в парке по всем аллейкам, посидел на всех скамейках и часа через три отправился не торопясь к выезду из села, где возле белой церкви в небольшой часовне покоится прах Лермонтова.

Над часовней этой растет довольно высокий дуб, который посажен там, очевидно, из уважения к желанию Лермонтова, чтобы над ним

темный дуб склонялся и шумел.

Сторожит часовню и водит по ней экскурсии сторож-колхозник лет примерно семидесяти.

Никогда и нигде еще не доводилось мне видеть и слышать такого экскурсовода! Он рассказывает о Лермонтове так живо, так подробно и достоверно, что кажется, он был командирован в ту эпоху и только недавно вернулся. Но при этом он не упивается знанием прошлого, не живет им. Нет! Лермонтов в его рассказе словно выдвинут из той эпохи, приближен к нам и будто стоит как живой рядом со сторожем.

Прежде всего старик поинтересовался, отстал я от делегации случайно или нарочно остался осмотреть лермонтовские места. Когда узнал, что «нарочно», видимо, был доволен и стал заключать условие с ребятишками, которые стояли за оградой и просили присоединить их к этой малолюдной экскурсии. Сказал им:

— Вы, ребята, мои условия знаете! Если кто из вас одно слово скажет, не стану разбирать, кто сказал: всех отправлю. Понятно? Будете находиться здесь до первого слова. И шапку оставляйте на улице. Идем к Михаилу Юричу.

Слова «к Михаилу Юричу» произнес, многозначительно понизив голос.

Входим. Посередине часовни благородный памятник из черного мрамора с золотыми словами: «Михайло Юрьевич Лермонтов». На левой грани памятника — дата рождения. На правой — дата смерти. А позади, слегка из-за него выдвигаясь влево и вправо,— памятники: матери Лермонтова — Марии Михайловне и деду — Михаилу Васильевичу Арсеньеву.

— Эти памятники,— поясняет мой вожатый,— ставила бабушка, Елизавета Алексеевна. Всех похоронила по очереди: мужа, дочь и внука. Сама померла последняя. Над ней памятника никто уж не ставил. Наследники больше интересовались имение к рукам прибрать, ограничились дощечкой на стене: «Елизавета Алексеевна Арсеньева... скончалась в 1845 году 85 лет...» Неправильно это! Хотя она и старая была, а все же не восемьдесят пять ей было, а по новейшим изысканиям и сведениям семьдесят два... Вы посмотрите пока памятники,— говорит он мне,— а я вниз спущусь, свет зажечь... А вы,— оборачивается он к ребятам,— ступайте!.. Возле самого памятника — разговоры! Неладно так! Давайте...

Ребята оправдываются:

— Мы тихо будем... По условию...

— Вы уж много слов сказали поверх условия,— возражает старик.— Идите на улицу шептаться. Или уж точно: ни одного слова. Тогда оставайтесь...

Он спускается по винтовой кирпичной лесенке вниз. Вскоре оттуда показывается его голова, и он приглашает последовать за ним.

И вот — низкий свод склепа, и впереди — огромный черный металлический ящик на шести могучих дубовых

подкладках, отделенный от нас черной оградой. Металлический черный венок висит в белой нише над гробом, и несколько зажженных свечей прилеплено под сводами в разных местах. И этот теплый свет в прохладном подземелье, и наше мерное дыхание среди могильной тишины еще сильнее заставляют чувствовать величие этой минуты.

— В этом свинцовом ящике,— произносит старик,— запаян другой гроб — с телом Михаил Юрича, и все это находится в таком самом виде, как было доставлено сюда с Кавказа, из города Пятигорска, весною 1842 года...

— Когда Лермонтова убили,— продолжает он, помолчав,— бабушка очень убивалася, плакала. Так плакала, что даже ослепла. Не то чтоб совсем ослепла — глаза-то у ней видели, только веки сами не подымалися: приходилось поддерживать пальцем...

Пишет она брату Афанасию: «Желаю похоронить внука Мишеньку возле могилы его матери, в родной земле». Отвечает: «Подавай на «высочайшее». Подала она. Вышло разрешение: «Доставить с наблюдением необходимых осторожностей». Ну, чтоб шуму не было никакого и перевозить чтоб в свинцовом гробу.

Прислал ей Афанасий этот ящик. Вызывает она слугу Лермонтова — Андрея Соколова, другого — Ивана Вертюкова и еще одного нашего тархановского — Болотина. «Он, говорит, вас любил. И вы тоже уважали его, ходили за ним, провожали в Петербург и на Кавказ, разделяли с ним опасности битвы. Я вам его доверяла живого. Теперь возьмите этот черный гроб, лошадей две тройки и денег сколько пожелаете. Ступайте в город Пятигорск, доставьте мне сюда моего внука Михаил Юрича...»

Отправила она их. Сколько времени проездили, не скажу точно, не знаю: возможно предполагать, что месяца два-три ездили, поскольку она их на распутицу глядя пустила. Дороги-то, сами знаете, какие были. Это теперь везде асфальт поналожен...

С Кавказа в ту пору на Пензу не ездили — она в стороне, а больше на Воронеж, Тамбов, Кирсанов, Чембар. Потом слышно — едут. Вышли мы все тут — глядим...— Он запнулся, потом поправляется: — Ну, мы — не мы! Нас-то в ту пору не было... Но все одно наши, тархановские. Те же мы — народ!.. Вышли. И видать — едет к нам гроб чер-

ный на двух тройках и народу за гробом идет мгла. И все плачут!

Как подъехали ближе, бабушку навстречу выводят. Она: «Доставили?» Андрей Соколов вышел вперед: «Доставили». Она веки пальцами подняла: «Это что ж, говорит, Мишенька?» И отпустила.

Бабушка глаза выплакала, а что у нас на селе слез было — не сказать! А всех больше убивалась кузнецова Лукерья, кузнеца Шубенина жена — мамушка Михаил Юрича... ну, сказать так еще: кормилица. Она так плакала, как родная мать. Жалели ее, что дитя родное хоронит. Он ее очень уважал, Михаил Юрич-то. Бывало, едет в Тарханы — не к бабушке в усадьбу, а наперед к Шубениным. Кинется к Лукерье на шею и целует: «Ты, говорит, моя мамушка!»

А бабка-то услыхала и серчать: «Какая, говорит, она тебе мамушка! Чего ее целуешь-то? Это твоя крепостная мужичка. Была мамушка, а выкормила — и ладно!» Так, знаете, Михаил Юрич ей прямо так строго ответил: «А вы, говорит, не учите меня, бабушка, такой мысли. Вы меня плохо знаете. Она как мать меня вскормила, и я ее навсегда уважать буду». Ну, бабка, конечно,— молчок! Она его опасалася сердить.

А то в другой раз приезжает он к нам, а мужики наши к нему с подарком: подводят к крыльцу серого конька. Он покатался на нем день, к вечеру и говорит: «Хочу, бабушка, отблагодарить их. Они мне живого конька подарили, а я подарю им по новой избе с коньком. Лес пусть даром берут из нашей Долгой рощи. Вот и будет мой подарок народу».

Елизавета вся затряслась, а спорить не решилась: «Все, говорит, твое, что хочешь, то и дари».

Он ей и бить никого не позволял. «Если, говорит, увижу еще в конторе розги, в другой раз не стану приезжать в побывку». И землю крестьянам отдать наказывал бабушке. Она обещала. Но по смерти его не отдала. Не подчинилась его желанию...

Предания народные почти всегда заключают в себе элементы поэзии. Это не мешает им быть достоверными. Неточные в частностях, они зато правдиво передают характер события, характер человека, выражая самую его суть, самую глубь, как может выразить только поэзия.

— Да,— говорит сторож, подумав,— Михаил Юрич с народом замечательно обходился: уважительно, со вни-

манием. Бывало, услышит, что у нас на селе песни заиграют или хоровод водить зачнут, бежит через плотину, куртку в рукава не успеет вдеть, кричит: «Постойте песни-то играть без меня, а то я чего, может, недовижу или недослышу...» Вы походите по колхозу, посоветуйтесь с народом,— продолжает он.— В четвером, в пятом поколении вспоминают его. Вам, пожалуй, того расскажут, чего еще и в книгах нет. Замечательно вспоминают Михаил Юрича... Про бабушку не скажу. Про бабушку плохо говорят, про Елизавету. А чего ее хорошо вспоминать? Кто она такая? Крепостница, властелинка и самодурка!.. А вот тут лектор один приезжал, лекцию в музее читал... Лекция интересная. Но — неправильная! Послушаешь — выходит: и Михаил Юрич хороший, и бабушка хорошая, и бабушкин брат Афанасий не дурной, и вся родня замечательная. А стихи-то все же не бабушка писала, а Михаил Юрич: надо бы его отличать... Да я вам откровенно скажу, если не по-научному! — он машет рукой,— я эту бабушку ненавижу. Муж ее — Михаил Васильевич — так от жизни с ней предпочел принять отраву. Это уж она потом ему памятник поставила, а то и хоронить его не хотела. От нее хорошего никто не видал. Дочери тоже жизнь загубила — Марье Михайловне. Эта не плохая была — Марья. Про нее тоже народ хорошо вспоминает: обходительная с людьми, деликатная, хорошенькая, хорошая. Михаил Юрич в нее, в мать, видно, и был. Понятное дело — не в бабку!

Так вот: полюбила Марья Михайловна Юрия Петровича Лермонтова, отца нашего Михаила Юрича. Хороший был — вот и полюбила. А бабка не залюбила: «Плохой». И знаете, до сих пор повторяют: «Плохой, плохой». А надо бы разобраться сперва, чем он плохой. Для бабушки он, верно, плохой был: имение бедное, неисправное, служебное положение — отставной. По ней он был неровня. А для нас он очень хороший! Потому что родину в 1812 году защищал и Михаила Юрича воспородил. С него хватит! Так нет! Довела их Елизавета, что Марья здесь живет, а Юрий Петрович — в Москве. Родила Марья мальчонку — нашего Михаила Юрича,— пожила два года, а как ему третий годок пошел — померла. Считается — туберкулез легких, чахотка. Очень может быть, что чахотка, но чтобы одна эта причина была — не доверяю... Вы хорошо поглядели, что там на памятнике у ней?

— Якорь.

— А с чего у ней якорь? Что она — матрос, что ли?.. То-то, что нет! По-моему, якорь на памятнике означает симвóл разбитых надежд...

Остался на руках у Елизаветы Михаил Юрич... Ну, его-то она очень любила. Как говорится, души не чаяла. А все же скажу: она и его больше для себя любила. Он ей пишет: «Бабушка! Я желаю выдти в отставку. Желаю посвятить себя литературе».— «Ладно, говорит, я скажу, когда выходить». Вот и сказала! Правда, он не потому погиб, что на военной находился. Он бы и в гражданке погиб. Потому что царь Николай его преследовал, он его ненавидел люто. Он бы его все равно погубил. А все же, знаете, не по Михаил Юричеву вышло, а по-бабушкину... Да что про нее долго объяснять!

Он оборачивается:

— Давайте, ребята!.. Возле самого гроба диспут... Условие нарушаете опять. Ступайте...

Ребятишки смущенно улыбаются, но не уходят.

— Мы пошептали, дядь Андрей... учти впечатления.

— Новое дело: «Учти впечатления»! А в школе-то как же? Тоже впечатления! А сидите тихо, дожидаетеся, когда вызовут, соблюдаете дисциплину. А тут возле самого гроба... Притом еще человек посторонний... Ну, да уж... ладно, оставайтесь!.. Надобно согласиться,— поворачивается он ко мне,— впечатления очень большие. Я сам сколько лет экскурсии вожу... Сколько народу сюда идет! Вереница, можно сказать. А все же каждый раз, как подойду ко гробу, не могу спокойно говорить: волнуюся. Очень жалею Михаил Юрича!.. Я, конечно, понимаю, что Пушкин — Пушкин. Тут ничего не возразишь: Пушкин и есть Пушкин. Но все же, если допустить, что наш Михаил Юрич пожил бы, как Пушкин, до тридцати семи лет, то еще неизвестно, кто бы из них был Пушкин! С другой стороны сказать: если бы Пушкин, как наш Михаил Юрич, не дожил бы даже и до двадцати семи годов, опасаешься думать: «Евгений Онегин» не бы́л бы закончен, не было́ бы даже возможности издать полное собрание сочинений!

Он умолкает, потом говорит:

— Там, наверху, жарко, а здесь как бы не прохватило вас. Лучше подымемся. Пожелаете — можно второй раз спуститься.

Мы выходим наверх, в часовню. На подоконнике лежит книга записей.

— Распишитесь,— предлагает «дядя Андрей».— Делегация ваша проехала, осмотрели, а расписались неправильно. Тут разделёно, на этой стороне листа указать фамилию, имя, отчество, от какой организации, город. А здесь вот — подпись. А они не заполнили ничего, а подписи иные даже не поймешь. Вы мне подскажите...

Он берется за карандаш.

— Это кто?

— Это Фадеев.

— «Молодая гвардия»? — спрашивает он, встрепенувшись.— Да, этой книгой у нас очень увлекаются! Жалко, я не знал, что товарищ Фадеев сюда заходил. Тем более что у меня до товарища Фадеева дело... А это чья роспись?

— Эренбург.

— Илья? Этот нам тоже знакомый. Читаем. А тут кто?

— Всеволод Аксенов.

— Это что? По радио что-либо читает?

— Он самый.

— Тогда тоже известен... Эх,— вздыхает он, закончив изучение подписей,— выходит, тут писатели московские были, и я всех видел, но никого не повидал. А дело у меня к товарищу Фадееву вот какое. Ходит сюда народ. Оставляет возле памятника знаки своего уважения к Михаилу Юричу. Вот знамена стоят... Это вот от районного комитета: «Поэту — борцу за свободную человеческую личность». То знамя — от областной комсомольской организации. От наших колхозников: «Поэту-земляку... любимому Михаилу Юрьевичу Лермонтову... от колхозников села Лермонтова...» Пионеры приходили с барабаном — возложили цветы к подножию. От писателей желательно тоже... Да вы мне не говорите,— успокаивает он меня, пресекая попытку объяснить, как это все случилось.— Я сам вам скажу.

Ехали к Белинскому. Вот! Венки-то все на Виссариона выписаны. А тут возле нас поравнялися — один шустрый какой и скажи: «К Лермонтову заедем?» Вот и заехали!.. Да не в венке дело,— говорит он успокоительно.— Главное дело, что побыли тут, постояли в молчании, подписи оставили в книге. Народ будет очень доволен. Мы еще до войны слыхали, что предполагается прибытие делегации от Союза советских писателей для возложения венков. Вот теперь бы неплохо опять про это дело напомнить товарищу Фадееву: прислать бы, знаете, небольшую деле-

гацию — человека два, больше не надо, потому что ассигнований на это дело у него не отпущено в этом году, поскольку нет юбилея. И так подобрать писателей, чтобы один стихи почитал, а другой речь сказал. И возложили бы. А случай подыскать можно: скажите, что годовщина, мол, бывает каждый год. Так и передайте товарищу Фадееву, что сторож при могиле Михал Юрича вносит свое предложение в Союз советских писателей...

Я обещаю передать его просьбу. Стоя уже на пороге часовни, он раздумывает, что бы еще показать.

— Всё! — объявляет он.— Больше нечего объяснять! Вот разве взойти вам на колокольню. Оттуда вид замечательный. Я-то не могу вас проводить — у меня нога плохая... А вот ребятки проводят... Давайте, ребята, только осторожно: там одной ступеньки не хватает. Глядите, оступится гражданин — я с вас взыщу...

— Михаил Юрич,— говорит он, прощаясь,— бывало, как приедет, первым долгом на колокольню. «Мне вольней дышать там. Простор, говорит, вокруг далекой». Передают, он там и стихи написал, на колокольне. Вот эти... Нет, не эти!.. Вот эти вот:

Дайте волю, волю, волю,
И не надо счастья мне...

Жалко, до нас не дожил: была б ему теперь полная воля.

1948

Личная собственность

Посвящается
Вивиане Абелевне
Андрониковой,
которая заставила меня
записать этот рассказ

Бывает же такая удача!

Уже не помню сейчас точную дату, знаю только, что это было весной, когда знакомые позвонили мне по моему московскому телефону:

— Послушайте, Ираклий! Вас интересует письмо Лермонтова? Подлинное. И, кажется, еще неизвестное.

Что это, шутка? В трубке слышится дружный хохот, голоса: «Что, молчит?», «Он жив?», «Представляю себе его видик!».

Может быть, розыгрыш?.. Нет! Голос, который произнес эти ошеломившие меня фразы, принадлежит женщине серьезной, уважаемой, умной, немолодой, наконец! Положительной во всех отношениях! Конечно, это чистая правда! Вот радость!

Начинаю выражать восторги, ахать, шумно благодарить собеседницу.

— Чтобы увидеть это письмо,— говорит она уже совершенно серьезно,— вам придется ехать в Актюбинск... Почему в Актюбинск? Потому что письмо находится там! — И снова смеется.— Вот уж правда, что на ловца и зверь бежит! Новая тема для ваших рассказов. Кроме лермонтовского письма,— продолжает она, словно решила меня

дразнить,— там, говорят, есть еще кое-что. И, кажется, даже много «кое-чего». У нас сейчас сидит доктор Михаил Николаевич Воскресенский. Он только что из Актюбинска. И расскажет вам все это, конечно, лучше меня. Передаю ему трубку...

То, что я услышал от Михаила Николаевича Воскресенского, заинтриговало меня еще больше.

— Пользуясь любезностью наших общих друзей, обращаюсь к вам за советом,— начал он негромко и осторожно.— Дело в том, что проживающая в Актюбинске Ольга Александровна Бурцева уполномочила меня переговорить в Москве о судьбе принадлежащих ей рукописей. Кроме письма Лермонтова, у нее хранятся письма других писателей. Все это она хотела бы предложить в один из московских архивов. Вы, насколько я знаю, связаны с Государственным литературным архивом, и, если не возражаете, мне хотелось бы подробнее поговорить обо всем этом при личном свидании.

На другой день он приехал ко мне — небольшой, предупредительно-вежливый, скромный, с представительной, прежде, видимо, очень красивой женой — и в доказательство серьезности намерений Бурцевой разложил на скатерти два письма Тургенева, два письма Чехова, два письма Чайковского и маленькую записочку Гоголя. Разложил и взглянул на меня вопросительно и вместе с тем понимающе.

Увидев все это, я присмирел и в тот же миг углубился в чтение. Да. Конечно. Подлинные автографы. Письма Чехова опубликованные. И никогда еще не появлявшиеся в печати письма Тургенева и Чайковского. Объявление Гоголя об отъезде его за границу в собраниях его сочинений тоже не обнаружилось.

— Если эти рукописи представляют для вас интерес,— заговорил доктор снова,— то Ольга Александровна хотела, чтобы вы приехали к ней в Актюбинск и познакомились с остальными.

— А сколько их у нее?

— Затрудняюсь сказать: я видел не все — только часть. По моим представлениям, у нее много интересного и, видимо, редкого: автографы музыкантов, писателей, ученых, итальянских певцов. Это не моя область: по специальности я рентгенолог. В прошлом мы с женой ленинградцы, ну, и, конечно, большие любители музыки, литературы, театра...

На наш взгляд, коллекция представляет исключительный интерес.

Жена подтвердила.

Возвращая автографы, присланные в качестве образца, я просил передать Ольге Александровне Бурцевой, что приеду в Актюбинск, предварительно договорившись о передаче принадлежащих ей рукописей в Центральный государственный архив литературы и искусства. А с доктора взял обещание: по возвращении в Актюбинск выслать хотя бы приблизительное описание тех документов, о которых мне следовало вести переговоры в Москве.

Центральный государственный литературный

Письмо пришло через месяц. Оно состояло из длинного списка фамилий великих деятелей русской культуры. Впрочем, это было еще не все: доктор предупреждал, что многие подписи ему разобрать не удалось и что Ольга Александровна не очень хотела бы заочного решения вопроса.

Перечитав список бессчетное число раз, выучив его чуть ли не наизусть, я отправился в Центральный государственный архив литературы и искусства, который теперь сокращенно именуется ЦГАЛИ, а раньше назывался ЦГЛА или Гослитархив.

Иные и до сего времени связывают с этим словом представление о какой-то безнадежно серой и нудной работе, с пренебрежением говорят: «сдать в архив», «архивная пыль», а то еще и «архивная крыса»... Деятели архивного дела рисуются им людьми пожилыми, с нездоровым цветом лица, с блеклым взглядом, сторонящимися живой жизни и бегущими от нее в прошлое. Сказка! И притом старая. Нынче в учреждениях подобного рода, особенно в системе Главного архивного управления, работают больше девушки-комсомолки, мужчины в полном выражении здоровья — народ современный, живущий не прошлым, а самым что ни есть настоящим. Они окончили Историко-архивный институт (или университет), помышляют о диссертации (или уже защитили ее), одержимы стремлением не только хранить, но прежде всего изучать, разведывать архивные недра, вводить в научную эксплуатацию новые запасы исторического сырья, занумерованного и скрытого в помещениях,

недоступных солнцу, огню и воде, сырости, холоду и хищениям. Нынешний архивист не вздохнет над засушенным цветком в старинном альбоме, не загрустит над упакованным в миниатюрный конвертик колечком золотистых волос. Не сувениры прошлого привлекают его, а неизвестные факты этого прошлого. Не в его характере ахать и удивляться. Особенно трудно чем-либо удивить работников ЦГАЛИ — архива, принявшего в себя многое множество старинных рукописей, в связках, в папках, в картонах, коробках и переплетах из музеев Литературного, Исторического, из театров Большого и Малого, из Третьяковской галереи, из Московской консерватории, из Архива древних актов и другие более близкие к нам по времени акты, договоры, письма и рукописи, которые передали в ЦГАЛИ нынешние наши издательства и творческие организации. Чем удивить работников этого архивного левиафана, насчитывающего около двух тысяч отдельных фондов — фондов родовых и семейных, писателей и ученых, актеров и музыкантов, деятелей политических и общественных?! Станут ли там ахать и удивляться при виде еще одного письма или двух фотографий? Привыкли!

Однако сообщение доктора Воскресенского даже и в архиве произвело впечатление огромное. Зарумянились опытнейшие, оживились спокойнейшие. Просто неправдоподобным казалось, что в Актюбинске, в частных руках, может храниться такая удивительная коллекция. Все задвигалось, заговорило, принялось строить догадки и вносить предложения. Одни считали необходимым немедленно запросить или вызвать, другие — отправить и привезти, третьи — просто доставить. Иные советовали не торопиться, а рассмотреть, обсудить и решить. Но поскольку рассматривать было нечего, то и обсуждать было нечего, а решать могло только вышестоящее Главное архивное управление, ибо даже и предварительные расчеты показывали, что для подобной покупки потребуются ассигнования особые.

Сначала писал по начальству я, потом начальник архива, все пошло своим чередом. И насунулся уже декабрь, и давно установилась зима, когда нужные суммы были отпущены и вышел приказ командировать меня в Актюбинск для изучения коллекции рукописей и переговоров с владелицей.

Скорый «Москва — Ташкент»

Ободренный командировочным удостоверением (я замечал, что оно как-то придает человеку энергии), заручившись рекомендательным письмом к О. А. Бурцевой от Союза писателей СССР, я «убыл» с ташкентским поездом.

Теперь, когда медленно заскользили за стеклом составы пустых электричек, потом побежали под мостами убеленные снегом улицы с трамваями, про которые уже давно забыли в центре Москвы, когда закружились на белых полянах однорукие черные краны, осеняющие кирпичные корпуса, промелькнули вытянувшиеся возле переездов трехтонки и самосвалы, я мог наконец подробно обдумать поручение, которое по желанию моему и ходатайству возложило на меня Главное архивное управление. Что же это за рукописи? Сколько их? Как их оценивать? Автограф автографу рознь. Можно расписаться на визитной карточке, на театральной программе — вот тебе и автограф! Но написанные от руки страницы романа или рассказа, письмо да и всякая рукопись автора — тоже автограф! Как примет меня Ольга Александровна Бурцева? С чего начинать разговор? Какими глазами буду глядеть я, возвращаясь через несколько дней, на все эти подмосковные дачи и станции?

К исходу второго дня пошли места пугачевские, пушкинские, известные с детства по «Капитанской дочке»,— оренбургские степи, где разыгрался буран, когда «все было мрак и вихорь», ветер выл «с такой свирепой выразительностью», что казался одушевленным, и, переваливаясь с одной стороны на другую, как «судно по бурному морю», плыла среди сугробов кибитка Гринева! Сперва думалось, как поэтично и верно у Пушкина каждое слово, потом мыслями завладел Пугачев, пришли на память сложенные в этих местах песни и плачи о нем, в которых он именуется Емельяном и «ро́дным батюшкой», покинувшим горемычных сирот...

Оренбургские степи перешли в степи казахские. Тогда я еще не мог знать, что передо мною расстилаются те самые земли, подняв которые славный Ленинский комсомол прославит навсегда своим подвигом! Несколько лет спустя, осенним днем, я смотрел на них в круглое окошечко самолета. Черно-бархатные и золотисто-русые квадраты, вычерченные рукой великана, пропадали в стоверстной дали, за-

валенной дымной мглой. Простроченное пупырышками заклепок крыло неподвижно висело, подбирая под себя эти бескрайние земли, а они всё текли и текли... Но это было потом, через несколько лет. А тогда я ехал, а не летел. И поезд стучал и покачивался, на окне лежала толстая шуба инея, в окно проникал серебристо-серый морозный свет. Процарапав на стекле щелку, можно было видеть степь в завихрении дыма и вьюги. Ветер катался по крыше и к ночи совсем разошелся: толкал вагон, сбивал с такта колеса. Наконец, вынырнув из темноты, окно засверкало, в купе завертелись тени, остановились, под вагоном стукнуло, скрипнуло, брякнуло, стал слышен храп, в душную спячку ворвался холод.

— Актюбинск!

Сотрудница Актюбинского горисполкома

Уже к концу первого дня каждый приезжий узнаёт, что «Ак-тюбе» — «Белый холм», что не так давно здесь было казахское поселение и старые люди помнят, как оно становилось Актюбинском. Теперь это крупный город. В годы пятилеток здесь возникла промышленность — завод ферросплавов, «Актюбрентген», «Актюбуголь», «Актюбнефть» и другие актюбпредприятия, Актюбинский аэропорт. Потом город оказался среди поднятой вековой целины. И пошли на сотнях тысяч конвертов слова: «Актюбинск», «Актюбинский»... И стал он городом будущего... Но это я опять забегаю вперед. В то утро я еще не знал всего этого, а, сдав вещи в гостиницу, торопливо шагал по архивным делам к доктору Воскресенскому.

Буран утих. Актюбинск спешил на работу. Сияли сугробы, в светлое небо поднимались жемчужные дымы, снег под калошами визжал и присвистывал.

Можете поздравить меня! В этот час Михаил Николаевич Воскресенский спешил на работу уже в другом городе. Оказывается, покуда я собирался в Актюбинск, Москва утвердила его диссертацию и он принял приглашение в Воронеж.

— Недели три как уехали. Они больше здесь не живут!..

А я так на них полагался, что не узнал даже адреса Бурцевой.

Правда, выяснить это было нетрудно. Но пока я перебегал с тротуара на тротуар, расспрашивал, как пройти в управление милиции, потом искал Красноармейскую улицу, Бурцева уже ушла на работу — в топливный отдел Актюбинского горисполкома, или, короче, в Гортоп. Это заставило меня еще раз пробежаться в хорошем темпе по городу, бросив взгляд на бронзовую фигуру знатного казахского просовода Чаганака Берсиева. Непредвиденные препятствия распаляли нетерпение и беспокойство. «Что,— думал я,— если раньше конца дня на автографы поглядеть не удастся? А может быть, и до завтра?... А вдруг она не сможет показать их до воскресенья?! Хоть бы Лермонтова увидеть сегодня!..»

Но тут я уже читаю на табличке: «Гортоп» — и, обметя веничком ноги на деревянном крылечке, вступаю в помещение, где за столами вижу пятерых женщин — четырех помоложе, одну постарше других.

Те, что помоложе, подняв голову при моем появлении, не проявили ко мне никакого решительно интереса и снова углубились в работу. Та, что постарше — лет пятидесяти,— с пронзительным темным взглядом, с интересным и тонким лицом, с цветной повязкой на седеющих волосах, проявила ко мне значительный интерес. Наклонив голову и слегка опустив ресницы, она дала понять, что догадывается, кто я и откуда к ней прибыл, но не хотела бы распространяться здесь — в учреждении — на тему, с работой не связанную.

Я представился ей. Она, в свою очередь, познакомила меня с остальными. Зашел разговор о вчерашнем буране, об изобилии снега, о гостеприимстве актюбинцев, о достоинстве актюбинских гусей, продающихся на колхозном базаре.

Проявив повышенный интерес к актюбинской кухне, ибо время завтрака уже миновало, я извинился тем, что у меня к Ольге Александровне неотложное дело и я хотел бы его изложить, не мешая другим.

Ольга Александровна, казалось, находится в затруднении: начальник уехал в район, если только уйти без его разрешения?

Сослуживицы ее поддержали: будь начальник на месте, он, конечно, отпустил бы поговорить — человек из Москвы,

потеряет день понапрасну. Два-три часа можно всегда отработать.

Доводы показались Ольге Александровне вескими, и мы вышли.

Тысяча пятьсот восемь

Бурцева привела меня в комнату на втором этаже, обычную комнату о двух окнах, затопила небольшую плиту, поставила чайник и в нерешительности стала оглядывать стол, диван, подоконники.

— Прямо не представляю себе,— сказала она,— где вы разложите их...

Список я знал. Знал, что бумаг будет много. Тем не менее сердце испуганно екнуло, стало жарко.

— На столе? — сказал и тут же понял, что глупо.

— Ну стола-то вам, конечно, не хватит,— ответила Бурцева, быстро взглянув на меня и улыбнувшись любезно и живо. И я — за эти полчаса в который раз! — отметил про себя, что она держится с простотой и свободой человека благовоспитанного и сдержанного.

— Впрочем,— продолжала она,— как-нибудь выйдем из положения. Боюсь только, негде будет поставить чай. А вы у меня голодный...

Сделав шаг по направлению к окну, она сдернула скатерть, какою была накрыта стопка вещей в углу, сняла и отставила в сторону корзиночку, потом чемодан, еще чемодан...

— А этот,— сказала она, указывая на самый большой,— берите! Ставьте его на диван!

Я схватился... Помятый, обшарпанный чемодан в старых ярлыках и наклейках, служивший хозяевам, видимо, с дореволюционных времен... Вцепился в ручку — он как утюгами набит! Взбросил его на диван... Бурцева подняла брови:

— Открывайте! Он у меня не заперт...

Раздвинул скобочки, замки щелкнули, крышка взлетела...

Нет! Сколько ни готовился я увидеть эту необыкновенную коллекцию и взглянуть на нее спокойно и деловито — не вышло! Я ахнул. Чемодан доверху набит плотными связками... Письма в конвертах... Нежные голубые листочки. Листы плотной пожелтевшей бумаги из семей-

ных альбомов. Рескрипты. Масонские грамоты. Открытки. Фотографии. Визитные карточки. Аккуратные копии... Черновики. По-русски. По-французски. По-итальянски...

Задыхаясь, беру письмо... «Лев Толстой»... Фуф!!! Как бы с ума не сойти!..

...Автобиография Блока!

...Стихотворение Шевченко!

...Духовное завещание Кюхельбекера!

...Черновик XII главы «Благонамеренных речей» Щедрина!

...Фотография Тургенева с надписью.

...Рассказ Николая Успенского.

...Стихотворение Есенина...

...Письмо мореплавателя Крузенштерна... Революционера Кропоткина... Кавалерист-девицы Дуровой... Художника Карла Брюллова... Генерала Скобелева... Серафимовича, автора эпопеи «Железный поток»... Академика Павлова...

Читать одни подписи?.. Нет! Надо хотя бы проглядывать!.. Это что? Карамзин?

«...Нашел две харатейные Нестеровы летописи весьма хорошие: одну 14 века у Григория Пушкина, которую уже списал для себя, а другую в библиотеке Троицкой, столь же древнюю. Ни Татищев, ни Щербатов не имели в руках своих таких драгоценных списков... Одним словом, не только единственное мое дело, но и главное удовольствие есть теперь история. Думаю, что бог поможет мне совершить начатое не к стыду века...»

12 сентября 1804 года. Письмо к какому-то Михаилу Никитичу... Муравьеву, должно быть?! «Начатое» — это, конечно, «История государства Российского».

«Дорогой Антон Степанович...»

Это Рахманинов пишет Аренскому!

«...Будь добр... сделай мне одолжение... нечего и говорить, конечно, что я заранее одобряю и доволен твоим выбором... В первый момент, как я прочитал твое письмо, мне пришло в голову, что лучше Земфиры — Сионицкой и Шаляпина — Алеко я никого не найду. Но согласятся ли они? Как бы то ни было, но я прошу тебя подождать назначать

кого-нибудь на эти роли дней пять, шесть, когда я сообщу тебе результаты...,

17 апреля 1899 г.».

Речь идет о подборе певцов для постановки оперы Рахманинова «Алеко» в Таврическом дворце в Петербурге...

«...об Грибоедове имеем известия... он здоров, но, говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, что-то серьезное пишет...»

Чья подпись? «Д. Бегичев». Письмо Кюхельбекеру. Март 1825 года — время, когда Грибоедов находится в Петербурге, где с огромным успехом в декабристских кругах ходит по рукам в копиях «Горе от ума». Что Грибоедов сочинял музыку — всем известно! Но *это*, кажется, свидетельство новое!..

А это?! Шесть, семь... целых восемь писем самого Кюхельбекера. К разным лицам. Из ссылки.

«Позволено ли поэту изображать порок?..»

Ого!.. В печати не появлялось!..

«Изображать поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним, но представлять порок в привлекательном виде преступление не перед одною нравственностью, но и перед поэзиею...»

Взгляд на роль и назначение литературы, характерный для декабристов, требовавших от нее высокого этического идеала. Письмо 1835 года. Прошло уже десять лет после крушения всех декабристских замыслов; Кюхельбекер, отбывая сибирскую ссылку, проповедует свои прежние взгляды.

А это что же такое — в другом письме Кюхельбекера?.. *«...Пушкина...»?*

«Успел прочесть Гусара Пушкина. По моему мнению журналисты с ума сходили, нас уверяя, что Пушкин остановился, даже подался назад. В этом Гусаре Гётевская зрелость таланта...»

Великолепные письма! Каждое!.. Вот еще: о заслугах поэта Гнедича — переводчика «Илиады» Гомера. О его — Кюхельбекера — работе над трагедией «Прокофий Ляпу-

нов»... Это, кажется, менее интересное письмо; «Казань, 21 Генваря 1832 года...» Чье это?

«Мы были на литературном вечере у Фуксов... Н. И. Лобачевский...»

Нет, тоже важное!

«...Н. И. Лобачевский читал стихи сочинения m-me Фукс и несколько раз чуть не захохотал... Баратынский все время сидел с потупленными глазами...»

Великий математик Н. И. Лобачевский и замечательный поэт Е. А. Баратынский в казанском литературном кругу! Тоже интересно! Адресовано письмо литератору Ивану Великопольскому.

Бросаю его, потому что вижу почерк Чайковского... о «Чародейке»!

«...В глубине души я твердо убежден, что фиаско незаслуженно, что опера написана с большим тщанием, с большой любовью и что она совсем не так плоха, как об ней с единодушной враждебностью отозвались петербургские газеты...»

Гениальнейший композитор оправдывается перед директором императорских театров И. А. Всеволожским после того, как новая его опера провалилась на императорской сцене! Это тоже письмо неизвестное, интереснейшее письмо!.. Где тут у меня композиторы?

Письмо ложится на подоконник, рука тянется к чемодану... И — даже в жар бросило! — *Лермонтов!*

«Милая бабушка, так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру и карету видел, да высока...»

Вся кровь в голову!.. Неизвестное!! Упоминается имя Ахвердовой... Много лет стремлюсь доказать, что Лермонтов знал эту женщину. И вот наконец:

«Прасковья Николаевна Ахвердова в мае сдает свой дом...»

Подробно изучать буду после: впереди десятки, нет, сотни документов и писем! Неизвестно еще, что найду: Жуковский Василий Андреевич... Сообщает, как идет у него перевод «Одиссеи»... Дельвиг обращается к Кюхельбекеру:

«Ты страшно виноват перед Пушкиным, он поминутно об тебе заботится... Откликнись ему, он усердно будет тебе отвечать...»

1821 год. Пушкин в Кишиневе. Кюхельбекер уехал на службу в Грузию. Дельвиг стремится связать лицейских друзей.

...Полевой: благодарит Маркевича за согласие сотрудничать в «Московском телеграфе»... Станкевич: предлагает Максимовичу «три пьесы» для альманаха «Денница»... Надеждин: просит прислать ему материалы для «Одесского альманаха»... Катенин: поручает свои литературные дела Жандру... Чернышевский: после долгих лет ссылки обращается к Авдотье Панаевой... Шаляпин: сообщает Горькому об успехе в Париже оперы «Борис Годунов»...

Посерел и померк за окнами короткий актюбинский день, наступил и прошел вечер. Бурцева ушла ночевать к дочери. А я все еще, словно фокусник, продолжаю вытаскивать рукописи из этого, кажется, бездонного чемодана.

Да... Ольга Александровна не шутила, сказав, что стакан с чаем некуда будет поставить. Рукописи разложены на столе, на постели, на валиках дивана, на табуретках и просто на полу — на газетах... Здесь подлинные и большей частью неопубликованные автографы: Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Дениса Давыдова, Катенина, Кюхельбекера, И. И. Козлова, Дельвига, Баратынского, Веневитинова, Языкова, Хомякова, С. Т. Аксакова, Даля, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Курочкина, Тютчева, Полонского, Фета, Майкова, А. К. Толстого, Гончарова, Григоровича, четыре письма А. Н. Островского, четыре письма Льва Толстого, восемь писем Достоевского, тринадцать писем Тургенева, шестнадцать писем Горького, пятьдесят писем Чехова и автограф рассказа его «Великий человек», переименованного потом в «Попрыгунью». Здесь сорок два письма журналиста Греча к Фаддею Булгарину, девяносто одно письмо поэта Пальмина к Лейкину, пять писем Лескова, Писемский, Сухово-Кобылин, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк, Андреев, Брюсов, Блок, Есенин; композиторы: Чайковский (пять писем), Кюи, Рубинштейн, Направник (двенадцать), Глазунов,

Танеев, Рахманинов; художники: Александр Иванов и Карл Брюллов, семнадцать писем В. В. Верещагина; письма актеров Мочалова, Каратыгина, Стрепетовой, Яворской, гастролировавших в России итальянских певцов и других заграничных знаменитостей; грамота за подписью гетмана Мазепы, указы Екатерины II, автографы Потемкина и Суворова, записки Павла I, рескрипты Александра I, письма декабристов, письма генералов: Ермолова, Платова, Барклая де Толли, Дибича-Забалканского, Паскевича-Эриванского и многих других... Если бы я захотел перечислить все документы, мне пришлось бы назвать более пятисот имен великих и прославленных русских людей.

Передо мной лежала знаменитая коллекция Бурцева, которая исчезла из поля зрения исследователей и архивистов в тридцатых годах и считалась безвозвратно утраченной!

Судя по обращениям в письмах, можно было понять, что в основу ее легли документы из архива В. К. Кюхельбекера, из архивов позорно знаменитого Фаддея Булгарина, литераторов М. А. Максимовича и Н. А. Маркевича, писателя-юмориста Н. А. Лейкина, беллетриста А. А. Лугового, певицы П. А. Бартеневой, композитора Н. Ф. Соловьева, из коллекций доктора Л. Б. Бертенсона и переводчика Ф. Ф. Фидлера.

Трое суток я не ложился спать — все раскладывал этот необыкновенный пасьянс.

Наконец, когда работа была закончена и я, стуча зубами от усталости и волнения, зябко потирал руки, Бурцева спросила меня:

— Сколько вы насчитали?

Я отвечал:

— Здесь тысяча пятьсот восемь различных писем и рукописей.

— Да. Я тоже считала, и у меня получилось даже как будто немного меньше. Не откажите,— попросила она,— сообщить ваше мнение о коллекции моего отца, с которой вы познакомились, и охарактеризовать наиболее интересные вещи.

Я начал перечислять имена, называть особо замечательные автографы.

— Вас не затруднит сказать, чего здесь не хватает, по-вашему? — спросила Бурцева, когда я умолк.— Какие

имена не встречаются в этой коллекции вовсе? Не возникает ли у вас ощущения пробелов?

Только долгое время спустя я понял, что беспокоило Бурцеву и почему мне был задан этот вопрос, ответить на который не так-то легко. Известно: труднее всего сказать, чего нет!..

— Здесь нет... м-м... сразу не сообразить как-то... автографов... Пестеля, Грибоедова... в копии представлен Рылеев... Кого еще нет?.. Стасова нет... Короленко... Из тех, что лежат возле зеркала,— тут у меня полководцы,— Кутузова и Багратиона. Да, вспомнил! Нет Глинки, Мусоргского, Бородина... А главное, Пушкина нет, к сожалению!

— Пушкин есть. Он у меня отложен!

С этими словами Ольга Александровна вынула из книги маленькую записочку на французском языке, адресованную Катенину, с просьбой одолжить денег. Две строчки.

— Вот. Дата «1-е апреля». И подпись «Pouchkin».

Тут мы подошли к самому трудному.

Самое трудное

— Если бы я решила уступить этот автограф архиву,— спросила Бурцева, обдумывая и осторожно взвешивая каждое слово,— в какой, по-вашему, сумме могла бы выразиться подобная передача?

Я не менее осторожно ответил:

— Это вам точно скажет закупочная комиссия при Литературном архиве.

— Нет! — мягко произнесла Бурцева.— Мне хочется услышать от вас хотя бы приблизительную оценку.

— Если это действительно окажется Пушкин (говорить надо было ответственно и по-деловому) ...если это окажется Пушкин, то за это могут заплатить,— стал я размышлять вслух,— чтобы не соврать вам... что-нибудь порядка... рублей, я думаю, пятисот...

— Неужели?

— Конечно, порядка пятисот... Ну, может быть, несколько меньше...

— Автографы Пушкина — величайшая редкость,— сказала Бурцева озабоченно.— Мой отец был крупным

специалистом и знал цену таким вещам... Он очень дорожил этим автографом. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь. И как-то, простите, удивлена словами: «если это окажется Пушкин...» Вы, вероятно, уже убедились, что в коллекции, над которой я предоставила вам возможность трудиться, собраны только подлинные автографы. А вы — эксперт государственного архива — начинаете выражать сомнения. Если бы я не была в вас уверена, я могла бы подумать, что вы просто решили ввести меня в заблуждение... И вообще, я не совсем понимаю: если Пушкин идет за пятьсот, то в какой же цене остальные автографы? Лермонтов, скажем? Двести? Или, может быть, сто?

— Не менее тысячи.

— Это что? Ваше пристрастие? — Ольга Александровна говорит иронически.— Или другие тоже посмотрят так?

Ну конечно, не надо ей объяснять... Она и сама понимает, что содержательное письмо Лермонтова, заключающее в себе новые факты, ценнее незначительной записочки Пушкина. Но... Впрочем, она хотела бы прежде всего выслушать мое мнение о каждой рукописи отдельно.

Дело сложное!

Передо мной лежали документы, научное значение которых одному человеку известно быть не могло. Разве я специалист по военной истории? Или, даже и зная литературу, мог ли на память сказать, какие письма Чехова опубликованы полностью, какие с купюрами?

Перед отъездом в Актюбинск я, разумеется, спрашивал в архиве, во сколько оценивать автографы Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чайковского, Чехова — те, о существовании которых в коллекции Бурцева знал. Но разве мог я предвидеть, что нападу на такую пропасть бумаг!

Приходилось цены определять приблизительно: «от» — «до». «От» иной раз казались Ольге Александровне маловаты. «До» беспокоили меня. Назову, а сам сомневаюсь: что скажут в Москве? «Наобещал! Увлекся! Завысил!..»

Впрочем, Ольга Александровна и здесь проявляла сдержанность, разговаривала любезно и просто, сомнения выражала в вопросительной форме, удивленно приподняв

брови. Если я начинал убеждать ее, что больше никак не дадут, отвечала, подумав:

— Вам виднее.

— Очевидно, нам будет удобнее разговаривать,— сказала она наконец,— если вы предварительно составите опись. И лучше бы в двух экземплярах. Один возьмете с собой. Другой останется у меня. На случай возможных недоразумений.

Это был дельный совет.

В тот же час я принялся за работу.

Нотариальная доверенность

Склонив голову несколько набок, как Чичиков, сгибаясь, прищуриваясь и подмигивая себе самому, словно Акакий Акакиевич, трудился я над составлением первого каталога коллекции, отмечая, где копия, где автограф, а если письмо, то от кого и кому, дату, число страниц.

Время быстро пошло. Москва стала окутываться для меня туманом воспоминаний.

По окончании описи каждое письмо и записку пришлось пробежать глазами, против каждого номера выставить предположительную оценку. После этого Бурцева взяла счеты. И записала итог. Он выражался в солидной сумме из четырех нолей, а впереди стояла хотя и не последняя цифра из девяти, но далеко и не первая.

Предварительное изучение коллекции — на дому у владелицы — можно было считать законченным. Тут Ольга Александровна стала собираться к нотариусу, чтобы оформить доверенность.

— Зачем? Мне неудобно,— возражаю я ей.— Я представляю интересы архива.

— Не отказывайтесь,— советует Бурцева.— Вы возьмете с собой чемодан. И вас и меня это вполне устроит. У меня нет сомнений,— говорит она, улыбаясь,— что вы все равно будете защищать в Москве мои интересы.

— Тем не менее вам следовало бы поехать самой.

— Не могу. Я человек служащий. Ни с того ни с сего — и вдруг еду.

Я предлагаю походатайствовать о предоставлении ей отпуска. Нет, это ее не устраивает. Уехать она не может по разным причинам.

— Кого же уполномочить? — размышляет она.— Знакомых у меня в Москве нет.

— Дайте доверенность дочери. Ей двадцать три года. Она юридически правомочна.

— Рине? Но у Рины ребенок. Мальчику третий годик.

— А свекровь? Мальчик побудет без матери полторы-две недели,— подаю я совет.— Покупка должна быть оформлена до двадцатого декабря. Иначе срежут ассигнования. Двадцать третьего можете Рину встречать.

— Боюсь, ничего не получится!

— Остановится Рина у нас,— продолжаю я уговаривать.— От имени нашей семьи я зову ее в гости. И даже проезд оплачу.

— Только в долг,— решительно ставит условие Бурцева.— Из полученных денег она все вам вернет... Ладно,— сдается она.— Как-нибудь выйдем из положения. Рина! — зовет она дочь.— Тебе придется поехать в Москву. Иди собирайся. Если ты поторопишься, вы успеете к ашхабадскому. А я тем временем пойду оформлю на твое имя доверенность.

Рина согласна. За сыном посмотрит свекровь, по вечерам Ольга Александровна будет брать его к себе в комнату. Все устроилось. Едем.

Но, прежде чем оставить Актюбинск, надо сказать наконец, откуда взялась и как попала туда эта удивительная коллекция.

Откуда взялась, как попала?

Жил в свое время в Петербурге богатый коллекционер из купцов Александр Евгеньевич Бурцев. Собирать он начал давно — еще в конце прошлого века. Собирал все: редкие книги, журналы, газеты, иллюстрированные издания, картины, лубок, литографии, исторические документы, автографы. Малыми тиражами выпускал на свои средства описания этих коллекций. Характер собирательской деятельности А. Е. Бурцева хорошо раскрывает заглавие одного из таких изданий: «Мой журнал для немногих или библиографическое обозрение редких художественных памятников русского искусства, старины, скульптуры, старой и современной живописи, отечественной палеографии

и этнографии и других исторических произведений, собираемых А. Е. Бурцевым. СПб., 1914».

Публиковал Бурцев не только «обозрения», но и самые документы, а иногда полностью тексты принадлежавших ему редких книг. Так, скажем, он дважды перепечатал в своих изданиях радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», которое царская цензура жестоко преследовала со дня выхода в свет этой книги вплоть до 1905 года. Среди бурцевских материалов, которые печатались крохотным тиражом, эти перепечатки прошли, не задержанные цензурой. О них напомнил несколько лет назад в своей книге крупнейший советский библиофил Николай Павлович Смирнов-Сокольский, народный артист, отметивший также, что издавались «описания» и «обозрения» Бурцева довольно беспорядочно и неряшливо. Это понятно: научная сторона дела не очень интересовала его.

Собирал Бурцев много и широко, не жалел ни времени, ни трудов, чтобы раздобыть уникальную книгу или гравюру, скупал полотна молодых, подававших надежды художников, архивы писателей — знаменитых, незнаменитых, умерших, живых,— их долговые обязательства, расписки, семейные фотографии... Все шло в дело!

В начале двадцатых годов попал к нему сундук с бумагами Кюхельбекера. Когда в 1925 году вышел в свет роман Юрия Николаевича Тынянова «Кюхля», бóльшая часть содержимого этого сундука перекочевала к Тынянову: Тынянов, занимавшийся Кюхельбекером с юных лет, смог выяснить подлинное его значение, издал его сочинения, впервые открыл его читающей публике как большого поэта. Но перешел архив Кюхельбекера к его страстному исследователю и биографу не весь и не сразу. А переходил по частям в продолжение нескольких лет. Помню, Тынянов приобрел часть кюхельбекеровской тетради, затем — начало ее и, наконец, долго спустя — недостающие в середине листы. Впрочем, прежде в среде коллекционеров дробление рукописей считалось делом обычным. Даже такой известный литератор, как Петр Иванович Бартенев, один из первых биографов и почитателей Пушкина, издатель исторического журнала «Русский архив», отрезáл от принадлежавших ему автографов Пушкина узкие ленточки — по нескольку строк — и расплачивался ими с сотрудниками. Об этом рассказывал знавший Бар-

тенева лично пушкинист Мстислав Александрович Цявловский. В наше, советское время все эти обрезки встретились вновь в сейфе Пушкинского дома — Института русской литературы Академии наук СССР. Так что в смысле обращения с рукописями Бурцев, смотревший на них как на предмет продажи или обмена, среди собирателей исключения не составлял. Но по количеству и качеству прошедших через его руки автографов это был коллекционер исключительный, один из крупнейших в России.

Его хорошо знали исследователи литературы, жившие в Ленинграде, знали историки. Мне лично не довелось с ним встретиться. Но в пору, когда я жил в Ленинграде, приходилось много слышать о нем от людей, хорошо с ним знакомых. В двадцатых годах многие материалы из собрания Бурцева поступили в Пушкинский дом, в Ленинградскую Публичную библиотеку, позже — в Московский Литературный музей...

В 1935 году Бурцевы переехали в Астрахань, забрав с собою коллекцию. Три года спустя Бурцев умер. Умерла и жена его. Ольга Александровна, жившая с ними в Астрахани, осталась с двенадцатилетней дочерью Риной одна. Теперь коллекция перешла в ее собственность. Понимая, что это огромная ценность, она, хотя и нуждалась в деньгах, решила во что бы то ни стало ее сохранить. Но в 1941 году, когда гитлеровские войска подходили к Ростову, ей пришлось срочно эвакуироваться. Эшелон шел в Актюбинск. Увезти с собой коллекцию она не могла. И оставила ее в доме, из которого принуждена была выехать. Тут было уже не до рукописей!

Время шло. Живя в Актюбинске, она с тревогой думала о коллекции, брошенной на произвол судьбы. И в 1944 году решила послать за ней Рину, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет.

Рина приехала в Астрахань и сразу пошла туда, где они жили прежде. Хозяева квартиры не претендовали на чужое имущество: коллекция с 1941 года лежала на чердаке, по-астрахански — на «подловке».

Рина поднялась на чердак. В светелке под крышей лежала на полу груда рукописей. Девушка набила бумагами большой чемодан. Потом занялась ликвидацией кое-какого имущества. Закончив дела, повезла чемодан в Актюбинск. Мать приняла его, поставила в угол, на него поставила еще

два чемодана и маленькую корзиночку, накрыла их скатертью и стала подумывать о том, как приступить к реализации этих сокровищ. Актюбинское областное архивное управление с самого начала показалось ей недостаточно мощной организацией. Тогда она решила обратиться с предложением в один из московских архивов. Доктор Воскресенский собирался в Москву. Она попросила его прощупать почву в столице, а по поводу лермонтовского письма связаться со мной — ей как-то попалась на глаза в «Огоньке» одна из моих работ. Воскресенский в Москве завел разговор в доме одного академика. Там было названо мое имя. Таким образом находка пришла ко мне сама, без всяких с моей стороны поисков и усилий... Остальное вы уже знаете.

Пассажир дальнего следования

Рина оделась, стоит с чемоданчиком, в валенках и в пальтишке, прижимая подбородком заправленный в ворот белый оренбургский платок. Это заставляет ее, слушая разговор, скашивать глаза попеременно то на меня, то на мать. Взгляд у нее карий, живой. Приятный овал лица, легко розовеющая кожа. У матери лицо спокойнее, строже. У дочки есть что-то остренькое, чуть напряженное, хотя черты правильные, даже красивые. Но выражение лица заключено не в чертах, а в «поведении» лица. А жизнь лица соответствует разговору — в данном случае удивленно-наивному.

Рина прощается с матерью. Я в последний раз заверяю, что это дело не долгое. Можно ехать!

...Пыхтя, переступая криво и мелко, мы с Риной волочим вдоль вагонов тяжеленный чемодан с полутора тысячами рукописей, поминутно перехватывая другой рукой «свои» чемоданы, и наконец останавливаемся возле жесткого бесплацкартного: об удобствах нужно было думать заранее. Места в поездах, проходящих через Актюбинск, бронируются по телеграфу. Напрасно, расстегнувшись, лезу я в глубину пиджака.

— Нет мест, идите в другой... Гражданин, теряете время!

Но тут пассажир, стоящий в лютую стужу возле ступенек без шапки и в кителе, сгорбившись и запустив

руку в карманы штанов до самых локтей,— пассажир, дрожащий и посиневший, однако верный своей привычке выходить из вагона в чем есть,— вступил в разговор.

Люблю пассажира-общественника — любознательного, дельного, справедливого: пассажира, который первым соскакивает на платформу и последним входит в вагон уже на ходу; который знает всегда, какая впереди станция, который охотно укажет вам на новый завод в степи, обратит внимание на новую марку машин, мелькающих под брезентом на открытых движущихся платформах... Он же первый в вагоне шутник, балагур и рассказчик. И все-то знают его, все на него смотрят с улыбкой, беспокоятся — не остался ли? А он тут как тут, душа-человек, любимец всего вагона! На коротких дистанциях такому пассажиру не развернуться. И потому встречается он в поездах только дальнего следования.

— Как же в другой, когда в наш вагон? — наставительно обратился он к проводнице.— Давай этих двоих посадим! Тем более, что один пассажир — девушка! Передайте сюда чемоданчик — вот тот, здоровый!

И, схватив заветный — с коллекцией, поставил его на площадку.

Я сделал попытку вернуть чемодан на платформу:

— Не надо, скоро алма-атинский проходит...

— Не трогай, хозяин,— пригрозил коченеющий.— Девушка, подымайтесь!

Рина взбежала.

— Равняйся на лучших! — И он подпихнул меня на ступеньку.

Подножка поплыла, заскользили колеса... Он некоторое время шел рядом с вагоном, стуча зубами, потом ввинтился на поручне и, вступив на площадку, назвался Павлом Василичем. В вагоне быстро обнаружил резервы площади. Рине уступил вторую полку, сам полез на багажную. А я уселся на краешке скамьи у прохода и стал пасти чемоданы.

Не часто случается, чтобы рукописи великих людей, да еще в несметном количестве, транспортировались в таких неподходящих условиях! Подумать! Чуть не на цыпочках входите вы в помещение архива, шепотом просите выдать для изучения рукопись. Чуть не на цыпочках вам выносят ее — «единицу хранения» — в папке, с инвентарным номером, переложенную тонкой бумагой. Расписав-

шись в ее получении, затаив дыхание, вы не берете ее, а касаетесь. Пальцы ваши становятся перстами — сухими и легкими. Пролистав со всеми предосторожностями, вы наконец сдаете ее. И понесли ее бережно снова в хранилище, которое в шесть часов вечера запрут, запломбируют и опечатают, придавив сургучом суровую нитку.

Какие там нитки и сургучи! Я поставил бурцевский чемодан на попа в проходе между скамейками, ел на нем суп, пил на нем чай да еще приговаривал:

— Ноги затекли из-за этого проклятого чемодана! Хоть бы его украли!

Мне казалось, что пренебрежение к нему — лучший способ предохранить его от случайностей, рассказами о которых то и дело угощал меня Павел Василич.

— Вот недавно,— начинал он, свешиваясь с верхней полки,— у одного чемодан обменяли. Ночью подъезжают к Свердловску — сосед схватился: «Мне выходить!» Пошел — с чужим чемоданом. А свой — перепутал —оставил. Тот глядит утром: «Не мой!» Открыли — там коробки круглые, с кинокартиной, исключительной ценности. А у него что было? Курица, вещи — это неважно! А главное, диссертация! «Четыре года работал над ней. Всё, говорит, мне дальше незачем ехать. В Казани схожу, еду обратно, я этого раззяву найду!» А начальник поезда: «Не советую. Вы его потеряете хуже. А так вас в Москве встречать будут. Ему тоже от вашей диссертации радости мало». И что же вы думаете? Прибывает поезд в Москву — подходят: «Не вы кандидатскую пишете?»

Наслушаюсь я этих рассказов — гляжу... Нет, бурцевские богатства на месте!

Конец бюджетного года

Так, обмениваясь разными «случаями», доехали мы до Москвы, а там и до дома. Звоним. Открывают:

— Наконец-то! Что ты так задержался?

Я радостно:

— Познакомьтесь: это Рина — дочь Ольги Александровны Бурцевой. Она будет теперь жить у нас.

— Так ведь ты же ездил за рукописями?!

— И рукописи привез!

— Ну, молодец! Поздравляю! Здравствуйте! Как ваше отчество?

Передислоцировались. Устроили Рину. После этого я сел разбирать неразборчивое, читать недочитанное. Замелькали короткие серые дни — декабрь, конец года.

Наконец изучение закончилось, и поехали мы с Риной в Литературный архив — повезли знаменитый чемодан на такси.

Если даже предварительный список, сообщенный доктором Воскресенским, список глухой и неполный, и тот произвел в архиве, как говорилось, впечатление неслыханное, то появление чемодана следовало отнести к чрезвычайным событиям. Я поднял крышку... Это сопровождалось покорными просьбами не тянуть; достал первые листки — послышались разные «Ух, ты!..», «Скажите...», «Шибко!», «Да-а...», «Съездил!..» и прочие глаголы, частицы и междометия, которые куда лучше пространных речей выражают настроения восклицателей.

Я стал метать на столы автографы самые редкие, называть самые звучные из самых знаменитых фамилий... Исторглись возгласы одобрения, вопросы:

— Это что же? Полная бурцевская коллекция?

— Полная,— горделиво отвечал я.— Вся. До последней бумажки.

Сперва коллекцию смотрел начальник архива. Потом — его заместитель. Потом — начальник начальника. Затем — эксперт по оценке. После него — другой. Наконец они оба вместе. После этого стала известна предварительная оценка, которая выражалась в сумме, заключавшей четыре ноля, а впереди цифру, среднюю между девяткой и единицей. После этого собрали Научный совет. И тут каждый начал интересоваться не только тем, что составляет его специальность и предмет его изучения, но и решительно всем. Так, знаменитый наш пианист профессор А. Б. Гольденвейзер просматривал письма Льва Николаевича Толстого, которого близко знал, и в то же время держал руку на письмах Рахманинова — с ним он вместе учился. Профессор Иван Никанорович Розанов, собравший в своей библиотеке десять тысяч стихотворных сборников, и тут прежде всего стал интересоваться стихами. И решительно все — музыканты, историки, архивисты — подтверждали ценность коллекции, отдавая долж-

ное опыту Бурцева. Только в одном автографе Бурцев ошибся: все подлинно в автографе Пушкина — и бумага, и дата, и подпись «Pouchkin». Только Пушкин не тот. Не Александр Сергеевич, а брат его — Лев. Необычайно похожий почерк.

Плохо было, однако, то, что, пока шли ознакомления и обсуждения, оценки, переоценки, бюджетный год подошел к концу. И средства, отпущенные на покупку коллекции, срезали.

Тогда мне сказали:

— Поскольку дочь Бурцевой гостит у вас, передайте ей, что оформление задерживается и что оплатить покупку мы сможем только в новом году, после того как нам утвердят смету. А пока пусть едет в Актюбинск. Мы ее вызовем. Это будет в марте или апреле.

Я приехал домой и сказал:

— Покупка несколько задержалась, Рина, поэтому пока поезжайте в Актюбинск. Они вас вызовут. Это будет... в январе или в феврале.

Даже и сейчас, по прошествии долгого времени, без всякого удовольствия вспоминаются дни, когда я ходил виноватый в том, что не заплатили, испуганный, что не скоро заплатят. Со дня приезда в Москву прошли две недели, и три... Рина скучала, ходила в кино, беспокоилась о ребенке и о коллекции, напоминала мои обещания: «Двадцать третьего будете дома». Из Актюбинска шли телеграммы.

Все это было невесело!

Неожиданный поворот событий

Прошло несколько дней. В ЦГАЛИ опять многолюдно. В вестибюле докуривают, обмениваются рукопожатиями, вежливо уступают — кому первому войти в двери зала. В зале расспросы, приветы, шутки, тут же, на ходу, обсуждение важных дел:

— ...на конференцию в Харьков...

— ...ставьте вопрос — мы поддержим...

— ...продавалась в Академкниге...

— ...почерк очень сомнительный...

— ...такие уже не носят...

Звонок. Начальник архива, упираясь ладонями в стол, объявляет:

— На повестке — отчет отдела комплектования о поступлениях последнего времени. Докладчик — товарищ Красовский. Юрий Алексанч, прошу...

К трибуне быстро и бодро идет, приосанившись, средних лет человек с внешностью декабриста: серьезное, благодушное выражение лица, бачки, в черной оправе очки.

Говорит интересно и обстоятельно, перечисляет новые рукописи, часть которых в научный оборот или входит, или уже вошла. Но о бурцевских материалах — ни слова.

Наклоняюсь к уху начальника:

— Почему он про бурцевские не говорит?

— Да за них еще не заплачено...

— А вы что, хотите от них отказаться?

— Ни в коем случае! Какой может быть разговор!

— Тогда я скажу о них.

— Дело ваше... Может быть, в следующий раз, когда все будет оформлено?

Но какое отношение имеет бухгалтерский документ к самому факту архивной находки? И когда начинается обсуждение доклада, беру слово и объявляю о том, что обнаружилось в актюбинском чемодане.

Не успел кончить — из зала идут записки; поднимается Василий Александрович Киселев — профессор, музыковед, один из деятельнейших работников Музея музыкальной культуры.

— Простите,— обращается он ко мне,— кому адресованы письма Чайковского, обнаруженные в этой коллекции?

— Два из них,— отвечаю,— обращены к какому-то Павлу Леонтьевичу и относятся к 1892 году, другие...

— Спасибо! А письма композитора Львова?

— Письма Львова, мне помнится, адресованы певице Бартеневой.

— О, это важные сведения! Вам, вероятно, будет интересно узнать, что в Астраханской картинной галерее имеются письма Чайковского к тому же Павлу Леонтьевичу (фамилия его Петерсон), а также неизвестные письма Михаила Ивановича Глинки, и — что в данном случае важно! — к той же певице Бартеневой. Очевидно, актюбинские и астраханские материалы как-то связаны между собой! Мне кажется, вам следует это проверить.

— Простите,— спрашиваю в свою очередь я,— а как

они попали в Астраханскую галерею, письма, о которых вы говорите?

— Мне объясняли,— отвечает Киселев,— только я уже точно не помню. По-моему, в Астрахани умер какой-то старик, родственники его не то погибли во время войны, не то куда-то уехали — словом, это поступило в Астраханский музей в военное время и куплено чуть ли не на базаре.

Корзина, о которой не говорили

Кончилось заседание. Приезжаю домой. Дверь открывает Рина. Кутается в оренбургский платок, угасающим от долгого ожидания голосом спрашивает:

— По нашему делу ничего нового нет?

— Есть,— говорю.— С вашей помощью попал сегодня в очень неловкое положение.

— В неловкое? А я тут при чем?

— При том, что со слов Ольги Александровны и с ваших я уверяю всех, что коллекция передана вами полностью, а вы, оказывается, продали часть документов в Астрахани.

— Да что вы мне говорите! Никаких документов не продавали! Уж я-то знаю! — Рина возмущена.

— Ну, значит, Ольга Александровна поручила кому-то продать. Чудес не бывает: ваши рукописи попали в Астраханскую картинную галерею.

— Каким же образом? Господи! — Она чуть не плачет.— В первый раз слышу! Рукописи? Это значит — кто-то взял и продал без нас. Подлость какая!..

— Постойте,— прошу.— Давайте говорить по порядку. Я ничего не пойму. Рукописи в Актюбинске, а вы говорите, что кто-то взял их у вас... И что же? Повез продавать в Астрахань?

— Да вы никак не поймете, потому что не знаете толком: у нас половина архива осталась на подловке в Астрахани.

— Так вы же ездили и целый чемодан привезли?!

— Ну да... чемодан — привезла. А там еще куча целая оставалась. Я чемодан-то набила, а с этими что делать — не знаю. Взяла корзину — мама раньше белье в ней держала — и туда все! Если с сорок первого, думаю, проле-

жало три года, что может случиться? Не могла же я еще и корзину забрать! Я и с чемоданом намучилась: вы знаете, какой он тяжелый. Холод! В вагон не протиснешься. Время военное. А у меня две руки только... Как уезжать из Астрахани, я подругам кое-что раздала. Дневник писателя Лейкина Гена один взял читать. А теперь ругать себя готова: надо было передать на хранение людям все, до последней бумажки. Кто бы подумать мог! Глупость такую сделала.

— А что было в корзине, не помните?

— Господи! — Рина взмолилась.— Вы странный какой! Ну откуда я могу помнить, когда мне и посмотреть как следует было некогда! И я же не специалистка. К тому же еще девчонка была — девятнадцатый год. Что там осталось на подловке? Рукописи, ноты от руки переписаны... Письма... Скрябина нет в чемодане?.. Там, значит!.. Петра Первого пачку бумаг, жалею, туда положила. Ноты композитора Чайковского... Вот что точно запомнила: Чехова письма там были.

— Нет, Чехова,— говорю,— вы в чемодан положили,— там было пятьдесят писем к литераторам Баранцевичу, Лейкину... По-моему, вы ошибаетесь.

— Ошибаюсь? Да вы знаете, у дедушки сколько Чехова было? Связка огромная. Чего же, думаю, я маме одного Чехова повезу? Разделила пачку: что — в чемодан, остальное — в корзину, ведь все равно наша. Если б я могла тогда знать... Теперь я очень и очень жалею.

Конечно, если представить себе условия, в которых пришлось оставить эту коллекцию в Астрахани, упрекать Бурцевых не за что. Как могли они в 1941 году увезти с собой тяжеленную корзину с бумагами?!

В продолжение всей войны Ольга Александровна беспокоилась о коллекции, при первой возможности послала в Астрахань дочь, чтобы спасти собрание отца. Поручила ей привезти самое ценное. Наконец, без всяких с чьей-либо стороны побуждений сама заявила о желании передать коллекцию в государственное хранилище. Казалось бы, сделано все. И сделано правильно. И тем не менее нельзя успокоиться при мысли, что уникальные документы остались на чердаке без присмотра и, возможно, частично пропали. Ведь если бы в 1944 году все, чего нельзя было с собой увезти, Рина передала в картинную галерею, бумаги были бы целы!

— Почему же вы не обратились в музей, когда стало ясно, что всего с собою не увезете? — спрашиваю Рину.

Но к чему это я говорю? Что она может сделать теперь?

— Право, вы со мной беседуете, как с маленькой,— отвечает Рина с улыбкой обиженно-снисходительной.— Слава богу, сына воспитываю... А поскольку коллекция составляет нашу личную собственность, сами понимаем, куда нам с ней обращаться и кому доверять!..

Сказала и молча смотрит в окно, румяная от волнения.

Еще сорок девять

Поехал в Союз писателей, нацарапал письмо с отчетом о поездке в Актюбинск и с просьбой командировать меня в Астрахань.

Генеральным секретарем Союза был в ту пору Александр Александрович Фадеев. Письмо попало к нему. Когда на заседании секретариата дело дошло до меня, Фадеев предложил удовлетворить мою просьбу. Об этом сказал мне Николай Семенович Тихонов — я звонил ему, с тем чтобы повидаться.

Условились.

В тот же вечер я отправился к Тихоновым.

У них, как всегда, народ. За чаем зашел разговор об Актюбинске, о решении секретариата; я долго упрашивать себя не заставил и регламентом ограничивать не стал. Только, рассказывая, все удивлялся: Тихонов слушает спокойно, а то вдруг словно спохватится — начинает улыбаться, раскачивается от беззвучного смеха. А я, кажется, ничего смешного не произнес.

Когда же наконец, изрядно наговорившись, добрался я до конца и сообщил, что на днях уезжаю в Астрахань, Тихонов продолжал, уже не скрывая улыбки:

— А прежде чем ехать, позвони Нине Алексеевне Свешниковой. Она сообщит тебе конец этой истории.

— Какой истории?

— Той, что ты рассказывал сейчас.

— А что такое?

— Позвони в Союз художников и узнаешь. Она была сегодня у нас: услышав, что ты собираешься в Астрахань,

она просила тебе передать, чтоб ты не уезжал, не поговорив с ней. Она в курсе всего, что касается картин из коллекции Бурцева.

— Картины? А что с картинами?

— Их там продавали и покупали... Впрочем, она тебе все расскажет. А после этого ты подробно расскажешь нам.

Непостижимо! Если такое написать в повести, скажут: так не бывает. А между тем жизнь, при всей закономерности в ней совершающегося, полна подобных случайностей. Ведь если бы Тихонов не присутствовал на секретариате и Свешникова не зашла бы к нему, а он не упомянул бы о моей предстоящей поездке,— я уехал бы в Астрахань, не выяснив что-то важное. Может быть, не придется и ехать?

— Да, торопиться, во всяком случае, некуда. Картины и рисунки из коллекции Бурцева еще во время войны растащены какими-то бойкими субъектами, а частично распроданы.

Я в Союзе художников — у Нины Алексеевны Свешниковой. У нее озабоченный вид: приходится сообщать такие скверные новости. Но лучше сперва выяснить обстоятельства здесь, на месте, а потом уже ехать, не правда ли?

— В Москве скоро будет астраханский художник Скоков Николай Николаевич, от которого, собственно, у нас в Союзе художников и узнали эту историю. Подождите его, посоветуетесь. Но, насколько я понимаю, на чердаке уже ничего нет. А что касается автографов, которые поступили в Астраханскую галерею, то это можно выяснить сегодня же: для этого ни в какую Астрахань ездить не надо. Я сейчас позвоню в министерство Антонине Борисовне Зёрновой — это отдел музеев...

Позвонила. В художественную галерею Астрахани переданы в 1944 году хранившиеся в коллекции Бурцева письма: Стасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина (три записки), Достоевского, Гончарова, Полонского, Майкова, Мея, Чехова (пять писем), Короленко, французских писателей — Альфонса Доде и Поля Бурже, тринадцать неизданных писем Михаила Ивановича Глинки (о которых говорил мне опубликовавший их вскоре В. А. Киселев); письма композиторов: Варламова, Львова, Балакирева, Кюи, Чайковского (два письма), Рубинштейна, Аренского, Скрябина — целых сорок девять автографов! Немало! Но все же в тридцать раз меньше, чем хранилось в Актю-

бинске. И — страшно подумать! — какая это малая часть того, что оставалось в злополучной корзине!

Повез я этот список в Гослитархив. Оттуда пошла в министерство бумага с ходатайством о передаче астраханских материалов в Москву. Если не знать про корзину, можно бы радоваться. А тут одни огорчения.

Бумажный дождь

Прихожу домой.

— Рина! Кому вы продавали рисунки?

Выясняется, что продавала военному Володе, который приезжал в Астрахань из армии после ранения и снова уехал в часть. Он художник.

— Потом Розе: у нее не то армянская, не то грузинская фамилия. Еще одному художнику — пожилому. И подслеповатый ходил. Первый явился мужчина в летах. Совсем недавно помнила их фамилии, а сейчас... что ты скажешь?!

...Приехал Скоков — хороший художник-график и человек очень милый. Но сведения, которые он сообщает, ничего хорошего не сулят. Все подтвердилось: и про базар, и про расхищенные автографы.

В сорок четвертом году на астраханском базаре стали появляться куски картона, на обороте которых можно было увидеть писанный маслом пейзаж, эскиз фигуры, головку... Приносила картоны старуха. Однажды в картинную галерею притащил с базара пачку рисунков начинавший в ту пору художник Архипов. Директором галереи в то время был старейший астраханский художник Алексей Моисеевич Токарев. Вещи заинтересовали его. Выяснилось, что они попадают на базар с улицы Ногина.

Старый художник пригласил с собой Скокова, и пришли они к Рине. На веранде, где она укладывала вещи, «шел дождь бумажный». Под ногами валялись переплеты без книг, книги без переплетов, старые газеты, автографы... Скоков запомнил: автографы Репина, поэта М. Кузьмина, Григория Распутина, альбом с рисунками Шишкина, рисунки Брюллова, Афанасьева и Лукомского. Узнав, что картин и рисунков Рина с собой не берет, Токарев предложил принять их на сохранение. Рина не решилась без матери. Сам Скоков корзины не видел, но слышал

о том, что объемистая и что Рина сложила туда все то, что не могла увезти.

После ее отъезда Токарев снова побывал в доме, но корзины не обнаружил — только отдельные рисунки и рукописи, которые и попали через него в картинную галерею. По словам Скокова, Рина пользовалась советами компании, с которой ходила в кино. Были там, кажется, неплохие девушки и ребята, но посоветовать дельного они не смогли. А кое-кем руководили и корыстные интересы.

— Какую-то часть бурцевского имущества,— предполагает Скоков,— можно найти. Еще недавно в Товарищество художников приносили рисунки и книги из коллекции Бурцева. Надо ехать вам в Астрахань не откладывая. Вы у нас не бывали? Нет? Ну, тем более... Город у нас хороший! Ждем...

Благодарю, обещаю.

— Ну, а когда?

— Как только покончу с актюбинскими делами — и к вам.

По совету комсомольских работников

Тем временем в архивных кругах стали вдруг поговаривать, что Бурцевы не столько сохранили коллекцию, сколько растеряли ее и платить им, собственно, не за что.

Разговоры эти так разговорами и остались. Такой подход к делу не соответствовал интересам нашей архивной политики, а главное — советским законам. При покупке оплачивается не хранение, а стоимость вещи.

Прошел Новый год. Рина вернулась в Актюбинск. Но рано или поздно дело должно было окончиться оформлением взаимоотношений между владелицей и архивом. Тем и кончилось.

Это было уже весной. В Москву вместо дочери приехала сама Ольга Александровна Бурцева. По существу вопрос был решен. Через несколько дней она получила сумму, на которой остановилась оценочная комиссия, и, будучи ограничена временем, поспешила воротиться в Актюбинск. Она простилась по телефону. И больше я их не видал.

В руках моих осталась доверенность Бурцевой на случай поездки в Астрахань. В этом документе поименованы

шкаф и шкафик, дамский письменный столик, кровать, пуховая перина и лампа на винтовой ножке; все остальное уместилось в двух строчках: «имущество, заключающееся в рукописях, письмах, книгах и картинах из коллекции покойного отца».

На этот раз доверенностью можно было воспользоваться: интересы обеих сторон — владелицы и архива — совпали. Надлежало найти утраченные бумаги.

Но как? Каким способом? Приехать в незнакомый город и начать ходить по квартирам?

Трудно искать даже в том случае, когда знаешь, *где* надо искать. Трудно искать, когда знаешь, *что* ищешь. А как поступить в данном случае, когда я не знаю ни списка бурцевских материалов, ни фамилий людей, которые их покупали? Тут надо было что-то придумать...

Но думать мне не пришлось: это сделали за меня другие. Случилось это вот как.

Когда бурцевские материалы были внесены в описи ЦГАЛИ, «Литературная газета» поместила о них информацию. После этого все меня стали расспрашивать, откуда взялась коллекция, и как попала в Актюбинск, и чьи автографы обнаружены в ней, кроме тех, что перечислены в «Литературной газете».

Выступая с исполнением своих рассказов, я, между прочим, знакомил публику и с этой историей. Как-то раз в конце вечера мне передали за кулисы нацарапанную на входном билете записку:

«Мы, трое комсомольских работников, прослушав ваш отчет о командировке в Актюбинск, хотим посоветовать вам при дальнейших поисках в Астрахани обратиться к помощи пионеров».

Этим мудрым советом я и воспользовался.

В славном городе Астрахани

Отъезжая в Астрахань, перелистал справочники, библиографии, «почитал литературу предмета» и перебрал в памяти решительно все, начиная с народных песен о том, как «ходил-то гулял все по Астрахани» Степан Тимофеевич Разин и как «во славном городе Астрахани проявился добрый молодец, добрый молодец Емельян Пугач».

Поселившись в Астрахани в «Ново-Московской», вставал на рассвете, «домой» возвращался к ночи: по асфальту обсаженных липами улиц бегал на Кутум, на Канаву, на Паробичев бугор, в район Емгурчев, на улицу Узенькую, на улицу Володарского, которая раньше называлась Индейской. Названия какие! На Индейской в XVII веке стоял караван-сарай индийских купцов. Как не вспоминать тут историю на каждом шагу: Золотую Орду, падение Астраханского ханства перед войском Ивана Грозного, изгнание восставшими астраханцами Заруцкого с Мариною Мнишек, вольницу Разина, приверженцев Пугачева, персидский поход Петра?! Здесь умер и похоронен грузинский царь Вахтанг VI — поэт и ученый, обретший в петровской России политическое убежище, и другой грузинский царь — Теймураз II. Два года провел здесь А. В. Суворов, родился И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина, побывал Т. Г. Шевченко, прожил пять лет возвращенный из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевский. Земляк астраханцев — замечательный русский художник Б. М. Кустодиев. Рассказ «Мальва» Горького связан с его пребыванием в Астрахани. В годы гражданской войны Астрахань выстояла под натиском белых: с гордостью произносится в городе благородное имя Сергея Мироновича Кирова, руководившего героической обороной.

Здесь долго играл актер удивительной силы П. Н. Орленев. Отсюда родом народные артисты В. В. Барсова, М. П. Максакова, Л. Н. Свердлин.

В Астрахани ценят искусство. Издавна славилась она художественными коллекциями. Знаменитая картина Леонардо да Винчи в собрании Эрмитажа, известная под названием «Мадонна Бенуа», в свое время была куплена в Астрахани.

Здесь есть чем заняться историку, есть что искать ученому-следопыту: имеются сведения, что именно в окрестностях Астрахани в 1921—1922 годах в последний раз видели древний — XVI века — список «Слова о полку Игореве», принадлежавший до революции Олонецкой духовной семинарии, а потом находившийся в руках преподавателя семинарии Ягодкина.

Говоря об Астрахани, как не сказать о рыбе, о нефти, о соли; я побывал в порту, на рыбоконсервном комбинате. Но станешь рассказывать — скажут: «Отдалился от темы». Потому обращусь к цели своего путешествия.

Прежде всего явился в отдел культуры облисполкома, затем отрекомендовался в редакции газеты «Волга». Посоветовано встретиться с астраханской интеллигенцией, провести беседы с читателями районных библиотек, напечатать статью о бурцевских материалах, выступить в воскресенье по радио. Идея привлечь пионеров одобрена. План архивных поисков разработан самый широкий. Обещана помощь.

Отыскал воспитанницу Саратовского университета — литературоведа Свердлину Софью Владимировну. Вручил письмо от профессора Ю. Г. Оксмана. Выражена готовность помочь. С этого часа по Астрахани начали бегать двое. Задания обсуждали совместно, делили поровну. Разбежимся в разные стороны... Через три часа возвращаюсь на угол Советской и Кирова, еле плетусь — Свердлина битый час дожидается, читает книжку или остановила знакомых.

Дошло дело и до Дворца пионеров. Прихожу — собраны самые маленькие. Как завел я про чемодан, переутомились уже через пять минут: вертятся, мученики, радостно отвлекаются — книжка упала, на улице камера лопнула, зазвенел номер от вешалки. «Эх, думаю,— надо было комсомольцев привлечь! Посоветовали!»

Но вот произнес слово «Астрахань»... И то, что произошло вслед за этим, можно сравнить только с остановившимся кинокадром: никто не мигнет, позы не переменит — все застыло!

Только закрыл рот — тянут руки.

— Что такое архив?

— Где Актюбинск?

— Пожалуйста, расскажите сначала!

Эх, неопытность моя в педагогике! Надо было начинать с Астрахани!

А руки все тянутся.

— Сколько весил чемодан Бурцевых?

— В какой школе училась Рина?

— Как фамилия человека, у которого Архипов купил картинки?

— Чемодан тоже остался в архиве или только бумаги?

— Что надо искать — продиктуйте.

Редкие молодцы!

Диктую вопросы. Прошу пересказывать эту историю

всем астраханцам. Уславливаемся насчет часа, когда буду ждать их в гостинице. Уже попрощались — вопрос:

— К нам мамин дядя приехал из Гурьева. Ему можно сказать про это? Или только таким, кто ходит голосовать?

— Можно и дяде!

Положился на них и вам посоветую; действовали с редким энтузиазмом.

Огорчающие подробности

Сижу в кабинете Токарева. Беседуем. Делаю пометы для памяти: у Рины было несколько писем Шаляпина, альбомы Репина, письма художника Сергея Григорьева к самому А. Е. Бурцеву. Три полотна Саламаткина из бурцевского собрания есть на Кутуме. Художница Нешмонина приобрела в свое время несколько неплохих рисунков. Много вещей находилось в руках Гилева.

— Кто такой?

— Художник. Бывал у Бурцевых еще до войны. Военные годы провел в Астрахани. Часто навещал дом на улице Ногина, когда приехала Рина и стала распоряжаться коллекцией... У него были Шишкин, Крыжицкий, Крачковский... Федотова как-то показывал здесь... Много других вещей было от Бурцевых: он их хороший знакомый. Как будто разошлось все это по частным коллекциям — в Москве и в Поволжье... Дневник Лейкина? Еще недавно его видели в Астрахани в руках этого... Гены Гендлина! Говорил кто-то, что там есть упоминания про Чехова.

Токареву запомнилось: дочь Бурцевой говорила, что имущество их хранится не только на улице Ногина, но и в других местах. Где? Обо всем этом мог знать Алексей Архипов, который первым тогда прибежал в галерею. Можно ему написать: он в Казани, в художественном училище. Только проще побывать на квартире, где жили Бурцевы, поговорить с Полиной Петровной Горшеневой — хозяйкой. Она в Хлебпищеторге работает. Там разговаривать неловко, а лучше домой...

Я к ней уже заходил — никак не застану. «А вы приходите, как встанете,— говорят.— Хоть в половине шестого, хоть в пять. Она товар принимает. Уходит — темно на дворе».

И вот наконец я на чердаке этого дома — чердаке, ко-

торый старался представить себе в продолжение долгих месяцев,— у входа в светелку с окошечком, с выструганным добела полом, где когда-то стояла корзина. Беседуем с Полиной Петровной — хозяйкой,— и оба невеселы.

— Здесь у них все и было... Я уже слыхала про вас: мальчонка соседский тут прибегал. «У вас, говорит, на подловке ценности сколько лежало, а вы не устерегли. Писатель — из Москвы — приходил, велел сдавать тетрадки писателей или письма, что есть...» Вы мне скажите,— она ждет от меня оправдания,— могла я знать, что сложено тут у Рины? Как я стану вещи ее проверять? Чужое. Мне не доверено. Три года лежало — не трогали. И после не стали брать.

Я ее понимаю!

Рассказывает: Рина приехала тогда — каждый день поднималась сюда, разбирала, приводила с собой компанию.

— Бумаги у них так и веяли... Прощалась,— наказывала: «Если кто от меня заходить будет — пускайте, это свои, для них тут отложено». После являются: «Рина про нас говорила?» — «Идите». Потом, уже когда остатки остались,— пожарник: «Чья бумага?» — «Жильцов старых».— «Оштрафовать бы вас разок для порядка! Хорошо, не сгорели!» Смел в кучу да на сугроб...

Кажется, лучше родиться глухим, чем слышать такое!

Находка

Подымаюсь по лестнице в номер. На площадке гостиницы, возле дежурной, дожидается знакомец по Дворцу пионеров, лет десяти.

— Хотите, я вас сведу к одному? У него картины с улицы Ногина куплены.

Повел.

Пришли в мастерскую художника. На мольберте большая, еще не законченная работа.— астраханская степь, отара овец, чабаны... Трудится над полотном, как потом выяснилось, тот самый военный Володя, имя которого упомянула однажды Рина. Его фамилия — Вовченко.

— Вот у него есть картины, какие, вы говорили, пропали на подловке,— зашептал мой вожатый.

Художник обернулся мгновенно.

— Какие тебе картины?.. Вам что?— и поглядывает то на меня, то на мальчика недоуменно и даже недружелюбно.— Чего тебе надо здесь? Ну-ка, сыпься!

— Я с писателем,— пролепетал мой наставник.

— С каким писателем? — И уже помягче: — Это что, вы?

Я назвался, разъяснил причину и обстоятельства. Вовченко заулыбался, сразу же проявил жаркую готовность помочь.

— Рисунков я тогда накупил довольно. Мне попались работы не больно-то интересные, но коллекция раньше была — оёёй! Фото, письма, альбомы, книжки в переплетах роскошных... Там до меня народу перебывало порядком. Самое ценное в то время уже ушло, растеклось по частным каналам. Дочка владелицы, Рина, приехала ликвидировать имущество, которое здесь оставалось. В Куйбышев, говорили, попало кое-что, в Казань... Корзину? Видел! Багажная, приличных размеров!

Пригласил меня к себе на квартиру. Помощника моего подергал легонько за ухо:

— Тебя за «языком» посылать...

Дома, на улице Пушкина, вынес целую стопу карандашных рисунков и акварелей: Прянишников, Маковский, Мясоедов, Вахрамеев, Зичи, Григорьев... Наряду с этим много работ малоизвестных художников начала нашего века и просто ремесленные картинки — карикатуры, иллюстрации к дешевым изданиям, оригиналы поздравительных открыток... Как уже было сказано, Бурцев собирал все!..

И вдруг! Среди этих наклеенных на пыльные паспарту рисунков несколько альбомных листков: переплет оторван, начала и конца нет, по обращениям можно понять, что принадлежал этот альбом в свое время известному переводчику В. В. Уманову-Каплуновскому... 1909 год... Запись литератора Тенеромо... Высокопарное изречение об эмансипации женщин — подпись Н. Б. Нордман-Северовой, жены И. Е. Репина... И запись самого Репина! Страничка, на которой изложен взгляд его на искусство!

«1909 23 июля.
Куоккала.

Модные эстетики полагают, что в *живописи* главное — *краски*, что краски составляют *душу* живописи. Это не

верно. Душа живописи — *идея.* Форма — ее *тело.* Краски — *кровь.* Рисунок — *нервы.*

Гармония — поэзия дают *жизнь искусству* — бессмертную душу.

Илья Репин».

Как передать здесь то внезапное удивление, которое испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь, а затем снова вернуло к этой поразительной записи.

Вот она, мысль, в которую уместились часы вдохновения, годы труда, подвиг всей жизни Репина!

Мысль выстраданная и выношенная!

Мысль, бывшая путеводителем в творчестве!

Мысль — убеждение, защита, мерило искусства, оценка художника!..

Вот он, пыльный альбомный листок, без которого мы, сами того не ведая, были бы на один факт беднее, как были бы, не зная того, беднее без собранных Бурцевым документов, отразивших мгновения нашей истории, моменты жизни и творчества наших великих людей,— без писем Ломоносова и Суворова, Лермонтова и Кюхельбекера, Горького и Чайковского... Да, впрочем, что тут! Одна страничка, исписанная рукой великого Репина, стоила бы упорных поисков!

...Вовченко охотно дает разрешение сфотографировать этот листок. Вообще он полон готовности помогать.

— Куда посоветую вам зайти,— говорит он,— это к Розе Давидян, к художнице... Тут, улица Победы, неподалеку... Идемте, я вас сведу!

И я понимаю, что это и есть та самая «не то с грузинской, не то с армянской фамилией» Роза, о которой я слышал от Рины.

Невеселые результаты

Пришли.

— Мы к тебе на минутку, Роза. Ты Рину Бурцеву помнишь? Тут надо человеку помочь... У тебя каких-нибудь бурцевских нет рисунков?..

— Интересного нет...

К ней попали все больше средней руки иллюстрации к

дореволюционным изданиям, оригиналы картинок, которые печатала «Нива», юмористические листки — шаржи, карикатуры...

— Куда бы его еще повести?— советуется с ней общительный Вовченко, покуда я перекладываю листы.— Ты человек живой! Сообрази, Роза!

Сложив на диван рисунки, я разговариваю и смеюсь с ними, как с добрыми друзьями, которых знаю с молодых лет.

— Сейчас, наверно, сменилась с дежурства Лида (Дьяконова, ты знаешь!), она работает сестрой в клинике. Сегодня она должна быть дома. Она говорила, ей Рина давала на хранение письма Багратиона.

Все вместе отправляемся к медсестре Дьяконовой.

Пришли и смутили — высокую, сероглазую, строгую.

— Были Багратиона письма. Но я сама в сорок четвертом году уезжала в деревню, а вернулась — и не нашла.

Вздыхаем. Потом они втроем начинают потихонечку совещаться:

— Куда ему посоветовать зайти? Ты Рининых знакомых не знаешь?

— У Гены был дневник Лейкина, я сейчас его фамилию забыла... Еще другой — в ТЮЗе работал,— он книги у них покупал.

Начинают всплывать обстоятельства, восстанавливаться подробности...

Но не стану больше перечислять имен, которые ничего вам не скажут. Не буду занимать вас рассказом о том, как я бегал из института рыбной промышленности в медицинский, из педагогического — в Театр юного зрителя, из Товарищества художников — в клиническую больницу, в Общество по распространению знаний... Не стану, потому что добывал я уже не автографы, не картины, а только новые доказательства, что они действительно были. Выяснилось, что нет не только бумаг Петра Первого и писем Багратиона, нет писем и донесений Кутузова, писем Чехова к Горькому, а их видели. Не оказалось того, о чем говорила Рина, что видели Скоков и Токарев...

Устремились мы со Свердлиной на поиски дневника Лейкина. И опять безуспешно! Новый владелец тетрадей переехал в Караганду. Разъехались и другие, кто знал или мог знать, что хранилось в корзине на чердаке,— один ушел в армию, другой учился в Казани... Мне давали

адреса: Воткинск, Березники, Новосибирск, Ховрино под Москвой... Двое из тех, что часто бывали на чердаке, не выезжали из Астрахани. Но их уже не было в живых.

Каждый день прибегали ко мне пионеры, ждали часами, провожали, объясняя, в какие ворота войти, в какую стучать квартиру и кого там спросить. Я все знакомился, все расспрашивал, получал от новых людей все новые и новые адреса.

С каждым днем становилось все более ясным: если искать бесконечно, можно найти еще один документ, еще два рисунка, может быть, десять, двадцать... Но астраханская часть коллекции Бурцева растеклась, разошлась по рукам и как таковая больше не существует.

Тут можно было бы поставить последнюю точку. Но я предвижу вопросы и возражения.

— Какое право было у Бурцевых хранить документы, имеющие общественное значение?

— Надо было изъять у владельцев коллекцию, которую они не сумели сберечь!

— Почему коллекция не была конфискована при жизни самого Бурцева?

— Отчего не привлекли виновных в гибели документов к ответственности?

Такие вопросы уже задавали.

Попробуем разобраться.

Общественная сторона дела

История эта вызывает чувство глубокой горечи. Но суть дела вовсе не в том, что коллекцию не конфисковали вовремя, и не в том, что владельцев не привлекли к судебной ответственности. Это дело сложнее. Оно выходит из юридической сферы и касается понятий моральных.

Право личной собственности в нашей стране распространяется на предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства — на то, что служит удовлетворению наших материальных и культурных потребностей. Это право незыблемо. Его охраняет закон — десятая статья Конституции.

Вы решили украсить свою комнату — повесили полот-

на Сергея Герасимова и Сарьяна, этюды Кукрыниксов, рисунки Верейского и Горяева. Вот и коллекция! Кто может изъять ее у вас, полноправного члена советского общества? А завтра вы, может быть, решите собирать на свои сбережения патефонные пластинки, почтовые марки, фарфоровую посуду, редкие книги?! Собирание коллекций — общественно полезное дело: коллекционируя, вы изучаете вещи, сохраняете их от забвения, от распыления. Любая коллекция, собранная на ваши личные сбережения,— ваша личная собственность.

Закон советский охраняет и право наследования. Рано или поздно ваша библиотека, картины, пластинки, фарфор, если только вы не завещали передать их в государственное хранилище, станут собственностью ваших наследников. И они распорядятся ею по своему усмотрению. И, возможно, так же не сумеют ее сохранить, как не смогли полностью сохранить свою коллекцию Бурцевы.

Спрашивают: почему коллекцию, представлявшую ценность общественную, не реквизировали после Октябрьской революции?

Для этого не было оснований: закона об изъятии частных коллекций не существует.

Что же касается предложения привлечь владельцев к ответственности за то, что они не сумели полностью уберечь эти документы, картины и книги, то можно ли возбудить дело против гражданина, повинного в утрате принадлежащего ему личного имущества?

И тем не менее все понимают: бросить на чердаке подушки или посуду — дело одно; оставить без охраны уникальные ценности — дело другое. Нельзя привлечь к юридической ответственности за то, что человек уничтожил принадлежавшую ему книгу или картину. Но, узнав об этом, мы вправе считать, что личное право он ставит выше общественных интересов, и справедливо осудим такого.

Владеть ценнейшей коллекцией — быть в ответе перед историей. Потомки не станут вникать в обстоятельства, при которых владельцам пришлось расстаться с частью коллекции. Уже не о них — обо всех нас будут говорить они с осуждением: «не могли сохранить», «растеряли», «где были те, кому по роду занятий надлежало проявлять заботу об исторических документах,— люди культуры, историки, музейные работники, архивисты?». Разве мы не говорим так о тех, что жили в прежние времена и не сохра-

нили для нас многих замечательных памятников искусства, литературы?

Да, говорим. Сокрушаемся. А чаще всего негодуем!

Советское государство гарантирует нам права, которые не гарантированы ни в одной стране по ту сторону границ мира социализма,— право на труд, на образование, на отдых, на обеспечение по болезни и старости и многие другие права; в том числе гарантировано наше право и на личную собственность.

На заботу государства о нас мы отвечаем заботой о государственных интересах. И ставим их выше личных. Коллекция Бурцевых представляла ценность общественную. А это обязывало их проявлять в отношении ее куда большую меру заботы, чем о всякой другой своей собственности.

Пусть это послужит уроком!

Сколько ценнейших рукописей погибло от случайных причин, начиная со «Слова о полку Игореве», список которого хранился в Москве, в доме собирателя Мусина-Пушкина, и сгорел в 1812 году во время пожара!

Владелец не уберег! Тем более не стоит наследникам хранить у себя документы, значение которых большею частью им непонятно. Но если наследник хотя бы слышал, что это ценность, то третьи лица чаще всего не знают даже и этого. Не вникнув в содержание попавшихся в их руки бумаг, они часто дают им совсем другой ход.

Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, будучи вынужден покинуть Грузию еще юношей, умер в конце XVIII века на Украине. Незадолго до смерти, полуслепым стариком, он вписал все свои сочинения в толстую книгу и, узнав, что в Кременчуг прибыл грузинский посланник при русском дворе царевич Мириан, отослал ему труд всей своей жизни в надежде, что стихи и поэмы, писанные по-грузински в полтавской деревне, найдут путь на родину и станут известны грузинским читателям.

Все, однако, случилось совсем не так, как рассчитывал поэт. Рукопись его в Грузию не попала. Туда дошли только копии. А сама рукопись почти сто лет спустя после смерти Гурамишвили была куплена в Петербурге, в антикварном магазине на Литейном проспекте. И то потому,

что случайно попалась на глаза студенту, который смог прочесть заглавие и первые листы текста и понял значение находки. В ином случае мы не имели бы ни одной собственноручной строки этого замечательного поэта.

Не менее значительное событие произошло в нашем веке в городе Чехове под Москвой.

На дне клетки, в которой прыгала канарейка, случайно обнаружили лист, исписанный почерком Пушкина. Удивились, стали искать, откуда он взялся. И набрели на ящик с бумагами Пушкина — это была рукопись о Петре.

В Талдомском районе, Московской области, случайно заметили, что в одной избе стена под обоями в горнице обклеена старыми письмами. Содрали обои, отмочили листки. Это были письма к родным великого сатирика Щедрина.

Если говорить об ответственности, то виноваты наследники тех, кому эти бумаги принадлежали. О чем они думали, оставляя после себя эти рукописи? Кто должен был решать их судьбу? Определить руку Пушкина могут только специалисты. Но даже специалисты по Пушкину щедринский почерк читают с трудом. Человек, не сведущий в этих вопросах, сам разобраться в этом не может. И единственно правильное, что может он сделать,— обратиться к специалисту, в редакцию местной газеты, в библиотеку, в архив...

Учащиеся Красноборской средней школы, Архангельской области, и поступили именно так: послали в Ленинград, в Пушкинский дом, два рукописных сборника, составленных в XVIII веке.

Ученики одной из московских школ пошли еще дальше. Они решили искать литературные документы. Узнав, что Аркадий Гайдар жил когда-то в подмосковном городе Кунцеве, решили проверить, не осталось ли в доме каких-нибудь рукописей, книг или фото. И, роясь на чердаке, обнаружили и командировочные удостоверения Гайдара, и договоры с издательствами, и письма к нему, и даже неопубликованный очерк. Находки свои они передали в Центральный литературный архив.

А возле Мичуринска, во дворе техникума, двое учащихся нашли еще более редкую вещь: дневник чиновника, служившего вместе с Пушкиным в Кишиневе. Автор этого дневника рассказывает, как сосланный Пушкин отзывался о политических порядках тогдашней России:

«...Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Ученики передали находку преподавательнице русского языка. Та, в свою очередь, доставила ее в Москву, в Литературный музей, и вручила пушкинисту М. А. Цявловскому. Дневник опубликовали, а самая тетрадь, обнаруженная во дворе техникума, хранится ныне в сейфе Пушкинского дома Академии наук СССР, куда мало-помалу стекаются все рукописные материалы, имеющие отношение к Пушкину. Много можно рассказать интересного о находках, поступающих в этот сейф!

В 1921 году ленинградский искусствовед Г. И. Гидони, развернув купленный в булочной хлеб, обнаружил, что на обертку были пущены старинные, большого формата письма, в которых шла речь о дуэли и смерти Пушкина. Оказалось, что автор их — сын знаменитого историка Андрей Карамзин, который писал из Баден-Бадена в Петербург матери и сестре Е. А. и С. Н. Карамзиным — о том впечатлении, которое произвело на него известие о гибели Пушкина.

Гидони передал эти письма в Пушкинский дом.

Прошло около двадцати лет. И вот, разбирая в Нижнем Тагиле книги, оставшиеся после смерти инженера Шамарина, бухгалтер О. Ф. Полякова обнаружила письма о дуэли и смерти Пушкина, писанные из Петербурга в Баден-Баден Е. А. и С. Н. Карамзиными и адресованные Андрею Карамзину. Полякова передала их в Тагильский музей краеведения. А в 1957 году они поступили в Ленинград, в Пушкинский дом, и легли рядом с находкой Гидони. Впрочем, об этих письмах — особо!

Совсем недавно в Пушкинский дом поступило подлинное письмо Пушкина к некой Алымовой и вместе с ним письмо Гоголя к его ученице Балабиной. Их прислал в дар институту известный физиолог — московский профессор И. М. Саркизов-Серазини. В сопроводительной записке его говорится: «Считаю себя не вправе держать эти драгоценные реликвии у себя дома».

Немало таких подарков поступает в наши архивы. И. Н. Заволоко прислал из Риги письмо художника Рериха; А. М. Кулакова из Вельска — пять старинных ру-

кописных книг, в их числе неизвестную повесть. От Т. Е. Бурдина поступил в дар старинный сборник сказаний и поучений; от И. Н. Заборского — десять рукописей XVII — XIX веков: старинные повести, сказки, крестьянские челобитные. А. М. Бебяков подарил старинный «столбец» — свиток длиной в пять метров, в котором сообщается о тяжбе владельцев той самой земли, на которой ныне стоит колхоз «Красный пахарь», Архангельской области. «Столбцу» этому около трехсот лет. В. Г. Зыкин принес в дар государству целых тридцать шесть рукописей, и некоторым из них по пятьсот лет.

Кто эти люди?

Заволоко — пенсионер. Кулакова — жена краеведа. Бурдин — редактор районной газеты. Заборский — колхозный счетовод. Бебяков — колхозник. Зыкин — преподаватель... Таких людей много. О них можно было бы написать целую книгу. Это они из интереса и уважения к нашей культуре, к нашей истории доставляют в музеи ценные археологические находки, древние клады, сообщают о редких книгах, о старых рукописях. Все больше становится людей, передающих свои находки и материалы в дар, безвозмездно.

Сколько рассеяно по нашей стране — и не только в областных и районных центрах, но и в селах, у частных лиц — ценнейших материалов: писем, рукописей, документов, революционных листовок, старых альбомов, книг, уникальных портретов, пожелтевших, выцветших фотографий, важных для нашей истории! Пусть печальный опыт с корзинкой на чердаке послужит всем нам уроком. Давайте искать, собирать, сохранять архивные ценности! Не для себя, а для всех! Для советского общества! Для культуры!

1948—1950

Тагильская находка

1

В редакцию «Нового мира» пришел пакет. На конверте значился адрес отправителя: «Инженер Н. С. Бóташев, Нижний Тагил...»

Пакет распечатали. В нем оказались новые материалы о гибели Пушкина, выборки из писем современников, писем неопубликованных, еще никому не известных, более ста лет пролежавших под спудом. «В настоящее время,— сообщал инженер Боташев,— письма хранятся в Н.-Тагильском музее краеведения. Они были обнаружены в Нижнем Тагиле у одной из жительниц, родные которой работали в бывшем демидовском управлении. Письма были взяты ими, видимо, в начале 20-х годов. Установить точно это не представляется возможным, так как эти люди уже умерли. Письма были обнаружены и приобретены для музея моей теткой Е. В. Боташевой».

Нетрудно представить, что событие это произвело в редакции сильное впечатление.

Надо было ознакомить с материалами специалистов — исследователей жизни и творчества Пушкина. Стали звонить Татьяне Григорьевне Цявловской, профессору Сергею Михайловичу Бонди... На следующий день их мнение было уже известно: письма подлинные, находка представляет большой интерес.

Однако, прежде чем их печатать, надо было ознако-

миться с полным текстом писем в оригиналах и подготовить научную публикацию.

Это дело решили поручить мне и вместе с сотрудниками редакции командировали меня в Нижний Тагил.

В Тагил мы приехали ночью, остановились в «Северном Урале». Утром Боташев пришел к нам в гостиницу. Ему тридцать пять лет. Это инженер Новотагильского металлургического завода. Свою основную профессию он совмещает с краеведением, изучает историю Урала и в 1953 году напечатал книжку, содержащую неизвестные архивные материалы о крепостном изобретателе-самоучке Егоре Кузнецове, создавшем в XVIII веке прокатные станы, астрономические часы и музыкальные дрожки.

Первое, что замечаешь, пожимая руку Николая Сергеевича Боташева,— из-за очков в металлической светлой оправе на вас устремлены широко раскрытые серые глаза, над губой аккуратно подстрижены рыжеватые усики.

Когда познакомились и разговорились, Боташев предложил нам вместе идти в музей, к его тетке Елизавете Васильевне, чтобы сразу же посмотреть оригиналы найденных писем, убедиться в их подлинности и уточнить историю находки.

Музей помещается в левом крыле ампирного здания с фонтаном и белыми колоннами.

Этот дом, напоминающий великолепный стиль Росси, принадлежал прежде Демидовым — богатейшим уральским заводчикам, владевшим на Урале почти миллионом десятин земли, рудными месторождениями, медными и железными заводами, пятнадцатью тысячами крепостных душ. Ныне в ампирном доме, где находилось прежде управление демидовских заводов, помещаются горсовет, госархив и госмузей.

Удивительный город Тагил! Великолепные постройки XVIII—XIX веков, которые сделали бы честь старому Петербургу; губернская архитектура; однотипные деревянные дома прошлого века на каменном фундаменте, потемневшие от времени. И — огромный новый Тагил. Могучие трубы доменных печей, ажурные конструкции кранов, многокилометровые ограды заводских территорий: Дворец культуры, которому равный не сразу подыщешь; новые улицы, вроде Песчаной в Москве: просторные гастрономы; автобусы, огибающие регулировщика под светофором; газетные витрины с последним номером «Литературной га-

зеты»... В центре города — заросли лиловой сирени и яблони в розовом цвету, городской сквер, в котором веточки никто не сломит.

Эти цветущие яблони, густые шпалеры сирени, желтые дорожки, скамейки — внизу, как раз под окнами нашего номера. И еще прежде чем познакомиться с Бóташевым, мы наблюдали удивительную картину. Бледный рассвет. На желтом востоке, как четыре поднятых к небу ствола, высятся трубы. И вдруг — пожар! Полнеба охватывает золотисто-красное зарево. Но никто никуда не звонит, не торопится! Город спит, и сирени цветут, и чирикают воробьи. А небо пылает. Это из домны пустили шлак. Наконец медленно зарево гаснет.

Елизавета Васильевна Боташева — женщина невысокого роста, темноволосая, с проседью, с живыми глазами, радушная, на редкость скромная. Занимает она в музее должность библиотекаря, на деле же отдает музею всю душу. Каждый экспонат для нее — живой, и рассказывает она об Урале, может быть сама не сознавая того, удивительно. Конечно, Боташев, инженер, не случайно занимается краеведением. Интерес к этому он унаследовал от тетки. А Елизавета Васильевна в свою очередь тоже потомственный краевед. Изучением Урала занимался ее дед — Шорин, друживший с Маминым-Сибиряком. И дом, в котором поместился музей, существует не только в городе, но и в литературе. И как только Елизавета Васильевна заговорила об этом — заговорила история. Кстати, это в крови у тагильчан: они преданно любят свой край и свой город, знают историю Урала до тонкостей, гордятся его ресурсами, восхищаются его красотой, и краеведение там в почете.

Если вам придется побывать в Нижнем Тагиле, загляните в музей краеведения. Город сыграл огромную роль в истории русской промышленности и немалую — в истории русской культуры. Но это всем известное значение Тагила становится в музее точным, реальным, вещественным. А вещи там удивительные!

Модель первого русского паровоза, сконструированного в 1834 году тагильскими крепостными мастерами-самоучками Черепановыми.

Первый в мире двухколесный педальный велосипед, сделанный крепостным Артамоновым. Говорят, что на этом высоченном велосипеде с огромным передним коле-

сом и крохотным задним, с педалями, похожими на ступени, Артамонов, одолев расстояние в 2500 верст, прикатил с Урала в Москву на коронацию Александра I.

В этом музее хранятся астрономические часы Кузнецова, изготовленные в 1775 году. Они показывали часы и минуты, «восхождение и захождение» солнца, «рождение и ущербление» луны, дни святых, соответствующие календарному числу по святцам, заключали в себе механизм курантного боя, который сопровождался движением фигурки молотобойца: он брал из горна крицу, клал под молот, ударял по ней и снова относил в горн.

Крепостные живописцы Худояровы изобрели уральский хрустальный лак, не уступающий лакам китайским. Много работ целой семьи этих уральских художников выставлено в музее. Но самые интересные — работы Худоярова Павла, изображающие медный и железный рудники, листобойный и листопрокатный цеха Нижнетагильского завода. Эти картины, показывающие крепостной труд рабочих, написаны в 1835 году; такие темы в живописи того времени — величайшая редкость!

С изумлением рассматривали мы рекламные изделия Нижнетагильского завода, изготовленные для Московской промышленной выставки 1882 года,— стальные прутья толщиной чуть не в руку, холодным способом завязанные узлами, закрученные винтами, завитые косами. Кажется, только богатырь, подпирающий плечами небо, мог справиться с этой работой. Нет! Это сделали рабочие тагильских заводов, обыкновенного роста люди, но великие мастера, остроумные изобретатели, настоящие художники своего дела, способные удивить Европу, как лесковский Левша.

И еще есть там один экспонат. Он найден в 1946 году, при промыве Висимо-Уткинской плотины, недалеко от Тагила.

К мертвому брусу этой заводской плотины кованой цепью был прикреплен чугунный цилиндр. Вскрыли его — в нем оказался цилиндр свинцовый. А внутри свинцового — медный. А в медном — свернутые в трубку заводские документы 1872 года. «Сведения эти,— сказано в сопроводительной записке,— должны показать картину настоящего положения заводов, показать, насколько и в чем будущее поколение ушло от нас вперед».

Замечательная находка и замечательный документ! Впрочем, чего только нет в Тагильском музее: писанные первоклассными художниками портреты всех поколений Демидовых, начиная с Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра I привилегию разрабатывать железную руду на Высокой горе; мраморный бюст Петра I, изваянный едва ли не Шубиным; портрет Авроры Демидовой, писанный Карлом Брюлловым; подносы, шкатулки, столики, расписанные хрустальным лаком, чугунное художественное литье, руды и мраморы, малахиты и самоцветы — все, чем богаты недра и природа Тагила; продукция тагильских заводов; портреты знатных людей нашего времени — уроженцев Тагила; документы о Я. М. Свердлове, руководившем революционной борьбой тагильских большевиков...

Наконец дело дошло и до писем о Пушкине.

Мы вернулись в библиотеку, откуда начали экскурсию по музею. Елизавета Васильевна вынесла красный сафьяновый альбом с золотым тиснением и зелеными тесемками — старинный, с потрепанным корешком. Перевернули крышку переплета. А дальше — все листы из альбома вырезаны, как по линейке, и к оставшимся корешкам аккуратно подклеены письма, преимущественно французские, писанные на тонкой бумаге различными почерками, но главным образом мелким, бисерным почерком, и черпила во многих местах изрядно повыцвели.

Это целая книга — 340 страниц писем, адресованных в разные города Европы из Петербурга и датированных 1836 и 1837 годами.

Да, письма эти действительно представляют собой удивительную находку!

2

Весной 1836 года молодой гвардейский офицер Андрей Карамзин, сын знаменитого историографа Н. М. Карамзина, в ту пору уже покойного, заболел и по совету врачей предпринял путешествие по Германии, Франции и Италии. Он останавливался во Франкфурте и Эмсе, отдыхал в Баден-Бадене, знакомился с достопримечательностями Парижа и Рима, а родные регулярно сообщали ему петербургские новости. Чаще всех пишет мать, Екатерина Андреевна. Пишет старшая сестра, Софья Николаевна,

известная в литературе своей дружбой с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и другими замечательными людьми той эпохи. Несколько реже пишет брат, офицер гвардейской артиллерии Карамзин Александр. Кроме того, в альбоме имеются письма других сестер Андрея Карамзина — Екатерины Николаевны (по мужу Мещерской), младшей сестры, Елизаветы, и брата Владимира (он петербургский студент).

Постоянные посетители карамзинского салона — брат Е. А. Карамзиной, поэт и критик П. А. Вяземский, поэт В. А. Жуковский, беллетрист и драматург В. А. Соллогуб, собиратель исторических документов, известный своею дружбою с виднейшими писателями России и Европы, А. И. Тургенев, брат декабриста... В письмах Карамзиных сохранились их приписки или передаются их суждения и пожелания.

Охватывают письма период в один год и два месяца: первое письмо в альбоме датировано 27 мая 1836 года, последнее — 30 июля 1837-го. Несколько листков — видимо, два или три письма, относившиеся к июню 1836 года,— вырваны.

Но прежде чем коснуться содержания писем, следует сказать несколько слов о Карамзиных и об их литературном салоне.

Не только при жизни самого Николая Михайловича Карамзина, но и в 1830—1840 годах дом этот был одним из центров русской культуры. «Все, что было известного и талантливого в столице,— писал современник,— каждый вечер собиралось у Карамзиных». «Весь большой свет теснился в карамзинской гостиной»,— подтверждает другой, отмечая при этом, что дом был открыт «для всякой интеллигенции того времени». «Там выдавались дипломы на литературные таланты»,— говорит третий.

Действительно, в гостиной Карамзиных собиралось общество, состав которого в известной степени отражал общественное положение покойного Н. М. Карамзина — выдающегося русского писателя и ученого, за свою «Историю государства Российского» удостоенного официального звания историографа Российской империи, что приравняло его к высшим сановникам.

В доме Карамзиных бывают поэты, литераторы, музыканты, придворные вельможи, великосветские красавицы,

дипломаты, гусарские поручики, с которыми Софья Николаевна Карамзина танцует на придворных балах.

Это великосветский литературный салон, но, в отличие от других великосветских домов, здесь не играют в карты и признают русскую речь. У Карамзиных собираются для беседы и обмена мыслями и говорят о поэзии, о науке, о политике.

Разумеется, хозяйкой салона была вдова историка — Екатерина Андреевна. Но душою, главным действующим лицом и самой занимательной собеседницей — Софья Николаевна, дочь Карамзина от первого брака, владевшая искусством непринужденного разговора и, как теперь выясняется, одаренная эпистолярным талантом, умением писать письма, легко и свободно передавая на бумаге новости дня, разговоры, характеристики.

Время от времени в доме появляется Александр Николаевич Карамзин; служба в гвардейской артиллерии налагает на него известные обязательства, невыполнение которых, как видно из писем, довольно часто приводит его на гауптвахту, откуда, располагая в избытке досугом, он пишет великолепные послания брату Андрею — содержательные и остроумные, полные иронии по адресу великосветского общества. Пишет, в отличие от матери и сестры, чаще всего по-русски. До отъезда за границу Андрей служил с братом в одной батарее, они вместе росли (Андрей родился в 1814 году, Александр — в 1815-м), у них общие приятели, общие литературные интересы; оба пишут и собираются выступать в печати.

Этот «Сашка», как называют его в письмах родные, дожил до старости (он умер в 1888 году), но так ни в чем и не проявил заметно своего безусловно незаурядного таланта, о котором можно судить на основании писем. Имя его осталось в истории русской культуры благодаря Лермонтову, упомянувшему его в шутливом стихотворении, написанном для альбома С. Н. Карамзиной:

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи.

Об этих «фарсах Саши» мы получаем только теперь довольно отчетливое представление.

Подсчитать количество найденных в Тагиле писем нелегко.Почти каждое из них заключает в себе несколько

самостоятельных писем. Скажем, вечером берется за перо мать. Заполнив страницы две и пожелав своему любимому Андре спокойной ночи, она уходит спать, а утром сестра Софи приписывает к этому свое, иной раз на трех-четырех страницах. Приходит брат — появляются приписки, довольно значительные. Потом видишь руку сестры — Мещерской. И снова почерк матери. Бывает, что пишется такое письмо дня три. Александр Карамзин шлет брату письма, которые сочиняет несколько дней, приписывая каждый раз по страничке,— это письмо-дневник. Как сосчитать все эти письма? Словом, в тагильском альбоме сто тридцать четыре самостоятельных сообщения, не считая мелких приписок. Точнее определить невозможно.

Письма охватывают широкий круг знакомств Карамзиных, содержат подробные сообщения о великосветских балах и придворных раутах, о литературных чтениях, о театральных спектаклях, о музыкальных вечерах. Родные пересказывают Андрею все, что заслуживает, по их мнению, внимания в петербургской литературной и великосветской жизни. Кроме того, в этих письмах отражена вся жизнь семьи, ее дела, помыслы и заботы.

Андрей не заботится о своем здоровье, он позволил себе выпить бокал вина. Это вызывает дома тревогу, мать шлет ему наставления.

Он тратит деньги, не сообразуясь с доходами. И мать напоминает, что они живут на пенсию, которой обязаны заслугам его добродетельного отца.

Маленькое арзамасское имение Макателемы почти ничего не приносит, староста не подчиняется распоряжениям, и управляющий Ниротморцев сообщает, что к ней, к Екатерине Андреевне, в Петербург должна скоро прибыть депутация крестьян — двадцать бунтовщиков, которые хотят искать у нее защиты от нее же самой. Идет рекрутский набор. В солдаты отдают подстрекателей. Но достаточно ли этого для восстановления порядка? Нужен советчик, нужны деньги. Для Александра эти вопросы не существуют.

Андрей переезжает в Париж. И мать спешит подать сыну совет: ему следует попасть в Париже в салон знаменитой м-м Рекамье, где встречаются литераторы всех направлений. С м-м Рекамье дружна Софья Петровна Свечина. Приняв католичество, она уже давно покинула Россию. Ее салон в Париже тоже пользуется влиянием, его

посещают многие знаменитости. Александр Иванович Тургенев

«очень жалел, что сам сейчас не в Париже и не может представить тебя м-м Рекамье; ты право должен постараться познакомиться с ней, хотя бы через м-м Свечину»,— пишет мать.

К этому прилагается письмо А. И. Тургенева к м-м Рекамье, рекомендующее ее вниманию сына знаменитого Карамзина.

Андрей посещает в Париже балы и спектакли. Софи считает нужным передать ему «справедливые замечания Вяземского», который сказал: «Это весело, но не полезно: в Париже должно познакомиться с специальностями, *с людьми эпохи»* [1].

Андрей пишет свои письма по-французски. Екатерина Андреевна недовольна этим. Она обращается к авторитету Жуковского, который делает по-русски приписку в письме от 25 декабря 1836 года:

«У нас по большинству голосов в экстраординарном заседании решено, чтобы ты — старший и достойный сын Карамзина — писал свои письма по-русски, а не по-французски. В этом заседании присутствовали две твои сестрицы, твоя единственная родная мать и я, твой родной друг. За русскую грамоту поданы голоса материнский, который считаю за пять, и мой, следственно шесть голосов, за французскую грамоту стоит один — Софьи Николаевны, по своей похвальной привычке всегда проказничать; Катерина Николаевна изволит с своею обыкновенной флегмою держаться средины.— Прошу покориться этому приговору, сверх того меня помнить хоть и в Париже и не слишком содрогаться при воспоминании обо мне, слушая прения либералов и прочее. Обнимаю и люблю как душу».

Жуковский запросто, без приглашения, заходит к Карамзиным пообедать. Александр Иванович Тургенев, по-

---

[1] Напечатанное здесь курсивом — по-французски. Ввиду того, что большей частью Карамзины писали по-французски, в дальнейшем оговариваю только русские тексты. Курсивом выделяются французские фразы в русских письмах и русские — во французских. Подчеркнутое Карамзиными печатается разрядкой.

сле пятилетнего отсутствия вернувшийся из-за границы, видится с ними чуть ли не каждый день — у них, у Вяземских, у Мещерских (эти два дома связаны с домом Карамзиных тесными родственными отношениями).

Михаил Юрьевич Виельгорский, сановник, меценат и композитор, живет на Михайловской площади, в одном доме с Карамзиными; возвращаясь домой из Зимнего дворца или с концерта, он постоянно заходит к Карамзиным, где гости засиживаются до поздних часов.

В доме продолжают бывать друзья покойного историографа — когда-то, в молодости, члены прогрессивного литературного общества «Арзамас», в 1830-е годы уже достигшие высокого служебного положения: министр внутренних дел Д. Н. Блудов, министр юстиции Д. В. Дашков, дипломаты П. И. Полетика и Д. П. Северин.

Если вспомнить при этом, что ближайшие друзья Карамзиных — Вяземский, Жуковский, А. И. Тургенев и Пушкин — тоже в свое время были деятельными членами этого литературного общества, объединявшего литературных последователей Н. М. Карамзина, то будет понятным название «Ковчег Арзамаса», которое дала салону Карамзиных А. О. Россет-Смирнова, известная своею дружбою с Жуковским, Пушкиным, Гоголем.

Из тагильских писем мы узнаем о служебных и литературных делах беллетриста Владимира Соллогуба, приятеля Андрея и Александра Карамзиных; Софья Николаевна знакомится с поэтессой графиней Ростопчиной и дает Андрею довольно точный ее портрет; Александр посвящает брата в издательские планы Вяземского и В. Ф. Одоевского, задумавшего издать свой журнал, противопоставленный пушкинскому «Современнику».

В письмах постоянно упоминаются А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово и ее дочь Д. Ф. Фикельмон — жена австрийского посла в Петербурге; упоминаются дочь графа М. М. Сперанского — Е. М. Багреева, семья Олениных, писатели В. И. Даль, И. П. Мятлев, А. А. Перовский, А. Н. Муравьев, Э. П. Мещерский, А. А. Краевский, французский историк и писатель Леве-Веймар, приезжавший в Петербург в 1836 году, и многие другие знакомые Карамзиных.

Андрею интересно знать обо всем, что видит и о чем говорит Петербург. Екатерина Андреевна (в письме от 29 сентября 1836 года) рассказывает, как все проводящие

лето в Царском Селе, «начиная от придворных и до последнего простолюдина», отправились смотреть пробу паровых карет на дороге в Павловск. Поезд состоял из четырех вагончиков, соединенных по двое.

«Каждый вагон,— пишет Е. А. Карамзина,— имеет два отделения — одно закрытое, другое открытое. Пара еще не было, поэтому каждые два вагончика тащили две лошади, запряженные одна за другой, *гусем*. В каждом поезде, состоящем из двух вагончиков, помещалось около 100 человек. Лошади неслись галопом. Эта проба была устроена, чтобы показать удобство и легкость этого способа сообщения. Говорят, что к середине октября все будет готово и поезда уже будут ходить при помощи пара. Это очень интересно. Вообще это была красивая картина — погода стояла прекрасная, обе дорожки, ведущие к железной дороге, пестрели народом; собралась целая толпа — явление у нас необычное. Говорят, московские купцы настойчиво просят государя разрешить построить на их средства железную дорогу от Петербурга до Москвы...»

Есть и более интересные сведения. В письме, начатом 5 июня 1836 года, Софья Николаевна Карамзина сообщает, что у Вяземских «в день рождения Поля»

«Гоголь прочел свою комедию *«Женитьба»*. Слушая ее, мы смеялись до слез,— пишет Софья Николаевна,— так как читает он замечательно. Но его произведения имеют все один и тот же порок: недостаток изобретательности в построении интриги и однообразие шуток, которые всегда вульгарны и тривиальны. *Впрочем, самый русский дух, без примеси европейского*. Он уезжает сегодня с тетей и рассчитывает тебя увидеть в Эмсе...»

Мнение Софьи Николаевны о недостатке изобретательности в построении сюжета «Женитьбы» разделялось в ту пору многими. Однако Софья Николаевна говорит уже не об одной «Женитьбе»: поставив в упрек автору «Ревизора» недостаток в построении интриги, она показала, что новизна гоголевской драматургии вообще непонятна ей. Все же в последней фразе она отметила национальную самобытность пьесы, ее «русский дух, без примеси европейского».

Поскольку чтение «Женитьбы» происходило у Вяземских в день шестнадцатилетия «Поля», то число установить не так трудно: рождение Павла Вяземского праздновалось 2 июня, следовательно, 2 июня 1836 года происходило и чтение «Женитьбы» у Вяземских — дата в биографии Гоголя новая.

Четыре дня спустя, 6 июня, вместе с Верой Федоровной Вяземской и дочерью ее Гоголь выехал на пароходе за границу

«Сейчас много идет разговоров об опере Глинки, которой хотят открыть сезон в Большом театре, после его перестройки; говорят, она очень хороша,— сообщает Александр Карамзин в письме от 5 ноября 1836 года.— Виельгорский отзывается об этой опере весьма восторженно, как о замечательном произведении искусства. К сожалению, говорят, невозможно будет достать места на первое представление, которое состоится в конце месяца».

Таким образом, письма Карамзиных передают атмосферу, в которой готовилось первое представление «Ивана Сусанина».

«Вчера, в четверг [1], было открытие Большого театра, который теперь очень красив,— пишет Софья Николаевна 28 ноября 1836 года,— давали *«Иван Сусанин»* Глинки; присутствовал Двор, весь дипломатический корпус, все сановники. Я поехала с милой м-м Шевич в ложу второго яруса (нам самим достать ложу, конечно, не удалось). Некоторые арии этой оперы прелестны, но в целом она показалась мне какой-то жалобной по тону, однообразной и мало эффектной — все на русские темы и все в миноре. Декорации Кремля в последнем акте великолепны — толпа народа на сцене незаметно сливается с фигурами, нарисованными на полотне сзади, и уходит в бесконечную даль. Энтузиазм, как всегда у нас, был довольно прохладный, аплодисменты то стихали, то возобновлялись, но всякий раз как бы с усилием».

Декорации Андрея Роллера понравились Софье Николаевне больше, чем музыка Глинки, красот которой она по-настоящему не оценила.

---

[1] Ошибка Карамзиной: 27 ноября 1836 года приходилось на пятницу.

Премьера «Ивана Сусанина» вызвала противоположные суждения и резкие споры. Пушкин, Гоголь, Жуковский, В. Одоевский, Вяземский, Виельгорский восторгались оперой Глинки; аристократия бранила ее; Булгарин написал о ней злобную и невежественную статью. Но было и среднее: снисходительное одобрение. На первом спектакле присутствовал Николай I, он аплодировал опере Глинки, которая, видимо, по его указанию и была названа «Жизнь за царя». Таким образом, тон высокомерной похвалы выражал мнение официозных кругов. Отзыв Софьи Николаевны Карамзиной объясняется, видимо, тем, как была воспринята опера в ложе «милой м-м Шевич», точнее — Марии Христофоровны Шевич, родной сестры шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Интересно, что Софья Николаевна пишет «Иван Сусанин». Лишний раз подтверждается, что общество не сразу привыкло к чуждому опере Глинки названию — «Жизнь за царя».

Знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева, напечатанное в сентябрьской книжке «Телескопа» за 1836 год и содержавшее наряду с суровой критикой современного состояния России пессимистический взгляд на историческое прошлое русского народа и на его будущее, в доме Карамзиных было воспринято только как оскорбление национального чувства. Софья Николаевна нападает на Чаадаева, возмущается цензурой, которая пропустила его сочинение. Правда, это не расходится и с тем, как было встречено письмо Чаадаева в Зимнем дворце. Критика самодержавно-крепостнического строя привела императора в бешенство. Чтобы умалить впечатление, произведенное письмом в обществе, Николай приказал считать Чаадаева сумасшедшим и держать под наблюдением врача.

Но характерно, что Александр Карамзин в содержании чаадаевского письма выделяет именно эту часть — критику современного состояния русского общества — и с ней соглашается.

«Философия самая ужасная вещь настоящего века,— начинает он по-русски в своем обычном, полном иронии, тоне,— станешь философствовать, что вот-де как проводишь время, что-де молодость проходит таким подлым образом, что оскотинился, что чувства душевные тупеют приметно, что начинаешь весьма походить на полену и пр. При этой философии начинает по всему телу проходить

какая-то гадость, которая мало-помалу переходит в сонливость, станешь зевать, ляжешь да и всхрапе! А на другое утро в казармы! Видя такую всеобщую гадость в жизни, можно помешаться и даже написать письма вроде Чедаева, о которых говорит тебе сестра! В галиматье этого человека, право, есть справедливые мысли»,— признает он, отвергая при этом точку зрения Чаадаева на русскую историю и на русский народ.

3

Но особенное значение тагильской находки даже не в этих отдельных оценках комедии Гоголя, оперы Глинки, «Философического письма» Чаадаева, игры четы Каратыгиных, пения А. Я. Воробьевой-Петровой...

Старинная дружба связывала с домом Карамзиных А. С. Пушкина, который близко познакомился с историографом и его женой, будучи еще лицеистом. Когда Пушкину грозила ссылка в Сибирь или в Соловки, Н. М. Карамзин ходатайствовал за него вместе с Жуковским.

Писатели, в среде которых формировались литературные взгляды Пушкина, считали Карамзина великим учителем. Пушкин с величайшим уважением относился к его литературно-ученой деятельности и к нему самому. Карамзин первый в России высоко поднял авторитет и звание писателя; Пушкина привлекала его благородная независимость, бескорыстие, чуждое искательства славы, широта взглядов, принципиальность, добросовестность Карамзина как ученого, значение трудов которого было гораздо шире его концепции, построенной на утверждении единовластия и крепостного состояния крестьян. Своего «Бориса Годунова» Пушкин посвятил «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина». Но консервативные взгляды его высмеивал, а в 30-х годах в одном из писем признался, что «под конец» Карамзин был ему чужд.

К Екатерине Андреевне Пушкин в юные годы питал настоящее, глубокое чувство. «Если бы в голове язычника Фидиаса,— писал один из постоянных посетителей дома Карамзиных, Ф. Ф. Вигель,— могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять мадонну, то, конеч-

но, дал бы ей черты Карамзиной в молодости». Она была старше Пушкина девятнадцатью годами; когда он познакомился с нею, ей было уже тридцать шесть лет. Замечательный исследователь биографии и поэзии Пушкина и автор романа «Пушкин», покойный Ю. Н. Тынянов считал даже, что чувство к ней Пушкин сохранил до конца жизни. «Предмет его первой и благородной привязанности»,— писала о Карамзиной современница Р. С. Эделинг, хорошо знавшая Пушкина.

Постоянным посетителем дома Карамзиных Пушкин стал уже после смерти историка, по возвращении своем из михайловской ссылки. К 1827 году относятся его стихотворение «В степи мирской, печальной и безбрежной...», вписанное в альбом Софьи Николаевны, и «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной».

Сперва он бывает у Карамзиных один, а с 1831 года — с женой Натальей Николаевной, потом и с ее сестрами.

Значение того, что рассказывают Карамзины не только о Пушкине, но и о других своих знакомых, понятно каждому, потому что все знакомства Карамзиных, кроме чисто деловых, были одновременно и знакомствами Пушкина. Но важность обнаруженных писем усугубляется еще и тем, что Карамзины во всех подробностях знают семейную историю Пушкина. Эта трагедия разыгрывается у них на глазах. В их доме Пушкины встречаются с Жоржем Дантесом. Карамзины — в числе ближайших знакомых поэта, получивших по городской почте анонимное письмо, предназначенное для Пушкина и содержавшее в себе нестерпимое оскорбление. Карамзины принимают деятельное участие в улаживании конфликта между Пушкиным и Дантесом в ноябре 1836 года... Впрочем, не будем предвосхищать событий, подробно изложенных в письмах к Андрею Карамзину.

О том, что такие письма в свое время существовали, биографам Пушкина было известно. До нас дошли письма Андрея Карамзина из Парижа, из Рима, из Баден-Бадена. Они адресованы матери, сестрам, брату, содержат в себе великолепные описания его путешествия и ответы на сообщения родных, в том числе и суждение о Пушкине. Письма А. Н. Карамзина хранились в семье потомков Е. Н. Мещерской и незадолго до революции появились в печати («Старина и новизна», 1914, тт. XVII и XX).

Но почему же другая часть переписки — письма к нему — отыскалась в Нижнем Тагиле? Оказывается, в этом нет ничего странного. Предоставим слово Николаю Сергеевичу Боташеву

«В то время,— рассказывает он,— нижнетагильскими заводами владели братья Павел и Анатолий Демидовы. Анатолий Николаевич большей частью жил в Италии. Купив княжество Сан-Донато, близ Флоренции, он стал называться Демидов, князь Сан-Донато. Павел Николаевич жил в России. В 1836 году он женился на известной красавице Авроре Карловне Шернваль. Брак был непродолжительным — в 1840 году Павел Демидов умер, оставив малолетнего сына. Вместе с сыном Аврора Демидова вступила в права владения нижнетагильскими заводами наравне с Анатолием Демидовым. В 1846 году она вышла замуж вторично — за Андрея Николаевича Карамзина, того самого, которому адресованы обнаруженные в Тагиле письма. В 1849 и 1853 годах Андрей Карамзин приезжал в Нижний Тагил. В начале Крымской войны он вступил добровольцем в действующую армию и 16 мая 1854 года был убит в Малой Валахии.

Очевидно, в один из приездов А. Н. Карамзина в Нижний Тагил и попали туда эти письма, которые он хранил как реликвию. После его смерти они остались в Тагиле. Где они находились с тех пор, неизвестно. Обнаружились они снова уже в наше время, перед самой Отечественной войной».

В 1939 году умер в Тагиле восьмидесятичетырехлетний маркшейдер Павел Павлович Шамарин. До Октябрьской революции он работал в демидовском управлении. Вскоре после смерти Шамарина его племянница Ольга Федоровна Полякова, бухгалтер рудоуправления в Тагиле, разбирая его вещи, старые книги, приложения к «Ниве» и прочее, взяла в руки потертый сафьяновый альбом с золотым тиснением, завязанный зелеными ленточками. Раскрыв альбом, увидела вклеенные в него старые французские письма. Ольга Федоровна показала находку Елизавете Васильевне Боташевой. Вследствие этого и попали письма в Тагильский музей. Но это произошло уже во время войны. Директором музея была тогда Надежда Тимофеевна Грушина.

Прежде всего надо было выяснить содержание писем. Грушина поручила перевести их на русский язык. Эту работу выполнила врач туберкулезного санатория Ольга Александровна Полторацкая, эвакуированная во время войны из Ленинграда, великолепно знающая французский язык.

Когда работа эта была закончена, решительно всем и уже окончательно стала ясной ценность отыскавшихся писем. Н. С. Боташев заинтересовался находкой. Пользуясь переводом Полторацкой, он отобрал из писем Карамзиных факты, относящиеся к Пушкину, и, снабдив краткими примечаниями, прислал в редакцию «Нового мира».

О. А. Полторацкая вышла после войны на пенсию и поселилась под Москвой, около станции Вешняки, Казанской железной дороги. Я побывал у нее. Узнал, что во время войны музей поручил ей сделать подробное изложение, на основании которого можно было бы судить о содержании писем, что задачи максимально точного перевода всех писем и каждого полностью она перед собой не ставила. Словом, что в ее переводе не весь текст и, прежде чем печатать, следует сверить его с оригиналом.

Эта работа проделана. Письма Карамзиных изучены заново. Выборки текста, сообщенные Н. С. Боташевым, дополнены и содержат теперь все, что касается Пушкина,— от важных сообщений до простого упоминания имени. Все французские тексты заново переведены О. П. Холмской. В таком виде новые материалы, снабженные моей вступительной статьей и пояснениями, появились в № 1 «Нового мира» за 1956 год под рубрикой:

ИЗ ПИСЕМ КАРАМЗИНЫХ

Публикация *Н. Боташева*

Пояснительный текст *И. Андроникова*

4

Первое письмо — 27 мая 1836 года. Имена Дантеса, Гончаровых — сестер и брата Натальи Николаевны Пушкиной, Мещерских, П. А. Вяземского... Мы сразу входим в круг лиц, с которыми постоянно встречается Пушкин.

Софья Николаевна рассказывает Андрею о «Сашке», который несколько дней развлекал ее «своим милым лицом и смешными выходками».

«Он нас покинул в воскресенье вечером,— пишет Екатерина Андреевна.— Великий князь также уезжал в Красное, у них учение целыми днями.

Милый Вяземский навещает нас ежедневно,— продолжает Софья Николаевна.— Тетя нездорова, у нее болит нога. Дантес больше не появлялся, и мы знаем о его существовании только потому, что получили от него баночку парижской помады. Вчера был день рождения Пьера. У нас обедали его братья, Вяземский и Мальцов... Сегодня после обеда поедем кататься верхом с Гончаровыми, Балабиным и Мальцовым. Потом будет чай у Екатерины — она устраивает его для Александрины Трубецкой, в которую влюблены Веневитинов, Мальцов и Николай Мещерский. Завтра думаем всей компанией сделать прогулку в омнибусе в Парголово...»

Это характерно для всей переписки — подробные сообщения о здоровье родных (у тетки, Веры Федоровны Вяземской, болит нога), о том, кто и в кого влюблен, кто к ним заходит, кого зовут на обед...

Кроме Вяземского, который бывает у них ежедневно, такие же частые гости в доме Мещерские — Екатерина Николаевна, урожденная Карамзина, и ее муж Петр Иванович, или Пьер, как называют его в письмах, в отличие от Вяземского, именуемого обычно «князь Петр». На обед по случаю дня рождения Мещерского приглашены его братья Николай и Сергей и двоюродный брат Мещерских Иван Мальцов. В 1820-х годах он принадлежал к числу молодых людей, составлявших литературно-философский кружок «любомудров», участвовал в создании журнала «Московский вестник», потом служил вместе с Грибоедовым в Персии и единственный уцелел при разгроме русской миссии в Тегеране. Это миллионер, уже подумывающий о том, чтобы основать в Петербурге бумагопрядильную мануфактуру. Славится как анекдотист. В пору, когда мы застаем его в доме Карамзиных, ему около двадцати девяти лет.

Иван Балабин, который примет участие в кавалькаде,— конногвардеец, приятель Дантеса и братьев Карамзиных. Он из тех Балабиных, в доме которых давал уроки Николай Васильевич Гоголь. Вечернее чаепитие у Екатерины Мещерской устраивается в честь княжны Александрины Трубецкой и влюбленных в нее А. В. Веневитинова

(брат рано умершего поэта Д. В. Веневитинова), Мальцова и Николая Мещерского; Софи Карамзину бесконечно интересует, за кого княжна выйдет замуж. В 1837 году она успокоилась — Трубецкая предпочла князя Мещерского.

Брат Саша — в Красном Селе, в лагерях; о нем говорят как о мученике.

Что касается прогулки в Парголово, то она состоялась, и в ней принимал участие Дантес. По словам Софьи Николаевны, было очень весело. Княгиня Бутера, владелица загородного имения Шувалово, разрешила компании воспользоваться ее домом. Обедали в ее великолепной гостиной. Вино «лилось рекой». Мальцов «трещал без умолку». На обратном пути остановились в имении княгини О. С. Одоевской, жены Владимира Федоровича, известного писателя, старого друга Карамзиных, и пили у нее чай.

3 июня 1836 года. Пишет Александр Николаевич Карамзин:

«Кавалергардский полк прибыл в *Красное* только сегодня, и Дантес уже два раза был у нас».

Два дня спустя Екатерина Андреевна сообщает сыну ту же новость: Дантес отправился с визитом в Красное Село, к Александру.

Они увлечены Дантесом, вполне разделяют отношение к нему петербургского великосветского общества, считают, что он совершенно заслуживает внимания, с которым относятся к нему при дворе; он пользуется расположением императора и шефа кавалергардов — императрицы, дружески встречается с наследником — они вдвоем совершают верховые прогулки.

«Наш образ жизни, дорогой Андрей, все тот же,— извещает его сестра 5 июня.— Каждый вечер у нас гости. Дантес бывает почти ежедневно. Он расстроен тем, что их дважды в день гоняют на военные учения (великий князь нашел, что кавалергарды не умеют сидеть на коне), но он все так же весел и остроумен и находит время принимать участие в наших кавалькадах...»

Не подозревая, какую роль сыграет впоследствии в жизни Андрея Карамзина красавица Аврора Шернваль, Софья Николаевна рассказывает брату:

«Сообщаю тебе о з о л о т о й с в а д ь б е — м-ль Аврора Ширнвальд (так у Карамзиной.— *И. А.*) выходит замуж за богача Поля Демидова. Какая разница с той скромной судьбой, которая ожидала ее в браке с г. Мухановым».

Жених Авроры Шернваль, Александр Алексеевич Муханов, скромный офицер, выступавший в литературных журналах,— по мнению друзей, «человек замечательных дарований» — был горячим почитателем Пушкина и приятелем Карамзиных, Баратынского, Вяземского. Он умер молодым, в 1834 году, незадолго до свадьбы. Он не принадлежал к родовитой аристократии и несметными богатствами Демидовых не обладал. Братья его, Николай и Владимир Мухановы, такие же горячие почитатели Пушкина, встречаются время от времени с Карамзиными.

Каждый год 1 июля в Петергофе отмечается традиционный праздник — именины императрицы. Софья Николаевна была на этом празднике вместе с м-м Шевич.

Описанию этого дня посвящено письмо, датированное 8(20) июля 1836 года:

«...Празднество началось в 8 часов утра. Первые часы я провела довольно уныло в весьма скучном обществе, прогуливаясь медленным шагом по аллеям... Единственный приятный момент был, когда все спустились в сад и затем прошли вереницей после представления государю. Здесь я увидела почти всех наших друзей и знакомых, между прочим Вяземского (он держался весьма непринужденно в своем придворном костюме, который наконец решился надеть), Одоевских (он был в камергерском мундире, а она вся розовая, с полевыми цветами в волосах, очень похудевшая, но почти красивая), Надин Соллогуб (которая 11-го уезжает со своей теткой за границу и там проведет больше года; зимой, может быть, поедет в Италию, а сейчас отправляется прямо в Баден-Баден, где она надеется тебя увидеть. М-м Смирнова сейчас уже в Бадене. Бедный Андрей, береги свое сердце), Опочининых и Люцероде (которые поручили мне передать тебе привет), Бутурлиных (они уезжают 25-го. Лиза была очаровательна в венке из палевых роз) и Дантеса; признаюсь, увидеть его мне было очень приятно. По-видимому, сердце привыкает к тем, с кем встречаешься ежедневно... Он спросил, с кем я приехала, что думаю делать. Он, правда, презрительно

бросил: «Как, Вы с этой?», тем не менее он был очень обходителен с м-м Шевич. Я его представила ей, и он просил позволения сопровождать нас вечером на прогулке, что она разрешила тем более охотно, что до этого она всем твердила (к моей величайшей досаде): «Боюсь, что нам нельзя будет без кавалеров пойти на иллюминацию, наши кавалеры нас обманули, не видали ли вы наших кавалеров?» А когда ее спрашивали: «Кого именно?», она отвечала: «Пишчевича и Золотницкого». Представляешь себе, как мне было стыдно! На кого мы возлагали надежду, да и тут еще потерпели разочарование».

Поручик Гусарского полка Пишчевич и Золотницкий, которых так жаждала видеть сестра шефа жандармов м-м Шевич,— родные племянники шефа жандармов. Смущение Софьи Николаевны Карамзиной вызвано, однако, не этим. Молодые люди недостаточно солидны, по ее мнению, чтобы сопровождать их, ее и м-м Шевич, на иллюминацию, где будет присутствовать весь двор.

Имена Пишчевича и Золотницкого постоянно встречаются в письмах Карамзиных. Все же этого было бы недостаточно, чтобы обращать на них особое внимание. Мы останавливаемся на этих именах потому, что оба, и Пишчевич и Золотницкий, печатались в «Современнике». Во втором томе Пушкин поместил подробный разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции», принадлежащий В. Золотницкому; путевой очерк П. Пишчевича «О Киеве» уже после смерти Пушкина напечатан в шестом томе.

Но вернемся к петергофскому празднику.

После прогулки по всем садам, отправившись с м-м Шевич слушать вечернюю зорю, Софья Николаевна опять увидела множество знакомых, которые собирались на костюмированный бал, и:

«...снова встретила Дантеса. В дальнейшем он нас уже не покидал. Мы прихватили с собой твоего бедного товарища Александра Голицына (очень грустного по случаю неприятностей по службе), Шарля Россети, Поликарпова и пресловутого Золотницкого, который наконец отыскался и весь оставшийся вечер не отходил от своей тетки... Меня вел Дантес и очень забавлял своими шутками, своей веселостью и даже весьма комичными вспышками своих страстных чувств (все по отношению к прекрасной Натали)...»

Лица, мелькающие в придворной толпе и упомянутые в этом письме,— знакомые Пушкина.

Вяземский Петр Андреевич — старый друг Пушкина, «декабрист без декабря», как назвал его один из советских исследователей, поэт и критик. В 1820-х годах, уволенный со службы, состоял под тайным надзором полиции, слыл «либералом». В ту пору это литературный единомышленник Пушкина. Но в 1830-х годах либерализм его потускнел, взгляды стали умеренными. За вступлением на государственную службу следует «пожалование» в камергеры. Сначала Вяземский выказывает равнодушие к придворному званию, а тут впервые решается надеть камергерский мундир. В 1840-х годах он уже окончательно отрешился от идей своей молодости и примкнул к врагам прогресса и демократии. В письме Софьи Карамзиной отмечен момент, характерный для постепенного вхождения Вяземского в атмосферу политической реакции.

Владимир Федорович Одоевский — писатель и журналист, критик и публицист, музыкант и ученый, ближайший сотрудник Пушкина по «Современнику». Карамзина называет его камергером. В этот чин Одоевский произведен накануне.

Ольга Степановна — жена его.

Надин Соллогуб — кузина писателя Соллогуба Владимира. Красавица. Фрейлина. Очень нравилась Пушкину. В 1832 году он посвятил ей стихотворение:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться...

Опочинин — гофмейстер Федор Петрович, женатый на одной из дочерей фельдмаршала Кутузова, Дарье Михайловне.

Люцероде — саксонский посланник. Хорошо относился к Пушкину. Известен его перевод на немецкий язык пушкинской «Капитанской дочки».

Бутурлин Дмитрий Петрович — военный историк, сенатор, женатый на красавице Елизавете Михайловне Комбурлей и обязанный ей своей карьерой.

Поликарпов Евгений — конноартиллерист, сослуживец и приятель Андрея и Александра Карамзиных.

Шарль Россети (точнее — Александр-Карл Россет) —

младший брат А. О. Смирновой, поручик Преображенского полка.

Пушкина на этом празднике нет, он избегает участия в придворных церемониях, хотя звание камер-юнкера обязывает его к этому. В данном случае он может сослаться на траур, который носит по матери.

О чувствах Дантеса по отношению к Наталье Николаевне Пушкиной Софья Николаевна пишет Андрею как о чем-то хорошо ему известном. Действительно, в это время в петербургском свете уже широко обсуждается увлечение Дантеса. Всем известно, что Дантес намеренно появляется там, где бывает жена Пушкина, что он совершает прогулки верхом вместе с сестрами Гончаровыми. Все это было известно Андрею Карамзину еще до отъезда. «Комичные вспышки страстных чувств» Дантеса по отношению к жене Пушкина! Софья Карамзина находит их комичными! Они еще забавляют ее. Она не видит в них ничего дурного.

5

Отзыв Софьи Николаевны о журнале Пушкина — о «Современнике», неблагожелательная оценка, исходящая из дома друзей,— как это много говорит нам об одиночестве Пушкина!

24 июля /5 августа <1836 года> — С. Н. Карамзина:

«Вышел № 2 «Современника», но говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина *(которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как «светило, в полдень угасшее»)*. Ужасно соглашаться, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду. Есть несколько остроумных статей Вяземского, между прочим одна по поводу «Ревизора». Но надо же быть таким беззаботным и ленивым созданием, как Пушкин, чтобы поместить в номере сцены из провалившейся «Тивериады» Андрея Муравьева...»

С этой оценкой не согласен Карамзин Александр. Прочитав послание сестры, он приписывает:

«Не верь Софи в том, что она пишет тебе о «Современнике», номер отлично составлен; Пушкин, правда, ничего там не написал, зато есть прекрасные статьи дядюшки и Одоевского. Пушкин намерен напечатать там свой новый роман».

Он имеет в виду «Капитанскую дочку». Трагедию А. Н. Муравьева «Битва при Тивериаде», в 1832 году провалившуюся на сцене Александринского театра, Карамзин в своей приписке не поминает.

Пушкин считал, что второй номер «Современника» «очень хорош». Поэтому возможно, что в оценках Александра Карамзина повторяются иной раз и суждения Пушкина,— Карамзин его часто видит.

Две недели спустя (7 августа 1836 года) Александр Николаевич сообщает брату о собственных литературных делах и подает совет:

«...ты, брат, не забудь написать и прислать что-нибудь для журнала Одоевского, раз уже наше имя красуется в проспекте среди имен Тяпкиных, Фитюлькиных и компании. С прозой у меня обстоит хуже, чем со стихами. Я ничего не продаю, стало быть, мне нигде не платят, но я не теряю мужества...»

Под «журналом Одоевского» Александр Карамзин разумеет задуманный В. Ф. Одоевским и А. А. Краевским «энциклопедический и эклектический» журнал «Северный зритель», который они предполагали издавать с начала 1837 года.

В пору, когда Пушкин приступал к изданию «Современника» (который должен был выходить четыре раза в год), Одоевский и Краевский, принявшие близкое участие в этом журнале, задумали свой, ежемесячный. К участию в своем журнале они хотели привлечь тех, кто сотрудничал в «Современнике», а также идейных противников Пушкина, прежде всего группу реакционных литераторов из «Московского наблюдателя».

Издание нового — ежемесячного — журнала цензура не разрешила; после закрытия «Московского телеграфа» затевать новые ежемесячные журналы было запрещено. Тогда, «убежденные в том, что существование двух журналов, в одном и том же духе издаваемых, может только повредить им обоим», Краевский и Одоевский в начале августа

1836 года предложили Пушкину в корне преобразовать «Современник». Пушкин их условий не принял, и 16 августа Одоевский с Краевским обратились к начальнику главного управления цензуры С. С. Уварову за разрешением издавать трехмесячный «Русский сборник».

Уваров, ненавидевший Пушкина, увидел в этом ущерб «Современнику» и поддержал конкурентов Пушкина, задумавших свой орган отнюдь не в «одном духе с «Современником», а, как сказано в их прошении, «в духе благих попечений правительства о просвещении в России». Все эти факты, установленные в наше время В. Н. Орловым, а затем А. П. Могилянским, освещены так в одной из последних работ Ю. Г. Оксмана.

Андрей и Александр Карамзины внесли свои имена в «список лиц, желающих участвовать в издании журнала «Северный зритель». Поэтому-то Александр и напоминает брату о «журнале Одоевского».

Прежде чем перевернуть еще несколько листков, напомним, что летом 1836 года Пушкины снимают дачу на Каменном острове, а Карамзины — в Царском Селе. Тем не менее о жизни Пушкиных они знают от общих знакомых. 30 августа, по случаю семейного праздника, в Царском Селе обедали Мещерский и сослуживец обоих братьев и ближайший друг их Аркадий Россет. После обеда приехали «друзья сестер» — Мухановы Николай и Владимир.

«Старший,— пишет Александр Карамзин 31 августа из Петербурга (по-русски),— довольно толст и похож на умершего своего брата; он не хорош, но видно, что это вещь известная, очень разговорчив, весел и *общителен*; младший, напротив, совершенно черт знает что такое! худенький, гаденький, тихонький... Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».

Вначале речь идет, конечно, об оде «На выздоровление Лукулла», напечатанной в конце 1835 года в «Московском наблюдателе» и доставившей Пушкину в 1836 году ужас-

ные неприятности. В наследнике богача Лукулла, ворующем казенные дрова, все узнали министра народного просвещения С. С. Уварова, который обратился с жалобой на Пушкина к царю. По поручению Николая Бенкендорф сделал Пушкину строгий выговор. Неприятность усугублялась тем, что Уваров ведал цензурой и Пушкин находился в зависимости от него. Как раз в августе Уваров поддержал ходатайство Одоевского и Краевского о разрешении издавать журнал, который должен был подорвать литературную и материальную базу «Современника». За три дня до встречи с Мухановым (26 августа) цензура запретила в «Современнике» статью Пушкина «Александр Радищев»,— это тоже одна из причин того угнетенного состояния, о котором, со слов Муханова, пишет Александр Николаевич Карамзин. Материальные дела Пушкина таковы, что он вынужден занимать у ростовщика под залог столового серебра.

Новое стихотворение, которое Пушкин прочел Николаю Муханову 29 августа,— «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», законченное за несколько дней до этого (в автографе дата: «21 августа 1836 г. Каменный остров»). Слова Муханова лишний раз подтверждают, что стихотворение написано Пушкиным не для самопрославления, а в ответ на суждения реакционной критики и той части читающей публики, которая готова была соглашаться с тем, что Пушкин — «светило, в полдень угасшее». Однако смысл стихотворения Муханов истолковал слишком просто — «Памятник» не жалоба на неблагодарную публику. Справедливо считает Т. Г. Цявловская, что, как часто бывало в таких случаях у Пушкина, стремление возразить против журнальных нападок послужило для него только поводом. Пушкин создал стихотворение, исполненное глубокого философского смысла; эти размышления о роли и заслугах поэта адресованы не критикам и не охладевшей к нему части «читающей публики» и обращены уже не к своему времени, а к читателю будущему, который сумеет оценить подвиг поэта и значение этого подвига...

«Кстати о Пушкине,— продолжает Александр Карамзин,— я с Вошкой и Аркадием после долгих собираний отправились вечером Натальина дня в *увеселительную прогулку* к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загрядской, мы вспомнили, что у нее Фурц и что Пушкины, верно, будут там».

Александр с братом Владимиром («Вошкой») и с другом Аркадием Россетом едут на Каменный остров, чтобы поздравить Наталью Николаевну Пушкину — именинницу. И вспоминают дорогой, что Наталья Кирилловна Загряжская (которой по мужу ее Наталья Николаевна Пушкина приходится внучатой племянницей) тоже в этот день именинница.

«Несмотря на то, мы продолжали далекий путь и приехали только для того, чтобы посмотреть туалеты этих дам и посадить их в экипаж».

На этом попытки молодых людей увидеться с Пушкиными не кончились:

«После того, как на третий день возобновили свою прогулку, мы возвратились окончательно пристыженными. В назначенный день мы отправляемся в далекий путь, опять в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера, и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далекие огни любителей дач. Приехали: «Наталья Николаевна приказали извиниться, оне нездоровы и не могут принять». Гневные восклицания и проклятия вырвались из наших мужских грудей,— продолжает Александр Карамзин, переходя на французский язык.— Мы послали к черту всех женщин, живущих на островах и хворающих не ко времени, и воротились домой, смущенные еще более, чем в первый раз. Вот чем ограничились пока что наши визиты. Если бы не это столь услужливое заболевание, Пушкины приехали бы в Царское и провели бы там вчерашний и позавчерашний день».

Здесь уже речь идет об именинах самого Александра — 30 августа,— на которые Пушкины не приехали.

«Их отсутствие,— пишет Карамзин далее,— совершенно осчастливило мою кроткую голубку, которая хотела царить без соперниц, особенно в торжественный день моих именин. Но судьба посмеялась над ее радостью и обернула против нее же самой все ее жестокие и бесчеловечные пожелания желудочных колик Пушкиным».

«Голубкой» иронически именуется дочь м-м Шевич Александрина, за которой Александр слегка ухаживает. «Предурная собой», как пишет о ней современница, она не может соперничать с Натальей Николаевной Пушкиной и

радуется, что та не приехала. Но за эту радость она наказана: вместо Натальи Пушкиной приехала Наталья Строганова, дама, пользующаяся в свете большим успехом, которая отвлекла внимание Александра Карамзина от мадемуазель Шевич.

Приписка от 3 сентября содержит рассказ о новой поездке на Каменный остров.

«Вчера вечером я с Володькой,— пишет Александр снова по-русски,— опять ездил к Пушкиным, и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что, дескать, дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели $1^1/_4$ часов. Наконец оне приехали. Поелику оне в карете спали, то пришли совершенно заспанные. *Александрин* не вышла к нам, а прямо пошла лечь; Пушкин сказал 2 слова и пошел лечь, 2 другие вышли к нам, зевая, и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать, но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и, после отвергнутых просьб о нашем отъезде, она ушла первая. Но Гончариха высидела все $1^1/_4$ часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть посылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя ц е л у е т (ее слова)...»

6

17 сентября в Царском Селе Карамзины праздновали день именин Софьи Николаевны.

«Мы ждали много гостей из города, и это нервировало маму,— пишет она два дня спустя (19 сентября).— Но все сошло очень хорошо, обед был превосходный. Среди гостей были Пушкин с женой, Гончаровы (все три блистали молодостью, красотой и тонкими талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий с Шарлем Россети (Клемента они потеряли в городе во время сборов), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надин Вяземские (тетя осталась в Петербурге ожидать дядю, но он так и не приехал из Москвы) и Жуковский. Ты легко можешь себе представить, что когда

за обедом дошло дело до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденные часы в таком милом обществе показались нам очень короткими. В 9 часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герздорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский,— так что мы могли открыть настоящий бал, и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. *Он своей тоской и на меня тоску наводит*. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше,— не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. Боже мой, до чего все это глупо!

Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он согласился, краснея (ты знаешь, как ему претит всякое раболепие), как вдруг вижу — он остановился и повернул назад. «Ну, что же?»— *«Нет, не пойду, там уж сидит этот граф».— «Какой граф?» — «Дантес, Гекрен, что ли!»*

Запись очень значительна. О том, что Пушкин, Жуковский и Виельгорский 17 сентября 1836 года присутствовали на именинах С. Н. Карамзиной, было известно и раньше — из ее письма к И. И. Дмитриеву. Но здесь Софья Николаевна впервые называет имена остальных гостей, а главное — пишет о состоянии Пушкина.

Кто они, эти гости?

Поль и Надин Вяземские — дети П. А. Вяземского, племянники Е. А. Карамзиной. Гончаровы, Александрина и Екатерина,— сестры Натальи Николаевны Пушкиной. Аркадий и Шарль Россеты — братья А. О. Смирновой, молодые офицеры, друзья Карамзиных, почитатели Пушкина. Таким же горячим почитателем Пушкина был живший вместе с Россетами офицер Генерального штаба Николай Скалон. Сергей Мещерский — деверь Екатерины Николаевны Карамзиной-Мещерской, Александр Голицын — со-

сослуживец и друг Андрея и Александра Карамзиных. Последним назовем Дантеса. Он не граф Геккерен, а барон Геккерен. Графом Пушкин назвал его иронически, из глубокого презрения к положению, богатству и титулу этого усыновленного голландского барона.

Эти приглашены на обед.

Вечером собирается великосветская знать, проводящая лето в Царском Селе, «соседи». Родственные связи объясняют их положение в свете и уточняют состав салона Карамзиных — круг, в котором Пушкин приговорен был жить и работать.

Генерал Захаржевский — шурин Бенкендорфа. Лили Захаржевская, Елена Павловна,— его жена, приближенная великой княжны Марии. Шевичи — о них уже говорилось — сестра и племянники Бенкендорфа. Золотницкий — племянник Бенкендорфа. Графиня Строганова — дочь канцлера В. П. Кочубея. Княгиня Долгорукова — дочь влиятельного вельможи, московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Один из князей Барятинских — очевидно, кирасир Александр Барятинский, сын ближайших друзей императора, назначенный «состоять при наследнике», «преданный друг» Дантеса, как Барятинский подписался в одном из своих писем к нему. Герздорф и Абамелек — лейб-гусары. Баратынские — лейб-гусар Ираклий Абрамович Баратынский, брат поэта, с женою (он женат на сестре Абамелека). Лидия Блудова — дочь министра внутренних дел. Ласси (les Lassy) — видимо, члены семьи генерала от инфантерии Бориса Петровича Ласси (1737—1820). Клюпфели — кто-то из семьи дипломата Филиппа Клюпфеля. Трубецкие — камер-юнкер Никита Трубецкой с женой; он родственник Веры Федоровны Вяземской. И, наконец, сослуживец Барятинского, кирасир Левицкий.

Имена, перечисленные Карамзиной, не сходят со страниц писем к Андрею. Это общество Карамзиных. Но это и общество Пушкина.

Тридцатишестилетняя графиня Наталья Викторовна Строганова, которую поэт должен занять разговором,— его первая, лицейская любовь Наталья Кочубей. В 1830-х годах Пушкин собирался изобразить ее в романе «Русский Пелам» под именем Чуколей. Но в планах сохранилось и настоящее имя: «Кочубей, дочь его»; «Наталья Кочубей вступает с Пелымовым в переписку» и т. д.

Это постоянная гостья Карамзиных, которой они оказывают особое уважение, называя ее в письмах «пикантной», «любезной», «блистательной», «обольстительной», подчеркивая, что с ней «очень любезен государь». Ее свекор — знаменитый дипломат наполеоновских времен, старый сановник, пользующийся уважением двора и аристократии. Это близкий родственник Гончаровых, отец рожденной вне брака Идалии Полетики, заклятого врага Пушкина и верного друга Дантеса. Муж Н. В. Строгановой — флигель-адъютант, харьковский генерал-губернатор.

Имя графини Строгановой еще встретится нам в письмах Карамзиных в связи с рассказом об отношении к Пушкину петербургского света. В ином случае эта подробная характеристика, разумеется, была бы излишней.

Описывая свои именины, Софья Николаевна сообщает подробность, на которую обратят внимание биографы Пушкина: Дантес ведет свою игру с Н. Н. Пушкиной, не отходя ни на шаг от ее сестры. Ухаживание за Е. Н. Гончаровой в сентябре 1836 года? Это сведение новое. Софья Николаевна пишет: «...продолжал те же шутки, что и раньше...»,— следовательно, Дантес ухаживает за Екатериной Гончаровой давно?

20 сентября Екатерина Андреевна описала внезапное появление в их доме Жуковского, который остался обедать и был «очарователен своей детской веселостью». «А затем,— сообщает она,— явилась блистательная Аврора с розовыми перстами (она, правда, вся розовая и прелестна, как богиня, чье имя она носит)...»

Слова «правда, вся розовая» должны, очевидно, служить подтверждением строк Баратынского, который писал, обращаясь к Авроре Шернваль:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари:
Всех румяным появленьем
Оживи и озари...

«Она приехала с прощальным визитом,— продолжает Екатерина Андреевна,— завтра она уезжает в Финляндию, где будет дожидаться жениха, а после свадьбы вместе со своим золотым мужем поедет за границу. Ты, вероятно, увидишь ее в Италии. Она обещала, что будет внимательна к тебе,— предупреждает Карамзина сына.— Только не увлекайся до безумия, что часто с тобой случается при

знакомстве с хорошенькими женщинами, а эта уж очень хороша».

Как нам уже известно, эти предостережения подействовали ненадолго — через десять лет Андрей Карамзин женился на Авроре Шернваль-Демидовой, к тому времени уже овдовевшей.

Перевернем несколько страниц. Письмо Александра от 30 сентября 1836 года (среда):

«17-го у нас в Царском был большой вечер; вероятно, Софи уже описала его тебе во всех подробностях. Что же касается моей здешней жизни, то она настолько лишена всяких событий, так бледна и так однообразна, что не стоит говорить о ней. Три четверти времени я провожу с Аркадием, иногда бываю у Пушкиных, часто посещаю Вяземского, который теперь будет жить на Моховой... Вчера я был на музыкальном вечере у Геккерн, где меня представили м-м Сухозанет,— пишет он.— В пятницу пойду к ней на вечер с танцами. Еще разговаривал вчера с прекрасной Фикельмон — она велела тебе кланяться — и с м-м Элиз, которая делала невероятные усилия, чтобы выскочить из своего платья. Затем я отдыхал в кругу Гончаровых... Сегодня пойду к Пушкиным провести вечер».

«М-м Элиз» — известная Елизавета Михайловна Хитрово, в ту пору уже немолодая; ее пристрастие к чрезмерно открытым платьям было на устах у всего Петербурга. Она дочь фельдмаршала М. И. Кутузова. «Прекрасная Фикельмон» — внучка Кутузова, дочь Хитрово, вышедшая замуж за австрийского посла в Петербурге. Это самые сердечные друзья Пушкина, самые заботливые друзья.

На музыкальном вечере у голландского посланника Геккерена Александр Карамзин знакомится с женой своего шефа — генерал-адъютанта И. О. Сухозанета. Сухозанеты в свойстве с Бенкендорфом: брат м-м Сухозанет женат на падчерице шефа жандармов. Это выдвинуло Сухозанета. 14 декабря 1825 года его артиллерия расстреляла войска декабристов на Сенатской площади в Петербурге. С того дня началось возвышение этого «запятнанного человека», как осторожно назвал его Пушкин в своем дневнике.

На том же вечере у Геккеренов Карамзин встречается с Гончаровыми. На другой день идет в гости к Пушкиным.

Встречи поэта с Карамзиными оказываются более частыми, чем это было известно раньше, светские цепи еще более крепкими.

Сбоку письма Карамзин приписывает (по-русски):

«У Пушкина 700 подписчиков, не много. Одоевский готовится издавать свой журнал, но еще нет ничего. Я буду у него послезавтра. Пришли ему статейку. Говорят, что 3-й том «Современника» очень хорош, я еще не имел его. Литературн[ых] *новостей больше нет».*

Этим сообщением уточняется число подписчиков «Современника» и состояние издательских дел Пушкина — стоит только сопоставить слова Карамзина с цифрами тиража журнала. Первая и вторая книжки «Современника» были напечатаны в количестве 2400 экземпляров. Тираж третьей вдвое меньше — всего 1200. А подписчиков только 700! И даже сотрудник Пушкина Карамзин, считающий, что «Современник» хорош, хлопочет о журнале Одоевского. Объясняется это, конечно, тем, что Одоевский ему покровительствует. Впрочем, сведения о «Русском сборнике» Одоевского запоздали — еще 16 сентября Николай I запретил издавать его.

Наступает октябрь. Из Царского Села Карамзины возвращаются в город. В воскресенье 18 октября дочь П. А. Вяземского, молодая Мария Валуева, «устроила у себя чай».

«Там были неизбежные Пушкины и Гончаровы,— пишет Софья Николаевна Карамзина,— Соллогуб и мои братья. Мы сами туда не поехали, так как у нас были гости — м-м Огарева, Комаровский, Мальцов и молодой Долгоруков, друг Россети, довольно скучная личность».

Софья Николаевна ничего не пишет о состоянии Пушкина — она не была у Валуевых. Но вспомним, что это происходит накануне празднования лицейской годовщины у М. Л. Яковлева, где Пушкин разрыдался, читая свои стихи...

У Карамзиных гости. Прежде всего обратим внимание на м-м Огареву, Варвару Андреевну, сестру всесильного графа П. А. Клейнмихеля, одного из ближайших сотрудников Николая. Другое лицо, представляющее для нас интерес,— «молодой Долгоруков, друг Россети», тот, чьей рукой, по мнению исследователей, написан мерзкий аноним-

ный «диплом», речь о котором еще впереди. О том, что П. В. Долгоруков бывает у Карамзиных, мы узнаем впервые. Граф Егор Комаровский — конногвардейский офицер, постоянный посетитель карамзинской гостиной, старый знакомый Пушкина.

«Как видишь,— продолжает Софья,— мы вернулись к нашему обычному городскому образу жизни. Возобновились наши вечера, и на них с первого же дня все те же привычные лица заняли свои привычные места — Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина с Аркадием, к полуночи — Вяземские и один раз, должно быть по рассеянности, Виельгорский...»

Н. Н. Пушкина и ее сестры, Дантес, Аркадий Россет, Вяземские, Александр Карамзин — это «свои».

День спустя, 20 октября утром, Екатерина Андреевна рассказывает сыну:

«Вчера много говорили о *«Современнике»*. Ты мне так и не написал, получил ли его, а между тем князь Петр [Вяземский] тебе его послал... Постараюсь выслать тебе 3-й том, который недавно вышел. Все говорят, что он лучше остальных и должен вернуть популярность Пушкину. Я его еще не видела, но нам кое-что из него читали — там есть прекрасные вещи от издателя, очень милые Вяземского и неописуемая нелепица *Гоголя «Нос»*.

Письмо от 3 ноября полно самых разнообразных новостей. Прежде всего Софья Николаевна спешит рассказать о том, что занимает все петербургское общество, «начиная с редакторов и кончая духовенством»,— о «Философическом письме» Чаадаева, которое напечатано в «Телескопе». Как уже было сказано, она дает этому сочинению резко отрицательную оценку и пишет:

«Что ты скажешь о цензуре, которая все это пропустила? Пушкин очень метко сравнил ее с норовистой лошадью, которая не перепрыгнет, хоть ты ее убей, через белый платок, т. е. через некоторые запрещенные слова, например, свобода, революция и т. д., но бросится через ров, если он будет черный, и сломает себе шею.

...За чаем,— продолжает она,— у нас всегда бывает не-

сколько человек гостей, в том числе Дантес, который всегда очень забавен. Он поручил мне передать тебе привет».

Три дня спустя, 6 ноября, Александр уведомляет брата:

«Одоевскому запретили издавать журнал. Наша литературная слава оказалась недолговечной, дорогой мой, наши имена были напечатаны в объявлении, и на том все кончилось. Впрочем, что касается меня, я окончательно отказался от писательской карьеры. Если я когда-нибудь и питал тайком кое-какие иллюзии насчет моего поэтического таланта, они уже давно умерли от недостатка пищи».

Сообщение о том, что «Русский сборник» Одоевскому не разрешен, как уже сказано, несколько запоздало. Уверения же, что он, Александр Карамзин, навсегда отказывается от литературного поприща, наоборот, слишком поспешны. Его стихотворения под псевдонимом «А. Лаголов» в 1837 году будут напечатаны в «Современнике» (в книжках V и VII), в 1839 году выйдет в свет его повесть в стихах «Борис Ульин» и снова появятся — в «Отечественных записках» — стихи.

В том же письме 6 ноября есть строки о «м-м Пушкиной». «Завтра, если это тебя интересует,— пишет Александр Карамзин,— я собираюсь завтракать у м-м Пушкиной, что я делаю каждую субботу, сопровождая это целой кучей любезностей».

Эти слова можно отнести только к Наталье Николаевне, жене поэта. Никакой другой «м-м Пушкиной», даже если перелистаем все 340 страниц, мы в письмах Карамзиных не найдем.

Но всего важнее здесь число, когда Александр Карамзин собрался на завтрак в дом Пушкина,— суббота 7 ноября. В эти дни в жизни Пушкина происходят трагические события...

7

4 ноября члены карамзинского кружка — Вяземские, Жуковский, Россеты, Скалон, Виельгорский, Хитрово, тетка Соллогуба Васильчикова,— получили по городской почте адресованные Пушкину анонимные письма. Во все конверты был вложен один и тот же текст — грубый пасквиль, написанный по-французски печатными буквами, со-

ставленный в форме диплома об избрании Пушкина помощником главы ордена рогоносцев. Считая, что поводом к этому послужило настойчивое ухаживание Дантеса, Пушкин вызывает его на дуэль.

Встревоженный Геккерен договаривается с Пушкиным об отсрочке ее на две недели. В качестве посредника в дело вмешиваются тетка Натальи Николаевны Е. И. Загряжская, М. Ю. Виельгорский, В. А. Жуковский. Узнав о намерении Геккерена уладить конфликт таким образом, чтобы Дантес по-прежнему мог бывать в обществе Натальи Николаевны и ее сестры, Пушкин приходит в бешенство. В конспективных записках Жуковского отражено его тяжелое душевное состояние. «Его слезы»,— записывает Жуковский 8 ноября...

В чем же дело? Почему Карамзины не посвящают в это Андрея? Перед нами их письма от 10 ноября, от 11-го... О Пушкине нет ни слова. Что же, они не знают об этих событиях? Знают! И об анонимном дипломе, и о вызове на дуэль, об отсрочке, которую Пушкин предоставил Дантесу, о тяжелом состоянии Пушкина. Знают прежде всего потому, что Софья Николаевна в числе тех знакомых, которые получили 4 ноября гнусный пасквиль. Кроме того, Пушкин сам посвятил их в свою семейную драму — рассказал о шагах, которые он предпринял. «Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? — выговаривает ему в записке Жуковский, который хлопочет, стараясь уладить конфликт.— Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом?»

Жуковский требует, чтобы Пушкин сохранил вызов в тайне: тогда можно избегнуть дуэли. Он уверяет Пушкина, что об отсрочке дуэли хлопочет старый Геккерен, что Дантес ни при чем. «Это я сказал и Карамзиным,— пишет он Пушкину,— запретив им накрепко говорить о том, что слышали об тебе, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже после откроется...»

Вот почему Карамзины сохраняют молчание: они делают это в интересах Пушкина. Об анонимном пасквиле Андрей Карамзин узнал от Аркадия Россета. И только после того, как Жуковский сообщил им, что опасности поединка больше нет, что Пушкин взял обратно свой вызов, мать и сестра рассказывают Андрею в письмах о том,

что представляется им самым невероятным в этой истории и что занимает уже все петербургское общество,— о предложении, которое сделал Дантес Екатерине Гончаровой, сестре Н. Н. Пушкиной.

«У нас тут скоро будет свадьба,— пишет Екатерина Андреевна 20 ноября.— Кто женится и на ком, ты ни за что не догадаешься, и я тебе не скажу, оставлю это удовольствие твоей сестре. Впрочем, ты уже, наверно, знаешь от Аркадия Россети. Это прямо невероятно — я имею в виду свадьбу,— но все возможно в этом мире всяческих невероятностей. Ну, до свидания, я немножко устала, и надо оставить листок бумаги для Софи, чтобы не лишать ее удовольствия посплетничать с тобой... Александр занимается своим туалетом, он идет на раут к княгине Белосельской, а до этого еще будет обедать у Дантеса».

Отметим в скобках: княгиня Белосельская — один из самых отъявленных врагов Пушкина, падчерица графа А. Х. Бенкендорфа. Впрочем, вернемся к письму.

«У меня есть еще для тебя престранная новость,— продолжает Софья Николаевна,— это свадьба, о которой тебе уже говорила мама. Не догадался? Ты хорошо знаешь обоих действующих лиц, мы нередко рассуждали с тобой о них, но никогда не говорили всерьез. Поведение молодой девицы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало другую, ибо кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля. А вот нашелся, оказывается, охотник до упомянутой живописи — может быть, потому, что ее легче приобрести. Отгадай! Ну, да это Дантес, этот юный и заносчивый красавец (теперь, кстати, очень богатый); он женится на Екатерине Гончаровой, и право же, вид у него такой, как будто он очень доволен; он даже словно обуреваем какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием. Он бывает у нас каждый вечер, так как со своей нареченной видится только по утрам у ее тетки Загряжской,— Пушкин не принимает его в своем доме, так как очень раздражен против него после того письма, о котором тебе рассказывал Аркадий (подразумевается анонимный пасквиль.— *И. А.*). Натали очень нервна и замкнута, и голос у нее прерывается, когда она говорит

о свадьбе своей сестры. Екатерина себя не помнит от радости; по собственным ее словам, она не смеет поверить, что ее мечта осуществилась. В обществе удивляются, но так как история с *письмом* мало кому известна, то это сватовство объясняют более *просто*. И только сам Пушкин — своим волнением, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, своей манерой обрывать Дантеса при встречах в обществе или демонстративно избегать его — добьется в конце концов, что люди начнут что-то подозревать и строить свои догадки. *Вяземский говорит*, что он как будто обижен за свою жену из-за того, что Дантес больше за ней не ухаживает. В среду я была у Салтыковых, там и объявили об этой свадьбе, и жених с невестой принимали уже поздравления... Дантес, зная, что я тебе пишу, просит сказать, что он очень счастлив и что ты должен пожелать ему счастья».

«Это — самопожертвование»,— отвечал Андрей Карамзин, пораженный сообщением сестры и полагавший, что Дантес «совершил эту штуку» во сне.

«Что это — великодушие или жертва?» — спрашивала императрица, желавшая знать подробности о «невероятной женитьбе Дантеса». «Неужели причиной ее явилось анонимное письмо?» — недоумевала она.

Слух о предстоящем браке Дантеса привел в недоумение решительно всех, кто в продолжение многих месяцев наблюдал за отношением Дантеса к Наталье Николаевне Пушкиной. Никто не хочет верить, что он женится по своей воле: Наталья Николаевна — одна из самых красивых женщин, которые когда-либо существовали, а Екатерина Николаевна, рослая, статная и даже схожая с ней чертами, «смахивала,— как писал современник,— на иноходца или на ручку от помела».

В биографической литературе о Пушкине утвердилось такое представление: Е. Н. Гончарова влюблена в Дантеса, а он увлечен Н. Н. Пушкиной. После получения анонимного письма, когда Пушкин посылает вызов Дантесу (в ноябре), у Геккеренов возникает проект: они объяснят Пушкину, что Дантес влюблен в его свояченицу и будет просить ее руки, если Пушкин возьмет назад вызов, сохранив дело в тайне. Принято считать, что до получения анонимного пасквиля брак Дантеса с Гончаровой не проектировался, что этот проект есть следствие анонимного

письма и последовавшего за ним вызова на дуэль. Наряду с этим имеются данные, опровергающие это предположение. Во второй половине октября 1836 года, то есть задолго до того, как Пушкин получил пасквиль, Сергей Львович, отец поэта, в не дошедшем до нас письме сообщал из Москвы в Варшаву дочери, Ольге Сергеевне, о предстоящем браке Е. Н. Гончаровой. 2 ноября, то есть опять же до пасквиля, на два дня раньше, Ольга Сергеевна отвечала ему: «Вы мне сообщаете новость о браке м-ль Гончаровой».

Следовательно, разговоры о ее замужестве начались задолго до того, как Пушкин получил пасквиль. На это обратил внимание П. Е. Щеголев, автор исследования «Дуэль и смерть Пушкина». Но Б. В. Казанский, автор позднейших исследований о гибели Пушкина, уверен в противном. Он считает, что в переписке С. Л. Пушкина с дочерью речь шла о браке Е. Н. Гончаровой, но не с Дантесом.

Действительно, имя Дантеса в письме О. С. Павлищевой не упомянуто. Однако теперь, после писем Карамзиных, вопрос о сватовстве Дантеса придется пересмотреть, ибо становится ясным, что имена Е. Н. Гончаровой и Дантеса связывали уже в начале 1836 года, до отъезда Андрея Карамзина за границу, что летом и осенью 1836 года этот роман продолжается (вспомним, что Дантес ни на шаг не отходит от Гончаровой, а внимание его приковано к Пушкиной); письма Карамзиных говорят о том, что Екатерина Гончарова задолго до получения пасквиля играла по отношению к сестре низкую роль: сперва подвизалась в роли сводни, потом выступила в роли любовницы (amante), а затем и жены. Об этом мы еще узнаем в дальнейшем.

Кроме того, нам известно теперь еще одно обстоятельство, позволяющее утверждать, что еще в октябре — и тоже задолго до получения пасквиля — Наталья Николаевна отвергла Дантеса. Об этом мы узнаем из неопубликованного дневника княжны Марии Барятинской, предоставленного мне М. Г. Ашукиной-Зенгер, которая обращает внимание на важную запись. Но сперва о Марии Барятинской.

Барятинские знакомы с Карамзиными и с Пушкиными. В доме Барятинских постоянно бывает Дантес. Красивую девушку, принадлежащую к одной из самых привиле-

гированных фамилий России, интересуют балы, кавалькады, придворные празднества, светские новости.

Около 24 октября 1836 года она заносит в дневник разговор, который зашел в связи со слухами о том, что Дантес намерен жениться. Барятинская заинтересована Дантесом, и родные решают выяснить эти слухи через ближайшего друга Дантеса — кавалергарда А. В. Трубецкого. «И maman,— записывает Барятинская,— узнала через Тр[убецкого], что его отвергла госпожа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться. С досады! Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить...»

Итак, Н. Н. Пушкина отвергла Дантеса недели за три до получения Пушкиным анонимного письма. А за две недели, в начале двадцатых чисел октября, уже распространился слух, что он собирается жениться. И тогда же, в двадцатых числах, заговорили о замужестве Е. Н. Гончаровой. Иначе старик С. Л. Пушкин не мог бы узнать об этом в Москве еще в октябре и Ольга Сергеевна Павлищева не могла бы писать об этом 2 ноября из Варшавы.

Кроме того, известно со слов Жуковского, что Геккерен предоставил ему какое-то «материальное доказательство», что дело, о котором идут толки, то есть предложение Дантеса свояченице Пушкина, «затеяно было еще гораздо прежде» вызова Пушкина, следовательно, до получения анонимного письма — в октябре.

Таким образом, нам известно теперь:

1) что в октябре Наталья Николаевна отвергла Дантеса;

2) что в те же дни пошли слухи о замужестве Гончаровой;

3) что в это же время заговорили о женитьбе Дантеса;

4) что, по уверению Геккерена, тогда же затеялось дело о сватовстве Дантеса к свояченице Пушкина.

Произошло все это в начале второй половины октября, в сравнительно короткий промежуток времени.

Перечисленные события предшествуют появлению пасквиля. Становится ясным, что пасквиль — акт мести и за поступок Натальи Николаевны, роняющий Дантеса в глазах великосветского общества, и за возникший, должно быть, у Е. И. Загряжской, тетки Гончаровых, проект брака

Екатерины с Дантесом, которого, по мнению родных Гончаровой, обязывают к этому понятия чести.

Как бы то ни было, эти факты должны изменить отношение исследователей — не к содержанию пасквиля, а, как выражаются юристы, к причинной связи событий.

Уместно будет напомнить: еще в 1929 году профессор Л. П. Гроссман писал, что Дантеса вынуждали к женитьбе отношения с Екатериной Гончаровой. П. Е. Щеголев отклонил тогда эту версию,— как видим, без достаточных оснований.

Вернемся к письму Карамзиной. Из него можно понять, что Екатерина Гончарова не могла скрыть своего отношения к Дантесу (вспомним слова о поведении, «компрометирующем» эту девицу). Однако ни у кого из Карамзиных не возникало мысли о возможности брака,— сама Екатерина боится поверить в это. Поступок Дантеса вызывает всеобщее недоумение. Об анонимном письме известно пока немногим, друзья держат его в секрете. Поэтому, пишет Карамзина, великосветские сплетни объясняют это «более просто». Чем же они объясняют это? Объясняют по-разному. Многие уверены, что это Пушкин принудил Дантеса жениться, когда узнал, что у него с Гончаровой роман. Другие считают, что Дантес делает это для спасения чести Пушкиной, что это «самопожертвование». И только сам Пушкин своими загадочными восклицаниями и манерой обращения с Дантесом наведет всех на мысль, беспокоится Софья Николаевна, что начнут подозревать правду, поймут, что здесь надо подозревать нечто более сложное, искать другую причину. И потому именно, что Карамзиным известна связь неожиданной «влюбленности» Дантеса в Е. Н. Гончарову с анонимным письмом, их беспокоит, что общество может догадаться об этом. Отсюда и загадочный, иносказательный тон письма к Андрею, и трехнедельное молчание; даже за границу Андрею они сообщают об этой истории только после того, как осложнение считается улаженным и Пушкин взял обратно свой вызов.

Наталья Николаевна оскорблена. С помощью ее сестры Дантес нанес ущерб ее самолюбию и престижу, унизил ее, поставил в смешное положение, сделав ее темой великосветских пересудов. Побуждаемая обидой и ревностью, она рассказывает Пушкину о том, что нашептывал ей Геккерен, уговаривая ее изменить своему долгу, бро-

сить мужа, уехать с Дантесом за границу. Именно в этот момент, когда Дантес посватался к ее сестре, она и раскрыла мужу всю гнусность поведения обоих Геккеренов. Понятно, почему она «нервна и замкнута и голос у нее прерывается, когда она говорит о свадьбе своей сестры». Понятно, почему Пушкин еще более, чем раньше, раздражен против Геккеренов, отказывается принимать у себя Дантеса и Е. Н. Гончарову, заявляет, что между домом Пушкина и домом Геккерена не может быть ничего общего, почему он избегает Дантеса и говорит ему резкости, почему, наконец, производит впечатление, словно он обижен за жену. Не обижен, конечно, а глубоко уязвлен. Профессор Б. В. Казанский прав: вся эта история со сватовством Дантеса к Екатерине Гончаровой изменяет в глазах Пушкина отношение Дантеса к Наталье Николаевне, делает его оскорбительным.

Но светское понятие приличий и вопросов чести таково, что Карамзины по-прежнему сохраняют нейтралитет: продолжая относиться дружески к Пушкину, они в то же время помогают свиданиям Дантеса с Екатериной, которые в доме Пушкиных встречаться уже не могут.

Поведение Пушкина Софья Николаевна описывает на основании собственных впечатлений. После 4 ноября Пушкин, как мы говорили, продолжает бывать у них. 16-го, по случаю дня рождения Екатерины Андреевны, он приглашен к ним на обед, во время которого тихо, скороговоркой поручает сидящему около него Соллогубу условиться с виконтом д'Аршиаком, родственником и секундантом Дантеса, об условиях дуэли — двухнедельная отсрочка кончилась.

В одиннадцать часов вечера — гости уже разошлись — Карамзины едут на раут к австрийскому посланнику Фикельмону. По случаю смерти низложенного Июльской революцией французского короля Карла X объявлен придворный траур, и все 400 человек, приглашенные в австрийское посольство, в черном. Одна Е. Н. Гончарова выделяется среди остальных гостей белым платьем, в котором она явилась по праву невесты. С нею любезничает Дантес.

Пушкин приехал один, без жены, запретил Екатерине Николаевне разговаривать с Дантесом, сказал ему самому несколько более чем резких слов.

На другой день, 17 ноября, на балу у Салтыковых

(Софья Николаевна была на этом балу) объявлено о предстоящей свадьбе Дантеса.

Пушкин не верит, предлагает Соллогубу биться об заклад, что свадьбы не будет.

Возможно,— Пушкин не знает этого! — вопрос о свадьбе решен окончательно не им и не Дантесом. Есть основания думать, что в дело вмешался царь. Эту гипотезу высказал в 1963 году пушкинист М. И. Яшин. И в том же году стала известна книга «Сон юности» — вышедшие в Париже мемуары королевы вюртембергской Ольги Николаевны, дочери Николая I. Написанные в начале 1840-х годов по-французски, они увидели свет в 1955 году в переводе на немецкий язык. А спустя восемь лет с немецкого издания был сделан перевод русский.

Нет сомнения, что в основу этих записок вюртембергская королева положила свои дневники, ибо строится изложение по датам — день за днем, год за годом. Известно, что сыновья и дочери Николая I вели дневники с детских лет. И только обращение мемуаристки к дневниковым записям способно объяснить нам, каким образом Ольга Николаевна могла описать не только туалеты свои, но и блюда, которые подавались царской семье в России и за границей. Вообще записки ее строго фактичны,— пусть самые факты часто оказываются малозначительными. В год смерти Пушкина Ольге Николаевне было пятнадцать лет. Тем не менее свидетельство ее, относящееся к Пушкину и к царю, принять во внимание следует.

Немецкий, а вслед за ним и русский перевод ее мемуаров содержит фразу, не оставляющую сомнений в том, что к женитьбе Дантеса на Е. Н. Гончаровой причастен Николай I. «Папа́ ничего не упустил, что могло его (Пушкина) успокоить,— пишет вюртембергская королева.— Бенкендорфу было поручено отыскать автора анонимных писем, и Дантес *должен* был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно незначительной персоне». В русском переводе сказано решительнее: «А Дантесу было *приказано* жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе».

Живущий во Франции правнук А. С. Пушкина Г. М. Воронцов-Вельяминов сверил текст переводов с оригиналом записок, который хранится в Штутгартском государственном архиве. Переводы оказались неточными. Вот что пишет дочь императора:

«Воздух был заряжен грозой. Ходили анонимные письма, обвиняющие красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет Дантесу ухаживать за ней. Негритянская кровь Пушкина вскипела. Папа́, который проявлял к нему интерес, как к славе России, и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно мало интересной особе».

Извиним автору маленькую неточность: Екатерина была старшей сестрой, а не младшей. А теперь обратим внимание на фразу: «приложил все усилия, чтобы его успокоить». Эта фраза показывает, что уточненный перевод не опровергает гипотезу М. И. Яшина (которую я продолжаю считать убедительной). Хоть и с меньшей долей уверенности, мы вправе считать, что на исход ноябрьского конфликта повлиял царь. Да и странно было бы, если б он не слышал ни о вызове Пушкина, ни об усилиях Жуковского, Е. И. Загряжской и Геккерена уладить дело без поединка. А раз знал, то так или иначе должен был проявить свое отношение к событиям. О том, что он поручил Бенкендорфу отыскать автора писем, мы знаем из другого источника. Стало быть, в этом Ольга Николаевна не ошибается. Ну а если царь считает «средство друзей» — их план женитьбы — приемлемым, этот план для Дантеса становится обязательным. Записки Ольги Николаевны свидетельствуют об интересе Николая к этому делу и дают основание угадывать его влияние на семейные дела Пушкина уже на этом этапе. Кстати, в тех же записках Ольга Николаевна приводит убедительнейший пример подобного рода вмешательства царской семьи в брачные дела своих подданных.

Восхищаясь красотой Авроры Карловны Стьерньевард (Шернваль, той самой, имя которой не раз вспоминают в своей переписке Карамзины), Ольга Николаевна пишет: «Поль Демидов, богатый, но несимпатичный человек, хотел на ней жениться. Два раза она отказала ему, но это не смущало его, и он продолжал добиваться ее руки. Только после того, как мама́ поговорила с ней, она сдалась... Во втором браке она была замужем за Андреем Карамзиным, на этот раз по любви».

Влиять на личные дела, решать судьбы своих приближенных, венчать их, не считаясь с их собственными желаниями, было в обычае и у Николая I, и у супруги его. И мы понимаем теперь, что Николай приказал Дантесу жениться, дабы избегнуть скандала, которым угрожал Пушкин Дантесу и Геккерену с того самого дня, когда пришел к заключению, что анонимные письма исходят из голландского посольства на Невском. При этом следует помнить, что в лице Екатерины Гончаровой была посрамлена честь фрейлины императорского двора. И коль скоро повод к скандалу в обоих случаях подал Дантес, этот двойной скандал надо было замять самым решительным образом.

Мы знаем, что, получив от Пушкина вызов, Дантес соглашался жениться на Екатерине Николаевне Гончаровой при том лишь условии, что Пушкин не станет приписывать его сватовство «соображениям, недостойным благородного человека». И Пушкин дал ему требуемое заверение, прибавив на словах, переданных через секунданта, что он «признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек».

Пушкин считает, что выиграл он: он заставил Дантеса жениться. Но вот мы допустили, что к этому делу имеет отношение царь — и все выглядит по-иному. Выходит, что Пушкин вынудил не Дантеса. Своим поведением — решимостью защищать свою честь до конца, он, не подозревая того, вынудил царя предупредить надвигающийся общественный скандал и дискредитацию Геккерена. Царь, в свою очередь, одобряет «план друзей» — женить Дантеса на свояченице Пушкина. Решение принято сразу: иначе императрица не удивлялась бы так по поводу «невероятной женитьбы» и не решала бы для себя вопрос, что представляет собой этот акт — проявление великодушия или стремление к жертве. Очевидно, в первый момент об этом знают только двое — император и Бенкендорф.

Когда происходит все это?

Если о свадьбе Дантеса объявлено 17-го числа, следовательно, о решении царя Дантес узнал раньше. Пушкин не догадывается об этом: иначе он не давал бы Дантесу успокоительных заверений. А главное — почел бы вмешательство царя и шефа жандармов без его ведома в вопросы собственной чести и в улаживание своих семейных дел глубоко для себя оскорбительным. Так представляется мне соотношение сил в этом конфликте в ноябре 1836 года.

8

Взяв обратно свой вызов, Пушкин пишет письмо Геккерену, сыгравшее такую важную роль в дальнейшем ходе событий. 21 ноября он прочел его Соллогубу, сказав: «...с сыном уже покончено, теперь вы мне старичка подавайте». «Тут он прочитал мне,— говорит Соллогуб,— всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что тогда я понял, что он действительно африканского происхождения».

Желая предотвратить новый конфликт, Соллогуб рассказал об этом Жуковскому. Вечером, у Карамзиных, Жуковский успокоил его: дело улажено, письмо отослано не будет.

Тогда же, 21 ноября, Пушкин написал Бенкендорфу. Он утверждал: сочинитель анонимного письма — Геккерен, о чем он, Пушкин, считает своей обязанностью довести до сведения правительства и общества.

Бенкендорф доложил императору. Опасаясь компрометации европейского дипломата, Николай принял Пушкина.

Это было в понедельник, 23 ноября. В тот вечер Софья Карамзина танцевала у саксонского посланника Люцероде с конногвардейцем Головиным, с конноартиллеристом Огаревым, с конногренадером Хрущовым, «а мазурку с Соллогубом, у которого на этот раз была тема для разговора со мной — неистовства Пушкина и внезапная влюбленность Дантеса в свою нареченную... Соллогуб все еще делает вид, что презирает светское общество, и с большим жаром обличает его ничтожество, чем доказывает, что неравнодушен к нему. Он ухаживает за м-м Пушкиной и многим нравится в свете...»

Об этом мы узнаем из письма от 28 ноября.

Когда в начале 1836 года Пушкину передали разговор Соллогуба с Натальей Николаевной, разговор, тон которого показался ему недостаточно уважительным, Пушкин послал вызов, но помирился, удовлетворившись объяснениями Соллогуба. Он не искал поединка, а просто исполнил принятые в ту пору формальности. Отношения восстановились. В ноябре Пушкин избрал Соллогуба посредником между собой и Дантесом.

В самом ухаживании за Натальей Николаевной Пушкин ничего предосудительного не видел, если только вни-

мание к ней и восхищение ее красотой не выходили из границ безусловного уважения к ней и к чести имени, которое она носила. В ноябре Соллогуб уже понимал это. Впрочем, новость, что он «ухаживает за м-м Пушкиной», относится, конечно, не к тому вечеру, когда Софи Карамзина танцует с ним в доме саксонского посланника, а, вероятно, к осенним месяцам 1836 года. Вряд ли наблюдение это могло быть сделано через день после того, как Пушкин прочел Соллогубу свое письмо, обращенное к посланнику Геккерену.

В следующих письмах Карамзиных имени Пушкина нет, однажды упоминается Дантес.

29 декабря. Почерк Софьи Николаевны. Для начала она спешит рассказать о Дантесе. Свадьба назначена на 10 января. Ее братья поражены изяществом квартиры, приготовляемой для новобрачных, и обилием столового серебра. Дантес говорит о своей невесте «с явным чувством удовлетворения», отец, Геккерен, балует ее.

«С другой стороны, Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо; выражение лица у него как у тигра, он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе, что делает весьма охотно, и очень рад, если находит нового слушателя. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине (Мещерской.— *И. А.*) о всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории; казалось, он рассказывает ей драму или новеллу, не имеющую никакого отношения к нему самому. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя ее сестру после замужества. Вчера я внушала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое, конечно, вызовет еще новые пересуды. Она, со своей стороны, ведет себя не слишком прямодушно: в присутствии мужа не кланяется Дантесу и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство — потупленные глазки, рассеянность в разговоре, замешательство, а он немедленно усаживается против нее, бросает на нее долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Одним словом, все время разыгрывается какая-то комедия, суть которой никому толком не известна... А пока-

что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь — воспаление в боку, вид у него ужасный, он очень изменился. Третьего дня он появился наконец у Мещерских, похудевший, бледный, очень интересный. Со всеми нами он был необыкновенно нежен, как бывает, когда человек очень взволнован или несчастен. На следующий день он пришел опять, на этот раз со своей нареченной, а что хуже всего — с Пушкиными, и снова начались гримасы ненависти и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное для всех молчание только редкими, отрывистыми, ироническими восклицаниями и, время от времени, демоническим хохотом. Ах, смею тебя уверить, он был просто смешон!.. Для разнообразия скажу тебе, что только что вышел 4-й «Современник», в нем напечатан новый роман Пушкина «Капитанская дочка», говорят, восхитительный.

Вчера я была с м-м Пушкиной на балу у Салтыковых и веселилась гораздо больше, чем на придворных балах».

Несмотря на то что Софья Николаевна стремится изобразить поведение Пушкина как нелепое, нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных страданиях. Сестра Карамзиной, Екатерина Николаевна Мещерская, вернувшаяся из деревни после долгого отсутствия, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина «и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы». Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила, что в те дни у него был такой устрашающий вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Вера Федоровна Вяземская еще осенью отказалась принимать у себя Дантеса одновременно с Пушкиными, предложила Дантесу не входить в дом, если у подъезда стоят экипажи. Тем самым этот дом был для Дантеса закрыт. «После этого,— писал биограф Бартенев со слов Вяземской,— ...свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных».

Софья Николаевна осуждает Пушкина, осуждает Наталью Николаевну. Дантеса она не осуждает: Дантес «несчастный».

Она вмешивается в семейные отношения, дружески внушает Наталье Николаевне, чтобы та подействовала на

Пушкина. Для нее самой многое в этой истории непонятно: «...таинственная история,— пишет она,— комедия, суть которой никому толком не известна». Тем не менее она осуждает Пушкина, жалея Дантеса. А ведь Пушкин-то — друг им, считающий их лучшими своими друзьями, ближе которых у него действительно нет никого в Петербурге! Это двадцатилетние отношения!

Но мы видим, что в этом конфликте Софья Николаевна, не думая о последствиях, снова разделяет «общее мнение» — мнение света, против которого всегда восставал Пушкин, мнение всех этих Захаржевских, Шевичей, Белосельских, Клейнмихелей, Сухозанетов, Барятинских...

Письмо ее от 9 января 1837 года посвящено предстоящему бракосочетанию Дантеса: «Завтра, в воскресенье, будет происходить эта странная свадьба». Они, Карамзины, собираются присутствовать во время обряда в католической церкви св. Екатерины. А братья Софьи, Александр и Вольдемар, будут шаферами невесты.

«Пушкин же,— продолжает она,— завтра проиграет не одно пари, так как он со многими бился об заклад, что эта свадьба — одно притворство и никогда не состоится. Очень все это странно и необъяснимо и вряд ли приятно для Дантеса. Вид у него отнюдь не влюбленный. Но Екатерина счастлива — гораздо более, чем он».

Следующее письмо, датированное 12 января 1837 года, начинается с рассказа о впечатлении, которое произвело на всех последнее письмо Андрея Карамзина из Парижа:

«Жуковский, Тургенев, Виельгорский, Пушкин захотели послушать твое письмо и отозвались о нем все одинаково — нашли, что в нем отражается высокий ум и яркое, живое воображение».

Предлагая после этого перейти к новостям и «посплетничать», Софья Николаевна пишет:

«Итак, свадьба Дантеса состоялась в воскресенье. Я присутствовала при туалете м-ль Гончаровой, но ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену, когда дамы сказали ей, что я еду с ними в церковь. Возможно, из самых лучших побуждений — от страха перед излишним любопытством, но она излила на меня всю желчь, которая у нее накопилась за целую неделю от разговоров с разными нескромными доброжелателями».

Софья Николаевна «чуть не заплакала».

«Это было не очень п р и я т н о для меня, да вдобавок и очень досадно — я теряла надежду видеть вблизи лица главных актеров в заключительной сцене этой таинственной драмы».

В этих строках поражает неприкрытое любопытство и совершенное непонимание смысла происходящих событий. Софья Николаевна полагает наивно, что свадьба — заключительная сцена «таинственной драмы». Она говорит, конечно, о «драме» Дантеса. Но даже и в его судьбе это еще не финал!

На следующий день после свадьбы Дантес с женой приехал к Карамзиным. Софья Николаевна отдала им визит. Она восхищена красотой комнат, комфортом и пишет, что не видела более веселых и безмятежных лиц, чем у них:

«...я говорю о всех т р о и х, ибо отец является неотделимым участником этой семейной драмы. Не может быть,— восклицает она,— чтобы с их стороны это было притворством, для этого нужна сверхчеловеческая с к р ы т н о с т ь и вдобавок такую игру им бы пришлось продолжать всю жизнь. *Непонятно!*»

При всем этом она, конечно, очень наивна: восхищенная Дантесом, в любезной улыбке она видит выражение счастья, его плоские шутки кажутся ей забавными, она не допускает в нем сверхчеловеческой скрытности, но не догадывается о циническом спокойствии карьериста.

16 января 1837 года, сидя на гауптвахте петербургского ордонансгауза, Александр Карамзин решает приняться за большое письмо. Поговорив о ненавистном начальнике Ганичеве, упрятавшем его в дежурную комнату под недельный арест, он переходит к новостям — литературным и светским.

«Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой,— повествует он по-русски.— Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. *Их элегантный интерьер* очень мне понравился. Тому 2 дня был у старика Строганова *(посаженый отец невесты)* свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман á la Balzac, к большой досаде с.-петербургских сплетников и сплетниц... Надо тебе сказать,— продолжает

он, перевернув страницу,— что я дал несколько стихотворений моих Вяземскому для его Альманаха и Одоевскому, который собирает провизии для «Прибавления к Русскому инвалиду», которое купил Плюшар от Воейкова и которое сделалось или должно сделаться порядочною литературною газетой. Формат ее огромен, и она выходит еженедельно».

В четвертом томе «Современника» появилось извещение о том, что в начале 1837 года должен выйти в свет альманах «Старина и новизна», задуманный князем Вяземским. Наряду с письмами царевича Алексея, Екатерины II, Н. М. Карамзина, отрывками из записок И. И. Дмитриева и графа Ростопчина, историческими анекдотами о принце Бироне Вяземский собирался печатать в нем стихи, отрывки из повестей и писем о русской литературе. Вначале он собирался назвать альманах «Старина». Слово «новизна» добавлено по совету Пушкина.

По причинам, нам неизвестным, альманах в свет не вышел. Не состоялся, как было говорено, и «Русский сборник» Одоевского и Краевского. Тогда они заключили договор на право издания «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», которые перешли к издателю Плюшару от А. Ф. Воейкова. Новым редактором «Прибавлений» стал А. А. Краевский. Но фактическим литературным руководителем, как установлено в последнее время, был В. Ф. Одоевский. В числе сотрудников «Литературных прибавлений» значился и Александр Николаевич Карамзин. Порассказав о разных незначительных новостях, Александр добавляет на последней странице:

«У нас бывают умные люди — Вьельгорский, Тургенев, Жуковский, Пушкин и пр. *Иногда они очаровательны, но иной раз так скучны*, как и нашему брату дураку не всегда удается... Но довольно я наболтал,— пишет он в заключение,— пора закусить да и в с х р а п е».

Утром 27 января Екатерина Андреевна продолжает письмо, начатое накануне:

«Среда 10 часов. Лиза и я только одни встали в целом доме, мой дорогой друг. Софи и Сашка спят еще после бала у графини Разумовской...»

Страница дописана. В доме встали. Софья Николаевна начинает новую. В прошлый четверг они были приглашены к Фикельмонам, где собралось 500 человек.

«А в воскресенье был большой вечер у Екатерины (Мещерской.— *И. А.*), где присутствовали Пушкины, Геккерены, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию, что весьма нравится публике. Пушкин скрежещет зубами, и на лице у него появляется его тигровое выражение. Натали опускает глаза и краснеет под жарким долгим взглядом своего beau frère [1]. Это начинает становиться безнравственным...»

Эти строки пишутся в тот час, когда Пушкин в кондитерской Вольфа ожидает секунданта — Данзаса, который поехал за пистолетами...

9

И вот письмо от матери, от Екатерины Андреевны. По-русски,— французский язык не передал бы так значительности его содержания...

«Суббота. 30 января 1837 г. Петербург.

Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуели с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие выражалось на его прекрасном лице.

Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастие случилось: оне мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит: потеря для России,

[1] Зятя.

но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет.

Эти дуэли ужасны,— продолжает она, переходя на французский язык,— и что ими можно доказать? Пушкина больше нет в живых, а те, кто остались, через два года и не вспомнят об этой истории. Да сохранит тебя небо от такого шага, да удержит тебя от него твое сердце и твой разум. Прижимаю тебя к моему скорбному сердцу, сожалея, что это горе коснулось тебя...»

Софья Николаевна продолжает:

«А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной драме, в тот день и даже в тот час, когда совершалась такая ужасная развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое послужило причиной, по крайней мере явной причиной, несчастья, столь страшного. Я не могу тебе сказать, что именно вызвало эту дуэль, которую женитьба Дантеса, казалось, делала невозможной, и никто ничего не знает. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела еще в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена его разговаривает, смеется и вальсирует с Дантесом, а эта неосторожная не побоялась снова встретиться с ним в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая оттуда, Пушкин сказал моей тетке: «он не знает, что его ждет дома». Он подразумевал свое письмо к отцу Геккерену, оскорбительное сверх всякой меры, в котором он называл его «старой сводней» (тот действительно играл эту роль), а его сына презренным трусом; он обвинял Дантеса в том, что даже после своей женитьбы он осмеливается обращаться к м-м Пушкиной со своими казарменными остротами и гнусными объяснениями в любви, и он грозил публично оскорбить его на балу, если письменного оскорбления ему недостаточно. Тогда Дантес послал к нему в качестве своего секунданта некоего д'Аршиака из французского посольства, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром, а вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил; он как-то очень крепко пожал мне руку, но я тогда не обратила на это внимания. В среду утром он поехал к

своему товарищу по лицею Данзасу, чтобы пригласить его себе в секунданты, встретил его на улице, посадил к себе в сани, тут же объяснил ему, в чем дело, и в пятом часу они уже отправились на место поединка — на Парголовскую дорогу возле имения Одоевских. Там, говорят, Пушкин проявил величайшее спокойствие и энергию. Дантес стрелял первым и ранил его в середину тела; он упал, но когда Дантес бросился, чтобы поддержать его, он закричал: «вернитесь на место, мой выстрел!» Его приподняли и поддерживали; так как пистолет выпал у него из руки на снег, Данзас подал ему другой. Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал, тогда Пушкин подбросил пистолет кверху и закричал: браво! Потом, видя, что Дантес поднялся и идет, он сказал: «А, значит, поединок наш не окончен». Он был окончен, но он-то думал, что ранен только в бедро. По пути домой тряска в карете вызвала у него сильные боли в животе. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. *Меня не испугаешь. Я жить не хочу»*.

Дома он увидел жену и сказал ей: *как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты — ни в чем не виновата и не должна упрекать себя, моя милая!* Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебита большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и поранены кишки. Пушкин выслушал этот приговор *с невозмутимым спокойствием, с улыбкой*. Он причастился, всех простил: он был в памяти до последней минуты и с ясным сознанием наблюдал за угасанием своей прекрасной жизни. От государя он получил полное участия письмо, в котором выражено пожелание, чтобы он умер, как христианин, и не тревожился о судьбе жены и детей, ибо заботу о них государь берет на себя. Пушкин недолго страдал; все время он был неизменно ласков со своей бедной женой. За 5 минут до смерти он сказал врачу: «Что, кажется, жизнь кончается?» Без агонии закрыл он глаза, и я не знаю ничего прекраснее его лица после смерти — чело, исполненное мира и покоя, задумчивое и вдохновенное, и улыбающиеся губы. Я никогда не

видела у мертвого такого ясного, утешительного, поэтического облика. Его несчастная жена в ужасном состоянии, почти невменяема; это понятно. *Страшно о ней думать*. Прощай, дорогой Андре. Нежно люблю тебя.

Софи».

О том, что Пушкин пожелал перед смертью проститься с Е. А. Карамзиной, было известно и прежде — со слов тех, кто находился возле него. Но в собственном ее рассказе, исполненном высокой простоты и строгости, Пушкин предстает в таком бесконечном величии, что по силе и благородству чувств, которые оно порождает, это скромное сообщение следует, пожалуй, отнести к самым замечательным документам пушкинской биографии. Какая живая минута это письмо! И как хороша здесь каждая фраза — стиль Карамзина: «я имела горькую сладость проститься...»

Письмо Софьи Николаевны не содержит новых, неизвестных фактов. О дуэли и последних днях Пушкина она пишет со слов д'Аршиака, Данзаса, Вяземских, Тургенева, П. И. Мещерского... После того как Пушкин пожал ей руку на балу у графини Разумовской, она увидела его снова только в гробу. Но ее описание воссоздает события этих последних дней и заставляет заново их пережить.

Софья Николаевна недоумевает: что именно вызвало эту дуэль, какой поступок Дантеса оказался последним, побудившим Пушкина достать из письменного стола то письмо к Геккерену, которое слышал в ноябре Соллогуб, внести в его текст новые оскорбления и отослать в голландское посольство? Считалось, что это письмо написано и отослано 26 января. Б. В. Казанский доказывает — 25-го. Слова Софьи Николаевны Карамзиной подтверждают это предположение. Тем самым хронология последних трех дней жизни Пушкина выяснена уже окончательно.

П. А. Вяземский, видимо со слов д'Аршиака, передавал потом фразу Пушкина, сказанную за час до поединка: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо». Так и по рассказу Софьи Николаевны Карамзиной: в последний вечер перед дуэлью Пушкин смеялся, разговаривал, шутил. Есть в письме и другие подробности, которые дополнят общую картину гибели Пушкина.

Пользуясь отъездом д'Аршиака, который в связи с уча-

стием в дуэли должен вернуться во Францию, Екатерина Андреевна пишет сыну коротенькую записочку:

«Понедельник. 1 февраля 1837. 11 часов вечера.

Сейчас, когда я пишу тебе эти строчки, в гостиной у нас полно народу... Тургенев передаст эту записку д'Аршиаку, которого после истории с бедным Пушкиным заставили уехать — его отсылают в качестве курьера. Если ты зайдешь к нему, то сможешь узнать подробности об этой роковой дуэли. Он привезет тебе маленькую книжечку — новое издание Онегина, по-моему, очень изящное; думаю, что тебе приятно будет сейчас получить его».

На следующий день Екатерина Андреевна пишет обстоятельное письмо:

«Вторник. 2 февраля 1837. Петербург. 1 час дня.

Вчера было отпевание бедного дорогого Пушкина: его останки повезут хоронить в монастырь около их имения, в Псковской губернии, где похоронены все Ганнибалы; ему хотелось быть похороненным там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всей его семье, как ангел. Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал государю не драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражениях: *«Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу». Когда В. А. Ж*[*уковский*] *просил г*[*осуда*]*ря во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, г*[*осударь*] *призвал В. А. и сказал ему: «Послушай, братец, я все сделаю для П*[*ушкина*]*, что могу, но писать, как к Карам*[*зину*]*, не стану: П*[*ушкина*] *мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карам*[*зин*] *жил и умер, как ангел».* Есть ли что-нибудь более справедливое, более деликатное, более благородное по мысли и по чувству, чем это различие, которое он сделал между обоими. Мне хотелось самой передать тебе все подробности, хоть я боюсь, что не сумею сделать это так хорошо, как Софи, но сейчас я только об этом и думаю».

Сообщение о том, что Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал царю «не драться больше ни под каким предлогом» и, раненный, послал Жуковского просить прощения за то, что не сдержал слова,— сообщение важное. До сих пор было известно из писем А. И. Тургенева и Вяземских, что Пушкин просил у царя прощения своему секунданту Данзасу и себе самому. Но в чем конкретно заключалась эта просьба, за что просил Пушкин прощения — не расшифровывалось.

Биографу Пушкина Бартеневу Вяземский рассказывал много лет спустя, что после свадьбы Дантеса Николай I, «встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав ему знать наперед», что Пушкин, связанный словом, накануне дуэли собирался известить его о своем решении через Бенкендорфа, написал Бенкендорфу письмо — и не отослал. И будто бы это письмо было найдено в кармане сюртука, в котором Пушкин стрелялся, и хранилось потом у Миллера, секретаря Бенкендорфа.

На самом деле письмо, адресованное Бенкендорфу и хранившееся у Миллера, Пушкин писал не в январе, а в ноябре и тогда же отослал его. Поэтому-то оно и хранилось у Миллера, в кармане сюртука в день дуэли оно быть не могло. Из-за этой неточности рассказ Вяземского подвергался сомнению. Между тем он совпадает со свидетельством Е. А. Карамзиной, писанным через три дня после дуэли. И оба, Карамзина и Вяземский, говорят об одном — что царь связал Пушкина обещанием не драться.

Мы знаем, что, после того как ноябрьское столкновение было улажено, Пушкин сообщил царю через Бенкендорфа о своих подозрениях относительно Геккерена и о том, что он, Пушкин, будет искать удовлетворения. 23 ноября, как уже было сказано, царь вызвал Пушкина.

Кроме того, мы знаем, что в январе, за три дня до поединка с Дантесом, Пушкин вторично разговаривал с царем на эти же темы. Об этом известно со слов самого царя, записанных сановником Корфом.

Теперь выясняется, что во время одного из этих свиданий царь взял с Пушкина обещание не драться. Вяземский говорит: «не дав ему знать наперед»; Карамзина: «не драться ни под каким предлогом». В обоих случаях смысл остается тот же.

Может возникнуть вопрос: зачем понадобилось царю

брать с Пушкина слово? Уж не собирался ли он в самом деле уберечь поэта от поединка? Для того, чтобы правильно понять смысл этой царской «заботы», постараемся представить себе это свидание, как реконструирует его замечательный пушкинист профессор Сергей Михайлович Бонди.

Пушкин во дворце, в кабинете царя. Он повторяет то, о чем уже сообщил Бенкендорфу: анонимный диплом писан Геккереном и он, Пушкин, собирается объявить об этом во всеуслышание. Он не ищет защиты: он предупреждает, что защищать свою честь будет сам и не посчитается с дипломатическими привилегиями Геккерена.

Что может царь ответить на это? Грозить? Угрозами Пушкина не напугаешь: Пушкин — человек бесстрашный; он уже не побоялся однажды заявить царю, что если бы 14 декабря 1825 года оказался в Петербурге, то вышел бы с заговорщиками на площадь. Спорить с ним? Но Пушкин все равно останется при своем. Лучше всего дать ему заверение, что будут приняты меры, что не следует предпринимать ничего, не посоветовавшись с ним, с Николаем («не дав знать наперед»), и уж во всяком случае не доводить дело до поединка («не драться ни под каким предлогом»). «Дай мне слово,— говорит царь,— ты же мне веришь, Пушкин!» Несомненно, он должен был тогда сказать Пушкину что-нибудь в этом роде.

Взяв с Пушкина слово не драться, царь тем самым отнимал у него свободу действий по отношению к Дантесу и Геккерену и на время пресекал возможность общественного скандала. Но даже и в том случае, если Пушкин не посчитался бы с просьбой царя (а, зная Пушкина, царь, вероятно, в этом не сомневался), слова Николая все равно были бы восприняты в обществе как стремление предостеречь Пушкина, спасти его. В любом случае царь должен был выглядеть в этой истории разумным советчиком, миротворцем.

Одним словом, потребовать от Пушкина обещания не затевать конфликта с голландским посольством было выгодно для Николая во всех отношениях. А спасать Пушкина он, разумеется, не собирался. Если в 1826 году он еще надеялся привлечь его ко двору, использовать его перо и влияние в интересах престола, то к 1837 году окончательно разуверился в этом. И когда Пушкин вышел из его кабинета, любые слова, которые мог произнести Николай,

были поняты присутствовавшим при свидании Бенкендорфом как уверенность, что столкновения этого не предотвратишь и что Пушкина все равно ничто не удержит. Истинное отношение царя угадать Бенкендорфу было нетрудно. Секундант Пушкина К. К. Данзас рассказывал впоследствии, что Бенкендорф поддерживал Геккерена и Дантеса, что, зная заранее о предстоящей дуэли, он не пожелал предотвратить ее.

Эти факты давно и широко известны из биографии Пушкина.

Мы знаем, как разговаривал Николай I с декабристами. Допрашивая их, он проявлял сочувственный интерес и лицемерное участие к ним. А вслед за тем отдавал распоряжения заковать в кандалы, посадить на хлеб и воду. Поэтому он вполне мог сочувственно беседовать с Пушкиным, а с Бенкендорфом вел разговоры иного характера. И можно не сомневаться, что враги Пушкина были поддержаны Бенкендорфом с ведома Николая.

Но теперь мы наконец понимаем, за что Пушкин просил прощения: бесконечно честный, он просил извинить его за нарушение слова.

Это новое понимание предсмертной просьбы, обращенной к царю, просьбы, которой долго придавали смысл верноподданнический, помогает понять и ответ Николая (в передаче Е. А. Карамзиной он почти не отличается от ранее известных нам записей). Смысл ответа сводится к следующему: «Я прощу тебе нарушение слова и обеспечу жену и детей, если ты выполнишь христианский обряд».

Очевидно, Пушкин еще колебался и согласие выполнить этот «совет» царя дал не сразу. Иначе Николай I не сказал бы Жуковскому тех слов, которые впервые приводит в своем письме Екатерина Андреевна.

«Пушкина *мы насилу заставили* умереть, как христианина, а Карамзин жил и умер, как ангел» (курсив мой.— *И. А.*).

«Насилу заставили...» — стоит вдуматься в эти слова и сопоставить их с легендой о христианском смирении умиравшего Пушкина, которая более восьмидесяти лет повторялась во всех его биографиях.

Поэту пришлось пойти на условие царя: он ничего не оставлял семье, кроме долгов. Что он был к этому вынужден, понимали даже те современники, которые осужда-

ли его. «Он выполнил свои христианские обязанности,— писала в день смерти Пушкина племянница Виельгорского, Волкова,— потому что император ему написал, что за это позаботится о его жене и детях».

Николай проследил за выполнением своего требования: доктор Спасский, находившийся возле раненого поэта, записал, что священник прибыл в присутствии лейб-медика Арендта.

После смерти Карамзина Жуковский составил текст указа о его заслугах и о пенсии семейству его. Когда умер Пушкин, Жуковский предложил царю составить такой же указ и о Пушкине. В ответ на это царь произнес те слова, которые приводит Карамзина. Министру юстиции Дашкову Николай объяснил более грубо. «Какой чудак Жуковский,— сказал он,— пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?» «Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин»,— занес в свой дневник А. И. Тургенев. И Екатерина Андреевна, только что писавшая: «Пушкин бессмертный...», «потеря для России...», соглашается с отзывом императора.

Но самое важное в этом письме не то, что в нем сказано: самое важное — что в нем нет ни одного слова о том, будто умирающий Пушкин посылал благословения по адресу государя, желал ему долгих лет царствования, восклицал: «Жаль, что умираю, весь его был бы...» Словом, даже намека нет, будто Пушкин умер, примирившись перед смертью с престолом и с богом. Советские исследователи в результате огромной и кропотливой работы доказали, что все это было придумано друзьями, и прежде всего Жуковским. Когда Жуковского упрекали потом, зачем он приписал Пушкину верноподданническую фразу «весь его был бы...», он отвечал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Этот факт сообщал один из первых биографов Пушкина. На самом деле у Жуковского были и другие причины, более важные.

В дни, когда толпа осаждала дом Пушкина, когда раздавались угрозы по адресу его убийц и в первый раз с такой очевидностью стало ясно, что «литературный талант есть власть» (Н. Языков), Бенкендорф выдвинул против друзей Пушкина обвинение, будто они хотели превратить

погребение поэта в демонстрацию против правительства, волнение, вызванное известием о смертельном ранении Пушкина и его гибели, использовать для «торжества либералов».

Независимость Пушкина, его высокое чувство национального достоинства, прежняя его дружба с декабристами, народная слава истолковывались в высших кругах петербургского общества как проявление «либерализма». «Пушкин был склонен к либерализму»,— доносил своему правительству неаполитанский посланник Бутера. Вюртембергский дипломат Гогенлоэ проявление в те дни всеобщего горя и гнева расценивал как действия «русской партии, к которой принадлежал Пушкин».

После 14 декабря 1825 года Николай I не переставал подозревать о существовании еще не открытого тайного общества. В 1834 году, в связи с запрещением «Московского телеграфа», один из ближайших помощников царя утверждал, что «декабристы еще не истреблены», что в России «есть партия, жаждущая революции». Появление в 1836 году «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе» снова вызвало подозрение, что это дело «тайной партии». Действия тайного общества Николай склонен был видеть в любом проявлении протеста. И вот на третий день после гибели Пушкина, 2 февраля 1837 года, один из приближенных царя, граф А. Ф. Орлов, пересылает ему анонимное письмо, полученное по городской почте. Хотя письмо содержало заверения в преданности народа престолу и было продиктовано стремлением предотвратить последствия, которые могли вызвать «оскорбление народное», в нем изливалась горечь, вызванная гибелью Пушкина, говорилось о том, что свершилось «умышленное убийство» великого поэта России.

Этого было достаточно для Бенкендорфа, чтобы расценить письмо как документ, доказывающий «существование и работу Общества».

Агенты доносили в Третье отделение, что в толпе, окружавшей дом Пушкина, раздавались угрозы по адресу Дантеса и Геккерена, что обвиняют жену Пушкина, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь почитатели Пушкина собираются отпрячь лошадей в колеснице, что в церковь явятся депутаты от мещан и студентов, а над гробом будут сказаны речи.

Поэтому-то гроб с телом Пушкина тайно, ночью, под

конвоем жандармов, и был перевезен из квартиры в придворную церковь. По этим-то причинам и умчали мертвого Пушкина из Петербурга в Михайловское ночью в сопровождении жандарма...

Пушкин был положен в гроб не в придворном мундире, а во фраке,— это вменено в вину Вяземскому и Тургеневу. Вяземский, прощаясь, бросил в гроб Пушкина перчатку,— это воспринято как условный знак.

Все вместе истолковано как действие партии, враждебной правительству.

Геккерен, получавший информацию в салоне министра иностранных дел Нессельроде, доносил своему министру, что смерть Пушкина открыла власти «существование целой партии, главою которой был Пушкин». «Эту партию можно назвать реформаторской»,— утверждал голландский посланник, добавляя, что предположение русского правительства не лишено оснований, если припомнить, что Пушкин был замешан в событиях, «предшествовавших 1825 году». Правда, таким заявлением он стремился восстановить свою репутацию, и подобное сообщение было ему крайне выгодно. Тем не менее не подлежит сомнению, что сообщает он своему правительству то, что слышит в придворных петербургских салонах.

Подозревать в ту пору Вяземского, а тем более Жуковского в намерении составить заговор против правительства у Бенкендорфа не было, конечно, никаких оснований. Но в том, что Пушкин до конца оставался непримиримым противником самодержавно-полицейской власти и всей общественно-политической системы страны, в этом шеф жандармов не ошибался. П а р т и и либералистов в России 1830-х годов не существовало. Но политические настроения, о которых Бенкендорф доносил царю, давали о себе знать постоянно и с особой силой проявились в связи с убийством Пушкина, еще раз — и уже в угрожающих размерах — подтвердив, что имя Пушкина в самых широких кругах русского общества являлось символом национального достоинства, свободолюбия и прогресса. На языке того времени это и называлось либерализмом. И с и м в о л о м либерализма Пушкин, конечно, был.

Выдвинув гипотезу о существовании заговора, Бенкендорф получал тем самым возможность предупредить любые проявления протеста, заранее объясняя их как действия заговорщиков, и принимать меры предосторожности, пре-

секая возможные действия этой предполагаемой «демагогической партии».

«Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка»,— писал Бенкендорфу Жуковский, опровергая выдвинутые против него обвинения.

«Мне оказали честь, отведя мне первое место»,— жаловался Вяземский брату царя, великому князю Михаилу, убеждая его не верить в существование заговора.

Вот почему Жуковскому, Вяземскому, Тургеневу важно было доказать, что они никогда не замышляли против правительства, что устраивать Пушкину народные похороны не собирались, что это не соответствует их понятиям. Вот почему они стремились убедить правительство и великосветское общество, что в зрелые годы Пушкин был человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. «Да Пушкин никоим образом и не был либералом, ни сторонником оппозиции в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был искренне предан государю»,— писал Вяземский Михаилу Павловичу. В этом же духе действовал Жуковский. С этой целью сочинил он свое знаменитое письмо к отцу поэта, изобразив Пушкина раскаявшимся и смирившимся. Письмо его распространилось во многих копиях и потом было напечатано в «Современнике».

В этом смысле старался не только Жуковский,— то, что писали Вяземский и Тургенев, точно так же было рассчитано на широкое оглашение. Отправляя свои письма в Москву, Тургенев и Вяземский просили директора московской почты Булгакова снимать копии для общих знакомых. В этих письмах они стремились разъяснить, в каком трагическом положении оказался Пушкин вследствие темных интриг, среди враждебного общества. Но и они повторяли ложь о примирении и о просветленном конце, считая, что эта версия реабилитирует их в глазах правительства.

Таким образом, письма близких людей — Жуковского, Тургенева, Вяземского — облик Пушкина заведомо искажают.

Что касается сообщений других современников, знавших поэта мало, то сведения их о гибели Пушкина основаны зачастую на непроверенных слухах, к этим откликам относиться следует тоже с большой осторожностью.

Тагильские письма писались людьми, близко стоявшими к Пушкину, и писались не для распространения в обществе. В этом их особая ценность. Можно не сомневаться, что, если бы в словах, сказанных Пушкиным перед смертью, хоть как-нибудь проявились те чувства, о которых повествует Жуковский, Карамзины, люди религиозные и консервативные, не преминули бы сообщить об этом Андрею; поторопились же они сказать, что государь вел себя по отношению к поэту, «как ангел».

«В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пушкину,— продолжает письмо мачехи Софья Карамзина.— Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу; говорят, в этот день у них перебывало более 20 000 человек: чиновники, офицеры, купцы — все шли в благоговейном молчании, с глубоким чувством — друзьям Пушкина было отрадно это. Один из этих неизвестных сказал Россети: *«Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность; она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали»*. Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся; он даже сел напротив и неподвижно просидел так с $^1/_4$ часа, слезы текли по его лицу, потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя. *«Зачем вам?* — ответил он.— *Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России»*. И вообще это второе общество проявляет столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он сейчас. Более того: против убийцы Пушкина подымается волна возмущения и гнева, раздаются угрозы,— но все это в том же втором обществе, среди молодежи, тогда как в нашем кругу у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — это всего возмутительнее и просто непонятно — немало ожесточенных обвинителей. Их нисколько не смягчили адские муки, которые в течение трех месяцев терзали его пламенную душу, к сожалению слишком чувствительную к уколам этого презренного света, и за которые он отомстил, в конце концов, только самому себе: умереть в 37 лет — и с таким прекрасным, таким трогательным спокойствием!..»

Когда слух, что Пушкин находится в смертельной опасности, облетел город, всем стало ясно, что в Петербурге существуют два лагеря; Софья Николаевна очень точно сформулировала это в словах о «нашем обществе» — то есть великосветском, где раздаются обвинения по адресу Пушкина, и о «втором обществе», которое оплакивает Пушкина, являя замечательные примеры любви.

Никто, конечно, не подсчитывал точно, сколько народу приходило проститься с Пушкиным. Жуковский писал, что за два дня мимо гроба прошло более 10 000 человек. С. Н. Карамзина утверждает, что более 20 000 за один день. Говорили еще, что «при теле перебывало 32 000 человек», что в последние дни жизни Пушкина «25 000 человек приходили и приезжали справляться о его здоровье». Прусский посол Либерман писал в своем донесении, что в доме Пушкина перебывало «до 50 000 лиц всех состояний». Как бы то ни было, речь идет о десятках тысяч — стоявших у подъезда, приходивших проститься, запрудивших Конюшенную площадь и прилегающие переулки и улицы во время отпевания тела.

В этой необычной в то время толпе чиновников, литераторов, артистов, студентов, учеников, купцов, военных много «простолюдинов», мелькают тулупы, иные приходят даже в лохмотьях,— весь город взволнован событием, возбужден, опечален. Муханов записывает, что в Гостином дворе о смерти Пушкина толкуют сидельцы и лавочники. Вяземский обращает внимание, что «мужики на улицах» говорили о нем. Сохранился рассказ (Д. Милютина) о том, что мальчик-половой в трактире Палкина беспокоился, кто будет вместо Пушкина «назначен для стихов». Везде слышатся толки и злоба на Геккеренов.

Убийство Пушкина широкие круги петербургского общества восприняли как общественное бедствие. Иностранные дипломаты доносят своим дворам, что гибель поэта возбудила «национальное негодование», «всеобщее возмущение» (баварский посланник), расценивается как «общественное несчастье» (неаполитанский посланник), как «потеря страны» (прусский посланник); вюртембергский посланник сообщает, что Пушкину «создают апофеоз» чиновники, «многочисленный класс, являющийся в России в некотором роде третьим сословием». Французскому послу Баранту приписывают слова, что «общенародное чувство»,

проявившееся в те дни в Петербурге, «походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году».

Описывая последнюю панихиду, Софья Николаевна сознательно умолчала о том, что ночью в числе ближайших двенадцати человек она присутствовала при выносе тела в придворную церковь; набережная была оцеплена жандармами, жандармы наполняли пушкинскую квартиру. Об этом Карамзина не могла написать Андрею. Как не могла сообщить и о том, что вызванные в Петербург «для парада» войска расположились в переулках и улицах, окружавших Зимний дворец, Конюшенную церковь, пушкинскую квартиру на Мойке. Это установлено в самое последнее время (М. Яшиным).

Гибель Пушкина изменила отношение Карамзиных к предшествовавшим событиям. Поведение его в продолжение всех этих месяцев уже не кажется Софье Николаевне ни «глупым», ни «смешным». То, что она называла «комедией», предстало теперь в новом свете. Великая популярность поэта, которую неизвестный почитатель назвал «народностью» Пушкина, каждого заставляет понять, что эти дни уже подлежат суду истории. Но даже и в этой обстановке Софья Николаевна стремится видеть в поединке Пушкина и Дантеса столкновение своих знакомых; она хочет оплакать Пушкина, не обвиняя при этом Дантеса. «Я рада, что ничего не случилось с Дантесом»,— пишет она Андрею. Ей кажется, что, если бы в результате дуэли погибли оба — и Пушкин и Дантес,— было бы хуже: гибель Пушкина не вызвала бы такого сочувствия. Роль жертвы, по ее представлению, «это всегда самая благородная роль, и те,— пишет она о Пушкине,— кто осмеливается нападать на него, по-моему, очень походят на палачей».

«В субботу вечером я видела несчастную Натали,— продолжает Карамзина,— не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление произвела она на меня: настоящий призрак — блуждающий взгляд и выражение лица до того жалкое, что невозможно без боли в сердце смотреть на нее. И как она хороша даже в таком состоянии.

В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, при-

шла вся Академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: «Я только здесь в первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость»). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь; спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока его не отвезут в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера [Мещерского] разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах.— Как трогателен секундант Пушкина, его друг и товарищ по лицею полковник Данзас, которого прозвали в армии «храбрый Данзас», сам раненый [1], с рукою на перевязи, с мокрым от слез лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думая нисколько о наказании, которое его ожидает; он благословляет государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее тяжкого горя. Вот что сделал государь для семьи...»

И тут Карамзина перечисляет «милости» Николая, распорядившегося выплатить долги Пушкина, выкупить его имение Михайловское; вдове назначена пенсия в 5000 рублей, детям — по 1500 рублей. Оба сына записаны в Пажеский корпус.

«Кроме того,— продолжает Софи,— в пользу детей будет на казенный счет выпущено полное издание произведений Пушкина, которое, вероятно, расхватают мгновенно».

Распоряжение Николая Софья Карамзина воспринимает как его искреннее сочувствие и заботу. На самом же деле эта благотворительность, ничего Николаю не стоившая, послужила для него удобным поводом предстать перед глазами Европы в роли просвещенного покровителя

---

[1] Данзас был ранен в турецкую кампанию.

литературы. Чуть ли не все иностранные дипломаты в своих донесениях из Петербурга отметили в те дни щедрую помощь русского императора осиротевшей семье первого поэта страны.

Славу Пушкина Николай I умело использовал в своих интересах.

Но возвратимся к письму.

«Поверишь ли,— пишет С. Н. Карамзина,— в эти три дня было продано 4000 экземпляров «Онегина».

Как эта небольшая подробность передает атмосферу тех дней!

«Вчера (то есть после отпевания, в понедельник.— *И. А.*) мы еще раз видели Натали, она была спокойнее и *много* говорила о муже. Через неделю она уезжает в имение брата возле Калуги, где намерена провести два года. «Мой муж,— сказала она,— велел мне два года носить по нем траур (какая деликатность чувств с его стороны, он и тут заботился о том, чтобы охранить ее от пересудов света), и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года в деревне. Сестра приедет ко мне, это будет для меня большим утешением».

Да, таково было завещание Пушкина; в день смерти, прощаясь с женою, он сказал ей: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, только не за шелопая». Это слышали Вяземские.

«Еще мы говорили об анонимных письмах. Я рассказала ей о том, что ты говорил по этому поводу, и о твоем страстном возмущении против их гнусного автора».

«Пощечины от руки палача — вот чего он, по-моему, заслуживает»,— писал родным Андрей Карамзин, высказывая опасение, что если «этот негодяй когда-нибудь откроет свое лицо», то «наше снисходительное общество», то есть великосветское, выступит в роли его соучастника. В этом он не ошибся.

В те дни друзья Пушкина постоянно возвращаются к мысли о пасквиле, угадывая теперь, задним числом, что он был главной причиной, приведшей Пушкина к гибели, что развязка трагедии — на душе сочинителя, что с тех пор Пушкин «не мог успокоиться».

«Теперь,— продолжает Карамзина,— расскажу об одной забавной мелочи среди всех наших горестей: Данзас просил государя разрешить ему сопровождать тело; государь ответил, что это невозможно, так как Данзас должен идти под суд (говорят, впрочем, что это будет одна формальность). Для того, чтобы отдать этот последний долг Пушкину, государь назначил Тургенева,— «как единственного из друзей Пушкина, который в настоящее время ничем не занят». Тургенев сегодня вечером уезжает с телом. Он очень недоволен этим и не умеет это скрыть. Вяземский хотел поехать, я ему [Тургеневу] сказала: «Почему бы ему не поехать с вами?» *«Помилуйте, со мною! — он не умер!»*

То же самое отметил в своем дневнике Тургенев: «О Вяземском со мною (у Карамзиных): «он еще не мертвый».

Карамзиной кажется «забавной» стороной в этом деле, что царь без ведома Тургенева назначил его сопровождать гроб с телом Пушкина вместе с жандармом. Тургенев подчинился, но заявил, что поедет «на свой счет и с особой подорожной». В дневнике он, уязвленный, подчеркивает: «отправились *мы* — я и жандарм!!»

Ирония его ответа Карамзиной в том, что он «ничем не занят» и поэтому царь превратил его в служителя погребальной процессии: возить Вяземского ему не положено — Вяземский не мертвый, а ему, Тургеневу, царь, мол, определил возить только покойников.

11

А. И. Тургенев отвез тело Пушкина туда, где поэт два года прожил в изгнанье, и похоронил в Святогорском монастыре, и уже вернулся в столицу, но волнение, вызванное убийством Пушкина, еще не утихло. Об этом можно судить по строчкам тагильских писем, даже по тем, которые не имеют прямого отношения к Пушкину.

10 февраля Софья Николаевна пишет «несколько строчек».

Праздновалось рождение младшей сестры, Лизы. Желая устроить ей настоящий праздник, Екатерина Николаевна Мещерская повела ее в русский театр, «где Каратыгин был великолепен в пьесе «Матильда, или Ревность». Лиза

Карамзина и Наденька Вяземская «безумствовали от восторга». Вместе с ними повели восьмилетнего сына Мещерских — Николеньку.

«Сперва он был очень доволен, но затем испугался, что будут стрелять из пистолета, так как из всего происходившего на сцене понял только, что там ссорятся; история же с Пушкиным, о которой он слышал... необыкновенно обострила его сообразительность по отношению ко всему связанному с дуэлями, и он решил, что и тут будет дуэль. Пришлось увезти его домой раньше окончания.

Не могу тебе передать,— продолжает Софья Николаевна на той же странице,— какое грустное впечатление произвел на меня салон Екатерины в то первое воскресенье, когда я там опять побывала,— не было уже никого из семьи Пушкиных, неизменно присутствовавших раньше,— мне так и чудилось, что я их вижу и слышу звонкий, серебристый смех Пушкина. Вот стихи, которые написал на смерть Пушкина некий г. Лермантов, гусарский офицер. Они так хороши по своей правдивости и по заключенному в них чувству, что мне хочется, чтобы ты их знал.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений Света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж?.. веселитесь...— он мучений
Последних вынести не мог;
Угас, как светоч, дивный Гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

И что за диво?.. из далека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Как это прекрасно, не правда ли? Мещерский пошел отнести эти стихи Александрине Гончаровой, она просила их для сестры, которая с жадностью читает все, что касается мужа, постоянно говорит о нем, обвиняет себя и плачет. Она все время так мучается, что жалко смотреть, но стала спокойнее и у нее уже нет такого безумного блуждающего взгляда. К сожалению, она плохо спит, вскрикивает по ночам, зовет Пушкина: бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы... Одоевский умиляет своею любовью к Пушкину: он плакал, как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строчек, в которых он объявил в своем журнале о смерти Пушкина. «Современник» будет по-прежнему выходить в этом году».

Стихотворение Лермонтова Софья Николаевна приводит в письме без единого отступления от собственноручного текста Лермонтова. Это понятно — стихотворение дал ей списать В. Ф. Одоевский, у которого находился автограф. В первые дни после смерти Пушкина предполагалось напечатать этот текст в «Современнике»; после замечания, которое получил Краевский от Уварова, об этом нечего было и думать. Заключительных строк Софья Николаевна не приводит по вполне понятной причине — в те дни Лермонтов еще не написал их, еще не пострадал и не сослан. Это потом, по возвращении из ссылки, через год с небольшим, он сделается гостем и другом Карамзиных, гордостью и украшением их салона. А в феврале 1837 года он еще «некий», он еще не знаком с ними, хотя в доме Карамзиных бывает добрый десяток его однополчан — лейб-гусаров. Впоследствии познакомил его с Карамзиными, очевидно, Одоевский.

Несколько строк, в которых Одоевский объявил о смерти Пушкина,— это краткий некролог, начинающийся словами: «Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет...», помещенный в № 5 «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Считалось, что автор этого некролога Краевский. Р. В. Заборова, сотрудница Ленинградской Публичной библиотеки, высказала предположение, что некролог написан Одоевским. Предположение подтверждается.

121-я страница альбома. Письмо по-русски, с датой: «17 февраля, Дежурная комната». Почерк Александра Карамзина, довольно разборчивый:

«На смерть Пушкина я читал два рукописных стихотворения: одно какого-то лицейского воспитанника, весьма порядочное; другое гусара Лерментова [1], по-моему, прекрасное, кроме окончания, которое, кажется, и не его.

Вообще публика приняла с таким энтузиазмом участие в смерти своего великого поэта, какого никак я от нее не ожидал. *Что касается высшего света* — это заплеснутая [заплесневелая? — *И. А.*] пенка публики, она слишком достойна глубокого презрения, чтобы обратить внимание на ее толки pro et contra [2], которые, если это возможно, бессмысленнее ее самой. Как ни ругай *публику* (тут Карам-

[1] Так у Карамзина.
[2] За и против *(лат.)*.

зин переходит на французский язык) *в собственном смысле слова, все же это лучшее, что у нас есть. Совершенно неправильно было бы говорить, как часто у нас и говорится, что у наших писателей нет публики: скорее наоборот, нашей публике недостает писателей.* Немудрено, что им нравится какая-нибудь чучела Брамбеус на голодный зуб. Желали бы лучше, да нет».

Под стихотворением лицейского воспитанника Карамзин подразумевает «Воспоминание о Пушкине», автор которого остается до сих пор неизвестным, хотя из текста стихотворения следует, что оно написано однокашником Пушкина, принимавшим участие в праздновании лицейских годовщин.

Разницу между этим слабым стихотворным откликом на смерть Пушкина и гениальным стихотворением Лермонтова Карамзин почувствовал, но в оценке заключительных строк «Смерти Поэта» (они были написаны 7 февраля) оказался на уровне своего круга. Гневная речь Лермонтова, обращенная к потомкам «известной подлостью прославленных отцов»,— строки, в которых Лермонтов грозит палачам Пушкина народною местью, предрекает время, когда польется их черная кровь,— не понравилась Александру Карамзину. Для него это слишком смело и резко, хоть он с презрением говорит о высшем свете и сочувственно — о читателях Пушкина, о демократической части общества. И неплохо объясняет успех произведений О. И. Сенковского, выступавшего под псевдонимом «Барон Брамбеус». Сенковский, писатель и критик, редактор журнала «Библиотека для чтения», вместе с Булгариным и Гречем выступал против Пушкина. В отзыве Александра Карамзина чувствуется человек, не чуждый литературной борьбы 1830-х годов, сторонник Пушкина, Вяземского, Одоевского.

12

16 февраля Наталья Николаевна Пушкина вместе с сестрой Александриной и теткой Екатериной Ивановной Загряжской уехала из Петербурга в калужское имение брата Полотняный завод.

«Вчера выехала из Петербурга Н. Н. Пушкина,— пишет Александр Карамзин.— Я третьего дня ее видел и с

ней прощался. Бледная, худая, с потухшим взором, в черном платье, она казалась тению чего-то прекрасного. Бедная!!!»

Во всех письмах о дуэли и смерти Пушкина друзья старательно оберегают честь Натальи Николаевны. Это понятно. Даже те, кто не знает Пушкина близко, как, например, сослуживец Краевского литератор Януарий Неверов, считают слова Пушкина о невиновности Натальи Николаевны «его последним святым завещанием». Только Вяземский упрекнул Наталью Николаевну в «бестактности» да в том, что в ее отношении к Дантесу после его женитьбы было много беспечности и непоследовательности.

Письма Екатерины Андреевны и Софьи Николаевны Карамзиных не предназначены для распространения и пишутся не для того, чтобы защищать вдову Пушкина в общественном мнении. В первые дни обе женщины рассказывают о Наталье Николаевне с глубоким сочувствием. Но следующие письма — о последнем свидании с нею, о проезде Натальи Николаевны через Москву, где она не пожелала повидать отца Пушкина,— полны сурового осуждения.

Прежде всего это относится к письму Софьи Николаевны, написанному 17 февраля. Она раздосадована тем, что перед отъездом Наталья Николаевна «слишком занималась упаковкой вещей» и «кажется, совсем не была тронута, когда прощалась с Жуковским, Данзасом и Далем, этими тремя ангелами-хранителями, которые окружали постель ее умирающего мужа и так много сделали, чтобы смягчить его последние минуты». Софья Николаевна находит, что в такую минуту «можно бы проявить больше чувства». Ей кажется, что Наталья Николаевна «менее грустна, чем обычно». Софья Николаевна не удивляется этому. Она считает, что «Натали» «поставила на карту драгоценную жизнь Пушкина» по легкомыслию и «даже не ради увлечения, а ради жалких соблазнов кокетства и тщеславия».

«Бедный, бедный Пушкин,— восклицает Карамзина,— она его никогда не понимала. Потеряв его по своей вине, она сильно страдала только несколько дней, а теперь горячка уже прошла, осталась только слабость и угнетенное настроение; и то пройдет очень скоро!

Обе сестры виделись, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда, и тут Екатерина наконец-то хоть немного откликнулась на это несчастье, которое по-настоящему лежит на ее совести тоже,— она заплакала, но до тех пор она все время была весела, спокойна, смеялась и всем, с кем виделась, говорила только о своем счастье. Вот еще тоже чурбан, да и дура вдобавок!

Суд над Дантесом еще не кончился, говорят, его разжалуют и затем вышлют из России. Геккерен готовится к отъезду и у себя в кабинете самолично распродает весь свой фарфор и серебро; весь город ходит к нему покупать, кто для смеха, а кто из дружбы».

Пришел отклик Андрея на письмо, в котором Екатерина Андреевна рассказывает о последних минутах Пушкина и о своем с ним прощании. А вот ответ матери:

«Среда, 8 марта, 1837, С.-Петербург.

Я знала, что весть о трагической смерти Пушкина поразит тебя в самое сердце. И ты не ошибся, предполагая, что м-м Пушкина станет для меня предметом сочувствия и забот. Я ходила к ней почти каждый день, сперва с глубоким состраданием к ее великому горю, но потом, увы, с уверенностью, что это горе, хотя и острое сейчас, не будет ни продолжительным, ни глубоким. Грустно сказать, но это правда. Наш добрый, наш великий Пушкин должен был бы иметь совсем другую жену, более способную его понять и более подходящую к его уровню. Их рассудит бог, но все же эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор темная,— он внес в нее свою долю непостижимого безрассудства... Бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности и неразумия этой молодой красавицы, которая ради нескольких часов кокетства не пожалела его жизни. Не думай, что я преувеличиваю, я ведь ее не виню, как не винят детей, когда они по неведению или необдуманности причиняют зло».

Эту характеристику Н. Н. Пушкиной продолжает в том же письме Софья Карамзина.

«Сейчас она уже успокоилась,— пишет Софья Николаевна о жене Пушкина,— и ведь он хорошо ее знал, он знал, что это Ундина, в которую еще не вдохнули душу. Да простит ей господь, ибо она не ведала, что творит. И ты, мой

дорогой Андрей, не горюй о ней — для нее еще много найдется на земле радостей и удовольствий».

Нельзя не задуматься над этими строчками. Карамзины хорошо знают Наталью Николаевну и, конечно, сообщают о ней мнение искреннее и авторитетное. Их письма дополняют наши представления о характере этой женщины, помогают понять ее отношение к Пушкину, и к его гибели, и к окружавшим его. Софья Николаевна называет ее бестолковой. Екатерина Андреевна пишет, что ее поведение после гибели Пушкина говорит о недостатке ума и о черством сердце, но, кстати сказать, горькие упреки по адресу Натальи Николаевны никак не повлияют на их дальнейшие отношения с ней. По возвращении своем из деревни она по-прежнему будет украшать их салон, где когда-то появлялась с Пушкиным и встречалась с Дантесом. Она еще увидит внимание к себе в этом доме. И только один Лермонтов будет избегать разговоров с ней.

Нет надобности защищать и оправдывать жену Пушкина. Но все же причина его гибели не она. И в этом отношении письма Е. А. и С. Н. Карамзиных уступают свидетельствам Вяземского, Александра Тургенева, Александра Карамзина, Екатерины Мещерской, Соллогуба. Те понимают *общественный* смысл происшедших событий, говорят о загадочной обстановке, о клевете, пытаются разгадать анонима. Вяземский считает, что постыдную роль в этой истории сыграли «некоторые общественные вершины», что Пушкина «положили в гроб и зарезали жену его» городские сплетни и клевета петербургских салонов. Соллогубу понятно, что в лице Дантеса Пушкин искал расправы с целым светским обществом. А Софья Николаевна и Екатерина Андреевна ограничивают конфликт семейными рамками; сосредоточившись на личности Натальи Николаевны Пушкиной, они не делают даже попыток угадать скрытые — и главные — причины гибели Пушкина, ни словом не намекают о них Андрею. Хотя Екатерина Андреевна и пишет, что «эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор темная», ни она, ни Софья Николаевна не связывают эту историю ни с тайными интригами, ни с отношением к Пушкину великосветских салонов, ни с лютой ненавистью к нему графа Бенкендорфа, графа и графини Нессельроде, Уварова, княгини Белосельской, падчерицы Бенкендорфа, которую Данзас назвал в числе сильнейших врагов поэта, скрыв ее под буквой — «княгиня Б.».

Несмотря на скупую информацию, Андрей Карамзин лучше их сумел понять в Париже смысл происшедшего в Петербурге. «Поздравьте от меня петербургское общество, маменька,— писал он.— Оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке: поздравьте его, оно стоит того...»

Всеобщее сочувствие, возбужденное смертью Пушкина, тронуло Андрея Карамзина и обрадовало его до слез. «Но с другой стороны,— продолжает он,— то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать!), меня нимало не удивило: оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву... это в порядке вещей».

Но удивительно, что это свое негодование по адресу аристократии Андрей Карамзин не распространяет на Дантеса. Убежденный в том, что Дантес пожертвовал собой ради спасения чести любимой женщины, а выйти на поединок был вынужден, Карамзин не хочет верить, что Дантес после свадьбы своей продолжал говорить Наталье Николаевне о своей любви к ней. «Я первый, с чистой совестью и со слезой на глазах о Пушкине, протяну ему руку; он вел себя честным и благородным человеком — по крайней мере, так мне кажется,— пишет Андрей Карамзин родным,— но что у Пушкина нашлись ожесточенные обвинители... негодяи!»

Софья Николаевна вполне с ним согласна: в ее собственных письмах за горестными строчками о Пушкине следуют сожаления по адресу Дантеса, который будет разжалован.

Вот что значат понятия о чести в светском обществе, понятия, по которым оскорбитель, убивший на поединке оскорбленного им человека, реабилитируется в общественном мнении, понятия, по которым великий национальный поэт и наглый иноземный развратник в глазах даже таких людей, как Андрей и Софья Карамзины, выступают как равноправные члены общества.

Все же вести, которые приходят в Париж от матери и сестры, не объясняют Андрею тайных причин катастрофы. И он обращается с просьбой: «Скажите брату Саше, что я ожидаю от него письма, он, как мужчина, многое мог слышать».

13

13 марта Александр берется за перо. Его письмо на семи страницах — из них половина посвящена Пушкину. Приведем их здесь полностью — это самый значительный документ тагильской находки.

«Здравствуй, брате, что делаешь? Здоров ли? весел ли? Я очень доволен твоими письмами, где ты так хорошо пишешь о деле Пушкина. Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе, или лучше о Эккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такою благородною доверенностию: теперь я знаю его, к несчастью [1], это знание мне дорого обошлось. Дантес был совершенно незначительной фигурой, когда сюда приехал: необразованность забавно сочеталась в нем с природным остроумием, а в общем это было полное ничтожество как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, его считали бы добрым малым, и больше ничего, и я бы не краснел, как краснею сейчас, при мысли, что был с ним дружен,— но его усыновил Геккерн по причинам, до сей поры неизвестным обществу (которое мстит за это, строя всяческие предположения). Геккерн — человек весьма хитрый и развратник, каких свет не видывал, и ему не стоило большого труда совершенно завладеть умом и душой Дантеса, у которого ума было значительно меньше, а души, возможно, и вовсе не было. Эти два человека, не знаю уж с каким дьявольским умыслом, принялись так упорно и неуклонно преследовать м-м Пушкину, что, пользуясь ее простотой и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, добились того, что за один год почти с ума свели несчастную женщину и совершенно погубили ее репутацию. Дантес в то время хворал грудью и худел на глазах. Старик Геккерн уверял м-м Пушкину, что Дантес умирает от любви к ней, заклинал спасти *его сына*, потом стал грозить местью, а два дня спустя появились эти анонимные письма (если правда, что Геккерн сам является автором этих писем, то это совершенно непонятная и бессмысленная жестокость с его стороны; однако люди, которым, казалось бы, должна быть известна вся подоплека, утверждают, что его авторство почти доказано). За сим последовали признания м-м Пушкиной мужу, вызов и затем женить-

[1] Далее по-французски.

ба Геккерна; та, которая так долго подвизалась на ролях сводни, выступила, в свою очередь, в роли любовницы (amante), а затем и супруги; она, единственная из всех, выиграла на этом деле, торжествует и по сие время и до того поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а возможно, и душу своей сестры м-м П[ушкиной], убив ее мужа, она в день отъезда м-м Пушкиной послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей *простить*!!! У Пушкина тоже была минута торжества: ему казалось, что он утопил в грязи своего врага и заставил его играть роль труса; но Пушкин, полный ненависти к этому врагу, давно исполненный омерзения к нему, не сумел взять себя в руки, да он даже и не пытался. Он сделал весь город, всех посетителей салонов наперсниками своей ненависти и своего гнева, он не сумел воспользоваться выгодами своего положения и стал почти смешон. И так как он не объяснял нам всех причин своей ярости, то мы все говорили: да чего же он хочет? Что он, с ума сошел? Или показывает свою удаль? — А Дантес тем временем, следуя советам своего *старого* <два бранных слова>, вел себя необыкновенно тактично, стараясь главным образом привлечь друзей Пушкина на свою сторону. Наше семейство он усерднее, чем раньше, заверял в своей дружбе; он делал вид, что откровенен со мной до конца, и не скупился на излияния чувств, он играл на таких струнах, как честь, благородство души, и так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность м-м П[ушкиной] и в любовь к Екатерине Г[ончаровой], словом, во все самое нелепое и невероятное, но только не в то, что было на самом деле. На меня словно нашло ослепление, словно меня околдовали: ну, как бы там ни было, а я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор меня тревожат; каждый день я переживаю их вновь и вновь и тщетно пытаюсь их отогнать. Без сомнения, Пушкину было тяжело, когда я у него на глазах дружески пожимал руку Дантесу, стало быть, и я способствовал тому, чтобы растерзать это благородное сердце, ибо он страдал невыразимо, видя, что его противник встает, обеленный, из грязи, в которую Пушкин его поверг. Гений, составлявший славу своей родины, привыкший слышать только рукоплескания, был оскорблен чужеземным авантюристом <......>, который хотел замарать честь Пушкина, и когда он, исполненный негодования, заклеймил позором своего противника, тогда собственные его сограждане под-

нялись на защиту авантюриста и стали извергать хулу на великого поэта. Конечно, не все его соотечественники изрыгали эту хулу, а только горсточка низких людей, но поэт в своем негодовании не сумел отличить вопль этой клики от голоса широкой публики, к которому он всегда был так чуток. Он страдал безмерно, он жаждал крови, но бог, к нашему горю, судил иначе, и лишь собственная кровь поэта обагрила землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса — и немедленно порвал с ним. Может быть, я говорю слишком резко и с предубеждением, может быть, это предубеждение происходит именно оттого, что раньше я был слишком к нему расположен, но, так или иначе, не подлежит сомнению, что он обманул меня красивыми словами и заставил видеть преданность и высокие чувства там, где была только гнусная интрига: не подлежит сомнению, что и после своей женитьбы он продолжал ухаживать за м-м Пушкиной, чему я долго не хотел верить, но очевидные факты, которые стали мне известны позже, вынудили меня, наконец, поверить. Всего этого достаточно, брат, чтобы ты не подавал руки убийце Пушкина. Суд его еще не кончен [1]. После смерти Пушкина Жуковский принял по воле государя все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена: прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений, *бесконечное изящество, связанное с большим чувством и жаром*; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!.. Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..»

Сопоставим этот замечательный документ с тем, что пишут Вяземский и Тургенев.

В первые же дни после смерти Пушкина, решив выяснить для себя ход событий и мотивы, руководившие Пуш-

[1] С этой фразы и до конца — по-русски.

киным, они все более приходят к убеждению, что Пушкин пал жертвой тонкой и сложной интриги, что его «погубили». Сопоставляя последние разговоры Пушкина, обмениваясь с друзьями подозрениями и догадками, Вяземский понимает, что против Пушкина и его жены были устроены «адские козни», «адские сети», что они «попали в гнусную западню», он пишет о «развратнейших и коварнейших покушениях двух людей» на «супружеское счастье и согласие Пушкиных».

Это мнение вполне разделяет Тургенев. В его глазах, как и в глазах Вяземского, Геккерен и Дантес с каждым днем «становятся мерзавцами более и более», по мере того как раскрывается «гнусность поступков» Геккерена-отца.

В письмах, адресованных друзьям и знакомым, оба, и Тургенев и Вяземский, стремятся развеять клевету вокруг имени Пушкина, правильно информировать общество в отношении поступков Дантеса и хотя бы глухими намеками дать представление о том, что за спиной Дантеса стояли силы, враждебные Пушкину, что обстоятельства, толкавшие его к гибели, Пушкин предотвратить не мог.

То, что пишет Карамзин, совпадает с утверждениями Вяземского и Тургенева. Как и они, Карамзин уверен, что у Геккерена и Дантеса была цель — «замарать честь Пушкина». Точно так же он говорит о «дьявольском умысле», о «гнусной интриге».

Автором анонимного письма Карамзин считает Геккерена. Ему говорили, что люди, «которым должна быть известна вся подоплека», авторство Геккерена считают почти доказанным. Кто они, эти «люди»? Кому могла быть известна «вся подоплека» событий? Очевидно, он разумеет жандармов — руководителей Третьего отделения Бенкендорфа и Дубельта.

Вспомним, что Николай I, как утверждает его дочь Ольга, поручил Бенкендорфу предпринять поиски автора писем. Н. М. Смирнов, муж А. О. Россет, пишет в своих воспоминаниях, что «полиция имела неоспоримые доказательства», подтверждающие авторство Геккерена, и что Николай в этом не сомневался. Пусть Щеголеву удалось доказать, что диплом, адресованный Пушкину, переписан или даже написан измененным почерком князя П. В. Долгорукова (это еще требует дальнейшего изучения), но это не отводит подозрений от Геккерена, инициатива несомненно принадлежала ему.

Мы видим, что люди, близко стоящие к Пушкину, разделяют его убеждение относительно Геккерена. Они слышали это от самого Пушкина, а кроме того, его письмо к Геккерену известно им в копии: после смерти Пушкина копия находится в руках Вяземского. Вероятно, Карамзин читал это письмо и просто пересказывает пушкинские слова — там, где он говорит, как Дантес хворал и худел, а старый Геккерен уверял Наталью Николаевну, что он умирает от любви к ней, и заклинал ее «спасти его сына». Припомним пушкинский текст. «Когда, заболев... он должен был сидеть дома,— писал Пушкин посланнику,— вы говорили ей, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: верните мне моего сына».

За увещеваниями последовали угрозы, рассказывает Карамзин, «а два дня спустя появились эти анонимные письма».

Если сопоставить эти слова с записью в дневнике Барятинской, о котором уже было говорено в этой книге, то последовательность событий становится совершенно понятной. Наталья Николаевна отказывается от внимания Дантеса, отвергает его, за этим следуют заклинания и угрозы Геккерена, а через два дня после угроз появляются анонимные письма.

Нет, чьей бы рукой ни был переписан текст пасквиля, ясно, что это месть, исходящая из дома Геккеренов!

Оставить оскорбление без последствий Пушкин не мог. Вызов, посланный им Дантесу, был только частью задуманного им плана действий.

«Через несколько дней вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде,— заявил Пушкин Вяземской в первой половине ноября, когда еще подозревал в сочинении письма Дантеса,— она будет полная, совершенная, она бросит того человека в грязь».

Когда Александр Карамзин говорит, что Пушкин «утопил в грязи своего врага», он, конечно, вспоминает эту угрозу и подтверждает тем самым, что Пушкин ее исполнил. Из его слов выясняется также, что именно разумел Пушкин под выражением «бросить в грязь». Он его утопил в грязи, пишет Карамзин, «заставив играть роль труса».

Он имеет в виду тот момент, когда Пушкин, разгласив в ноябре о предстоящем поединке (вспомним упреки Жуковского, что он не соблюдает тайны), вслед за тем отка-

зался от вызова под предлогом, что Дантес женится на его свояченице. Конечно, после этого помолвка Дантеса должна была выглядеть как проявление трусости, как нежелание драться. И в тот самый момент, когда Пушкин мог считать, что унизил и развенчал Дантеса в глазах светского общества, это общество начинает оказывать Дантесу внимание, жалеет его, подхватывает распущенный Геккереном слух о благородстве Дантеса, о жертве, которую якобы он принес Наталье Николаевне Пушкиной. В городе говорят, что жениться на Гончаровой заставил Дантеса Пушкин (хотя Пушкин и бьется об заклад, что Дантес не женится), а великосветская знать твердит о самопожертвовании. Только в такой связи можно понимать слова Карамзина о том, что Пушкин, «исполненный негодования, заклеймил позором своего противника», а он «встает, обеленный, из грязи, в которую Пушкин его поверг».

Теперь, когда Пушкина уже нет, Карамзин понимает, какую помощь он и его родные оказали Дантесу, продолжая по-прежнему принимать его в своем доме, где он снова получил возможность встречаться с Натальей Николаевной и самим присутствием своим наносить оскорбление Пушкину, который отказался принимать в своем доме не только его, но и свояченицу.

Самой тяжелой виной Дантеса Карамзин считает его ухаживание за Пушкиной после женитьбы на ее сестре. Если так, то ни о самопожертвовании, ни о рыцарском поведении, ни о любви к Екатерине Гончаровой не может быть и речи. А как раз в этом-то Дантес и старался заверить Карамзиных, склоняя их на свою сторону.

Поведение его оказалось сложной игрой. Эту игру еще при жизни Пушкина понял Жуковский и внес в свои конспективные записи несколько строк, разоблачающих двуличие и подлость Дантеса.

«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной.— Les Révélations d'Alexandrine <разоблачения Александрины>. При тетке ласка с женой; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries <резкости>. Дома же веселость и большое согласие».

Биографы по ошибке отнесли эти строки к Пушкину. Только в наши дни Е. С. Булгакова и независимо от нее А. Л. Слонимский по-новому истолковали эту запись, и

сразу стало понятно, что речь в ней идет о Дантесе. Это у него «два лица» после свадьбы, а совсем не у Пушкина, Это он при Наталье Николаевне напускает на себя мрачность, а в ее отсутствие весел. Свояченица Пушкина Александрина подметила, что при их тетке — Е. И. Загряжской — Дантес ласков с женой, а при ней, Александрине, и при других, кои могут передать Наталье Николаевне, говорит жене резкости. Между тем дома у Геккеренов «веселость и большое согласие». Эта подлая игра и разоблачает Дантеса в глазах Александра Карамзина.

Андрей Карамзин в Париже хочет найти оправдание Дантесу. Но Александр уже понял, что Дантес действовал по наущению Геккерена, который плетет интригу, и он пишет: «не подавай руки».

Важную роль в этом заговоре, гораздо большую, чем это было принято считать до сих пор, Александр Карамзин отводит Е. Н. Гончаровой. В его рассказе она выступает как пособница Геккеренов, как активный враг; он называет ее в числе убийц Пушкина.

С того дня, когда Пушкин, получив пасквиль, вызвал Дантеса на дуэль, аристократия встала на защиту авантюриста и принялась травить Пушкина пуще прежнего. Александр Карамзин возмущен этим. Он ценит и понимает поэзию Пушкина, он называет его врагов «кликой», «горсточкой низких людей».

«Не думай, однако,— приписывает он с краю по-французски,— что все общество встало против Пушкина после его смерти; нет, только Нессельрод и еще кое-кто. Другие, наоборот, например графиня Нат[али] Строганова и м-м Нарышкина *(Мар. Яков.)* с жаром выступили на его защиту, что даже повело к нескольким ссорам, а большинство вовсе ничего не говорило — *так им и подобает»*.

О том, что в петербургском великосветском обществе еще при жизни Пушкина образовались две партии, одна — за Пушкина, другая — за Дантеса, рассказывал в свое время секундант поэта Данзас.

Карамзин прав, когда говорит о существовании двух партий и о том, что во главе враждебных Пушкину сил находилась целая «клика». Даже по словам великого князя Михаила Павловича, Пушкина довели до смерти «подлый образ действий» и сплетни «клики злословия», «конгрегации», которую брат царя называл «комитетом обще-

ственного спасения». Известно — об этом пишет Д. Д. Благой,— что великий князь имел при этом в виду салон жены министра иностранных дел графини М. Д. Нессельроде.

Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна и столь же хорошо известна, как и дружеское отношение ее к Геккерену и Дантесу, на свадьбе которого она была посаженой матерью. Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного диплома — по лютой вражде своей к Пушкину и по моральной низости она была способна на это. Почти вне сомнений, что она вдохновительница этого подлого документа.

Даже в те дни, когда Николай I, встревоженный проявлением народного сочувствия Пушкину, счел нужным продемонстрировать свое охлаждение к Геккерену и выслал ему табакерку с портретом своим в знак того, что не желал бы более видеть его среди дипломатических представителей, аккредитованных при русском дворе, даже и тогда графиня Нессельроде не отступилась от Геккеренов, а продолжала выказывать им свое покровительство.

В ее салоне в самой откровенной и циничной форме выражалась вражда, которую питало к Пушкину аристократическое общество в целом. В распоряжении исследователей имеется достаточно сведений, разоблачающих зловещую роль в судьбе Пушкина графини Нессельроде. Теперь прибавилось письмо Александра Карамзина.

Однако, если вполне положиться на его слова, что против Пушкина выступали Нессельроде и «еще кое-кто», можно подумать, что силы противников и сторонников Пушкина были равны. На самом же деле отношение аристократии к Пушкину определяли не друзья, а враги. И не только самые лютые, кто клеветой и злоречьем довели его до кровавой развязки, погубили его, но и те, которые открыто не выступали, но при жизни Пушкина Дантеса поддерживали, а после смерти оправдывали. Да что же говорить о представителях великосветского общества, далеких Пушкину и враждебных, когда друзья — Карамзины — не встали на его сторону! Больше, чем защитительные речи аристократок, упомянутых Александром Карамзиным, говорят нам письма Андрея и Софьи: в дни, когда каждый грамотный русский проклинал убийцу поэта, они стремились его оправдать! Ничто не обнажает с такой ясностью отношение великосветского общества к Пушкину, как позиция его друзей, разделяющих взгляды этого общества!

Много ли было в петербургских гостиных таких, как Александр Карамзин? Дамы, которых он называет?

Первая из них — уже упоминавшаяся в письмах графиня Наталья Викторовна Строганова. Помимо ее близости к семейству Карамзиных зимой 1836—1837 года, она находилась в дружеских отношениях с Вяземским; вернее всего, что в ее отношении к гибели Пушкина отразилась позиция Вяземского. Что касается Марии Яковлевны Нарышкиной, имя которой в связи с Пушкиным мы встречаем впервые, она не может быть причислена к николаевской знати: ее муж, гофмаршал К. А. Нарышкин, находился в оппозиции к правительству Николая, мнений придворной аристократии Нарышкины не разделяли. То, что попытки Строгановой и Нарышкиной встать на защиту Пушкина привели к нескольким ссорам, лишний раз свидетельствует об активности пушкинских врагов.

«Да, конечно, светское общество погубило его!» — восклицал Вяземский, напоминая, что сплетни и анонимные письма приходили к Пушкину «со всех сторон». Что Пушкина убил «неблагожелательный свет», утверждала и Екатерина Мещерская. «В наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах,— писала она вскоре после гибели Пушкина,— едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта... и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени». Какая точная характеристика барона Дантеса-Геккерена, французского монархиста, усыновленного голландским дипломатом и обласканного русским двором!

14

«Князь Петр В[яземский]... все эти дни был болен — физически и нравственно, как это с ним обычно бывает,— пишет Екатерина Андреевна сыну 16 марта,— но на этот раз тяжелее, чем всегда, так как дух его жестоко угнетен гибелью нашего несравненного Пушкина...»

Из писем Карамзиных окончательно выясняется, что об отправке письма Геккерену Вяземский узнал вечером 25 января, за два дня до дуэли: Пушкин сам рассказал об

этом его жене — Вере Федоровне. Даже и не читая письма, Вяземский должен был понимать, что последствием его может быть только дуэль. И все же, как видно, ничего не сделал для того, чтобы предупредить несчастье. Выходит, что намерение свое отвернуться от дома Пушкиных, о чем мы знаем из письма Софьи Карамзиной, Вяземский выполнил. Сомневался ли он, что может помочь Пушкину? Или не считал себя вправе вмешиваться в «дело чести», которое потом раскрылось ему как результат коварнейших покушений двух негодяев? Этого мы не знаем.

Но когда тело Пушкина после отпевания выносили из церкви, на паперти лежал кто-то большой, в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был Вяземский. Память Пушкина он защищал страстно, разрывая отношения с приятелями, которые вели себя в те дни непатриотично или колебались во мнениях. Во всяком случае, никто из людей, окружавших Пушкина в последние годы, не разоблачал с такой энергией, с такой убежденностью, как Вяземский, тайные интриги врагов, гнусность Геккерена и его приемного сына.

29 марта 1837 года. С.-Петербург. Письмо Софьи Карамзиной:

«Суд над Дантесом окончен. Его разжаловали в солдаты и под стражей отправили до границы; затем в Тильзите ему вручат паспорт, и конец — для России он больше не существует. Он уехал на прошлой неделе, его жена вместе со своим свекром поедет к нему в Кёнигсберг, а оттуда, как говорят, старый Геккерен намерен отправить их к родным Дантеса, живущим возле Бадена. Возможно, что ты их там встретишь: думаю, мне не нужно просить тебя: «будь великодушен и деликатен»; если Дантес поступил д у р н о (а только один бог знает, какая доля вины лежит на нем), то он уже достаточно наказан: на совести у него убийство, он связан с женой, которую не любит (хотя здесь он продолжал окружать ее вниманием и заботами), его положение в свете весьма скомпрометировано, и, наконец, его приемный отец (который, кстати, легко может от него и отказаться), с п о з о р о м, потеряв свое место в России, лишился здесь и большей части своих доходов...»

Бедный Дантес наказан: он не любит жену, Геккерен может от него отказаться, они лишаются русских доходов,

на совести у Дантеса убийство,— поэтому надо быть с ним деликатным и протянуть ему руку! Вот опять оно, мнение света! Как раскрываются характеры в письмах! Отношения к Пушкину и к Дантесу разделили семью на два лагеря: Софья и Андрей жалеют убийцу, Екатерина Мещерская и Александр проклинают его. Екатерина Андреевна, оплакивая Пушкина, не говорит о Дантесе ни слова. Вяземский выступает в защиту Пушкина, обвиняет обоих Геккеренов, обвиняет великосветское общество, а его дочь, Мария Валуева, торопится выразить сочувствие Екатерине Дантес...

«Так называемые патриоты,— продолжает Софья Николаевна,— случалось, начинали у нас разговоры о мести, предавали Дантеса анафеме и осыпали проклятиями,— такого рода рассуждения уже возмущали тебя в Париже, и мы тоже всегда отвергали их с негодованием. Не понимаю, неужели нельзя жалеть одного, не обрушивая при этом проклятий на другого. Если случится тебе встретить Дантеса, будь осторожен и деликатен, касаясь с ним этой темы...»

«Патриоты», проклинающие Дантеса,— это те, кто стоял на морозе под окнами Пушкина, кого не пустили в придворную церковь, у кого украли тело поэта, те, которых Софья Карамзина называла «вторым обществом», демократические круги, «средний класс», являвшийся тогда, по словам Пушкина, «единственно русским».

9 апреля, пятница, С.-Петербург. Снова письмо Софьи Николаевны Карамзиной:

«Жуковский недавно читал нам чудесный роман Пушкина «Ибрагим, Царский Арап». Этот негр до того обаятелен, что ничуть не удивляешься тому, что он мог внушить страсть придворной даме при дворе Регента. Многие черты его характера и даже его облик как будто скопированы с самого Пушкина. Перо писателя остановилось на самом интересном месте. Какое несчастье, боже мой, какая утрата, как об этом не перестаешь сожалеть...»

В рукописи этого неоконченного романа Пушкина заглавия нет. Название «Арап Петра Великого» дано редакцией «Современника», в которую после смерти Пушкина входили Жуковский, Вяземский, В. Одоевский, Плетнев и Краевский. «Арап» был напечатан в 1837 году, в шестой книжке журнала.

Строчки из письма Екатерины Андреевны от 11 мая:

«Чтобы сделать тебе подарок на пасху — записалась для тебя на собрание сочинений Пушкина за 25 рублей».

Среда, 2 июня 1837 года. Царское Село. Пишет Софья Карамзина:

«На днях я получила письмо от Александрины Гончаровой и Натали Пушкиной... Я еще раньше писала ей о романе Пушкина «Ибрагим», который нам недавно читал Жуковский,— кажется, в свое время я и тебе говорила о нем, ибо он привел меня в восторг,— теперь она мне отвечает: «Я его не читала и никогда не слышала от мужа о романе «Ибрагим»; возможно, впрочем, что я знаю его под другим названием. Я велела прислать мне все произведения моего мужа, я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества; слишком сильно и слишком мучительно волнуют они, когда их читаешь, будто снова слышишь его голос,— а это так тяжело».

Вероятно, Пушкин не читал жене этого неоконченного романа, над которым начал работать задолго до женитьбы, в 1827 году, и к которому позже, видимо, уже не возвращался.

9 июля, С.-Петербург. Екатерина Андреевна Карамзина:

«Хотела послать тебе «Современник», но кн[язь] Петр В[яземский] говорит, что послал его еще в листах м-м Смирновой; надеюсь, она даст тебе почитать».

Речь идет о пятой книжке «Современника», в которой напечатаны произведения Пушкина, обнаруженные при разборе его бумаг,— «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен» и стихи. В том же номере напечатано письмо Жуковского к отцу поэта, под названием «Последние минуты Пушкина». И, между прочим, стихи Александра Карамзина.

Александра Осиповна Смирнова-Россет, уехавшая за границу в июне 1835 года, хочет знать все подробности о гибели Пушкина, каждую новую строчку его стихов. Вяземский шлет ей листы «Современника» в Баден, где находится и Андрей Карамзин.

В этот курортный городок, излюбленный русской ари-

стократией, в конце июня 1837 года приехали Геккерен и Дантес. Андрей Карамзин встретил Дантеса на прогулке и... подошел к нему. «Русское чувство боролось у меня с жалостью,— объяснял он в письмах к родным, упрекая брата Александра за то, что тот не пожелал повидать и выслушать убийцу Пушкина.— В этом, Саша, я с ним согласен, ты нехорошо поступил».

Вот ответ Софьи Николаевны Андрею (17 июля 1837 года, Царское Село):

«Твое мирное свиданье с Дантесом очень меня порадовало...»

О многом говорит это «мирное свиданье». Несмотря на гневные тирады по адресу великосветского общества, Андрей Карамзин слишком разделял понятия этого общества и возвыситься над ними не мог. Он принадлежал свету всецело. И нет ничего удивительного в том, что в 1840-х годах он уже числился адъютантом шефа жандармов. В год гибели Пушкина эта эволюция еще не завершилась.

Две недели спустя после встречи с убийцей Пушкина Андрей Карамзин танцевал в Бадене на балу, устроенном русской знатью. «Странно мне было смотреть,— пишет он,— на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые».

Это сообщение подействовало даже на Софью Николаевну, хотя она и тут показала, что не поняла трагедии Пушкина.

«То, что ты рассказываешь о Дантесе, как он дирижировал мазуркой и котильоном,— отвечала она,— даже заставило нас всех как-то вздрогнуть, и все мы сказали в один голос: бедный, бедный Пушкин! Ну, не глупо ли было с его стороны пожертвовать своей прекрасной жизнью? И ради чего?»

Это письмо от 22 июля — последнее упоминание имени Пушкина в тагильской находке.

15

Обстоятельства, погубившие Пушкина, были куда сложнее, чем это казалось Карамзиным. Поэта долгие годы губили и в конце концов погубили: и унижавшая его при-

дворная служба, и невозможность вырваться из петербургского света и спокойно писать, мелочная опека царя, грубые нотации Бенкендорфа, борьба с цензурой, литературная травля, интриги бывших единомышленников, дела «Современника», долги, нужда, материальная зависимость от двора, глубокое одиночество, наглость Дантеса, козни его «отца», анонимный «диплом», сплетни и клевета злоречивого общества. Как много доказательств этому содержится в письмах Карамзиных! Огромный интерес представляет даже и то, что уже было известно раньше, от других современников.

Кроме того, тут много нового. В письмах, относящихся к июлю — октябрю 1836 года, находятся сведения о душевном состоянии Пушкина, о его литературно-издательских делах, об отношениях его к Дантесу, о той двойной игре, которую Дантес одновременно ведет с женой и свояченицей Пушкина. Ноябрьские письма помогают нам понять происхождение «диплома» и мотивы внезапного сватовства. Первые сообщения о дуэли и смерти Пушкина представляют собой новое опровержение легенды, сочиненной Жуковским. К документам, разоблачающим заговор «двух негодяев», прибавилось письмо Александра Карамзина. И почти все письма содержат важные детали, новые даты, имена знакомых Пушкина, прежде нам не известные.

Воспоминания, записки строятся на отобранных фактах, пишутся потом с «поправкой на время», с учетом сложившихся мнений. Дневник, хотя записи в нем идут «по следам событий», пишется как документ для истории. А письма содержат описание событий, последствия которых большей частью еще не известны, факты в них еще не осмыслены; в них передано только первое отношение к событию, с теми подробностями, которых не сохранила бы память мемуариста.

В своих письмах Карамзины часто говорят об одном, но каждый из них освещает факты по-своему. Благодаря этому мы видим Пушкина словно в стереоскопе, объемно. А в совокупности эти письма составляют целую повесть о борьбе и о гибели Пушкина, повесть, и теперь еще способную возбуждать чувства, с которыми приходили прощаться с Пушкиным его неизвестные почитатели. Пушкин во время дуэли и в дни страданий, прощание с Карамзиной, вереница незнакомых у гроба, толпа на Конюшенной площади в час отпевания, стихи Лермонтова, отправляемые в

Париж, письмо Александра Карамзина... Эти и многие другие страницы очень значительны. Такие письма стоят романа.

Понять смысл трагедии, разгадать, в чем причина того состояния Пушкина, которое они так подробно описывали, Карамзины не могли. Не раскрыли этого до конца и другие свидетели, которые понимали, что дело не только в Дантесе, и догадывались, очевидно, и о закулисных действиях Бенкендорфа, и о подлинном отношении царя, а возможно, и о его вмешательстве в отношения Пушкина и Дантеса. Вяземский в своих письмах к друзьям настойчиво твердил в те дни о «печальной и загадочной обстановке», намекал на существование тайны, жаловался, что многое осталось в этом деле темным и таинственным для него самого и друзей. Но то, о чем догадывался Вяземский, он написать не решался: надо было называть имена. «Сказанное есть сущая, но разве неполная истина»,— замечал он в конце обстоятельного письма к московскому почтдиректору А. Я. Булгакову с рассказом о гибели Пушкина. «Предмет щекотлив»,— объяснял он в письме к Е. А. Долгоруковой.

Не один Вяземский опасался писать. А. О. Смирнова, отвечая ему из Бадена, намекала, что и она кое-что знает и хотела бы поделиться своими мыслями о людях и делах, имевших отношение к гибели Пушкина, «но на словах,— писала она,— я побаиваюсь письменных сообщений».

Можно было бы привести целый ряд доводов, почему в переписке пушкинских современников невозможно найти ключ к раскрытию этой тайны. Стоит только припомнить жалобы Пушкина, что царь читает его переписку с женой, или то беспокойство, которое побудило Клементия Россета обратиться к Пушкину с просьбой, чтобы он не отсылал по почте свой ответ Чаадаеву.

Все эти заявления и намеки в письмах друзей Пушкина относятся к тому времени, когда даже знаки сочувствия к нему рассматривались как действия заговорщиков. С этим надо считаться. Тайна существовала. Современники раскрыть ее не могли.

Но о ней писал не только Вяземский. О ней говорят и Карамзины. И они допускают существование причин, оставшихся им неизвестными. Ведь несмотря на то что, по словам Софьи Карамзиной, Пушкин рассказывал ее сестре, Е. Н. Мещерской, «обо всех темных... подробно-

стях» этой истории, она все-таки кажется им «таинственной».

Хотя Жуковский и пеняет Пушкину за то, что он рассказал Карамзиным «все», они утверждают, что «суть» истории непонятна и «никому не известна». Пушкин убит, а история и после смерти его продолжает казаться им «темной». Анонимное письмо Софья Николаевна называет «явной причиной несчастья». Значит, подозревает и тайные. Подозревает потому, что причины явные — поведение Дантеса — еще не объясняют им состояния Пушкина. «Время откроет более»,— писал Александр Тургенев.

В 1926 году исследователь дуэли и смерти Пушкина Б. В. Казанский выдвинул гипотезу, что пасквиль, полученный Пушкиным по городской почте, связывал имя жены Пушкина с именем Николая. И что Пушкин понял этот намек. Независимо от Казанского с этой гипотезой выступил П. Е. Рейнбот. Ее принял П. Е. Щеголев, поддерживал и развивал М. А. Цявловский.

Новые письма не поддерживают, но и не опровергают этой гипотезы. Зато они подтверждают главное, то, что открыло наше время и доказали советские исследователи,— политический характер гибели Пушкина. Версия о семейной драме оказалась несостоятельной. Пушкина убило великосветское общество. Оно сочувствовало наглому искателю приключений, поддерживало грязного интригана, улыбалось выходке негодяя, выводившего каллиграфические буквы скабрезного документа. Оно хотело гибели Пушкина, оно ее подготовило. И не так уж важно, в конце концов, чьей рукой переписан документ, отравивший существование Пушкина. Кроме князя Долгорукова, рассылкой анонимных писем осенью 1836 года занимались молодой князь Урусов, молодой граф Строганов, молодой Опочинин... В великосветском обществе это считалось веселой забавой. Враги Пушкина превратили эту забаву в орудие казни. Письма Карамзиных оживляют наши знания множеством новых подробностей, проясняют наши представления о жизни Пушкина среди беспощадного к нему света.

И потому, что мы понимаем Пушкина лучше, чем понимали Карамзины, и знаем исход, которого Карамзины не предвидели, этот домашний разговор в письмах производит огромное впечатление. Он вызывает такие горькие сожаления, он будит, подымает в нас чувства такой беско-

вечной любви, которая уже давно доказала, что Пушкин бессмертен.

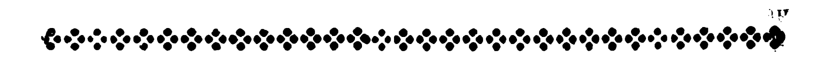
Вот какие материалы отыскались в Нижнем Тагиле. Вы, может быть, скажете, что это случайная находка? Да в том-то и дело, что не случайная: такое происходит в Тагиле уже не впервые.

В 1924 году в одном из домов, которым прежде владели Демидовы, обнаружилась старинная картина, изображающая мадонну с младенцем, с подписью: «Рафаэль Урбинас...»; она хранится в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Высказывалось мнение, что это «Мадонна», которую Рафаэль написал в 1509 году для церкви Мария дель Пополо в Риме,— она исчезла оттуда еще в XVI веке. Потом ее видели в Риме, у кардинала Сфондрато... Автор этой гипотезы, академик И. Э. Грабарь, предполагал, что кто-то из Демидовых, собравших во Флоренции огромные художественные богатства, привез «Мадонну дель Пополо» в Нижний Тагил. Другие специалисты не видят достаточных оснований считать «Тагильскую Мадонну» творением великого Рафаэля. Но как бы то ни было, картина эта принадлежит кисти старого итальянского мастера, и мастера замечательного. Такая находка делает честь Тагилу. А тут еще письма... Пожалуй, найдется еще что-нибудь в этом же роде! Впрочем, Тагил не один. Есть и другие города на советской земле, большие и малые. Стало быть, скоро услышим о новых находках [1].

1954—1956

---

[1] Автор выражает признательность Н. С. Боташеву и редакции «Нового мира», благодаря которым он узнал о тагильских материалах и получил возможность написать эту работу.



Сокровища замка Хохберг

Друзья

В Москве, на Малой Молчановке, близ нынешнего проспекта Калинина, сохранился маленький деревянный дом с мезонином, отмеченный в наше время мемориальной доской. В этом мезонине жил Лермонтов с 1830 по 1832 год, когда учился в Благородном университетском пансионе и когда стал московским студентом.

Напротив, у слияния Большой Молчановки с Малой, жили друзья поэта, самые близкие,— Лопухины: Алексей, его сверстник и задушевный друг; старшая сестра Алексея, Мария (ей шло тогда уже к тридцати),— тонкая, умная, но глубоко несчастная девушка, горбатая и хромая. И младшая Лопухина — Варвара, или, как ее звали в ту пору, Варенька. Лермонтов полюбил ее, когда стал забывать свое увлечение Ивановой. Но и это глубокое чувство — к Лопухиной — не принесло ему счастья, а заставило страдать до конца жизни.

По соседству, позади домика, где Лермонтов жил вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, в каменном доме, выходившем фасадом на Поварскую, жили Столыпины — семья покойного брата бабушки: генеральша Екатерина Аркадьевна Столыпина с детьми и с племянницей — Сашенькой Верещагиной (потом ее стали именовать Александрой Михайловной). Это была девушка образованная, живая, умная, острая, тоже близкий друг Лермонтова,

четырьмя годами старше его. Лермонтов называл ее кузиной, иногда «благоверной кузиной». На самом деле кровного родства между ним и племянницей вдовы бабушкиного брата быть не могло. Но в первой половине прошлого века, да еще в дворянской Москве, где родством считались чуть ли не до седьмого колена, они были все равно что двоюродные.

Верещагина рано угадала в Лермонтове великий талант, умела влиять на его трудный и пылкий характер. В ту пору они виделись ежедневно, то на Поварской, то на Молчановке у Лермонтова, у Лопухиных, которым она и точно приходилась двоюродной.

В альбомы Верещагиной Лермонтов вписывал стихи, рисовал в них карикатуры, картинки, портреты общих друзей. В 1831 году посвятил ей поэму «Ангел Смерти». Когда переехал в Петербург и поступил в кавалерийскую школу, они переписывались...

В 1836 году — в то время ей было уже двадцать шесть лет — Верещагина поехала с матерью за границу. В салоне русского посла в Париже графа Поццо ди Борго познакомилась с молодым немецким дипломатом бароном Карлом фон Хюгелем. А летом следующего года уехала за границу вторично и вышла за него замуж. В Россию она уже больше не возвращалась. Жила в Германии: то в Штутгарте, то в фамильном замке баронов Хюгелей — Хохберг, близ Людвигсбурга.

Она увезла с собой свои девические альбомы со стихами и рисунками Лермонтова, и автограф «Ангела Смерти», и письма поэта... Два года спустя с ней свиделась там, в Германии, ее кузина Варвара Александровна Лопухина... Нет, уже не Лопухина, а Бахметева! Она вышла замуж, но, увы, не за Лермонтова. Когда до Москвы дошел слух, что Лермонтов в Петербурге увлекся другой, она в отчаянье отдала руку Бахметеву, сломала свою судьбу. Ее муж, человек немолодой, посредственный и ревнивый, не желавший слышать имени Лермонтова, грозился уничтожить рукописи поэта, его письма, рисунки, которые она хранила с сердечным трепетом. Опасаясь, что он исполнит это свое злонамерение, Варвара Александровна все лермонтовское отдала Верещагиной. Так за Рейном еще при жизни Лермонтова оказались его бумаги.

Время шло. Лермонтова не стало. Десять лет спустя умерла Лопухина — изнемогла от тоски по нем. Связи Ве-

рещагиной с родиной таяли. Но дружбе с Лермонтовым она оставалась верна. С ее помощью в Германии был впервые напечатан по-русски «Демон»; в России не пропускала цензура.

Спустя сорок лет

В конце 70-х годов историк русской литературы профессор Павел Александрович Висковатов стал собирать первые материалы для биографии Лермонтова, выяснял, у кого могли сохраниться его неизвестные сочинения. Ему сказали, что в Германии, в Штутгарте, живет Верещагина, дружившая с Лермонтовым в его юные годы. Висковатов ей написал.

Ответ пришел по-немецки. Отвечала дочь Верещагиной, графиня фон Берольдинген: мать скончалась в 1873 году. Ее пережила бабушка — Елизавета Аркадьевна. Она умерла всего лишь три года назад. Бабушка хорошо помнила Лермонтова и многое могла рассказать: теперь уже поздно! Перед смертью, разбирая семейный архив, бабушка обнаружила связку писем поэта. Она уничтожила их. Письма показались ей саркастичными и задевали многих знакомых. Случайно два письма уцелели. Эти письма графиня фон Берольдинген Висковатову посылала в подарок. В замке Хохберг сохранились верещагинские альбомы и в них — восемь стихотворений Лермонтова и двадцать семь его рисунков и шаржей. Но нет, графиня писала, что не может расстаться с реликвиями, которыми так дорожила ее покойная мать. Эти альбомы она могла бы одолжить только на время, для изучения...

Сохранился автопортрет, на котором Лермонтов изобразил себя в мохнатой бурке, на фоне Кавказских гор. С ним графине тоже никак невозможно было расстаться — этот портрет очень любила мать. Поэтому и его она могла бы послать только для ознакомления, на время. Кстати, фамилию Лермонтова графиня писала неправильно: «Лерментов».

Это было в 1882 году.

Висковатов боготворил Лермонтова. Это был человек пылкий, настойчивый, энергичный. Если б не он, мы бы знали о Лермонтове меньше раз в десять. Но и недостаток у Висковатова был: материалы, взятые в долг, возвращал неохотно. Так решил поступить он и тут. Получив мате-

риалы от графини Берольдинген, он не стал торопиться с возвратом. Но графиня фон Берольдинген оказалась женщиной педантичной и не приминула напомнить, что положенный срок прошел и вещи пора вернуть.

Тогда Висковатов стихи из альбомов выписал, а рисунки решил скалькировать (фотографирование документов в ту пору не применялось). Он взял листы папиросной бумаги и, наложив на рисунки, обвел контуры жестким карандашом. Это были самослабейшие творения художества, какие я только видел. Кстати, они пропали во время последней войны. Так что мы теперь лишены возможности обсуждать вопрос даже о том, насколько они были плохи.

Что касается акварельного автопортрета, то здесь Висковатов прибег к более совершенному способу: пригласил художницу и поручил ей исполнить акварельную копию.

Когда работа была изготовлена, Висковатов по краю овала чернилами написал: «Копия сделана в точности госпожою Кочетовою. Пав. Висковатов».

После этого все предметы, полученные от графини Берольдинген, были упакованы и отправлены по назначению в Германию. С тех пор никто из русских исследователей их не видал.

Утерянный след

Прошло тридцать лет.

В начале нынешнего столетия «Разряд изящной словесности» Академии наук приступил к изданию полного собрания сочинений Лермонтова. В надежде получить верещагинские альбомы обратились к графине Берольдинген. Но оказалось, что она уже умерла. А потом началась первая мировая война, потом — блокада Советской России...

В начале 30-х годов профессор Борис Михайлович Эйхенбаум приступил в Ленинграде к подготовке нового полного собрания сочинений поэта. Издательство «Academia» направило тогда в Берлин, в наше посольство, просьбу: поискать потомков баронов Хюгелей и графов Берольдинген. Но тут произошел нацистский переворот. Дело пришлось отложить. И, как выяснилось, надолго.

Начав заниматься Лермонтовым еще в 30-х годах, я мог

только воображать, что шагаю по улицам Штутгарта в поисках потомков Верещагиной-Хюгель и роюсь в библиотеке средневекового замка Хохберг. А на деле довольствовался тем, что складывал в две папиросные коробки решительно все, что вычитывал в книгах про Штутгарт, про Хохберг, про Баден-Вюртембергское королевство. Встретится в книге план города Штутгарта — справку кладу в коробку. Мелькнет фамилия Хюгель — в коробку. В посольской церкви в Штутгарте тех времен служил русский протоиерей Базаров — тоже в коробку!

Когда кончилась вторая мировая война, я разложил на столе скопившиеся в коробках бумажки и написал в руководящие инстанции докладную записку с предложением предпринять поиски лермонтовских реликвий в замке Хохберг, близ Людвигсбурга, и в Штутгарте.

Ответ не замедлил. Меня вызвали и попросили обосновать едва ли не каждую фразу моей докладной, дабы можно было проверить основательность моего предложения. К своей докладной я написал примечания со ссылкой на немецкие и русские книги, газеты, архивные материалы. Вышло решение: направить сотрудника Министерства иностранных дел СССР, офицера Контрольной комиссии и литературоведа такого-то в Штутгарт и в Хохберг, снабдив их валютой.

Но Штутгарт входит в американскую оккупационную зону. И прежде чем успели договориться об этой поездке, изменилась международная обстановка. Поездку пришлось отложить.

Когда в 1950-х годах международные отношения стали благоприятствовать, я снова уселся писать докладную, разложил на столе бумажки из папиросных коробок... Но тут наш известный ученый, член-крреспондент Академии наук СССР искусствовед Виктор Никитич Лазарев сообщил мне, что возвратился только что из Стамбула, где происходил конгресс византологов; на конгрессе он встретился с известным немецким искусствоведом профессором Мартином Винклером. И этот профессор передал ему два цветных диапозитива с принадлежащих ему лермонтовских работ. Одна из них представляет собою лермонтовский автопортрет в бурке. При этом Винклер будто бы называл ему мое имя. Но, не будучи знаком со мной лично, он, Лазарев, передал эти диапозитивы лермонтоведу Пахомову Николаю Павловичу. Адреса Винклера Лазарев точно не помнил, но

помнил, что Мюнхен. И посоветовал писать по адресу мюнхенской Пинакотеки.

Все осложнилось. Стало понятно, что верещагинское собрание или какая-то часть его переместилась из Штутгарта в Мюнхен. И мне уже незачем хлопотать о поездке в Штутгарт и в Хохберг. Прежде надо было узнать, куда ехать. Я написал профессору Винклеру. Ответа от него не последовало. Как я узнал потом, мое письмо его не нашло.

А тут еще примешалось новое обстоятельство.

Деловой человек из Нью-Йорка

Позвонили мне со Смоленской площади, из «Международной книги», и сказали, что в Москву приехал американский библиограф мистер Симон Болан, который говорит, что в его руках находится несколько автографов Лермонтова и множество лермонтовских рисунков, представляющих чуть ли не двадцать пять процентов всего существующего количества.

Я встревожился. Заниматься Лермонтовым целую жизнь — и упустить четвертую часть рисунков?! При этом я никак не мог представить себе, где же и у кого могло храниться их такое количество. К тому же — за рубежом!

Я почти не сомневался, что речь идет об альбомах Александры Михайловны Верещагиной.

Свидание с мистером Боланом устроилось без труда. Он жил в московской гостинице «Метрополь». Предупредил, что он очень занят и будет торопиться, но на несколько минут встретиться все-таки сможет.

Это оказался деловой человек, небольшого роста, немолодой, свободно владеющий русской речью, хотя и с английским акцентом. Иногда в его разговоре встречались выражения и обороты, для нас непривычные.

— Я не имею много времени,— сказал он, когда я вошел в его номер.— Я канцелировал тэкси-кэб, чтобы поехать. Завтра я буду уже в Ленинграде и сегодня еще немного часов в Москве. Я располагаю рисунками Майкла Лермонтова. Это количество много.

— Мне сказали,— начал я с удивлением,— что у вас двадцать пять процентов общего числа всех рисунков?

Я как-то не могу представить себе, чтобы в настоящее время в одном месте хранилось такое множество...

— Вам не надо представить, я сам хорошо представляю, потому что все у меня,— коротко пояснил мистер Болан.— Что вы думаете теперь?

— Я думал, что их может быть двадцать семь...

— Нет, двадцать пять.

— Чего? Рисунков или процентов?

— Рисунков.

— Ну, тогда,— сказал я, не в силах скрыть удовольствия от того, что мне удалось угадать,— тогда два рисунка из альбомов кто-нибудь вырезал.

— Я не сказал: альбомы.

— А я решил, что в ваши руки попали альбомы Александрины Верещагиной-Хюгель. И что, может быть, к ним имел отношение профессор Винклер из Мюнхена.

— Да, я приобрел у него,— помолчав, подтвердил мистер Болан.— Три альбома. Там ничего не вырезано. Я уже хорошо осмотрел. Могу смотреть еще один раз свои карточки.

Он быстро вытащил из огромного своего портфеля стопку карточек, быстро их перебрал.

— О-о!.. Двадцать семь! Это правильно! Я знаю — вы специалист, мистер Эндоников. Я держал вашу книгу...

Теперь, убедившись, что в его руках подлинные верещагинские альбомы, я, наоборот, стал выражать некоторое сомнение: мне же необходимо было их посмотреть, а он не показывал.

— Да,— сказал я вялым голосом.— Но специалист должен видеть все своими глазами. Ведь за пушкинские, за лермонтовские рукописи часто принимают написанное вовсе не ими и даже в другое время. А рисунки особенно...

— Вы — специалист, я — тоже специалист,— сухо сказал мистер Болан.— Я много держал в своих руках и много передал через свои руки. Я не терплю ошибки. Можете смотреть фотостаты!

Он быстро вынул из портфеля пачку фотографий на тонкой бумаге...

Ух, какие рисунки!.. Фотографии воспроизводят даже пожелтевшие чернила, передают шероховатость альбомных листов!.. Вот жених и невеста, преклонив колена, стоят на подушечке. Их венчает священник. Какая-то старуха ути-

рает слезу, военный закрутил ус... На другой — офицер, развалясь в кресле, читает афишку концерта. Возле каждого лица написаны французские реплики... Ведь все это — шаржированные портреты каких-то знакомых Лермонтова! Такая досада: Болан торопится и нельзя внимательно рассмотреть их...

— В альбомах имеются стихи руки Лермонтова. Его манускрипты,— сказал мистер Болан.

— Восемь стихотворений?

— Да, правильно это.

— Но они давно напечатаны.

— Как это может быть? — Болан удивился.— Альбомы не находились в России. Лермонтов подарил эти стихи, когда еще не был известный поэт.

— Альбомы в России были,— возразил я.— Стихи напечатал профессор Висковатов еще в прошлом веке. Если хотите, я могу назвать эти восемь стихотворений...

— Я уже не имею моего времени,— ответил мистер Болан.— Я допускал, чтобы предложить обмен альбомов на книги, которых не имеется в университетских библиотеках у нас, в Соединенных Штатах. Но это поздно. Завтра — Ленинград. И еще опять несколько часов, когда мы не сумеем говорить...

Нет, не везет!

От Болана я кинулся в Академию наук, в Иностранный отдел. Созвонились с Ленинградом. Условились, что дирекция Пушкинского дома встретит американца и договорится о совершении обмена.

Его встретили и привезли в Пушкинский дом. Список, который он передал, был необъятен. Мистера Болана интересовали журналы, альманахи, сборники и пушкинской поры, и некрасовской, и выходившие в первые годы Советской власти... Пушкинский дом мог бы отдать ему дубликаты, то есть лишние экземпляры из своего обменного фонда. Но такого количества старинных, а главное, редких журналов и альманахов в дублетном фонде, разумеется, не было. Три крупнейшие ленинградские библиотеки кооперировались, чтобы подобрать необходимый комплект,— работали напряженно, быстро, но, когда все было сделано, оказалось, что мистер Болан не дождался и уже покинул пределы Советской страны.

Альбомы поступили в Колумбийский университет в Нью-Йорке.

С тех пор тщетно пытаюсь я получить фотографии с лермонтовских рисунков.

В Колумбийский университет обратился Пушкинский дом.

Отказ.

Союз писателей СССР предложил совместную советско-американскую публикацию.

Отказ.

Редактор выходящего в Бостоне журнала «Атлантик» Эдвард Уикс задумал выпустить номер, посвященный русской культуре. Я был намечен в качестве автора статьи о фольклоре. Я отвечал, что не специалист по фольклору, но взамен могу написать советско-американский литературоведческий детектив: нужны только фотографии из альбомов, хранящихся в Колумбийском университете.

Редактор ответил, что это проще простого...

Отказ.

Сол Юрок, менеджер нашего Большого театра в Соединенных Штатах, по моей просьбе обращался в Колумбийский университет...

Молчание.

Это досадно тем более, что с толком обнародовать эти рисунки можно только в том случае, если ученый сумеет «узнать всех в лицо» — ведь изображены-то конкретные люди, знакомые Лермонтова, московский круг начала 30-х годов! А в этой работе должны быть использованы для «узнавания» сотни портретов, хранящихся в наших музеях; в Америке эту работу не проведешь: не с чем сравнивать!

Но как бы там ни было с Колумбийским университетом — деловые основания для поездки в Западную Германию мне самому стали казаться неясными. Куда ехать? В Штутгарт?

Там ничего нет.

В Мюнхен, к Винклеру?

Винклер не отвечает. А принадлежавшие ему альбомы уплыли за океан.

И я прекратил хлопоты.

Но тогда стал проявлять интерес сам владелец — профессор-искусствовед Мартин Винклер.

Подарок из Фельдафинга

Не получая из Советского Союза ответа, профессор Винклер приехал в наше посольство в Бонне и, обратившись к тогдашнему нашему послу в ФРГ Андрею Андреевичу Смирнову, сообщил, что у него имеются лермонтовские автографы и художественные работы поэта и он хотел бы передать их на деловых основаниях в Советский Союз. Рассказал, как они попали к нему.

В 1934 году, после смерти внука Верещагиной-Хюгель полковника графа Эгона фон Берольдинген, в замке Хохберг была объявлена распродажа. Профессор Винклер, неоднократно бывавший там при жизни владельца, сразу понял, что с молотка идет Лермонтов. Он приехал и сумел купить лермонтовские бумаги. Документы самой Верещагиной — переписку по русским имениям, переписку с русской родней — на распродажу не выставляли, а выбросили как хлам. Понимая, однако, что для биографов Лермонтова важно будет и это, профессор Винклер этот «хлам» подобрал. Теперь он просил прислать к нему в городок Фельдафинг возле Мюнхена кого-нибудь из посольства, дабы можно было начать деловой разговор.

А. А. Смирнов направил к нему секретаря посольства Владимира Ильича Иванова. (Побольше бы нам таких Ивановых!) Профессор Винклер показал ему то, что хранил с 1934 года.

Не надо быть самому особым специалистом, чтобы понять, что тут нужен специалист. Иванов это хорошо понял. И обещал сообщить о том, что увидел, в Советский Союз. Когда же стали прощаться, профессор Винклер вручил ему тяжелый пакет и сказал:

— Господин Иванов, милый-милый, пошлите это в Москву Ираклию Андроникову и передайте ему приглашение приехать в Федеративную Республику Германии в качестве моего персонального гостя.

Тут молодой дипломат поинтересовался, откуда профессор Винклер знает Андроникова.

Профессор ответил, что не знает Андроникова. Но знает изданную во Франкфурте библиографию трудов советских лермонтоведов. Открыв ее, он увидел, что лучший советский лермонтовед — профессор Борис Эйхенбаум (Ленинград). И он уже хотел пригласить профессора Эйхенбаума, но тут узнал, что Эйхенбаум скончался. Тогда он

снова обратился к библиографии, где сказано: «Следующий, гораздо ниже его, Ираклий Андроников». Тогда он решил пригласить Андроникова.

Вернувшись в Бонн, Владимир Ильич Иванов отправил пакет в Москву, в Министерство культуры СССР. Министерство передало его в Литературный музей. А меня пригласили посмотреть присланные бумаги.

Их много. И они интересные. Очень. Прежде всего — копии лермонтовских стихов и письма родных к Верещагиной, особенно то, в котором мать сообщает ей о гибели Лермонтова: «...Мартынов... попал ему прямо в грудь, бедный Миша только жил 5 минут, ничего не успел сказать, пуля навылет...»

И все-таки это было не главное. Самое главное, писанное и рисованное лермонтовской рукой, осталось у Винклера. То, что он подобрал, что ему досталось бесплатно, он подарил. А то, что купил... Об этом надо было договориться.

Мудрое решение вопроса

Затеялись хлопоты о командировке моей в ФРГ. И когда уже была получена виза и паспорт в кармане и куплен билет, от Винклера получилось письмо: «Прошу привезти мне в обмен русские книги. Это обязательное условие».

Тут следовал список — не такой, конечно, обширный, как тот, что передал нам мистер Болан, но тоже надежд не внушающий... В нем значились русские летописи, научные труды по истории, археологии, по искусству... И, как нарочно, всё редкие. Даже и те, что вышли в советское время. А уж где достать книгу «Инок Зиновий. Истины показание к вопросившему о новом учении», напечатанную в Казани в 1863 году да еще в малом количестве,— этого мне не могли сказать даже самые крупные книговеды.

Я устремился в Министерство культуры с просьбой выделить книги из дублетных фондов крупнейших библиотек. С резолюцией «Выделить» побежал в Историческую библиотеку...

Нету!

В Ленинскую, к директору Кондакову Ивану Петровичу.

— Нету. Мы изготовим микрофильмы для вас. Но из книжных фондов послать в подарок не можем...

Но ведь микрофильмы мне не помогут! Это же все равно, что менять фото для паспорта на живописный портрет Сарьяна!

Какой же это обмен? Неравноценно!

Кондаков понимает это лучше меня. И все же договорились на том, что повезу микрофильмы.

Прихожу в назначенный день.

— Не приготовили.

— Как же так?

— А директор Иван Петрович поручил выяснить, по скольку экземпляров книг, нужных профессору Винклеру, стоит на полках библиотеки.

Оказалось, что по три.

А сколько их выдавалось на руки?

Выдавались только первые экземпляры.

Тогда И. П. Кондаков собрал ученый совет и решили: третьи экземпляры всех этих книг списать и отправить профессору Винклеру, с тем чтобы автографы Лермонтова, которые будут доставлены из Федеративной Германии в Советский Союз, поступили в Ленинскую библиотеку.

Это, я понимаю, решение!

Вот почему я улетал с Шереметьевского аэродрома, имея с собой на борту сто тридцать килограммов редчайших книг. Летел я до Амстердама. А там должен был совершить пересадку и уже другим самолетом следовать до Кёльна, или, как говорится, «нах Кёльн аб».

По прибытии в Кёльн был встречен секретарем Владимиром Ильичом Ивановым, доставлен в Бонн, а в Бонне — это было уже дня через два — за руль сел другой секретарь, Николай Сергеевич Кишилов, тоже весьма приятный и обходительный, и покатили мы втроем в Мюнхен по знаменитому автобану.

Эта езда стоит того, чтобы о ней рассказать.

Движение двухрядное. Встречного ты не видишь. В правом ряду машины мчатся со скоростью 100—120. Хочешь ехать быстрей — выходи в левый ряд. Сигналит тебе другая машина, сзади, требует уступить дорогу — юркни вправо, мимо тебя мелькнет что-то с быстротой самолета, и снова можешь выходить на левую сторону.

Машины идут вереницей — одна за другой. На таких скоростях сразу не остановишь. И если с одной случается что-то, то идущие сзади влетают одна в другую и бьются. Называется это «карамболяж». Поэтому, едучи по западно-

германскому автобану, испытываешь странное смешение чувств: природной для всякого русского пассажира страсти к скорой езде — с предощущением смертной казни.

Наша машина принадлежала к числу тихоходных: больше ста сорока километров взять не могла. Но сто сорок держала точно. Число километров, примерно равное расстоянию Москва — Ленинград, мы одолели за четыре с половиной часа.

Исполнение желаний

Ночевали мы в Мюнхене. Утром отправились в Фельдафинг — это около сорока километров.

Небольшой городок. Парки. Лужайки. Остановились на Банхофштрассе. Двухэтажный особнячок. Квартира профессора Винклера в нижнем.

Три комнаты. На стенах гостиной — старинные гравюрки с видами Петербурга 30-х годов прошлого века, литографии с изображениями старой Москвы, парижские афиши балетных спектаклей Дягилева, выполненные замечательными художниками Бакстом и Добужинским. Русские вещи соседствуют с плетеными зонтами из Занзибара, с египетскими вещицами... В кабинете — библиотека, великолепный подбор книг по искусству на нескольких языках. Много изданий русских...

Сам хозяин — старик высокого роста и могучего телосложения, с круглым розовым лицом и седыми волосами, остриженными «в кружок». Хорошо говорит по-русски. Долгие годы был профессором Кёнигсбергского университета. Читал историю русского искусства и восточноевропейских культур. В 1920-х годах дважды приезжал в Советский Союз по приглашению А. В. Луначарского. Побывал тогда в Ленинграде, в Москве, в Новгороде, в Киеве, на Кавказе... Знает русскую старину.

В 1933 году, сразу же после нацистского переворота, его из университета уволили, заявили, что «носителей германского духа» ни его предмет, ни взгляды его не устраивают. Он переехал в Австрию, получил кафедру в Венском университете. Но после аншлюса его снова изгнали. И до конца войны постоянной работы он уже не имел.

Его жена, Мара Дантова-Винклер, по национальности русская — Мария Андреевна, находилась на положении

первой балерины в Берлинской государственной опере. Когда произошел фашистский переворот, ей запретили даже появляться в театре. И жизнь ее в гитлеровские времена была еще более тяжкой, нежели у ее мужа. Встретились и поженились они в 1948 году и повели жизнь в Фельдафинге скромную, замкнутую. С реакционно настроенной профессурой Винклер не связан, лекций не читает, зарабатывает научно-литературным трудом. Заканчивает большой труд по истории русской культуры. Это жаркий сторонник мирного сосуществования людей различных взглядов и государств различных систем.

Когда пакеты Ленинской библиотеки были развязаны, ученый загудел от удовольствия, каждую книжку рассматривал, гладил, стопочками относил в кабинет. Когда же эта процедура окончилась, мы впятером сели за овальный стол, и на стол легли материалы, которые я мечтал увидеть с тех самых пор, как стал заниматься Лермонтовым.

Тут впервые предстал нашим глазам подлинный акварельный автопортрет. И мы могли наконец понять, как неважно скопировала его «госпожа Кочетова». Нет, Висковатов напрасно хвалил ее. Ей удалось все, кроме главного — выражения лица. На оригинале у Лермонтова черты хоть и неправильные, но глаза огромные, печально-взволнованные, весь облик — поэта необыкновенного, гениального. А кроме того, автопортрет — одна из его лучших живописных работ!

Отложили автопортрет.

Профессор Винклер протягивает мне другой акварельный рисунок. Лермонтов изобразил на нем Варвару Лопухину — под черным покрывалом, с опущенными глазами, воплощение прелести, скромности, внутренней тишины.

Потом перед нами явилась картина, большая, писанная Лермонтовым масляными красками. Обрамленная горами долина. К реке, влекомая волами, съезжает арба. В ней — юная женщина; мужчина в островерхой грузинской шапке уравновешивает тяжесть ярма. А у воды за кустами притаились всадники-горцы: один — на вороном, другой — на белом коне.

Никто никогда даже не слыхал об этой картине! Не предполагал, что существует такая! А это — одно из лучших полотен Лермонтова!

Вслед за тем беру рукопись:

АНГЕЛ СМЕРТИ

Восточная повесть.

1831 года Сентября 4-го дня.

М. ЛЕРМОНТОВ

Двадцать две страницы. От начала до конца писаны рукою поэта. На обложке черной лентой бумаги заклеен какой-то текст, видимо посвящение. По этой рукописи Верещагина впервые напечатала поэму в 1857 году в Карлсруэ. А то бы мы даже не знали о ней.

...Отдельный листок. Почерк Лермонтова. Стихотворение... Ого! Неизвестное!

— Читайте!

Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я.
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня.
И вот прошли мои мученья,
Нашлися пылкие друзья,
Но я, лишенный вдохновенья.
Скучал судьбою бытия.
И снова муки посетили
Мою воскреснувшую грудь.
Измены душу заразили
И не давали отдохнуть.
Я вспомнил прежние несчастья,
Но не найду в душе моей
Ни честолюбья, ни участья,
Ни слез, ни пламенных страстей.

Над первой строкой рукою Лермонтова выставлена помета: «1830 года в начале». Значит, это стихотворение пятнадцатилетнего Лермонтова. А как оно хорошо! Правда, в нем чувствуются отголоски пушкинского «Я помню чудное мгновенье», особенно в последних строках. И все же это юношеское создание вполне оригинальное и очень лермонтовское по духу. Сразу можно узнать: никогда не скажешь, что Пушкин!

Другой листок.

— Ира-а-акли Луарсабович, милий-милий,— обращается ко мне профессор Винклер.

— Слушаю, Мартин Эдуардович.

— Поглядите это стихотворение! Я сравнивал. Это немного другое.

Стихотворение известное — «Глядися чаще в зеркала». Тоже раннее. Тоже написанное в пятнадцать лет. Но здесь текст не совсем такой, какой печатается в собраниях

сочинений. Есть отличия. А главное — посвящение: «С. С...ой». Кто такая?

Это удалось выяснить потом, уже по возвращении в Москву: Софья Сабурова, сестра одноклассника Лермонтова, ставшая вскоре одной из первейших красавиц Москвы, а в ту пору еще подросток. Лермонтов влюбился в нее двенадцати лет; три года страдал, несчастный!

А это что?.. О, письмо Лермонтова! Вернее — письмо в письме. Это 1838 год. Лермонтов вернулся из ссылки за стихи на смерть Пушкина, живет в Петербурге и постоянно приходит к Столыпиным: они переехали из Москвы. С ними живет мать Верещагиной, сестра генеральши. Старуха села писать дочери в Штутгарт, сообщает ей петербургские новости. А тут пришел Лермонтов. Он давно не писал кузине. Старуха просит его написать хотя бы несколько слов. И, чтобы не откладывать это занятие, он берет у нее перо и в ее письме сочиняет стишок по-французски:

«Дорогая кузина,
Преклоняю колена
На этом месте.
Как сладостно
Быть милостивой!
Простите
Мою лень и т. п. и т. п.

Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощенье. Будьте счастливы. И не сердитесь на меня; завтра я приступлю к длиннейшему письму к Вам... Тетя вырывает у меня перо... ах!

М. Лермонтов».

Возле слов: «Преклоняю колена на этом месте» — нарисована крохотная коленопреклоненная фигура с руками, воздетыми в мольбе.

Лермонтов возвращает перо. Старуха Верещагина сбоку приписывает: «Разгляди фигуру рисованную». И продолжает: «Не переменился ничего, сию минуту таскает и бесится с Николенькою Шан-Гирей». А дальше рассказывает, что Лермонтов был на свадьбе «Кати Сушковой», которая вышла замуж за молодого дипломата Хвостова, родственника Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Молодые скоро уедут в Америку, Хвостов назначен поверенным в делах, 40 или 50 тысяч жалования. И учен. Только некрасив очень. Хвостов любит Катю шесть лет. А наш Миша

говорят: «Нет, десять лет». (Миша лучше знает! — *И. А.*) Потом описана свадьба: Миша был шафером у жениха, а у невесты посаженым отцом — известный журналист и писатель Сенковский. В письме старухи Верещагиной много чудесных подробностей, язык живой, богатый, свободный, пишет — как разговаривает в жизни. И такая получается увлекательная беседа, что, кажется, голос слышишь.

Все эти реликвии: письмо, картина, рисунки, поэма, стихи — все становится теперь собственностью Советского государства, достоянием советской науки!

Сверх того профессор Винклер передает в дар эскиз Репина к картине «Не ждали» и морской пейзаж Айвазовского.

Сюрприз

Когда все это было рассмотрено по второму и третьему разу и обговорено всесторонне и лермонтовские реликвии временно перешли со стола на дальний диван, профессор Винклер принес три небольших альбома и, положив их передо мною, сказал:

— Иха-а-акли Люахзабович, милий-милий, это — сюрхьприз! Это — не мои альбомы. Их владелец просил меня экспертировать — здесь есть манускрипты Пушкина? Или нет манускриптов Пушкина?

Русские старенькие альбомчики 30-х годов прошлого века... В каждом — закладки. «Черная шаль» Пушкина. Но рука — не его. И текст — как в полных собраниях,— никаких отличий от известного нет.

— К сожалению,— говорю я,— это не пушкинский почерк.

— О, владелец будет очень расстроен! А это?

— Тоже не пушкинский.

— Это нет тоже? Хозяин будет огорчен! И это?

— Этот текст тоже вписан сюда не Пушкиным...

— Ну, он будет просто обижен!..

Профессор Винклер готовится альбомы убрать.

— А нельзя ли мне,— говорю,— внимательно рассмотреть их?

— Да, да. Конечно. Надо смотреть альбомы!

Переворачиваю страницу — стихи в духе Батюшкова. Еще одну — картинка... Стихотворный комплимент по-французски... Перевернул еще два листка...

Лермонтова рука!!!
Перевернул...
Лермонтова рука!!!
Перевернул:
Лермонтова почерк!!!
Перевернул —
Лермонтова рисунок!!!

Я замер — от восторга, от неожиданности!.. Нет, как хотите, но, чтобы обнаруживать такие неожиданные находки, нужно чугунное здоровье! Я ослабел просто!

А тут еще новость: найти — нашел, а что нашел — не пойму!

Написано рукой Лермонтова:

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

А дальше что?

Стояля в шистом поле
Как ударил из пистолетрум
Не слишал как гром загремил.
Всю маладсов офисерум
Упаля на колен, палакал слозом,
Не боле по нем, кроме по нея.

Ашиль

Ничего не понимаю! Рука Лермонтова?
Лермонтова.
Сомнения есть?
Нету.
А что сказано тут?
Непонятно. И при этом... «На смерть Пушкина»?!

А профессор Винклер, рассматривая альбом вместе со мною, переводит взгляд на меня:

— Это манускрипт чей?
— Лермонтова.
— Но что тут написано? Я не вполне понял!
— Сейчас вам скажу...

Напрягаю мозги... Не берут! И, как нарочно:
Заехал за Рейн! Справку не наведешь!
Думать некогда!
Посоветоваться не с кем!..
Напряг череп до крайней возможности...— сообразил!

Когда Лермонтов за стихи на смерть Пушкина был сослан из Петербурга в кавказскую армию, он задержался в Москве и прожил в ней почти две недели; Лопухиных он

видел, разумеется, ежедневно. Может быть, даже остановился у них. А у Лопухиных был слуга-негр: Ахилл или Ашиль — по-французски.

Этот самый Ашиль слышал разговоры о гибели Пушкина и о том, что Лермонтов пострадал за стихи. И решил сочинить свои. Но, не умея писать, продиктовал их Михаилу Юрьевичу.

Это стихи негритянские! Еще один отклик на гибель величайшего из поэтов. Очевидно, это Пушкин «стояля в шистом поле»? И «не слишал как гром загремил», когда «ударил из пистолетрум» Дантес. Может быть, Лермонтов рассказывал, как встретили известие о гибели Пушкина офицеры — сослуживцы по гусарскому полку. Тогда можно понять слова про «маладсов офицерум», которые «палакал слозом» о Пушкине и «упаля на колен» (может быть, заказали панихиду?). Что хотел сказать негр Ашиль, в точности установить теперь трудно. Но что стихи выражают сочувствие Пушкину — это, кажется мне, несомненно. Вот так и попало стихотворение московского негра (точнее, гвинейца) в альбом, заполнявшийся в начале трагического — 1837 года.

Другая находка еще лучше: «Баллада». Почерком Лермонтова:

До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон,
И кусал он и рвал, и писал и строчил
Письмецо к своей Сашеньке он.

И он крикнул: мой паж! Мой малютка, скорей!
Подойди,— что робеешь ты так!
И к нему подошел долговязый лакей,
Тридцатипятилетний дурак.

«Вот, возьми письмецо ты к невесте моей
И на почту его отнеси.
А потом пирогов, сухарей, кренделей —
Чего хочешь, в награду проси!»

«Сухарей не хочу, и письма не возьму,
Хоть расплачься, высокий барон;
А захочешь узнать, я скажу почему!..»

С этого места балладу писала чья-то другая рука.

«Югельский барон», о котором идет речь в этих стихах,— это барон Хюгель или Югель, как звали его в верещагинском семейном кругу. А писана эта баллада в виде

пародии на известную балладу Жуковского о Смальгольмском бароне.

Если уж говорить точно, балладу о Югельском бароне мы знали и прежде. Три года спустя после гибели Лермонтова она была напечатана в книжке стихов некоей Варвары Анненковой с примечанием, поясняющим, что Лермонтову в этой балладе принадлежат тридцать девять строк, а ей, Анненковой,— последние шесть.

Кто такая эта Варвара Анненкова? Какое отношение имела она к Лермонтову? По какому случаю они эту балладу писали? И можно ли верить ей, что Лермонтов причастен к ее сочинению? Про это ничего не известно. Между тем в тексте есть такие плохие стишки, что подозревать Лермонтова в сочинении их просто неловко: «Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде». Как это может быть Лермонтов? Поэтому балладу «Югельский барон» в сочинения его не включали, а печатали мелким шрифтом в конце.

И что же я вижу здесь, сидя в гостиной Винклера?

В альбоме после пятнадцатой строчки поставлена сбоку черта и по-немецки приписано: «До этого места рука Лермонтова». А в конце — по-французски почерком Верещагиной: «Сочинено Мишелем Лермонтовым и Варварой Анненковой в то время, когда я читала письмо от моего жениха».

Теперь уже ясно: Лермонтову принадлежит в этой балладе не тридцать девять, а только пятнадцать строк. Зато превосходных. А все остальное придумала Анненкова, и Лермонтов тут ни при чем.

И все-таки самая существенная находка не это, а неизвестное стихотворение «Послание»:

Катерина, Катерина,
Удалая голова!
Из святого Августина
Ты заимствуешь слова.

Но святые изреченья
Помрачаются грехом,
Изменилось их значенье
На листочке голубом;

Так, я помню, пред амвоном
Пьяный поп отец Евсей,
Запинаясь, важным тоном
Поучал своих детей;

Лишь начнет — хоть плачь зараце...
А смотри, как силен Враг!
Только кончит — все миряне
Отправляются в кабак. *М. Л.*

Инициалы и почерк — Лермонтова.

Мало того, что мы не знали о существовании стихотворения «Послание»,— мы не знали даже, что Лермонтов такие «безбожные» иронические стихи сочинял.

Кто такая эта Катерина? Можно только догадываться, что это Екатерина Сушкова, с которой Верещагина была очень дружна, а потом раздружилась.

В 1830 году Екатерина Сушкова гостила у Столыпиных в Москве и в подмосковном Середникове. Шестнадцатилетний Лермонтов посвящал ей тогда восторженные стихи. Но в ту пору Сушкова смеялась над ним. И он очень страдал от этого.

Пять лет спустя они переменились ролями. Он был уже гвардейским гусаром, и Сушкова увлеклась им. Но тут посмеялся он над Сушковой. И, наверное, не случайно вписал эти стихи именно в альбом Верещагиной: она лучше всех могла оценить их иронию.

Четвертая находка, обнаруженная в гостиной Винклера,— рисунок пером, изображающий какого-то егеря.

Интересуюсь: кому принадлежат эти альбомы? Профессор Винклер объясняет, что владельца зовут доктор Вильгельм фрайхерр фон Кёниг. Он приходится Верещагиной правнуком. Живет в фамильном замке Вартхаузен.

— А есть у него,— спрашиваю,— что-нибудь лермонтовское еще?

— Да, да. Непременно есть.

— А что есть?

— О, большой акварельный рисунок. Он висит на стене в его замке.

— Как бы его увидеть?

— Да, да... Надо поехать в замок.

— Можно поехать?

— Нет, нет. Прежде надо иметь приглашение.

— А как получить приглашение?

— Это надо звонить: телефон в замке там, где очень холодно, а живут, где тепло. Но я буду пробовать и наконец обрету разговор.

Профессор Винклер действительно долго пробует дозвониться и наконец «обретает» и в самых лучших словах ре-

комендует барону фон Кёнигу меня и моих посольских друзей.

Простившись с добрым нашим хозяином и гостеприимной хозяйкой, высказав им наши самые благодарные и дружелюбные чувства, мы устремляемся по дорогам Баварии на Мейнинген и на Биберах, в замок Вартхаузен.

Замок Вартхаузен и его обитатели

Уже темно — часов восемь. Мы достигли местечка Вартхаузен. Машина начинает подниматься по лесной зигзагообразной дороге, пока не останавливается перед воротами средневекового замка. На черном осеннем небе рисуются еще более черные контуры островерхих башен и зубчатых стен.

При свете карманного фонаря огибаем куртину. У входа в замок находим старинный звонок. Человек, высокий и молчаливый, открыл и ушел, чтобы сообщить о нашем приезде. Оглядевшись вокруг, понимаем: мы шагнули в XVII век!

Полутьма. Тяжелые своды. Лепные гербы. Оленьи рога. Секиры. Копья. Шпаги. Латы. Шлемы. Старинная пушка на площадке широкой лестницы, с которой спускается к нам господин средних лет, в обычном современном костюме, корректный и тихий, отчасти похожий на нашего замечательного актера Эраста Павловича Гарина.

Знакомимся: владелец замка фрайхерр фон Кёниг.

— Да, да! Профессор Винклер звонил мне... Прошу!

Средние века продолжаются! Скупо освещена длинная галерея, увешанная портретами прежних владельцев: рыцари в панцирях и с мечами, пудреные парики, дамы в высоких прическах — бархат, атлас, обнаженные плечи... И снова — рога и оружие, свидетели былых веселых охот и кровавых сражений.

В конце коридора барон фон Кёниг отворяет дверь перед нами — мы в современной гостиной: тепло, модные кресла и столики, торшер, мягкий свет. На стене — акварель: стычка французских кавалеристов и русских крестьян. Уже издали видно — Лермонтов! Его манера. Его любимый сюжет — 1812 год!

Осмотрели. Выражаем удовольствие, радость.

— Каковы планы барона Кёнига в отношении картинки?

— Я не хотел бы расставаться с этой фамильной реликвией,— говорит доктор Кёниг.— Но если вы желаете сфотографировать ее и воспроизвести эту акварель в вашей книге — пожалуйста!

Он предлагает осмотреть замок. Идем в библиотечную башню, в помещения, отделанные инкрустированным дубом. Старинные книги в кожаных переплетах, глобус 1603 года... Входим в «музыкальную» комнату, в «фарфоровый кабинет», полный старинной посуды. Разглядываем «Помпеианише Циммер» — комнату, полную старинных вещей, добытых при раскопках Помпеи. И «паркетную» в стиле прошлого века. И гостиную, сохраняющую стиль восемнадцатого.

Проходя обратно, задерживаемся.

— Мой прадед — барон Карл фон Хюгель, министр двора и министр иностранных дел Вюртембергского королевства! — говорит барон Кёниг, указывая на портрет пожилого мужчины со строгим лицом и лысеющей головой.

И рассказывает, что прадед его держался союза с Россией и вышел в отставку, когда при вюртембергском дворе взяли верх антирусские силы.

Доктор Кёниг историк. Его замечания существенно дополняют то, что я знаю о Хюгелях.

— Это будет особенно интересно.— Он переходит к другому портрету.— Баронесса Александрина фон Верещагин фон Хюгель.

Вот она, Верещагина! Мы впервые видим ее лицо — до сих пор мы ее портрета не знали.

Старушка с интеллигентным и милым, очень серьезным лицом. Темная тальма. Чепец с оборками. Цветные ленты. Но Лермонтов знал ее не такой!..

Рассмотрели портреты ее дочерей — графини Александрины Берольдинген, с которой переписывался Висковатов, и другой — Элизабет фон Кёниг, бабушки доктора Кёнига.

— А это — родители Верещагиной-Хюгель,— комментирует наш хозяин,— Михаил Петрович и Елизавета Аркадьевна... Высоко? Вам не видно?.. Я могу снять, чтобы рассмотреть ближе...

Пока появится лесенка, я успею вам рассказать...

Тридцать лет пытался я узнать девичью фамилию матери Верещагиной. Хотел разобраться в сложной системе

лермонтовского родства. Справлялся во всех городах... Так и не смог узнать.

И вот заехал в средневековый германский замок и на обороте портрета, писанного в России каким-нибудь крепостным художником, читаю немецкую надпись: «Урожденная Анненкова».

Так вот откуда взялась неведомая нам Анненкова Варвара, которая вместе с Лермонтовым вписывает балладу про Югельского барона в альбом Верещагиной! Это — ее двоюродная сестра. Еще одна из московского окружения Лермонтова. Теперь стало ясно.

Это еще не конец!

Возвращаемся в теплые комнаты. Встречают жена и сестра хозяина. На столе сервирован чай.

Начинается разговор.

— Вам раньше не приходилось видеть портрет Верещагиной?

— Нет, сегодня вижу впервые.

— Она немолода на этом портрете. Лермонтов знал ее девушкой...

— Я помню,— вступает в разговор фрау Кёниг,— у нас был ее молодой портрет.

— Не портрет,— уточняет хозяин,— а фото с портрета, который барон фон Хюгель заказал на другой год после свадьбы. Местонахождение оригинала мне неизвестно. Я сейчас покажу...

Он приносит из кабинета фото. Это снимок с литографии, напечатанной в Париже в 1838 году знаменитым Ноэлем.

Верещагина! Здесь ей двадцать восемь лет. Лицо с несколько монгольским разрезом глаз — интересное, очень умное и значительное, хотя красивым не назовешь.

— Если вам нравится, я могу подарить это фото,— предлагает хозяин.

Подарок принимается с благодарностью.

— Если вы поедете в Тюбинген, может быть, следует познакомиться с фройляйн Энбер? — говорит нам сестра хозяина.— Фройляйн Энбер давно интересуется Лермонтовым.

Барон Кёниг отклоняет эту кандидатуру: у фройляйн Энбер рукописей Лермонтова нет.

Называется имя профессора в Гейдельберге.

Это знакомство господину Кёнигу тоже не кажется перспективным.

Не забыт замок Хохберг.

— Там интересный человек — оберлерер,— вспоминает хозяйка.

— Херр Виллем Штренг,— уточняет сестра хозяина.— Может быть, ему известно местонахождение каких-нибудь материалов?

Нет, барону Кёнигу это не кажется вероятным, он не хочет заставлять нас безрезультатно искать.

— Скорее,— раздумывает он,— можно было бы справиться в Мюнхене. В свое время я передал фирме «Карл унд Фабер» несколько интересных автографов.

— Чьих? — спрашиваю я.

— Я говорю про автографы Михаила Лермонтова.

— Как? Еще? Автографы? Лермонтова? И они были у вас? — Я не могу скрыть изумления.

— Да, тоже из тех, что принадлежали моей прабабке Верещагиной-Хюгель. Я сейчас не припомню какие. Это было в девятьсот пятьдесят первом году... Хотя я смогу вам сказать точнее: надо принести каталог...

Он ушел и возвращается с каталогом.

— Вот!

На странице 34-й напечатан автограф, которого мы в глаза не видали: баллада «Гость»! Почерк...

Лермонтова!

Интересно: у Висковатова была копия этой рукописи, присланная ему от графини Берольдинген, и в этой копии Висковатов от себя приписал: «Посвящается А. М. Верещагиной». А тут видно, что у Лермонтова в автографе «А. М. Верещагиной» нету. Просто строка точек: «Посвящается . . . . ». Может быть, даже и не Верещагиной посвящается. И даже наверно не Верещагиной. А Варваре Лопухиной, вышедшей замуж и забывшей обет любви. И баллада об этом. А зачем было Лермонтову скрывать имя А. М. Верещагиной? Имя Варвары Лопухиной, вышедшей замуж,— понятно!

— На следующей странице каталога, обратите внимание,— продолжает хозяин,— зарегистрировано стихотворение Лермонтова, сочиненное им по-французски. Специалист говорил мне, что это блестящий французский стиль.

Действительно, под № 186 в каталоге значится фран-

цузское стихотворение Лермонтова, тоже известное нам по копии: «Нет, если б я верил своей надежде...»

— Если вас интересует судьба этих автографов,— подает совет доктор Кёниг,— вам следует обратиться в антиквариат «Карл унд Фабер». Это в Мюнхене, на Каролинен платц, фюнф-а...

Разговор с Марбургом

Следующий день начинается для нас в Мюнхене с посещения антиквариата.

Просторный зал с зеркальными витринами, обведенный книжными полками. В простенках — старые гравюры, репродукции работ Пикассо.

Выходит «прокурист» фирмы, ее представитель,— респектабельный, очень осведомленный. Через минуту мы уже знаем: автограф баллады «Гость» ушел за границу, в Женеву и, кажется, дальше — за океан. Кто купил? На это он ответить не может: фирма сохраняет тайну своих клиентов. Другой автограф ушел в Марбург. В данном случае фамилия может быть названа, потому что купивший его господин Штаргардт сам владелец известной аукционной фирмы. И выставлял этот лермонтовский автограф для продажи в 1954 году...

— Можно ему позвонить,— говорит прокурист херр Хартунг.— Платите в кассу стоимость разговора, а я наберу Марбург...

Господин Штаргардт словно ожидал нас с нашим вопросом:

— Автограф французского стихотворения Лермонтова попал в Бад-Годесберг. Если вас интересуют автографы Пушкина, то фрагмент «Капитанской дочки» ушел в Лондон. Рисунок Пушкина приобрел коллекционер из Вены. Вы можете прислать по моему адресу письма к моим клиентам — без обращения по имени: «Уважаемый господин! Не могу ли я получить фотографию с принадлежащего вам автографа Лермонтова?..» Я перешлю эти письма сам. На двенадцатое ноября,— торопится сообщить нам наш марбургский собеседник,— назначен ежегодный аукцион. Из русских автографов я выставляю: неизвестное письмо Гоголя, неизвестные письма Тургенева и Максима Горького, альбомную запись Рубинштейна и сочинение Рахманинова. Приглашаю вас к участию в аукционе. Могу резер-

вировать для вас место в гостинице. Я ожидаю коллекционеров из многих стран, в частности из Соединенных Штатов. Я сегодня же вышлю вам свои каталоги на адрес посольства...

Таким образом, мы с Ивановым и Кишиловым получили гораздо больше того, что могли ожидать, а узнали такое, чего не могли и предвидеть.

Остается побывать в замке Хохберг.

Замок, откуда все началось

Снова мчимся по автобану, ночуем под Штутгартом, в местечке Бернхаузен, в крошечной гостинице «Шванен» («Лебеди»), каких в Западной Германии множество,— три окошечка по фасаду, старые деревянные кровати в крошечных номерах, старые гравюрки в старинных рамках...

С утра продолжаем путь.

Предки барона Хюгеля выбрали славное место: судоходный Неккар, зеленые луга, дали, живописные городки и селения. Местечко Хохберг раскинулось на высоком холме. Над ним поднимаются башни древнего замка.

Ищем оберлерера Штренга. Из школы идем в приватный дом, оттуда — в другой. Нашли. Оберлерер дает урок музыки шестилетнему мальчугану. Узнав, зачем мы приехали, предлагает ребенку играть упражнения, покуда он не вернется, гладит его по головке и ведет нас туда, где жила Верещагина.

Он отслужил свой век, старый замок! В год, когда распродавалось имущество, окончилась в нем прежняя жизнь. Его разделили на квартирки и комнаты. Новые жильцы привезли с собой новые вещи! И только в проходных помещениях можно увидеть остатки былого: на подоконнике — мраморный бюст военного в немецких орденах, который никто не купил; на стене — старинную фарфоровую тарелку, под лестницей — выцветшую гравюру...

Много картин с аукциона приобрел владелец соседней виллы, господин Хоршер. Учитель ведет нас на виллу. Предупреждает: управляющий покажет нам только те вещи, которые висят на лестнице и украшают холл виллы. Самое ценное заперто в комнатах. Как знать: может быть, туда и попало случайно какое-нибудь полотно Лермонтова?

Управляющий объясняет, что его хозяин живет в Испа-

нии, сюда приезжает раз в году, в день рождения покойной матери.

— Если прибудете двадцатого июля утром, вы сможете увидеть его и попасть в его комнаты. Писать ему надо в Мадрид, в ресторан Хоршера, самому господину Хоршеру.

Выходим. Выясняется, что господин Штренг пишет историю замка и населенного пункта Хохберг, изучил родословия, собрал обширный исторический материал, снимки со старых портретов. Если у нас есть время, он бы хотел отвести нас к себе — он живет отсюда в нескольких километрах.

...Сидим, попиваем рейнское вино, я проглядываю переписанные на машинке главы «Истории», посвященные Верещагиной-Хюгель, вношу какую-то незначительную поправку. В свою очередь получаю несколько уточнений относительно Верещагиной и ее немецкой родни.

Господин Штренг достает каталог вещей, продававшихся в замке Хохберг. В нем перечислены мебель, мрамор, ковры, фарфор... К сожалению, книги, картины, рисунки означены только суммарно, без указания названий и авторов. Господин Штренг готов согласиться со мной: вероятно, Верещагина получила в подарок от Лермонтова его роман «Герой нашего времени» и книгу стихов. А раз так, на них были надписи. В этом случае книги могли уйти прежде, чем на аукцион приехал профессор Винклер. Фирма, которая проводила аукцион, была в Штутгарте: это «Кунстаукционхауз» Пауля Хартмана. Каталог выпущен им. Но, кажется, эта фирма во время войны закрылась. Однако если в Штутгарте позвонить в аукционаты, то можно будет узнать, кто стал преемником Хартмана...

— Я думаю, вам придется приехать в ФРГ еще раз,— обращается ко мне Иванов.

— Если хотите, можете поручить это нам,— предлагает Кишилов.

— До скорой встречи! — говорит Виллем Штренг.— Желаю вам найти сокровища нашего замка все до единого!

История, начавшаяся в 1836 году, еще не окончена. За одним фактом открывается десять других. А раз так, будем надеяться, что верещагинские материалы еще не исчерпаны и мы еще вернемся в эти места.

1962

Чудеса радиотелевидения

Находка от находки

Командировка в Западную Германию завершена. Лермонтовские материалы, полученные от профессора Винклера, привезены в Москву. Рисунки и картина поступили в Литературный музей, автографы, как условлено,— в Рукописное отделение Библиотеки имени В. И. Ленина. Туда же переданы на хранение фото с автографов, которые принадлежат господину фон Кёнигу. Мне предстоит сделать отчет о поездке — сперва в Министерстве культуры СССР, а потом и по телевидению.

...Сижу перед камерой в студии, поднимаю со столика лермонтовские реликвии одну за другой.

— Вот,— говорю,— акварельный автопортрет. Лермонтов изобразил себя в бурке, на фоне Кавказских гор. Это подлинник. До сих пор мы видели только копию.

Показал — отложил.

— А это — неизвестная картина Лермонтова. Арба спускается к реке, волов удерживает погонщик в островерхой грузинской шапке. А тут притаились горцы...

Показал — и убрал. Поднимаю портрет Верещагиной:

— Это фото со старинной литографии, на которой изображена Александра Михайловна Верещагина... Ей принадлежали все эти вещи, отыскавшиеся в Федеративной Германии. Фото подарил нам ее правнук — доктор фон Кёниг.

Показал и отложил в сторону.

Могу ли я знать, что происходит в это время в Москве, на Кутузовском проспекте, 11?

Нет, не могу.

Почему?

Потому что мне телезрителей не показывают.

Между тем на Кутузовском разыгрывается напряженная сцена.

Сидящая у телевизора восемнадцатилетняя художница Наталья Константиновна Комова вскакивает, хватает телефонную трубку, звонит своей бабушке Инне Николаевне Солнцевой, по мужу Полянкер. Бабушка живет в другом районе Москвы.

— Ты телевизор смотришь?

— Смотрю.

— Фотографию видела?

— Видела.

— Так ведь это портрет совершенно такой же, как тот, что висит в твоей комнате!

— Да, я тоже удивляюсь, такой же!

— Ну, так я тебя поздравляю: это не твоя бабушка, а Александра Михайловна Верещагина. А ты откуда ее взяла, литографию?

— Я вынула ее из альбома.

— Какого альбома?

— Нашего, старого...

— А где этот старый альбом?

— Господи! Что же ты у меня спрашиваешь, когда он у вас, на Кутузовском! За зеркалом посмотри.

Девушка бросается к зеркалу и достает огромный альбом 30-х годов прошлого века. Начинает листать и...

Обнаруживает карандашный рисунок с подписью: «М. Лермонтов» — неизвестный портрет какой-то молодой женщины.

На другой день Наталья Комова и брат, постарше ее, скульптор Олег Константинович Комов, приезжают ко мне домой с альбомом и окантованной литографией, изображающей Верещагину. Невольная ошибка Инны Николаевны Солнцевой разъясняется.

Ее появление на свет вызвало трагические последствия — мать умерла. Услышав об этом, отец новорожденной застрелился. Инна Николаевна воспитывалась без родителей. Ей было известно, что бабушка, мать ее матери,

родом из Франции. И, увидев в альбоме старинную литографию с пометой «Paris», она окантовала и повесила на стену. Теперь уже ясно — это не бабушка, не француженка, а Верещагина-Хюгель. Но Инна Николаевна привыкла видеть это изображение и расставаться с портретом не хочет. Дело ее!

Интересуюсь, нет ли чего-нибудь за окантовкой, на обороте.

— Бабушка говорит, что нет,— отвечает Наташа Комова.— Но она давно не смотрела. Надо расколупать...

Повезли литографию «колупать» в Музей Пушкина.

Надписей нет.

Не менее интересен альбом, из которого вынута литография: стихи Пушкина, Веневитинова, Ростопчиной, Бенедиктова, французских поэтов: Ламартина, Гюго, Барбье... Списано чьей-то неизвестной рукою из книг. Но больше всего в этом альбоме Лермонтова. Есть рисунок с подписью Шан-Гирея, троюродного брата поэта, того самого, которого в 1838 году Лермонтов «таскает» за собою, по словам матери Верещагиной. На рисунке проставлен год: «1838». Кстати, и портрет Верещагиной тоже 1838 года. Видимо, этого времени и альбом.

Чей?

Это пока неизвестно. Надо установить.

На одном из листов имеется запись:

Я буду любить вечно,
Буду помнить сердечно.
А... (подпись неясная)

А строчкой ниже — очень размашисто:

Очень нужно. Мария Ловейко.

Прочитав эту отповедь, обиженный обожатель взял перо и вставил отрицательные частицы «не». Получилось:

Я не буду любить вечно,
Не буду помнить сердечно.

И снова почерком Марии Ловейко приписано:

Да мне все равно, будете ли вы меня любить или нет.

В чужом альбоме никто не посмел бы заниматься такими писаниями. Очевидно, альбом и принадлежал этой Марии Ловейко.

Кто же она такая?

В одном из писем матери Верещагиной, посланном в Штутгарт из Петербурга в 1838 году, упоминается имя Ло-

вейко и ласково: Машенька. Эта девушка живет у Столыпиных, которые переехали в Петербург. Комовы, со своей стороны, узнали, что Мария Ловейко — бабушка Инны Николаевны Солнцевой по отцу, жена владимирского помещика Ивана Солнцева. Им самим приходится прапрабабкой.

Итак, альбом прапрабабки. Комовы просят меня распорядиться им по своему усмотрению.

Я «усмотрел», что его хочет хранить музей села Лермонтово Пензенской области. Там он теперь и находится. И люди подолгу рассматривают этот рисунок, исполненный лермонтовской рукой.

Еще два

Но телевизоры не только в Москве. В Ленинграде передачу тоже смотрели...

Впрочем, прежде чем рассказать про главное, придется сказать и про то, что для дела совершенно не нужно. Как ни странно, но без этого ничего не получится!

Вскоре после той передачи по телевидению я собрался уезжать в Киев. Но перед этим должен был на один день слетать в Грузию.

В Москве, спускаясь по лестнице из квартиры, в которой живу, я запустил руку в распределитель для писем (он стоит на втором этаже, на площадке), сунул письма в карман и помчался во Внуково. Вечером выступал в Тбилиси, на другой день приезжаю в тбилисский аэропорт, чтобы отправиться в Киев.

Объявление: вылет откладывается.

Новое объявление: самолет, следующий рейсом Тбилиси — Ленинград, в Киеве посадку делать не будет. Пассажиров, купивших билеты до Ленинграда, просят пройти на посадку.

А я как же?

Протиснулся в кабинет к начальству. Узнал: сегодня я в Киев не попаду — нет погоды. А завтра — нет самолета. Может быть, послезавтра...

— Что же мне делать?

— Летите до Ленинграда. Попро́сите: вас перекинут оттуда на турбовинтовом или на обычном. А «ТУ» Киев не принимает давно.

Покупаю билет, лечу... Записная книжка с ленинградскими телефонами осталась в Москве. Попаду ли я завтра в Киев, не знаю. В тоске засовываю руку в карман, вытащил нераспечатанные конверты. Разрезаю: одно письмо ленинградское. Пишет научный сотрудник Института физиологии Академии наук СССР Антонина Николаевна Знаменская:

«Когда вы снова попадете в наш город, приезжайте на Васильевский остров, Средний проспект, дом № 30, кв. 4. Хочу передать Вам альбом, в котором нашла стихотворения Лермонтова...»

Радоваться рано. Может быть, это «Бородино», переписанное рукой гимназиста. Но воображение уже заработало, и верится, что это — увлекательная находка.

Звоню из гостиницы, от швейцара.

— Довольно поздно уже,— отвечает приветливый голос.— Но если вы улетаете утром, то приезжайте, я жду...

Приехал. Альбом в коричневом сафьяновом переплете с золотыми цифрами «1839». Золотой обрез. Английская плотная бумага. Стихи, вписанные поэтами Вяземским, Ростопчиной, стихи Александра Карамзина и...

Лермонтов! Два стихотворения! Его рукой! Одно — известное: «Любовь мертвеца». Другое — известное лишь отчасти:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Тоскою желанья,
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Вот эти строфы, первые две, известны. А три строфы, по существу, никому не известны — вариант этого прославленного стихотворения:

Надежды в них дышут,
И жизнь в них играет...
Их многие слышут,
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки;

Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Лермонтов

Сейчас этот альбом в Пушкинском доме Академии наук СССР. История у него преинтересная. Принадлежал он, как удалось выяснить, молодой Марии Бартеневой, сестре замечательной русской певицы Прасковьи Бартеневой: Лермонтов встречался с ними в салоне Карамзиных. В 1917 году этот альбом принес продавать в антикварный магазин Дациаро на Невском проспекте господин, не назвавший своего имени, и купила альбом Александра Николаевна Малиновская. За ее племянника впоследствии вышла замуж Антонина Николаевна Знаменская. Но до того как он попал в руки Знаменской, его пришлось спасать из Воронежа в 1942 году...

Нет, телевидение — это просто какая-то «золотая рыбка». И не просишь — желание сбывается. А уж если обратиться к телезрителям с просьбой!..

Необыкновенный музей

В Москве, на Кропоткинской улице, в доме 12, разместился Государственный музей А. С. Пушкина. Я говорю не о Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Нет! О музее, посвященном поэту. Если у вас будет возможность там побывать — пойдите! Он не похож ни на один музей, какие мне приходилось видеть. Начнем с того, что судьба его необычна и увлекательна.

Решение о его открытии состоялось в 1957 году. Предоставлено ему было все — и помещение, и средства, и штаты. Не хватало одного — экспонатов: портретов Пушкина, его книг, рисунков, картин, иллюстраций, вещей. Все это сосредоточил в своих собраниях Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде. Поэтому некоторые работники предлагали разделить Всесоюзный музей пополам: пускай, дескать, часть останется ленинградцам, а другую возьмет Москва. Но музея, подобного Всесоюзному, не удостоился, кроме Пушкина, ни один из величайших писателей мира — ни Данте, ни Сервантес, ни Гёте, ни Байрон, ни Бальзак, я уж не говорю о Шекспире! Разрушить такой музей невозможно! Что сказали бы вы, если бы речь

пошла о разделении на части Третьяковской галереи или ленинградского Эрмитажа?

Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде решили не трогать. И тогда коллектив нового музея, московского, во главе с директором, редким энтузиастом, почитателем Пушкина и блистательным организатором — зовут его Александром Зиновьевичем Крейном,— ринулся на розыски материалов. Дело было нелегкое. В 1937 году, в дни, когда отмечалось 100-летие со дня гибели Пушкина, пушкинисты получили материалы из всех музеев страны. И все это было передано потом Всесоюзному музею А. С. Пушкина и увезено в Ленинград. Но оказалось, что можно еще раздобыть кое-что — и вещи той эпохи, и книги, изображения друзей и знакомых поэта. Периферийные музеи очень тогда помогли своему начинающему собрату. Но не меньшую помощь оказали жаркие почитатели Пушкина — их же в нашей стране легион! Узнав о том, что новый музей нуждается в экспонатах, они понесли и повезли кто что мог. Один — первое издание пушкинского труда «История Пугачева», другой — старинный альманах «Северные цветы», где впервые было напечатано пушкинское стихотворение. Третий преподнес старинную чашку, тот — янтарную трубку. Бронзовую статуэтку. Старинный столик. Книгу — такое издание было в библиотеке Пушкина. Недавно умерший профессор — нейрохирург А. А. Арендт подарил музею ящик для медицинских инструментов, с которыми приезжал к раненому Пушкину его прадед, лейб-медик Н. Ф. Арендт. Вдова известного терапевта профессора Д. М. Российского — огромное собрание старинных портретов в гравюрах и литографиях. Около тысячи предметов преподнес музею коллекционер Я. Г. Зак. Другой коллекционер, Ф. Е. Вишневский, обойдя знакомых и комиссионные магазины, достал множество редчайших вещей, дополнив это ценнейшими экспонатами из собственного собрания. От студента Университета дружбы народов имени Лумумбы поступили сочинения Пушкина в переводе на арабский язык, от бывшего разведчика — фотография села Михайловского, снятая через линию фронта. Актер В. С. Якут предоставил в постоянное пользование портрет поэта в трехлетнем возрасте. Этот подлинный, неизвестный портрет хранился в семье врача М. Я. Мудрова, лечившего родителей Пушкина, и правнучкой был подарен Якуту.

Посмотрели бы вы, как использовал музей эти сокровища! Уголок, посвященный детству поэта, похож на театральную выгородку. Столик, свечи в старинном подсвечнике. Кресла, какие могли стоять в гостиной родителей Пушкина. На стене, оклеенной обоями XVIII века,— виды старой Москвы, полотно, писанное знаменитым Левицким: двоюродный дед поэта, наваринский герой Иван Абрамович Ганнибал. Вот где «заиграла» подаренная Якуту реликвия! В шкафу — книги, которые читал Пушкин подростком. Возле шкафа портреты друзей отца — Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Дмитриева.

Ни в одном литературном музее не увидишь такого сочетания науки с искусством, такого умения оживлять атмосферу эпохи!

Другой уголок — старинный письменный стол. Он мог стоять в кабинете Онегина. А на нем работники музея разместили

И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом,—

статуэтку Наполеона. И тут же —

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале.

И книги лежат и стоят, какие читал Онегин! И все это показано наглядно, талантливо, живо! Это только два уголка. А их множество. И во всех ощущаешь дух поэзии Пушкина, дух того времени. А сколько вечеров устраивает музей в этих залах и в специальном концертном зале! Здесь делают доклады прославленные ученые — доступ свободный! Выступают известные чтецы. И читают здесь не одного Пушкина: сюда приходят поэты со своими стихами и переводами. Школьники, самодеятельные чтецы. Коллектив музея страстно мечтает, чтобы дом Пушкина стал домом поэзии в самом широком значении слова. Он ищет самые разные формы общения с теми, кому дорога поэзия Пушкина, кому дорога культура. Устроили телевизионную передачу из залов музея. И... пошли на другой день москвичи — понесли в подарок старые альманахи, номера жур-

налов, в которых впервые печатались творения Пушкина. Пришли письма. Стали присылать вещи из других городов...

Повторили передачу. И снова подарки — знаки бесконечной любви к Пушкину и уважения к музею. Дарят такие сокровища, что невозможно даже исчислить!

Я думаю, имя Маргариты Владимировны Ямщиковой вы знаете? Она писала увлекательные детские книги и печатала их под псевдонимом Алтаев. Ее дочь, Людмила Андреевна Ямщикова-Дмитриева, тоже посвятила себя детской литературе. Ее псевдоним — Арт. Феличе.

Так вот, увидев однажды Музей А. С. Пушкина на телевизионном экране, Людмила Андреевна позвонила Александру Зиновьевичу Крейну и попросила принять от нее в дар музею книги и вещи, принадлежавшие ее матери,— вещи эпохи Пушкина. Ямщиковы связаны с псковской землей, в родстве со знакомцем Пушкина Федором Толстым, которого звали Американцем...

И сотрудники привезли от нее старинные игрушки, чернильницы, перовницы, табачницы, сумочки, вышивки, чашки, тарелки, чайник, графин, рецепт тех времен... Три чемодана вещей — сверстников Пушкина!

Подарок не меньшей ценности музей получил от окулиста Антонины Сергеевны Головиной, жившей под Москвою, в Калининграде. Она тоже видела передачу по телевидению и в 1967 году, умирая, завещала Пушкинскому музею коллекцию, которую собирала в продолжение всей своей жизни,— бытовые предметы первой половины прошлого века: хрусталь, бронзу, фарфор, бисерные вышивки, мебель...

Так от одного тянется нить к другому, особенно если в дело включается такой мощный инструмент для обнаружения еще неизвестных исторических материалов, как Центральное телевидение! Инструмент, способный и для другого, еще более важного — обнаруживать в телезрителях великое уважение к культуре и качества высокой души.

Вагон из Саратова

После гибели Лермонтова все, что было при нем в Пятигорске, что оставалось в петербургской квартире и в пензенском имении Тарханы,— все его рукописи, картины,

рисунки, книги и вещи,— решительно все осталось единственной наследнице и единственно близкому человеку — бабушке, Елизавете Алексеевне Арсеньевой.

Обливаясь слезами, она щедро дарила знакомым листки из его тетрадей, рисунки, картины «на память о Мише». Она немногим пережила своего гениального внука — всего на четыре года.

Наследство перешло к ее брату. Вещи Лермонтова, какие остались, сложили и увезли в Саратовскую губернию, в имение Лесная Неёловка. В этом имении Лермонтов в юные годы гостил, и, по преданию, там все это бережно сохранялось в той комнате, в которой он ночевал.

Сменялись эпохи, владельцы. Зловещее имя утеснителя крестьян министра Столыпина вызывало в народе ненависть. В 1905 году, когда крестьянские восстания прокатились по всей России, поднялись и неёловские крестьяне. И решили столыпинское имение спалить. Но, прослышав, что тут гостил когда-то великий поэт, вошли в его комнату, вынесли вещи, зарыли в саду, а усадьбу сожгли.

В 1918-м, после Октябрьской революции, они вернулись сюда, вещи отрыли и передали в Саратовский губисполком. Губисполком погрузил вещи в вагон и послал в Москву, Луначарскому.

Тот вагон до Москвы не дошел. И вещи пропали. Дальше остается догадываться.

Может быть, вагон попал на Урал? По тем временам это было вполне возможно. Отчего я так думаю?

В 1919 году в Уфе, в остатках имущества, брошенного белогвардейцами, был найден набросанный карандашом пейзаж — домик на морском обрыве и подпись: «Рисовал М. Лермонтов».

Этот рисунок нашел некто И. Е. Бондаренко и в 1927 году переслал его в Ленинград, в Пушкинский дом, где он с тех пор и хранится. Остается сказать, что Лермонтов изобразил на рисунке морской пейзаж и тот домик, о котором рассказал в своей новелле «Тамань».

Где найдена эта картинка — об этом написано на ее обороте. А вот первую половину истории — про поступок крестьян из Неёловки — рассказывала известный в Саратове библиотечный работник Дворецкова Клавдия Ивановна.

Давно мечтая восстановить маршрут саратовского вагона, я решил обратиться за помощью к радиослушателям.

Рассказал им эту историю и просил пособить — выяснить, кто такой Бондаренко.

В тот же вечер мне стало известно, кто прислал рисунок Лермонтова в Пушкинский дом.

Оказалось — Илья Евграфович Бондаренко, архитектор, в свое время служивший в Москве в частной опере Саввы Ивановича Мамонтова, замечательного русского мецената. Бондаренко дружил с художником Константином Коровиным, с Л. В. Собиновым, с Ф. И. Шаляпиным. И был связан с Уфой — занимался архитектурными реставрациями, в частности в 1927 году. Умер он после войны. Оставил записки, которые его родственник обещает найти.

И все — за один вечер!

На этом дело не стало. В поиски включалась Уфа — работники Башкирской республиканской библиотеки имени Н. К. Крупской и Художественного музея имени М. В. Нестерова — Н. Н. Барсов и А. А. Алабужев. В «Известиях Уфимского губисполкома» за май 1920 года они отыскали статью, в которой говорится (вероятно, со слов И. Е. Бондаренко), что рисунок Лермонтова находился в «семейном старинном альбоме какой-то семьи Петровых».

Новое дело! Петровы — родственники поэта. Но до сих пор нам было известно, что они жили на Кавказе, в Ставрополе, где в 1837 году у них бывал Лермонтов, а потом в Костромской губернии,— там у них было имение. Стало быть, надо теперь решать не одну задачу, а две — как попал в Уфу и куда девался семейный альбом родных поэта Петровых? И куда девались лермонтовские вещи, хранившиеся у его родственников Столыпиных и в 1918 году отправленные из Саратова в Москву?

А всё — радиотелевидение!

Дар медицинской сестры

Не перечислить советов, указаний, подарков, какие шлют в своих письмах слушатели Всесоюзного радио. Да что «шлют»! Сами иной раз приезжают. И не с пустыми руками, а как Анна Сергеевна Немкова из Серпухова, что под Москвой.

Кто такая Немкова? В прошлом — сестра медицинская, ныне — пенсионерка.

Она приехала в Москву, чтобы передать в какой-нибудь

из музеев альбомчик с автографом Лермонтова. Не зная куда пойти, обратилась на радио, в редакцию «Последних известий». Сотрудник редакции Юрий Гальперин позвонил мне. Я приехал.

Альбомчик картонный, с изъеденным кожаным корешком, маленький, какой можно было уложить в крошечную дамскую сумочку — ридикюль. На одном из листков — две строки из стихотворения «Дума»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.

Лерм...

Рука Лермонтова.

Стихотворение известное. Отличий от печатного текста нет. Кому принадлежал альбом?

Анна Сергеевна знает одно: альбом подарила ее бабушке княжна Оболенская.

— Какая княжна Оболенская?

— Знаю,— отвечает Анна Сергеевна,— их было две сестры, и у них было семейное горе. Жених старшей посватался к младшей. Тогда обе надели черные рясы и ушли в Кашинский монастырь. Игуменьей в монастыре была Мезенцева...

Не больно богатые сведения, но, чтоб добраться до начала истории, оказалось достаточно. Как начал я выяснять — пошли имена поэтов и публицистов прошлого века. И кашинских монахинь. И нижегородских мастеровых. И убитого народовольцами шефа жандармов. И фрейлин. И кавалерственных дам. И московского сенатора — отца приятеля Лермонтова. И любимого друга поэта — Алексея Лопухина. И его сестры — Варвары Лопухиной, которую Лермонтов любил безнадежно...

Да, альбом принадлежал Оболенской — Варваре Сергеевне, с которой Лермонтов встречался в Москве, на Солянке, у однокашника своего, Андрея Оболенского...

Этот альбомчик я тоже передал в Пушкинский дом, где хранятся лермонтовские рукописи.

Вот что делает радио!

«Радио хорошо,— скажете вы.— Но чем же нас обогатил этот альбомчик? Ведь строчки из «Думы» мы знали».

Знали!

Но он открыл нам еще один, пусть капиллярный, ход к Лермонтову.

Подтвердил, как популярно было уже тогда его имя. Как велика слава у современников.

Показал, что сам Лермонтов расценивал строки из «Думы» как афоризмы и вписывал их знакомым в альбомы.

Подарок Анны Сергеевны Немковой свидетельствует о большем. О том, что второе столетие люди из народа хранят реликвии, освященные прикосновением лермонтовской руки. Что много еще можно найти документов о Лермонтове и вписанных в старинные альбомы лермонтовских стихов. И находить их не в государственных архивах, а на руках. Свидетельствует о том, какую помощь в изучении Лермонтова, в приумножении бессмертной славы его могут оказать такие прекрасные и бескорыстные люди, как медицинская сестра из города Серпухова.

Вот о чем говорит нам альбом! И какую помощь оказывает радиотелевидение!

1962—1965

Сестры Хауф

Не так давно я получил письмо из редакции «Литературной газеты». Распечатав конверт, обнаружил внутри другой, оклеенный западногерманскими марками, со штемпелем «Штутгарт», адресованный через редакцию мне.

Вот что писала по-русски корреспондентка, мне неизвестная.

«Уважаемый господин Ираклий Андроников,— начиналось это письмо.— Может быть, мое сообщение послужит хоть на малую пользу вашему делу — собиранию материалов о великом нашем поэте М. Ю. Лермонтове.

Года полтора тому назад я стала работать в новом бюро. Стала знакомиться с новыми коллегами. Рядом со мной за столом оказалась пожилая, маленькая, черненькая женщина, фройляйн Юлия Хауф. Она сразу же уловила мой иностранный акцент в немецком языке и спросила, кто я такая. Как всегда откровенно, я ответила, что я русская. «И во мне течет русская кровь,— заметила фройляйн Хауф.— Моя прабабка была русская. Ее звали Александра Верещагина». Я так и привскочила на стуле, поверьте! Только накануне я прочла в одной из газет перепечатанную Вашу статью с сообщением о находках здесь, в Германии, в замках Вартхаузен, около Ульма, и в Хохберг, около Людвигсбурга, неизвестного доселе наследия Лермонтова! Я сейчас же рассказала фройляйн Хауф об этой статье и обо всем, что мне известно о Лермонтове. На другой день

фройляйн Хауф принесла на службу и показала мне акварельный портрет своей прабабки. Он в овальной позолоченной рамке размером приблизительно 20×12 см. На оборотной стороне есть надпись выцветшими чернилами: «Александра Михайловна Верещагина, родилась тогда-то и там-то, венчалась с бароном Карлом фон Хюгель в русской посольской церкви в Париже тогда-то...» Фройляйн Хауф рассказала мне также, что у нее и ее младшей сестры Регины — обе они незамужние и живут вместе — сохранилось еще много вещей от прабабки. При Гитлере их преследовали как противников режима, хотя и пассивных. У них были состояние и дом — вилла в Штутгарте, которая является уменьшенной копией родового замка Вартхаузен. Сестры живут весьма небогато, прирабатывая — одна службой в бюро, другая, со сломанным бедром, шьет. Я спрашиваю себя: кому достанутся в случае смерти сестер эти наследственные вещи, вывезенные Верещагиной из России? Продадут ли их с молотка за гроши или они вообще исчезнут бесследно, как исчезло уже без следа многое ценное, хранившееся в замке Хюгелей Хохберг?.. Вот что, многоуважаемый господин профессор Андроников, хотела я Вам сообщить»

И подпись: немецкая фамилия и очень русские имя и отчество.

Некоторое время спустя мне снова представилась возможность посетить Западную Германию. И я не удивлю вас, если скажу, что в первый же день по приезде в наше посольство в Бонне позвонил своей корреспондентке по ее штутгартскому телефону и услышал живой, взволнованный голос, чистую русскую речь, но уже с немецкими интонационными оборотами:

— Это вы, профессор Андроников? Да? Прошло много времени, и я уже не надеялась на ваш приезд, да? Как мы сможем увидеться, вы дадите ответ? Вы хотели бы побывать в Штутгарте? Я думаю, что мы сможем встретиться в воскресенье и я смогу повести вас к сестрам фройляйн Хауф. Они хотели бы познакомиться: я говорила о вас. Вы будете в машине? Да?..

Мы условились встретиться с нею в Штутгарте перед ратушей, мы — это сотрудница московского журнала «Иностранная литература» Лидия Александровна Сомова, с

которой нам предстояли встречи с немецкими издателями и журналистами, секретарь советского посольства в Бонне Анатолий Иванович Грищенко вместе с женою и я.

Наша заочная знакомая — зовут ее Ольгой Николаевной — явилась минута в минуту. Это немолодая, интересная дама, еще совсем недавно, я думаю, блистательной красоты. Очень интеллигентная, оживленная встречей... В 30-х годах она вышла замуж за немца и уехала с ним из России.

Она села в нашу машину и, объясняя дорогу, торопливо рассказывала о зданиях, об улицах, по которым мы проезжали, пока мы не повернули на узенькую гористую улочку Штеллинвег и не остановились возле калитки, ведущей в изящный коттедж.

Здесь сестры Хауф получили квартиру после войны.

Живут они... мало сказать — небогато. Фройляйн Юлия Хауф вынуждена работать в бюро, ибо пенсия ее составляет в месяц сумму чуть больше той, которую советский человек, командированный в ФРГ, получает на питание, но не на месяц, а на одни сутки. Фройляйн Юлия Хауф — скульптор реалистической школы, но уже давно не выставляет своих работ: это направление немодно.

В квартирке уютно и чисто. И скромно. Сестры очень радушные, доброжелательные, тонко-интеллигентные женщины. По-русски не говорят, но одну из них можно принять за русскую.

Беседа вьется вокруг Лермонтова, их прабабки Александры Михайловны Верещагиной, советских литературных музеев, советских читателей, советской литературы, Советской страны, предыдущей моей поездки в ФРГ и лермонтовских реликвий, полученных от профессора Винклера и барона доктора Кёнига.

— Я мог бы познакомиться с вами еще пять лет назад,— говорю я, обращаясь к фройляйн Юлии Хауф.— Но мне никто не назвал тогда вашей фамилии.

Обе сестры улыбаются несколько смущенно и снисходительно.

— Наш прадед со стороны отца,— говорят они мне,— автор известных сказок, переведенных на многие языки. Это Вильгельм Хауф, которого у вас, как мы слышали, называют не Хауф, а Гауф. Он был воспитателем другого нашего прадеда, Карла фон Хюгеля, и, по преданию, для него и сочинял эти сказки. Но, хотя перед фамилией Хауф

и не стоит частичка фон, его имя, по-нашему, более знатно, нежели фон Хюгель.

Они полны воспоминаний о родителях, о бабушке Елизабет фон Кёниг, о родных.

Мы рассматриваем семейные альбомы: все фотографии подписаны и датированы. На стенах — виды замков Вартхаузен, Хохберг. Портрет Александры Михайловны Верещагиной в старости. На основании записных книжек бабушки они составили перечень всей русской родни Верещагиной, среди которой я нашел несколько мне неизвестных имен. Но главное — те портреты, о которых говорилось в письме. Ольга Николаевна торопит.

— Вот они!

В золоченой овальной рамке молодой круглолицый немец с серьезным лицом — муж Верещагиной барон фон Хюгель,— тот самый «Югельский барон», о котором, пародируя балладу о Смальгольмском бароне Вальтера Скотта в переводе Жуковского, Лермонтов в шутку писал:

До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон.
И кусал он и рвал, и писал и строчил
Письмецо к свой Сашеньке он...

В такой же золоченой овальной рамке под выпуклым стеклом старинный портрет — акварель с белилами на слоновой кости, в великолепной сохранности — Александра Михайловна Верещагина-Хюгель: лицо миловидное, умное, выразительное. Вот она, чудесная женщина, верный друг Лермонтова, раньше других разгадавшая в нем великий талант, его заботливая советчица, тонкая ценительница его поэзии, знаток его нежной и трудной души!

Оба портрета сделаны, очевидно, сразу же после второго венчания в русской православной церкви в Париже — венчание по лютеранским законам происходило в Берлине. Значит, это 1837 год. Портретам по сто тридцать лет!

— Мы привыкли видеть их с детства, когда впервые стали подниматься в наших кроватках,— говорит фройляйн Юлия Хауф.

— Так мало осталось от прошлого! — продолжает фройляйн Регина.— Эти вещи нам бесконечно дороги.

«Они дороги, конечно, и в материальном своем выражении,— думаю я про себя.— Несколько сот долларов, наверное. Надо попросить разрешения сделать цветные фото.

А о покупке можно будет повести переговоры потом, через посольство, когда я вернусь в Москву и, показав фотографии в Министерстве культуры, поговорю обо всем».

— О, фотографии можно сделать цветные и очень хорошие! — заверяет меня фройляйн Юлия.— У нас есть знакомый фотограф. Он сделает очень точные копии. Только...

— Фотография потребует денег,— подсказывает наша посредница.— Это довольно дорого! Сколько? — обращается она к сестрам.

— О, наверное, семьдесят марок. Огромная сумма! Но...

Я выкладываю нужную сумму.

— Фотограф вернет все, до последнего пфеннига, сверх тарифа,— заверяет нас фройляйн Хауф.— Но, может быть, он должен выписать счет?..

— Да, счет нужен.

— Как неудачно! В воскресенье его ателье закрыто. Счет может быть выписан только завтра. Вам придется заехать снова.

— Вы не хотели бы купить эти портреты? Разве нет? — спрашивает Ольга Николаевна, наша посредница.— Я могу поговорить с ними.

— Не надо,— отвечаю я ей.— Я обойдусь пока фотографиями, а позже решим.

— Я могу намекнуть! Это же будет лучше, чем фотографии.

— Надо подумать,— уклончиво отвечаю я ей.

На следующий день мы снова встречаемся в прежнем составе в уютной комнатке гостеприимных сестер. Ольга Николаевна тоже здесь — на диванчике, на своем месте.

Фотографии готовы. Выполнены отлично. И вставлены в такие же точно рамки. Я готовлюсь принять... Фройляйн Юлия откладывает их.

— Нет,— говорит она.— Мы раздумали.

И совсем на другую тему:

— Вчера был незабываемый вечер!

— Мы ведь так мало видим людей,— добавляет фройляйн Регина.

— Четыре часа увлекательнейшей беседы. Столько интересного рассказала нам фрау Сомова. Она пояснила нам многое, о чем мы не знали. И господин Грищенко с его милой женой так были с нами любезны. И ваши рассказы,

господин профессор, о Лермонтове, о нашей прабабке, о Москве того времени. И о современной столице.

— О! Мы находимся под большим впечатлением! — вторит сестра.

— Ольга Николаевна намекнула нам, что вы можете приобрести портреты, которые вам так понравились. Нас это очень смутило... Как назначить цену за то, что так дорого сердцу и памяти? Нет, есть вещи, за которые нельзя получать деньги. Это совесть. И то, что особенно дорого душе. Но мысль о том, что мы назначим цену, а она покажется вам слишком высокой и вы вынуждены будете назвать более скромную сумму и это смутит вас, опасение, что мы поставим вас в неловкое положение в благодарность за этот прекрасный вечер, окончательно убедили нас, что мы не должны продавать эти вещи! Мы дарим их вам! Передаем для Лермонтовского музея, который должен открыться в Москве, в доме, где Лермонтов так часто беседовал с нашей прабабкой. Вы говорили вчера, что в музее эти портреты будут видеть тысячи глаз, а мы — только две пожилых женщины. После нас это никому не будет ни интересно, ни дорого. Вы столько знаете про Верещагину, сколько даже мы не знаем о ней. В вашей стране столько сделано для того, чтобы она заняла свое место в биографии Лермонтова, что ей, по существу, обеспечена ныне бессмертная жизнь. Пусть она вернется в Россию, откуда уехала сто тридцать лет назад. И пусть с ней отправится тот, ради кого она покинула Москву и друзей, потому что слишком любила. Конечно, нам грустно будет без этих портретов. Мы к ним так привыкли. Но мы оставим себе фотографии, а оригиналы вы увезете с собой. Не предлагайте нам денег, не нужно... Когда вы будете в Москве отдавать эти портреты в музей, скажите, что две обыкновенные немецкие женщины просят принять их в знак того, чтобы не было споров между нашими народами. И не было разногласий между нашими государствами. Возьмите!

— Как я завидую ей,— сказала Ольга Николаевна, улыбаясь, но взволнованная до глубины души.

— Завидуете? Кому?

— Верещагиной!

С благодарностью взял я эти золотые портреты и положил в свой портфель, впервые возымев к нему глубокое уважение.

— Счастливого пути этим картинкам,— с улыбкой говорили нам сестры Хауф, прощаясь.

В Бонне я показал подарок послу Семену Константиновичу Царапкину.

— Попросите Константина Александровича Федина, как главу Союза писателей,— посоветовал он мне,— и Екатерину Алексеевну Фурцеву попросите — обратиться с письмами к сестрам Хауф. Вы перешлете их нам, а мы отправим в Штутгарт кого-нибудь из наших сотрудников, который им эти письма вручит в присутствии официальных лиц или даже, может быть, прессы. Надо оказать уважение: хорошие женщины!

По приезде в Москву, прежде чем отнести портреты в Литературный музей с условием о передаче их со временем в Музей Лермонтова, я записался на прием к министру культуры СССР.

— Разумеется, мы отправим письмо,— сказала Екатерина Алексеевна Фурцева, выслушав эту историю и очень довольная.— Но этого мало. Раз уж они отказались от денег, надо послать им подарков — побольше, поинтереснее!.. Чтобы выразить им признательность за щедрое приношение, за добрые чувства, которые они проявили по отношению к нашей стране. И Федина попросите подписать письмо с благодарностью. И не откладывать эту посылку надолго,— говорила она, обращаясь к одному из своих помощников.— Надо послать сейчас же, с группой Большого театра, которая едет на днях!

...Пакет Министерства культуры и оба письма получены в Бонне, отправлены в Штутгарт и вручены.

Об этом пишет мне славный и умный Анатолий Иванович Грищенко, вспоминая наше совместное путешествие в Штутгарт и знакомство с сестрами Хауф.

В те дни обстановка в ФРГ была напряженная. На улицах некоторых городов мы встречали бойких субъектов, которые совали нам в руки предвыборные листовки, призывавшие голосовать за неофашистскую партию. Далее обстановка стала еще сложнее. Но затем произошли важные изменения: к руководству в Федеративной Республике пришли реальные люди. Явились возможности для заключения договора с нашей страной, для укрепления мира в Европе. Нет, сестры Хауф в этой стране не одни. Есть и другие — благородные и прогрессивные люди.

1967

Так называемые мелочи

Галерея великих

Кто не знает в лицо знаменитых писателей наших? Во всю длину школьного коридора висят их портреты — от Ломоносова до Фадеева: Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский... Каждому советскому школьнику известны их имена и отчества, годы рождений и смерти, факты их биографии.

Но кто скажет уверенно: сами писатели знали друг друга — те, что жили в одну эпоху? Встречались? Слышали друг о друге? Да, по правде сказать, на некоторые вопросы сразу и не ответить. И хотя известно, что творили они в одну эпоху, а иные даже и в одном городе жили,— нить, что связывала их, оборвалась. Подобно бусам, рассыпались факты их биографии, и нечем связать. А если сумеешь найти и соединить концы нити, поэты словно выходят из рам и окружаются в нашем представлении теми, среди которых творили. И смотришь: соединяли этих великих писателей не только идеи великие, но и люди, чаще всего теперь уже никому не известные, которые только тем примечательны, что знавали великих своих современников, слушали их и первыми их читали.

Трудно поверить сейчас, что в продолжение долгих десятилетий считалось, что Лермонтов прожил «однообразную и огражденную со всех сторон жизнь». И это писали о том, чья жизнь полна самых драматических эпизодов, а томики его великих стихов и поэм, удивительный роман его «Герой нашего времени» — следствие не только заме-

чательного ума, гениального дарования, трудоспособности фантастической, но и богатого опытом жизненного пути.

Советские литературоведы употребили немало стараний, чтобы заменить ходячие сплетни и анекдоты о Лермонтове подлинным пониманием его поэзии и его исторической судьбы. И сделали многое. В частности, следует считать отвергнутым навсегда распространенное еще не так давно представление, будто Лермонтов был мало связан с литературной средой. Теперь не так просто назвать поэта, прозаика, критика того времени, с которым Лермонтов не соприкоснулся бы на своем литературном пути. И даже о тех, которые умерли прежде, чем он начал писать стихи, Лермонтов имел представление живое, не вычитанное. Почти рядом висят портреты — Грибоедов и Лермонтов. Но только недавно стало известно, что в последние годы жизни Лермонтов собирался писать

Роман о Грибоедове

Грибоедов погиб в Тегеране, когда Лермонтову шел пятнадцатый год и он учился в Москве, в пансионе, в котором, кстати сказать, в свое время учился и Грибоедов.

Но если он не знал Грибоедова, то «Горе от ума» знал по рукописи и помнил, наверное, от первой до последней строки. Среди литературных учителей Лермонтова Грибоедову следует отвести важное место.

Трипадцатого апреля 1831 года третий акт «Горя от ума» был поставлен на сцене. Впервые это представление комедии, которая, по словам современника, «только тогда сделалась известною в Москве и которую все учили наизусть», превратилось в крупное художественное и политическое событие. «Горе от ума» наделало более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски»,— говорил Герцен.

Под впечатлением этого замечательного спектакля Лермонтов задумывает и через три месяца завершает новую пьесу (две у него уже есть). Эта будет носить название «Странный человек». Герой драмы Владимир Арбенин, поэт, похожий на Лермонтова, окажется в положении Чацкого. Он любит девушку, которая предпочла ему человека пошлого. Арбенин страдает. Он задыхается в кругу московского барства. «Со мною случится скоро горе — не

от ума, но от глупости»,— говорит он сам о себе. Тут уже становится ясным, что, работая над пьесой, Лермонтов думает о комедии Грибоедова. Чтобы подчеркнуть это, Лермонтов, перечисляя гостей на балу, называет среди них имя... Чацкого. Наконец Арбенин объявлен на балу сумасшедшим. Он не бежит из Москвы — он погибает. В последней картине приносят приглашение на похороны.

Лермонтов изобразил московское общество, то, в котором задыхается Чацкий. Но это уже другая эпоха. Чацкий — декабрист, Арбенин — юноша нового поколения, которое живет без надежд, в тесных пределах, без настоящего и без будущего.

Так отразилось «Горе от ума» в «романтической драме» Лермонтова.

Проходит четыре года. Лермонтов в Петербурге. Усердно посещает театр. И решает взяться за новую драму под названием «Маскарад». «Странного человека» он написал прозой. Новая пьеса будет в стихах.

И снова он следует Грибоедову. На этот раз не в изображении героя, а в характеристике общества. С фамусовской Москвой сопоставлен официальный николаевский Петербург. «Пришло ему на мысль написать комедию вроде «Горе от ума» — резкую критику на современные нравы»,— писал хорошо знавший поэта литератор Андрей Муравьев. Стало быть, у современников связь «Маскарада» с комедией Грибоедова не вызывала сомнений. Им было понятно, что Лермонтов, следуя законам романтического театра, в то же время выступает как драматург грибоедовской школы.

Грибоедова нет. Но память о нем сопровождает Лермонтова всю его жизнь.

В Петербурге на Кирочной живет Прасковья Николаевна Ахвердова — женщина умная и талантливая, принадлежавшая к числу ближайших друзей Грибоедова. Пятнадцать лет она провела в Тифлисе, дружила с семьей знаменитого грузинского поэта Александра Гарсевановича Чавчавадзе, воспитала его дочь Нину. В Тифлисе Грибоедов останавливается в ее доме. У нее познакомился с Ниною Чавчавадзе. У нее обручился. На свадьбе Ахвердова была посаженою матерью. Она же первая сообщила шестнадцатилетней вдове, что Грибоедов убит.

Лермонтов — племянник Ахвердовой (ее девичья фамилия — Арсеньева), и естественно, что он знаком с ней.

Может ли она в разговоре не вспоминать о Грибоедове, о Нине — его жене, о Чавчавадзе, который сам, кстати сказать, в середине тридцатых годов живет в Петербурге и навещает ее?

В 1837 году Лермонтов отправляется в ссылку. В Грузию. Встречается — этому найдено множество косвенных доказательств — с Ниною Грибоедовой, с Чавчавадзе, с широким кругом людей, которые знали Грибоедова.

Грибоедов в Грузии был дружен с прославленным генералом Ермоловым, которого называли «проконсул Кавказа». Ермолов сочувствовал декабристам, высоко ценил Грибоедова. Когда в станице Червленной был получен приказ — обыскать Грибоедова и под конвоем отправить в Петербург для дознания по делу о 14 декабря, Ермолов предупредил поэта, дал ему возможность уничтожить бумаги и тем спас и его и себя. После окончания Персидской войны Грибоедова назначают в Тегеран полномочным министром. Обстановка опасная. Но Николай I не верит в него. И решает пожертвовать им. Нападение на русскую миссию. Изуродованное тело узнают по простреленному мизинцу.

И вот у Лермонтова зарождается план: написать роман «из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране».

Не увидел света этот роман, о котором Лермонтов с увлечением рассказывал секунданту, когда ехал к месту встречи с Мартыновым...

В нашу эпоху замечательный советский прозаик Юрий Тынянов описал и Грибоедова, и Ермолова, и тегеранскую катастрофу в «Смерти Вазир-Мухтара». Это роман исторический. А Лермонтов собирался писать роман современный. И героем сделать великого русского драматурга — одного из своих гениальных учителей.

Первое знакомство с Одоевским

Когда Грибоедов узнал, что друг его, поэт Александр Одоевский, за участие в декабрьском восстании приговорен к двенадцатилетней каторге и отправлен в Сибирь, он написал полные горести строки:

О, мой творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?..

Но вот до Сибири доходит известие о гибели Грибоедова, и Одоевский пишет «Элегию»:

Где он? Где друг? Кого спросить?
Где дух?.. Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить...

. . . .

Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я — в темнице!..

А вот еще стихи:

...Но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой...

Это строки из стихотворения Лермонтова на смерть Одоевского, в которых, по-моему, слышны отзвуки стихотворения Одоевского на смерть Грибоедова («Но под иными небесами он... а я...» — «Но к полям родным вернулся я... а он...»).

Перечитываешь эти стихи и думаешь невольно о том, как удивительна эта великая перекличка, это чувство общего дела и общей судьбы. Одоевский с Грибоедовым — люди одного — декабристского — поколения. Все у них общее: друзья, взгляды, дело. Лермонтов — поэт иного времени. Но он принял завет продолжать борьбу и, написав во исполнение завета стихи на смерть Пушкина, отправляется в кавказскую ссылку. И там в Нижегородском полку встречается с Александром Одоевским. Одоевский из Сибири переведен на Кавказ солдатом. Лермонтов прибыл в полк в чине прапорщика. Они сдружились, обращаются друг к другу на «ты» — поэты одной судьбы, поэты-изгнанники.

Я знал его — мы странствовали с ним
В горах Востока... и тоску изгнанья
Делили дружно...—

Так потом начал Лермонтов стихотворение «Памяти А. И. Одоевского».

Сходство поэтических мотивов и тем совершенно понятно. Одоевский читает ему свои стихи, они обмениваются-

ся мыслями во время этих странствований по Кавказу. Так считают специалисты, изучающие наследие Одоевского. Необъяснимым остается одно: самое большое сходство с Одоевским обнаруживается в стихах Лермонтова, написанных в юности — в 1830 году и 1832-м, когда ни о дружбе, ни о знакомстве с Одоевским нет и помину.

Сравните:

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал...

Одоевский

Он был рожден для мирных вдохновений,
Для славы, для надежд...

Лермонтов

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных...

Лермонтов

И эти же самые строки Лермонтов внес потом в стихотворение на смерть Одоевского.

Строки Одоевского написаны в Сибири, в 1829 году. Может быть, Лермонтов знал книжку его стихов?

Не было такой книжки!

Может быть, прочел в журнале или в газете?

Да, в 1830 году это стихотворение под заглавием «Пленник» было опубликовано в тогдашней «Литературной газете». Но подписи под ним не было.

Мог ли знать Лермонтов, кто написал его?

Думается, что мог!

В студенческие годы в Москве он постоянно бывает у Лужиных. «Завтра свадьба твоей кузины Лужиной»,— пишет он в 1831 году другу своему Поливанову. Но Лужины в родстве не с одним Поливановым. Другой близкий друг Лермонтова — Владимир Шеншин — их двоюродный брат. А Шеншин Николай — племянник.

Брат этих девушек Лужин Иван служит в Петербурге в конногвардейском полку. До декабрьского восстания в этом полку служил Александр Одоевский. И Лужин был его другом. Доказать это не стоит никакого труда: надо только прочесть письма Одоевского, в которых он перечисляет друзей.

«Давнишним другом» Одоевского был еще один конногвардеец — Егор Комаровский, человек, по словам Одоевского, «весьма, весьма ученый». Если Лужин — брат московских приятельниц, то Егор Комаровский — родственник

самого Лермонтова. Про Одоевского Лермонтов знает все через них.

Правда, дело осложняется тем, что Лермонтов в Москве, Лужин и Комаровский — в конногвардейском полку, в Петербурге, Одоевский — в Сибири, а стихотворение — без подписи.

Но, во-первых, Лужин в 1830 году находится в Москве. И ему даже поручено выяснить, когда на балу у Голицыных он будет танцевать с Натальей Николаевной Гончаровой, как она относится к Пушкину, и сообщить, благосклонна ли. Что же касается Комаровского, то в 1830 году он выходит в отставку, поселяется в Москве и женится на сестре умершего поэта Д. В. Веневитинова. Если все это знать, то становится ясным, что не только о декабрьском восстании, но и — конкретно — о пострадавшем Одоевском говорят и у Лужиных, и у Поливанова, и у Шеншиных. Лермонтовское поколение воспиталось под впечатлением событий на Сенатской площади в Петербурге. Юная поэтесса Евдокия Сушкова (будущая Ростопчина) сочиняет в 1831 году свое «Послание к страдальцам». А Лермонтов в посвященной Николаю Шеншину поэме «Последний сын вольности» пишет о декабристах, томящихся в ссылке, в Сибири:

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять...

Он многое знал о декабристах, ловил каждое слово о них. В юные годы знакомство его с Одоевским было заочным. На Кавказе в 1837 году они встретились и произошло наконец то, о чем он долго мечтал: встреча с замечательным человеком, стойким борцом за свободу, одним из тех, кто восстал за нее, вдохновенным поэтом, которому принадлежат бессмертные строки:

Из искры возгорится пламя,—
И просвященный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,—
И радостно вздохнут народы!

Кому посвящена «Эпитафия»?

Известный лермонтовед Э. Э. Найдич высказал однажды предположение, что юношеское стихотворение Лермонтова «Эпитафия» (1830 года) посвящено памяти Дмитрия Веневитинова — поэта, подававшего огромные надежды и умершего двадцати двух лет от роду. Доказательство этому исследователь видит в том, что вторая строчка лермонтовского стихотворения варьирует строку из предсмертного стихотворения Веневитинова «Поэт и друг», а вся эпитафия в целом воспринимается как характеристика этого замечательного поэта. «Кто жизни не щадил для чувства» — читаем у Веневитинова. Лермонтов написал:

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.

Он верил темным предсказаньям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои,

И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.

Талисманом своим Веневитинов считал перстень, найденный при раскопках древнего Геркуланума — города, погибшего во время извержения Везувия. Перстень был снят с пальца юноши, жившего много веков назад, и подарен потом московской меценатке — красавице Зинаиде Волконской, которую Веневитинов любил пылко и безнадежно. Волконская отдала ему этот перстень, и молодой поэт обратил к нему чудесное стихотворение «К моему перстню». Веря в магическое значение этого дара, он завещал надеть этот перстень на палец его в час кончины. Есть предположение, что Веневитинов покончил самоубийством. И причиной тому было тяжелое состояние, вызванное кратковременным заключением в Петропавловской крепости в Петербурге, куда его вызвали в связи с дознанием по делу 14 декабря. Стихотворение Лермонтова подтверждает гипотезу о самоубийстве («И неестественным желаньям он отдал в жертву дни свои»).

Теперь, когда мы знаем, что родственник Лермонтова

Е. Е. Комаровский своей женитьбой на сестре Веневитинова породнил его в 1830 году с семьей Веневитинова, предположение Найдича обретает новое подтверждение. Лермонтов оказывается связанным с московским литературным кругом прочнее, нежели это можно было предполагать до сих пор.

Лермонтов и Давыдов

Может ли быть сомнение в том, что Лермонтов знал поэзию Дениса Давыдова? Нет, не может быть такого сомнения!

Ради бога трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами! —

пишет Денис Давыдов, обращаясь к гусару Бурцову.

Как же мог пропустить равнодушно эти поэтические призывы корнет лейб-гусарского полка Лермонтов?!

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой
Твой крик приятней соловья,
Нам мил и ус твой серебристый
И трубка плоская твоя...—

это из послания к гусару Бухарову, в котором Лермонтов призывает его из Царского Села, где квартирует гусарский полк, в Петербург на холостую пирушку.

Нет, это не подражание. Это — продолжение в стихах живых, разговорных, естественных интонаций, того, чем так обогатил русскую поэзию поэт-партизан Давыдов.

А разве «Бородино» с «постой-ка, брат мусью», «у наших ушки на макушке» и «французы тут как тут» не подымается на фундаменте русской военной поэзии, который закладывал до Лермонтова тот же Денис Давыдов?

Нет, братцы, нет: полу-солдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Или вспомним другое стихотворение Давыдова:

Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,

Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем...

И рядом лермонтовские строки про «могучее, лихое племя» «богатырей», которые дали клятву верности и были готовы стоять в Бородинском бою до конца.

Вот какую традицию продолжает патриотическая военная тема в поэзии Лермонтова! Конечно, он читал томик стихотворений Дениса Давыдова. Может быть, знал наизусть. Но самого Давыдова видеть не пришлось.

Не пришлось? Об этом надо еще подумать!

Денис Давыдов приезжал в 1830 году в Саратовскую губернию на свадьбу лермонтовского «деда» Афанасия Столыпина — младшего брата бабушки поэта Е. А. Арсеньевой. Разумеется, на эту свадьбу были приглашены и Лермонтов с бабушкой. Но допустим, что они не поехали. Значит...

Значит, надо вернуться в Москву, в дом № 2 на Малой Молчановке, где живет Лермонтов вместе с бабушкой. Через два дома, по Большой Молчановке, 10, живет Николай Поливанов, о котором мы уже говорили, друг поэта и его друзей — Лопухина, Шеншиных. Родная тетка этого Поливанова, Софья Николаевна Чиркова, замужем за Денисом Давыдовым. В 1830 и в 1831 годах Давыдов в Москве, его видят с Пушкиным, с Вяземским, и он, конечно, гостит у Поливановых на Молчановке, где Лермонтов бывает чуть ли не ежедневно.

Узнав, что Лермонтов, уехав в Петербург, решил поступить там в кавалерийскую школу, друг его Алексей Лопухин сообщает ему из Москвы, что все бранят его за переход в военную службу, а он, Лопухин, не очень огорчен этим. О стихотворном таланте, пишет он, «тебе нечего беспокоиться потому, что кто что любит, на то всегда найдет время». И ссылается на Дениса Давыдова. Может быть, и слова эти — самого Давыдова: письмо Лопухина до нас не дошло, мы знаем его только в пересказе, по жандармской описи. Так или иначе Денис Давыдов и Михаил Лермонтов, писавшие стихи о защите отечества, слагали их не только как замечательные поэты, но и как военные люди. И надо думать, что для Лермонтова Денис Давыдов не только литературное имя, но живой человек и живая история.

Любимый дом

Замечательный русский писатель и знаменитый историк Николай Михайлович Карамзин умер в 1826 году. Но его друзья и после смерти его продолжали бывать у вдовы — Екатерины Андреевны, которая приходилась родной сестрой поэту и критику П. А. Вяземскому. Е. А. Карамзина прославилась как радушная хозяйка салона. Но душою его в тридцатые годы стала старшая дочь историографа (от первого брака) Софья Николаевна Карамзина. Эта женщина, по словам современницы, довела «умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добродетели». Она умела познакомить и рассадить гостей, дать направление беседе, занять стариков, затеять игры для молодых. В гостиной Карамзиных не умолкал разговор о поэзии, о новых книгах и журнальных статьях, о науке и о политике, здесь можно было поспорить о театральной премьере, послушать новую повесть. А кроме того, приехать в каком угодно часу — после театра, после великосветского бала. У Карамзиных спорили и говорили ночь напролет, «до зари».

В этом доме до последних дней своей жизни бывал Александр Сергеевич Пушкин, который высоко ценил дружбу Карамзиных. Постоянно долгие часы проводили В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский — писатель, музыкант и ученый (двоюродный брат декабриста Александра Одоевского), собиратель исторических документов Александр Тургенев — тот, что проводил тело Пушкина до Святых Гор (он приходился родным братом декабристу Николаю Тургеневу), почти своим считала карамзинский дом поэтесса Евдокия Ростопчина. К постоянным посетителям салона принадлежат эпиграмматист Сергей Соболевский и автор шутливых стихов Иван Мятлев, которого мужчины между собою зовут просто Ишкой. Им не уступает в остроумии сын Карамзина Александр, или попросту Саша. Тут можно встретить беллетриста Владимира Соллогуба, фрейлину царского двора Александру Осиповну Смирнову-Россет, композиторов Глинку и Даргомыжского, знаменитую певицу Бартеневу, художника Карла Брюллова. От этого общества неотделимы молодые гусары, с которыми Софья Николаевна танцует на великосветских балах. Постоянный гость салона — московский поэт А. С. Хомяков. В один из вечеров 1839 года Николай

Васильевич Гоголь прочел здесь новые главы своих «Мертвых душ».

Можно назвать несколько десятков имен литературных и великосветских знакомых Карамзиных, которые посещают их дом и составляют круг собеседников.

При жизни Пушкина имени Лермонтова Карамзины не слыхали ни разу. Только когда по Петербургу распространилось в списках стихотворение его «Смерть Поэта», у Карамзиных заговорили о нем. «Как это прекрасно, не правда ли?» — писала Софья Николаевна Карамзина об этом стихотворении, сообщая сестре, что его автор — «некий г. Лермонтов, гусарский офицер».

Но после возвращения из ссылки — в августе 1838 года — Лермонтов знакомится с Карамзиными, начинает бывать у них и вскоре становится своим человеком, приезжая к ним из Царского Села почти ежедневно после обеда и оставаясь до поздних часов. Софья Николаевна «без ума от его таланта». В ее глазах это великий поэт, наследник Пушкина, гордость русской поэзии. «Она за него горой,— пишет один из ее друзей,— и до слез, разумеется».

Уже через два месяца Лермонтов читает у них в узком кругу только что законченного в новой, кавказской редакции «Демона». «В субботу,— пишет С. Н. Карамзина сестре,— мы получили большое удовольствие, слушая Лермонтова (который обедал у нас), прочитавшего свою поэму «Демон» — какое избитое заглавие, скажешь ты, однако, сюжет новый, полный свежести и прекрасной поэзии. Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном горизонте, в настоящий момент таком тусклом».

Запоздавших гостей Софья Николаевна встретила восклицанием:

— Послушайте, что Лермонтов написал, какая прелесть! Заставьте его сейчас сказать вам эти стихи.

Лермонтов нехотя поднялся со стула и проговорил, как бы оправдываясь:

— Да я давно написал эту вещь.

Потом задумался и медленно начал:

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...

— Восхитительно,— сказал один из гостей, когда Лермонтов замолчал.— Это пушкинский талант,

— Нет,— возразил другой,— это лермонтовский талант, и это стоит пушкинского.

В другой раз Лермонтов прочел у Карамзиных своего «Фаталиста».

Затеялся домашний спектакль. Лермонтов превосходно играл на репетициях в двух водевилях. Но в спектакле участвовать ему не пришлось. Он был посажен под арест на три недели по приказу командира полка: великий князь остался недоволен им на смотру.

Публикуя в 1956 году в «Новом мире» «Тагильскую находку», я выразил уверенность в том, что поскольку Нижний Тагил не единственный город в нашей стране, а есть и другие, стало быть скоро услышим о новых находках. Действительно! Не прошло и трех лет, как литературовед Ф. Ф. Майский сообщил в печати, что в Симферополе, в Крымском областном архиве обнаружена часть архива Карамзиных. Более того, письма Софьи Николаевны, письма о Лермонтове, с которым она подружилась после его возвращения из ссылки, куда он был отправлен за стихи «Смерть Поэта».

Письма за интересующие нас годы дошли не полностью. И не обо всем сказано в них. Не все выводы сделаны. А между тем устанавливается интереснейший факт.

Еще при жизни Лермонтова немецкий писатель Фарнгаген фон Энзе перевел лермонтовскую «Бэлу». Через год — другой немецкий литератор, Роман Будберг-Бенинггаузен, печатает в своем переводе «Мцыри» и остальные повести, составляющие роман «Герой нашего времени». Фарнгагену фон Энзе помогал в этой работе некий Борис Икскюль. Это было известно. Но что тот же Икскюль помогал Будбергу-Бенинггаузену, это установила не так давно М. Г. Ашукина-Зенгер. Однако никто не связал этих двух фактов с третьим: восторженный почитатель Лермонтова, окончивший Царскосельский лицей, Борис Икскюль был племянником Екатерины Андреевны Карамзиной и посетителем карамзинского салона. Это карамзинский салон знакомит немецких писателей с творчеством Лермонтова и содействует еще при жизни поэта его мировой славе.

1964

Простой список дел

В истории рукописного наследия Лермонтова было множество драматических эпизодов. Далеко не все уцелело из поэтических произведений его, не говоря уже о письмах, рисунках, картинах. Кое-что из сочинений было отобрано при аресте и, видимо, уничтожено. Несколько тетрадей со стихами брошено в реку, когда горцы напали на кавказскую почту. Но один эпизод достоин сожаления особого. В 1842 году близкий родственник Лермонтова, состоя в Кременчуге адъютантом при начальнике артиллерии, оставил на «некоторое время» сыну его связку черновых бумаг, которую поэт отобрал перед последним отъездом своим на Кавказ, в 1841 году, чтобы потом еще раз просмотреть ее. В этой связке были стихи неизвестные. Много листов из нее пропало. В 1865 году живший в Кременчуге доктор медицины Н. А. Долгоруков предлагал прислать в Петербург «сотни стихов» Лермонтова (очевидно, имея в виду не стихотворения, а стихотворные строки). И сообщал, что среди них имеется маленькая, вполне законченная поэма и несколько стихотворений, написанных Лермонтовым по-французски. Но дело о покупке этих бумаг почему-то расстроилось, и что это были за стихи, нам до сих пор неизвестно. Уцелевшая часть кременчугской пачки, заключенная в переплет, попала потом в Москву, в библиотеку собирателя А. Д. Черткова и вместе с ней в собрание Исторического музея. Было это давно. С тех пор многие поколения редакторов разворачивали «Тетрадь Чертковской библиотеки». И все-таки одну запись Лермонтова никто не заметил и не использовал. Она не попала ни в академическое, ни в какие другие издания.

Это перечень дел на обороте листа, на котором писалось стихотворение 1835 года «Опять, народные витии». Судя по этому, и список 1835 года. Лермонтов, которому исполнился двадцать один год, служит в царскосельском гусарском полку и разъезжает по Петербургу с визитами. Некоторые имена и фамилии записаны сокращенно. И все же попробуем разгадать их и восстановить этот день жизни молодого поэта.

Этот список выглядит так:

Шлипен —
новос:
Кат. ал.
Алекс алек:
Торсуков
Лонгинов
Киреепу обед:
веч щерб:, пономареву,
К Столыпину, устимов.

Прежде чем обратиться к перечисленным здесь фамилиям, представим себе литературные дела Лермонтова.

Он живет не только в Царском Селе, где стоит полк, но и в Петербурге, на Садовой, у бабушки. В этой квартире вместе с ним живет его друг — Святослав Раевский, шестью годами старше его, образованный юрист, прослушавший курс двух факультетов Московского университета. Раевский имеет связи в литературном кругу и заботливо следит за литературными занятиями Лермонтова. Лермонтов еще не печатается. Он решил дебютировать новой пьесой. И вот работа над «Маскарадом» окончена.

Прежде чем представить пьесу в драматическую цензуру и на театр, Раевский — он служит столоначальником в департаменте — поручает своим сослуживцам, которые вечерком заезжают к ним с Лермонтовым на Садовую улицу по-приятельски, прочитать драму и выверить списки. После этого пьеса поступает в драматическую цензуру Третьего отделения. Одновременно Раевский передает пьесу двоюродному своему брату А. Д. Кирееву. Это управляющий конторой императорских театров. Чиновник Инсарский пишет, что он был «могущественным и неограниченным повелителем всего театрального мира... Кто не знает и не помнит Киреева? — продолжает Инсарский.— Если говорили о театрах, если вы имели какое-либо дело

до театров, на первом плане был Киреев, как будто бы ни Гедеонова, ни других личностей, имеющих значение в этом мире, не существовало».

Впоследствии, несколько лет спустя Киреев выступит в роли издателя «Стихотворений» и «Героя нашего времени». А пока Лермонтов должен еще только познакомиться с ним. Если пьеса Кирееву понравится, он вручит ее директору театров А. М. Гедеонову, и тогда можно рассчитывать, что «Маскарад» будет поставлен на императорской сцене.

Лермонтов отправился к полку, в Царское. Раевский посылает туда письмо, в котором поздравляет друга с успехом и передает приглашение Киреева: Киреев хочет познакомить его с Гедеоновым.

Приехав в Петербург, поэт едет к Синему мосту на Мойку, чтобы навестить Карла Антоновича *Шлиппенбаха:* барон Шлиппенбах — генерал, начальник той самой юнкерской школы, из которой Лермонтов год назад выпущен в полк. Но отношения с ним и с его женой на этом не оборвались. Об этом мы знаем из письма бабки Е. А. Арсеньевой, в котором упоминается Мавра Николаевна Шлиппенбах: выдав дочерей замуж, она заскучала, пристрастилась к картам. А сам Шлиппенбах болел и все еще слаб.

Новос — надо думать, тайный советник Николай Петрович Новосильцов, по словам Гоголя, известный «всем нашим литераторам». Он сын *Кат. ал.*, указанной в следующей строке — Катерины Александровны Новосильцовой, восьмидесятилетней старухи, вдовы знаменитого сенатора П. И. Новосильцова, умершего еще в начале александровского царствования. И она, и сын ее знакомы Лермонтову и старухе Арсеньевой. Недаром Арсеньева пишет, что видела как-то Катерину Александровну Новосильцову и удивлена: «ничего не переменилась». Зато сын Николай Петрович «был очень болен — инфламация в желудке», но поправляется.

Новосильцова живет на Миллионной, рядом с семьей своего брата Ардалиона Александровича *Торсукова.* Эта фамилия тоже включена в перечень предстоящих визитов Лермонтова. Торсуков — обергофмейстер двора, женатый на племяннице известной шутихи Екатерины II — Марии Савишны Перекусихиной. «Он был в большой дружбе с сестрой,— пишет в своих мемуарах Ф. Вигель,— их два дома составляли почти один: потому-то между всякой

всячиной встречался у них народ придворный и люди хорошего тона».

Надо ли говорить, что, с их точки зрения, Лермонтов принадлежит ко «всякой всячине». И отметим, забегая вперед: строки «Смерти Поэта», которые будут написаны через год с небольшим,— характеристика «известной подлостью прославленных отцов» и придворных потомков этих отцов возникнет не понаслышке, а на основании собственных наблюдений над знатью, поднявшейся, подобно грибоедовскому Максиму Петровичу, который «сгибался вперегиб», чтоб насмешить Екатерину II. Или, как говорит у Лермонтова в «Маскараде» Казарин об этих новоиспеченных вельможах:

Из грязи
Вошли со знатью в связи.
А все ведь отчего? — умели сохранять
Приличие во всем, блюсти свои законы,
Держались правил... глядь!
При них и честь и миллионы!..

Торсуковы породнились с Кикиными: Кикины — знакомые Лермонтова. Сохранился лермонтовский акварельный рисунок, который стоит карикатуры: отвратительный, сморщенный, брюзгливый старик Кикин — очевидно, Алексей Андреевич, тот, что шесть лет спустя будет писать о дуэли, жалея Мартынова, и злорадствовать, извергая хулу на погибшего Лермонтова.

В доме матери живет и другой Новосильцов — Петр Петрович, кавалергард, однополчанин Дантеса, женатый на некоей Меропе Александровне Беринг. Эта Меропа Новосильцова даже в 80-х годах не могла спокойно говорить о Лермонтове и отзывалась о нем так резко, что брань ее противно цитировать. Можно было бы и не упоминать про Меропу и про мужа ее... но нет! На дочери их женат приятель Лермонтова, лейб-гусар Н. С. Вяземский. И жене его принадлежат две акварели Лермонтова, хранящиеся ныне в собрании Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: «Бивуак лейб-гвардии Гусарского полка в Царском Селе», писанный как раз в 1835 году, и другой — «Мельница с тройкой».

Однако вернемся к перечню дел!

Если Новосильцовы живут на Миллионной, дом № 16, ул. Мошкова, а Торсуковы на Миллионной, дом № 11,

чуть ближе к Марсову полю, и эти два дома составляют «почти один» дом, то кто же обозначенный между ними в списке *Алекс алек:?*

Предположить, что Лермонтов уехал с Миллионной, чтобы тотчас снова вернуться туда?

Тут простор для догадок широкий. Это может быть, скажем, брат бабушки, обитатель Казани и Симбирска, Александр Алексеевич Столыпин, приехавший в Петербург и остановившийся у знакомых. Но возможно, что это брат Меропы Александровны — Алексей Александрович Беринг.

С Миллионной улицы Лермонтов едет к Лонгиновым на Сергиевскую. Николай Михайлович Лонгинов — статс-секретарь у принятия прошений на имя царя. Считаясь с Лонгиновыми в родстве по Арсеньевым, Лермонтов постоянно видится с ними.

Первая половина дня пролетела. Поэт спешит к Александринскому театру, где квартирует Киреев и где должна решиться, как думает Лермонтов, судьба постановки. Следовательно, в этот день ему еще неизвестно, что цензура запретит «Маскарад». Значит, происходит все это до 8 ноября 1835 года, когда первая трехактная редакция «Маскарада» возвращена поэту «для перемен».

У Киреева Лермонтов встречается с Гедеоновым. Обед затянулся. Выходит оттуда Лермонтов вечером. Ему предстоит повидать однополчанина своего — Александра *Щербатова.* Он живет на Фонтанке. Если это другой Щербатов — Дмитрий,— дело от этого не меняется: он тоже гусар и однополчанин. От Щербатова Лермонтов поспешает на Пантелеймоновскую — к лейб-гусару Пономареву — «Камашке». Потом на Театральную площадь к Мордвиновым, у которых живет его родственник, однополчанин и друг Столыпин — Монго. А если это Алексей Григорьевич Столыпин? Разница в данном случае тоже невелика. Потому что и этот родственник. И тоже однополчанин. Если так, то Лермонтов поскакал от «Камашки» не к Большому театру, а на Караванную улицу, где живет мать А. Г. *Столыпина,* родная сестра бабки Арсеньевой — Наталья Алексеевна Столыпина.

Последний в списке *Устинов* или *Устимов.* Кто это? Миша Устинов, приехавший из Саратова — молодой человек, на сестре которого женат младший брат бабушки Афанасий Алексеевич Столыпин?

Так хочется думать, но не выходит — довольно ясно читается: «м». Очевидно, это Николай *Устимович*, штаб-ротмистр гусарского полка. Похоже, что эти объезды гусар — клич на ночную пирушку.

Список можно считать расшифрованным. Если и скажет кто, что какую-то фамилию можно объяснить иначе,— общего смысла записи это никак не изменит.

Могут еще сказать: пустяковая запись, для понимания Лермонтова ничего не дает — великосветские визиты, гусары!.. Неверно. Лермонтов знакомится с жизнью петербургского света, которая дала уже материал для «Маскарада», а теперь послужит основой для описаний «Княгини Лиговской», где появится молодой человек 30-х годов Григорий Александрович Печорин. Это будут страницы, чем-то сходные с Гоголем, хотя «Мертвые души» выйдут к читателю только через шесть лет, когда Лермонтова не будет в живых. Но кто-то сказал замечательно: между «Ревизором» (1836) и «Мертвыми душами» (1842) поместился весь Лермонтов.

С гоголевским юмором делит Лермонтов в описании бала танцующих кавалеров на два разряда: одни «добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали...» И другие — «люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету...»

И какое интересное получается сочетание гоголевских интонаций и лермонтовских противопоставлений, когда он показывает, как все естественное, природное в этих людях забивает блеск мишуры, которую можно купить на золото. Вчитайтесь в строки, следующие за описанием танцоров!

«Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые напрокат из лавки...»

Где же происходит этот блестящий бал?

Девятая глава романа, в которой Лермонтов описывает эту сцену, начинается так:

«Баронесса Р** была русская, но замужем за курляндским бароном, который каким-то образом сделался

ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С одиннадцатого часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду...»

Прервем на минуту чтение. Можно ли сомневаться в том, что, когда Лермонтов писал это слово — «Мильонная»,— Миллионная улица возникла на мгновенье перед его мысленным взором со всеми этими Новосильцовыми и Торсуковыми. И это видение отразилось в следующей фразе, совместившей в себе все то главное, что было связано для него с этой именитой николаевской знатью.

«...для этого общества,— продолжает Лермонтов,— кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? — не родня ли он князю В. или графу К.»

Список, обнаруженный нами, совсем не велик. Но и он послужит изучению той среды, которую Лермонтов заклеймил в «Маскараде», в «Княгине Лиговской», в стихах на смерть Пушкина, в «Герое нашего времени»... Среды, которая Лермонтова не только убила, но долго и старательно продолжала клеветать на него.

1964

Еще об одной тайне Лермонтова

Я ни на чем не настаиваю. Не предлагаю готовых решений. Просто хочу обратить ваше внимание на события, не учтенные в биографиях Лермонтова. Сам он об этих событиях знал, не знать не мог. И как-то должен был отозваться на них.

Эта работа написана, чтобы снова обратить внимание на эпизод, имеющий отношение к гибели гениального поэта, гениального человека, о котором мы продолжаем узнавать новое и все же знаем еще недостаточно.

Приступим.

Зима 1839/40 года. Лермонтов служит в лейб-гусарском полку в Царском Селе, но постоянно и подолгу бывает в столице. Знакомые, встречающие его в великосветском кругу, создадут впоследствии в своих мемуарах образ усердного посетителя аристократических вечеров и приемов, маскарадов, балов. До нашего времени привлекают даже талантливых сценаристов и драматургов эти рассказы о гусарском поручике, скучающем в тесной сфере, в которую втолкнула его судьба. Все это так. Но иной раз можно подумать, что авторы этих пьес и сценариев помнят одни мемуары, не соотнося их с сочинениями Лермонтова. А между тем именно в это время напечатаны «Бэла», «Фаталист», «Тамань», «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», «Еврейская мелодия», «В альбом», «Три пальмы», «Памяти А. И. Одоевского», «Молитва», «Дары Терека», печатается «Герой нашего времени»... написана поэма о Мцыри. «Демона» читают нарасхват, переписывают друг у друга. Нарасхват очередные номера

«Отечественных записок» — журнала, который ведет Белинский и где Лермонтов печатает все свои сочинения.

«Мы брали книжку чуть не с боя,— писал знаменитый критик Владимир Стасов, в ту пору воспитанник училища правоведения,— перекупали один у другого право ее читать раньше всех, потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове».

Нарасхват и сам Лермонтов. Его стихов требуют самые хорошенькие женщины в свете, ими хвастаются как триумфом (это — из письма Лермонтова). Его обширные связи в великосветском кругу, приглашения на все балы, где собирается высшая знать Петербурга, объясняются его необыкновенной популярностью: молодой поэт достиг громкой известности, им заинтересованы при дворе. И понять судьбу Лермонтова можно только в том случае, если все эти факты воспринимать в совокупности, не отделяя Лермонтова-поэта от Лермонтова-гусара, занявшего такое видное положение в салонах петербургской аристократии.

А теперь обратимся к не замеченной прежде подробности, которая должна привести нас к фактам, существенным для понимания одного из важнейших моментов его биографии.

В том, что Лермонтов читал сочинения Бальзака, нет никаких сомнений. «Он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала»,— написал он о Печорине в «Герое нашего времени».

Тому, что Лермонтов читал Бальзака и был хорошо знаком не только с «Тридцатилетней женщиной», но и с другими его сочинениями, доказательств много. В литературе о Лермонтове есть указания на связь лермонтовской прозы со «школой Бальзака». Нас в данном случае интересует фраза из письма 1835 года. «Теперь я не пишу романов,— сообщает Лермонтов своей приятельнице А. Верещагиной,— я их делаю» («Maintenant je n'écrit pas des romans — j'en fais»).

Это зеркальный переворот фразы Бальзака, парафраз из повести «Герцогиня де Ланже», где о генерале Монриво говорится, что «он всегда делал романы, вместо того, чтобы писать их» («...et qui avait toujours fait des romans du lieu d'en écrire»).

«Герцогиня де Ланже» — второе звено из замечательного произведения Бальзака «История тринадцати». Так же как и первая повесть «Феррагюс — вождь деворантов», она была опубликована в Париже в 1833 году, в следующем, 1834-м, вошла во вторую книгу Бальзака «Сцены парижской жизни», а в 1835-м появилась в «Телескопе» по-русски. Если припомнить, что Бальзак «по причине всеобщности французского языка» был «почти национален» в России, как выразился один из современников Лермонтова, и что произведения Бальзака появлялись по-французски в Париже и Петербурге одновременно благодаря выходившему в русской столице журналу «Revue étranger de la littérature, des sienses et des arts», то уверенность в том, что Лермонтов мог читать «Историю тринадцати» и в оригинале и в переводе, будет полной и окончательной. Напомним — это потребуется впоследствии,— что по-французски произведение носит название «Histoire de treize» («Истуар де трэз»), а сообщество, которое действует в произведении, по числу своих членов — «Le treize» («Лэ трэз»).

Четыре года спустя после того, как в письме к московской кузине Лермонтов горделиво заявлял, что не пишет романов, а делает их, в Петербурге возникло содружество, которое современники, о его существовании знавшие, окрестили по числу его членов «Лэ сэз» — «Шестнадцать» и которое вошло в литературу о Лермонтове под названием «Кружка шестнадцати».

В сообщество входили молодые аристократы — граф Ксаверий Браницкий, Николай Жерве, Алексей Столыпин (Монго), барон Дмитрий Фредерикс, князь Александр и Сергей Долгорукие, Петр Валуев, князь Иван Гагарин, граф Андрей Шувалов, Паскевич и, главное, Лермонтов. Остальные пятеро по именам неизвестны. Эмма Герштейн, долгие годы изучавшая этот кружок и судьбу его членов, предположила, что ими могли быть князья Григорий Гагарин (художник), Александр Васильчиков (будущий секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым), Михаил Лобанов-Ростовский, Петр Долгоруков и граф Павел Шувалов. Может быть, в него входил князь Сергей Трубецкой! Исследовательница тщательнейшим образом собирала материалы об этом кружке, затратила годы на выяснение сущности и характера ежевечерних собраний. Это одно из самых значительных открытий в биографии Лермонтова.

Но самое название кружка с произведением французского романиста Герштейн не сблизила. А между тем дело, кажется, не только в названии.

Сообщения о том, что в Петербурге в 1839 году существовал аристократический кружок, появились в русской печати еще в конце прошлого века. Известный писатель Н. С. Лесков, упомянув о нем в одной из своих статей, прямо назвал его «кружком Лермонтова». Сведения о нем, в ту пору очень скупые, основывались на словах Ксаверия Браницкого — эмигранта, в молодости служившего в одном полку с Лермонтовым. В своей книге «Les nationalités slaves», вышедшей в Париже в 1879 году, в предисловии, написанном в форме письма к другому участнику кружка — И. С. Гагарину, который тоже эмигрировал во Францию и вступил там в орден иезуитов,— Браницкий писал:

«В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли по числу его членов «Шестнадцатью». Это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или с бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем... как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало,— до того они были уверены в скромности всех членов общества.

Мы оба с вами принадлежали к этому свободному веселому кружку — и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства, и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.

Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех!»

Далее Браницкий перечисляет погибших. И первым в списке стоит имя Лермонтова.

Эта страница воспоминаний была напечатана полвека спустя, да и то за границей. И все-таки даже и в ней нельзя было упомянуть имена тех, кто был еще жив и оставался в России. Поэтому-то Герштейн и угадывает неназванных членов кружка среди приятелей Лермонтова, которые ко времени выхода книги были живы, занимали посты на русской государственной службе или отличались на общественном поприще. Даже и через сорок лет напо-

минание об их прежней дружбе с Браницким, яростным врагом не только российского самодержавия, но и России, могло быть неудобным для них.

Судя по всему, правительству политический характер этих собраний был неизвестен, самый же факт существования такого содружества секрета, очевидно, не составлял. «Я видел,— писал летом 1840 года Ивану Гагарину будущий славянофил Юрий Самарин, искавший в ту пору сближения с Лермонтовым,— как через Москву потянулась вся часть «шестнадцати», направляющаяся на юг».

Юрий Самарин — человек близкий. Но, памятуя о том, что это сообщество, как пишет Браницкий, «называли по числу его членов «Шестнадцать» («Лэ сэз»), следует прийти к заключению, что окрестили их так в петербургском аристократическом обществе.

Теперь Э. Герштейн стало казаться, что кружок был обнаружен и выслан. В 1940 году, когда она впервые обнаружила новые сведения об этом кружке, она рассуждала более осторожно и обоснованно. И почти невозможно понять, как эта талантливая исследовательница могла отказаться без дополнительных фактов и аргументов от убедительнейшего вывода, к которому пришла прежде в итоге многолетней работы. Она же сама пишет о том, что все шестнадцать за исключением двоих вскоре после отъезда из Петербурга были представлены к знаку беспорочной службы. Вряд ли это могло быть, если бы они были заподозрены царем в создании политического сообщества. Напротив, именно этот факт и то, что следственных дел обнаружить не удалось, убедили ее в свое время, что молодые люди уехали на Кавказ, движимые корпоративным чувством, хотя единства политических убеждений в «Кружке шестнадцати» не было. Молодых людей сближала ненависть к деспотизму николаевского режима и стремление к свободному обсуждению важнейших проблем, связанных с пониманием исторического и национального своеобразия России, сравнение европейской цивилизации с русской. При этом для них характерен острый интерес к Востоку и тот фатализм, который определял поведение некоторых членов кружка в боях, их демонстративное презрение к жизни. Люди отчаянной храбрости — такими рисуются многие из тех молодых людей, имена которых дошли до нас в списке Браницкого. Противник революционных преобразований маркиз де Кюстин, посетивший Россию в

1839 году в надежде найти в империи Николая I образец политического устройства, в результате своего путешествия написал труд, выдающийся по силе обличения российской монархии. В своей книге, не раскрывая по весьма понятным причинам имен, он пишет — и это тоже отмечено Эммой Герштейн,— что он видел в России людей, «краснеющих при мысли о гнете сурового режима, под которым они принуждены жить, не смея жаловаться». Эти люди, продолжает Кюстин, чувствуют себя свободными только перед лицом неприятеля. «Они едут на войну в глубине Кавказа, чтобы отдохнуть от ига, тяготеющего на них на родине. Эта печальная жизнь накладывает преждевременно на их чело печать меланхолии, контрастирующую с их военными привычками и беззаботностью их возраста; морщины юности обличают глубокие скорби и вызывают живейшее сострадание; эти молодые люди заимствовали у Востока его серьезность, у воображения северных народов — туманность и мечтательность, они очень несчастны и очень привлекательны; ни один обитатель иных стран не походит на них».

Очевидно, Кюстин познакомился с молодыми людьми, входившими в число шестнадцати. Э. Г. Герштейн уверенно относит к ним эту блистательную характеристику.

Было ли у этого кружка притягательное начало? Да! Притягательным центром кружка был Лермонтов.

Не будем углубляться в проблемы, связанные с различием во взглядах членов кружка, не станем выделять из этой компании Лермонтова и вступать в спор с Браницким; примем его рассказ, как он есть. Ограничимся констатацией фактов.

Итак, осенью 1839 года в Петербурге возник кружок под названием «Лэ сэз», объединивший молодых аристократов, безбоязненно обсуждавших политические вопросы, связанные с судьбами России, проявляющих интерес к проблемам азиатского миросозерцания. Это были люди, наделенные одними и теми же чувствами протеста, умеющие молчать, уверенные друг в друге и в том, что существование кружка останется тайной для Третьего отделения, храбрецы, фаталисты, как пишет Браницкий, принимавшие за действительность «мечты необузданного воображения».

А теперь обратимся к Бальзаку. «Во времена Империи,— пишет Бальзак в предисловии к повести,— случилось так, что в Париже встретились тринадцать человек, одина-

ково охваченные одними и теми же чувствами, наделенные достаточно большой энергией, чтобы блюсти верность одной и той же идее, достаточно честные в своих взаимоотношениях, чтобы не изменять друг другу, даже когда их интересы сталкивались, достаточно глубокие политики, чтобы таить священные узы, их соединявшие, достаточно сильные духом, чтобы поставить себя превыше всех законов, достаточно смелые, чтобы пойти на все, и достаточно счастливые, чтобы почти всегда преуспевать в своих намерениях; подвергаясь величайшим опасностям, они умалчивали о своих поражениях, недоступные страху, они не испытывали трепета ни пред лицом государя, ни пред лицом палача, ни пред лицом невинности; принимаемые всюду такими, как они были, они не считались с общественными предрассудками; несомненно преступные, они в то же время действительно отличались некоторыми свойствами, создающими великих людей и присущими только избранным».

«Все Тринадцать,— продолжает Бальзак,— были людьми того же заказа, что Трелони, друг лорда Байрона и, говорят, оригинал его Корсара; все — фаталисты, смелые и поэтические,— они пресытились пошлостью своей жизни и бросились искать азиатских наслаждений, влекомые к ним необычайной страстью... Этот особый мир среди мира, враждебный миру, не приемлющий ни одной из идей мира, не признающий ни одного закона, не подчиняющийся ничему... кроме долга преданности, отдавая все свои силы своему сообщнику, когда тот или иной из них потребует общего их содействия; этот интимный союз стоящих выше окружающих холодных насмешников, улыбающихся и проклинающих, среди общества лживого и мелочного; уверенность, что все согнется перед ними по их прихоти, что месть их будет ловко задумана, что каждый из них живет в тринадцати сердцах...» — не будем продолжать цитату. Отметим только подробность, важную для сопоставления:

«По вечерам они сходились вместе, как заговорщики, не тая друг от друга ни единой мысли... Они были вхожи во все светские гостиные, запускали руки во все денежные ящики, толкались по улицам, лежали на всех подушках и без зазрения совести все подчиняли своей фантазии...» Бальзак назвал тринадцать своих героев «сообществом деворантов». Это молодые аристократы, поставившие се-

бя выше общества, убежденные, что общество должно принадлежать людям избранным, и ценящие превыше всего независимость и свободу действий.

Так, выяснив после долгих лет поисков, каких не знал мир, что герцогиня Антуанетта де Ланже, удалившись от мира, скрылась в монастыре босоногих кармелиток — наиболее строгом среди католических монастырей Испании — и под именем сестры Терезы должна кончить жизнь на одном из островков Средиземного моря, Тринадцать приходят на помощь одному из своих сочленов — генералу Арману Монриво и решаются похитить монахиню из обители, затерявшейся среди морского простора. Их план смел до дерзости: зафрахтовать под видом научной экспедиции судно, подойти к неприступным скалам, на которых высится монастырь, и ночью по легкой лестнице, которую в несколько минут может уничтожить огонь, снести вниз сестру Терезу — бывшую герцогиню де Ланже и дать возможность Монриво обвенчаться с нею. Напомню, что из этой повести и заимствовал Лермонтов фразу о том, что он не пишет романов, а делает их.

И вот тут мы и должны вернуться к тому, о чем шла речь в самом начале, когда мы говорили, что в биографии Лермонтова до сих пор остаются нераскрытыми тайны, подступ к которым труден необычайно. Так, первый биограф поэта П. А. Висковатов пишет в своей биографии Лермонтова (М., 1891), что у друга и родственника поэта Монго Столыпина «была неприятность по поводу одной дамы, которую он защитил от назойливости некоторых лиц». «Рассказывали,— продолжает Висковатов,— что ему удалось дать ей возможность *незаметно скрыться за границу*... В этом деле Лермонтов, как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и находчивый, он главным образом руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось «добраться» до поэта. С ним, кажется, можно было меньше церемониться. Лермонтов — по выражению графа Соллогуба — «не принадлежал по рождению к квинтэссенции петербургского общества». Его проникновение туда, независимая манера держаться, да еще вмешательство в интимные дела вызывали раздражение против него. Враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы

и всячески старались умалить его значение или уронить его в общественном мнении».

Висковатов не знал в ту пору, что и Лермонтов, и Столыпин принадлежали к кружку шестнадцати. А у нас есть возможность предположить, что в этом смелом предприятии Лермонтова принимал участие не один Монго Столыпин, но и другие друзья поэта. Произошло это как раз в конце 1839 года. И как раз вслед за тем появилась повесть Владимира Соллогуба «Большой свет», в которой Лермонтов под именем офицера Леонина выставлен в роли прихвостня знатного родственника своего Сафьева,— повесть, инспирированная, по признанию самого Соллогуба, членами царского дома. Именно после этого была спровоцирована дуэль Лермонтова с сыном посла де Баранта и началась та травля, которая через год с небольшим привела к трагической встрече с Мартыновым у подножия Машука в Пятигорске. Дело о поединке с Барантом, в отношении которого император пожелал, что «буде оно подлежит высочайшей конфирмации», было бы представлено ему «до Пасхи» (очевидно, чтобы не распространять на Лермонтова традиционные «прощения» к празднику), было закончено к середине апреля. Царь распорядился перевести Лермонтова на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, а Столыпину указать, что «в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным». Лермонтов выехал на Кавказ в начале мая. А два месяца спустя на юг потянулись и другие члены «Шестнадцати», выхлопотавшие себе переводы в кавказские полки. Сообщение Висковатова сомнений не вызывает, ибо, как доказала недавно все та же Э. Г. Герштейн, Столыпин, удаленный на Кавказ одновременно с Лермонтовым, находился в опале и выход в отставку был для него закрыт в это время точно так же, как и для Лермонтова. Теперь, когда обнаружилась статья А. В. Дружинина, заключающая в себе пересказ неопубликованных воспоминаний одного из кавказских знакомцев и приятелей Лермонтова Руфина Ивановича Дорохова, становится окончательно ясным, что не только по уму и таланту, но и по свойствам характера Лермонтов был центром сообщества. «По натуре своей предназначенный властвовать над людьми... отличавшийся силой характера, наш поэт был честолюбив и скрытен»,— пишет Дружинин, говоря при этом, что свое изгнание и немилость Лермонтов переносил так, как переносятся житейские невзгоды людьми желез-

ного характера, «предназначенными на борьбу и владычество».

Очевидно, эти же свойства проявлялись в спорах Лермонтова в кружке молодых петербургских аристократов, которые, видимо, имели какие-то черты сходства с «Тринадцатью», если вызвали к жизни название «Шестнадцати».

Впрочем, может быть, это фантазия, и близость названий «Лэ сэз» и «Лэ трэз» объясняется не чтением Бальзака, а нормами французского языка, принятого в московских и петербургских салонах?

Нет! 4 мая 1836 года Пушкин пишет жене из Москвы, что друг его Павел Воинович Нащокин называет издателей «Московского наблюдателя» «Лэ трэз». Тут не стоит гадать, почему это название Нащокин прикрепил к «наблюдателям». Очевидно, считал их людьми решительными, ловкими, предприимчивыми. Но самое важное, что заглавие Бальзакова цикла из трех повестей у всех на устах и, в некотором смысле, становится нарицательным именем.

А теперь вернемся к эпизоду, рассказанному П. А. Висковатовым.

Кто эта «одна дама», которую Монго Столыпин и Лермонтов защитили от назойливости «некоторых лиц»? Кто эти «лица»? Как удалось молодым офицерам дать ей возможность «незаметно скрыться за границу»? При этом Висковатов сообщает, что не Столыпин, а именно Лермонтов, «смелый и находчивый... главным образом руководил делом». «Всю эту скандальную историю желали замять и придать ей как можно меньше гласности». «Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла». (Опять «некоторые лица».) «Бенкендорфу, очевидно, хотелось «добраться до поэта».

Намеки прозрачные. Бенкендорф не «некоторые лица». Бенкендорф фигурирует под фамилией. В письме к своему другу и ученику Е. А. Боброву Висковатов высказался более точно: «Лермонтову и Столыпину удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица» (тут уже в единственном числе). И все-таки даже полвека спустя Висковатов не решился в частном письме назвать это имя. Очевидно, Лермонтов защитил какую-то даму от назойливого внимания императора. Проникновение в высший свет и «*вмешательство в интимные дела* — (курсив Висковатова!) вызвали раздражение против него».

Весь этот эпизод рисуется в ином свете, если представить себе, что Лермонтов действовал не один и не вкупе

с Монго Столыпиным, а замыслил эту дерзкую операцию, опираясь на сообщество независимых молодых людей, которых объединяла ненависть к николаевскому режиму. Этим людям «интимное дело» Николая не кажется таковым, а дополняет представление о деспотии, попирающей человеческое достоинство.

Чтобы прояснить иносказания Висковатова, попробуем обратиться к некоторым фактам, относящимся к этому времени. Но прежде чем назвать имена, напомним известное.

Для удобства императора, прославившегося в качестве «рушителя» семейной чести своих подданных, девушку, обратившую на себя «высочайшее» внимание, жаловали во фрейлины, после чего она поселялась во дворце и становилась кратковременной фавориткой. Это благосклонное внимание государя завершалось тем, что императрица начинала сватать недавнюю избранницу за кого-либо, «лично известного» государю. При этом чаще всего избранный ею жених и родители невесты рассматривали это сватовство, как проявление особой монаршей «милости». Но бывало (хоть это случалось нечасто), что история принимала другой оборот. И те, кому следовало о том беспокоиться, старались, чтобы скандальные слухи не вышли за пределы узкого придворного круга.

В июле 1839 года объявлено было, что баронесса Ольга Фредерикс пожалована во фрейлины к дочери Николая — великой княгине Марии. Надо знать, кроме того, что Ольга Фредерикс была дочерью генерал-адъютанта барона П. А. Фредерикса, командира лейб-гвардии Московского полка, человека, доказавшего свою преданность Николаю 14 декабря 1825 года, когда он, Фредерикс, выйдя к восставшим солдатам, упал от удара саблей по голове, нанесенного ему поручиком Щепиным-Ростовским. Мать молодой фрейлины — Цецилия Владиславовна, урожденная графиня Гуровская, полька и католичка, с детских лет состояла в интимной дружбе с императрицей, была с нею на «ты», виделись они ежедневно, и дети Фредериксов воспитывались во дворце, вместе с детьми императора. Это не помешало Николаю проявить интерес к подруге своих детей.

Великий критик Н. А. Добролюбов в статье «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев», приведя эпизоды, рисующие нравы императорского двора, пишет:

«...Рассказывают подобную историю о Никитине, же-

нившемся на фрейлине, дочери барона Фредерикса. Не нашедши в жене того, чего ожидал, вероятно, он позволил себе упрекать ее и даже, говорят, довольно резко. Жена пожаловалась, и скоро Никитин был обвинен в какой-то нелепейшей истории — в покупке города где-то в Польше и в заплате за него фальшивыми деньгами. Кончилось тем, что его сослали. Жена осталась при дворе, а потом отправилась за границу. Тогда и Никитин был оправдан и возвращен».

Факты изложены Добролюбовым не совсем точно, но по существу подтверждаются. Никитин обыграл в карты Любомирского, польского князя. И предъявил тому долговые расписки. Желая наказать Никитина за строптивость, Николай приказал уничтожить все долговые акты, объявив их актами незаконными, о чем Третье отделение и сообщило министерству юстиции. Дело разбиралось в сенате и оказалось настолько вздорным, что кончилось в пользу Никитина. В архиве Третьего отделения хранилось «Дело по жалобе поручика Василия Никитина на жену свою, преданную предосудительной жизни», оконченное с ее смертью в 1859 году. Через десять лет оно было уничтожено, так как не подлежало хранению. Мы знаем о нем только из описи.

Косвенно эта история отразилась в мемуарах одной из дочерей Николая I (Ольги), которая, вероятно, даже и не догадываясь о причинах, рассказывает о крушении дружбы между Фредериксами и царской семьей, последовавшем вскоре после описанных здесь событий. «С годами и заботами, которые принесли ей ее дети,— пишет о Цецилии Фредерикс дочь Николая,— она перестала любить общество... Мы стали меньше видеться, и привычки изменились». «Опустошенная душа» Сесили Фредерикс «искала покоя и поддержки». Интересно также, что младшая сестра Ольги Фредерикс, Мария, восторженная почитательница царской семьи, подробно описывая в своих воспоминаниях годы дружбы семьи Фредериксов с царской семьей, ни слова не пишет о сестре своей Ольге. Очевидно, даже упоминание этого имени вызывало в памяти замятый скандал.

Вся эта история представится в другом свете, если сказать, что баронесса Ольга Петровна Фредерикс приходилась родной сестрой члену кружка шестнадцати — Дмитрию Фредериксу, а муж ее Василий Павлович Никитин — корнет лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в Цар-

ском Селе, был однополчанином Лермонтова, Столыпина, Александра Долгорукова, Андрея Шувалова и Ксаверия Браницкого. Это — пятеро из шестнадцати. И все говорит о том, что Лермонтов не мог не знать этой истории и не мог не выразить так или иначе своего отношения к ней. Если допустить, что он и его друзья вмешались в эту историю и что именно они помогли Ольге Фредерикс выехать за границу — по-другому можно трактовать слова брата царя Михаила Павловича, которые относятся именно к тому времени, когда Лермонтов и Столыпин жили вместе в Царском Селе на углу Большой и Манежной, где собирались гусары. «Товарищество (esprit de corps),— пишет по этому поводу родственник поэта Михаил Лонгинов,— было сильно развито в этом полку». И продолжает: «Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого «esprit de corps», приписывал происходившее в гусарском полку подговору товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили».

Можно себе представить, как при этом «духе товарищества» должны были отнестись лейб-гусары, и прежде всего Лермонтов и Столыпин, к судьбе своего однополчанина Никитина и сестры одного из сочленов кружка — Дмитрия Фредерикса — опозоренной, обесславленной в свете не тем, что она стала фавориткой монарха, а тем, что разыгрался скандал. Если Лермонтов и его друзья действительно помогли молодой женщине выбраться из пределов России (Добролюбов пишет: «а потом отправилась за границу»!), сумели помочь ей, обманув бдительность городской полиции и Третьего отделения и вмешавшись в личную жизнь императора, тогда эта история представляется совершенно в духе Бальзака — судьбы герцогини де Ланже и приключений Армана Монриво и его друзей, одержимых духом протеста против законов света, связанных узами дружбы, «не доступных страху ни пред лицом государя, ни пред лицом палача».

Кстати, вмешательство шестнадцати молодых людей в эту историю не должно вызывать недоумение. И то, что, кроме Лермонтова и Столыпина, никто из них не был удален из столицы, может быть объяснено тем, что участие других в этом деле осталось неизвестным Третьему отделению. Что же касается Лермонтова и Столыпина, то это уже не гипотеза, а факт, подтвержденный неоспоримыми доку-

ментами, что Бенкендорф стремился под любым предлогом удалить их из столицы, что и было сделано вскоре: спровоцировано столкновение с Барантом, и оба — под разными формулами — отправлены на Кавказ. Некоторые друзья потянулись за ними, но часть отправилась в другие места: Гагарин — в Париж, Браницкий и Шувалов — в Варшаву, Валуев остался в столице. Это было в середине 1840 года. К началу 1841 года они снова съехались в Петербург.

Решить вопрос можно только в том случае, если в нашем распоряжении оказались бы документы. Но ясно, что такого рода дела отражения в документах найти не могли. Мы даже не можем точно датировать историю с Ольгою Фредерикс. По высочайшим приказам российской армии видно, что в конце 1839 года Никитин отличается на Кавказе. И в это время, судя по придворным календарям, Ольга Фредерикс числится еще фрейлиной, чего не могло быть, если бы она вышла замуж. Из придворного штата она исключается в 1840 году. Может быть, свадьба произошла до начала поста 1841 года и скандал разыгрался в ту пору, когда Лермонтов в последний раз приезжал в Петербург на побывку, и с этой историей связана последняя высылка из столицы — переданный генерал-адъютантом Клейнмихелем 12 апреля 1841 года приказ Бенкендорфа немедленно — в сорок восемь часов — выехать на Кавказ, к полку! Если же Висковатов не ошибается и побег за границу молодой женщины относится к концу 1839-го — началу 1840 года и предшествует дуэли с Барантом, то возникает другая фамилия. Но так или иначе становится ясным: к тому, что мы знаем о Лермонтове, прибавляется еще один эпизод, в котором выразился смелый и благородный характер поэта. Как Пушкин погиб, защищая честь женщины, так и лермонтовская гибель ускорена проявлением иного отношения и к царю, и к престолу, и к понятию о чести, чем то, которое исповедует великосветское общество. Независимость поведения в жизни, неотъемлемая от независимой литературной позиции и независимого образа мыслей в стихах, вот что проявилось в этой истории, которой до сих пор значение не придано только по той причине, что таинственные намеки П. А. Висковатова не позволяли угадать имена.

Впрочем, дело даже не в именах, а в характерности эпизода, в «типичности» такого конфликта, который не может пройти незамеченным для шестнадцати молодых людей,

имеющих при всех вариантах самое близкое отношение к происходящему. Если это не сестра Фредерикса, то, может, сестра Столыпина. Но важно, что в обоих случаях это кровное дело «Шестнадцати».

Специалист по русской генеалогии М. Я. Тюлин приписал в разделе «Столыпины» возле имени сестры Алексея Аркадьевича Столыпина (Монго) — Марии Аркадьевны, вышедшей замуж за поэта Ивана Александровича Бека:

«Свадьба эта была устроена М — выми, у которых жили после смерти матери дети Столыпины, якобы потому, что в связи с назначением Веры Аркадьевны фрейлиной того же боялись для ее сестры. Ей было 17 лет».

Что значит «того же боялись для ее сестры»? Боялись назначения фрейлиной. Сомнений не возникает: иначе эту фразу понять нельзя.

«М — вы», поторопившиеся выдать замуж сестру Монго Столыпина,— это Мордвиновы. В этом тоже не возникает сомнения. Монго был внуком знаменитого адмирала Николая Семеновича Мордвинова, которого за независимость мнений, за прямодушие принято было называть «русским Катоном». На дочери Мордвинова был женат брат бабки Лермонтова Е. А. Арсеньевой — Аркадий Алексеевич Столыпин, принадлежавший к числу близких друзей К. Ф. Рылеева. Столыпин умер в 1825 году, до восстания. Жена его — мать Монго — Вера Николаевна Столыпина — умерла в 1834 году, оставив на руках своих родителей пятерых детей. Все пятеро, по словам современников, отличались выдающейся красотой.

Вера Аркадьевна Столыпина была «пожалована фрейлиной» к дочери Николая I великой княжне Александре в марте 1839 года.

Мордвиновы очень неохотно дали согласие на ее назначение ко двору. Вначале ее отпускали только днем, с тем, чтобы она ежевечерне возвращалась к дедушке с бабушкой. Потом ей пришлось переселиться во дворец.

Во фрейлины можно было пожаловать по статуту только девицу. Когда ко двору хотели приблизить замужнюю, придворное звание получал муж. Так было с Александром Сергеевичем Пушкиным. Жить во дворце замужняя не могла. Устраивая свадьбу, Мордвиновы хотели перехитрить царя.

В записи Тюлина есть неточность. Мария Аркадьевна

Столыпина, старшая из сестер Монго, была замужем с 1837 года. В 1839-ом ей было двадцать три года. К ней это относиться не может. Семнадцать лет было Екатерине, младшей сестре Монго. Но эта неточность смысла записи Тюлина не меняет. Мордвиновы (а следовательно, и Лермонтов со Столыпиным) должны были уберечь вторую сестру от грозившей ей «благосклонности» императора. Видимо, о предстоящем пожаловании младшей Столыпиной кто-то оповестил их заранее.

Кто мог предупредить их?

К числу трех самых осведомленных во всей Российской империи лиц по части всех политических и неполитических замыслов и предположений принадлежал родственник Мордвиновых и Столыпиных Александр Николаевич Мордвинов — управляющий Третьим отделением «собственной его императорского величества канцелярии».

Вера Аркадьевна Столыпина стала фрейлиной 14 марта 1839 года. А через три дня — 17 марта царь потребовал представить ему проект указа об «отрешении» Мордвинова от должности, которую тот занимал в продолжение многих лет. Официально Мордвинов отстранен за то, что разрешил напечатать в сборнике «Сто русских литераторов» портрет писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского. Вероятно, в его положении это было оплошностью. Но полные собрания сочинений Бестужева (правда, под псевдонимом «А. Марлинский») выходили в 1830-х годах дважды, их знала вся грамотная Россия. За разрешение напечатать портрет декабриста, уже умершего к тому времени, царь мог ограничиться изъявлением неудовольствия. Но Мордвинов вызвал такой неукротимый гнев Николая, что тотчас отдан приказ от должности «отрешить», лишив при этом звания статс-секретаря. Только благодаря усиленному ходатайству Бенкендорфа, просившего вменить это в особую к нему, Бенкендорфу, «высочайшую милость», Николай согласился на резолюцию «уволить». После этого Мордвинов находился без всякого назначения и все представления Бенкендорфа, хлопотавшего о своем бывшем помощнике, оставались без последствий. Только по прошествии полутора лет Мордвинов получил назначение на пост вятского гражданского губернатора. Звание же статс-секретаря никогда ему возвращено не было. «Статс-секретарь А. Н. Мордвинов отставлен от управления Третьим отделением собственной

его императорского величества канцелярии,— отметил в своих записках сенатор К. Н. Лебедев.— Говорят, что причиною немилости оплошное дозволение напечатать под портретом Марлинского: «А. Бестужев». *Я не думаю, что при этом не было другой важнейшей причины...*» (Курсив мой.— *И. А.)*

14 марта Столыпина — фрейлина. 17-го — отрешение Мордвинова. Конечно, это, может быть, только случайное совпадение чисел. Но тюлинская запись многозначительна: к слухам о тревоге родных за честь сестры Монго Столыпина мы должны отнестись со вниманием. Событие, описанное П. А. Висковатовым, в жизни поэта сыграло огромную роль. А это обязывает нас доискаться первопричины.

Эмма Герштейн, изучившая дневники императрицы — жены Николая I,— опубликовала ее запись, датированную 5 мая 1839 года: «Амели Крю. Монго Столыпин». Других данных, связывающих имена Столыпина и баронессы Амалии Крюденер — жены русского дипломата А. С. Крюденера — в нашем распоряжении нет.

Крюденер была двоюродной сестрой императрицы (через свою мать принцессу Турн и Таксис). «Служба Бенкендорфа очень страдала от влияния, которое оказывала на него Амели Крюденер,— пишет дочь Николая I Ольга Николаевна, вспоминая события 1837 года.— Она пользовалась им холодно, расчетливо распоряжалась его особой, его деньгами, его связями... Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натурой, скрывалась хитрость самого высокого порядка».

Воспитывалась эта особа в Германии, в семье графа Лерхенфельда, ее выдали замуж за старого и неприятного человека, и в Петербурге, решив вознаградить себя, она окружила себя обществом, в котором могла повелевать. Когда ее отношения с Бенкендорфом стали очевидными, а также стали ясны католические интриги, которые она плела, Николай удалил ее «без того, чтобы вызвать особое внимание общества». Для ее мужа был найден пост посла в Стокгольме.

Нет, не ей помогали скрыться за границу Лермонтов и Столыпин. Соседство имен в дневнике императрицы может означать, что в этот день шел какой-то разговор о Столыпине, может быть, связанный, а может быть, и не связанный с этой высокопоставленной дамой. Гораздо важнее, что сведения, которыми располагал Висковатов, совпадают

с версией Добролюбова. И что Лермонтов с помощью Столыпина кого-то спасает от слишком явного намерения императора. Но даже независимо от того, сестра ли это Дмитрия Фредерикса или сестра Столыпина, эта история известна всем «шестнадцати» и не может оставить их равнодушными, тем более Лермонтова (это ведь и его сестра! Монго и мать Лермонтова — двоюродные). Да и странно было бы, если б участники «Лермонтовского кружка», последовавшие на Кавказ вслед за Лермонтовым и вернувшиеся вслед за ним в Петербург в начале 1841 года, оказались бы непосвященными в эту историю, не знали бы о дерзком поступке своих друзей и в той или другой форме не выразили бы своей солидарности с ними. Нет сомнения, знали. Не могли не знать. Но их связь с этим делом осталась тогда неизвестной III отделению, хотя, возможно, какие-то подозрения у Николая I были. Не случайно же шеф императорской гвардии великий князь Михаил Павлович грозился воспрепятствовать собраниям молодых лейб-гусаров на царскосельской квартире Лермонтова и Монго. Впрочем, все здесь изложенное — не более чем гипотезы. Хотя связь с Бальзаком названия и самого сообщества шестнадцати молодых людей кажется мне несомненной.

Цель изложенных здесь наблюдений не в том, чтобы делать из них поспешные выводы — для этого нет убедительных доказательств,— а в том, чтобы, сопоставив несколько новых фактов, направить внимание на события, сыгравшие важнейшую роль в судьбе Лермонтова в годы 1839—1841. В том, чтобы определить направление поисков.

Но где, в каких архивах можно обнаружить концы этой истории? Приложено немало усилий: просмотрены «всеподданнейшие» доклады шефа жандармов царю, описи дел Третьего отделения, списки лиц, отправлявшихся за границу, перечень происшествий за каждую треть каждого интересующего нас года, описи документов канцелярии петербургского полицмейстера, высочайшие приказы по армии, списки офицеров гвардейской кавалерийской дивизии, придворные календари и месяцесловы, мемуары, статьи в старых журналах. Хожено: в Москве в Архив Октябрьской революции, в Военно-исторический архив, в Ленинграде в Исторический архив, и в Архив Ленинградской области, и в Пушкинский дом... Нет следов. Ясно, что дело решалось даже не на словах, а по намекам, по неудовольствию в разговоре, по тону, по мимоходом брошенной фразе. За-

писать в дневнике такую историю было опасно. Видимо, ее рассказал кто-то из современников Лермонтова, когда Висковатов в конце 70-х годов стал собирать материал для биографии поэта и начал встречаться с людьми, его знавшими. Но в книге своей Висковатов редко указывает, от кого слышана та или другая история. Не называя рассказчика, он пишет: «рассказывали», «как довелось нам услышать», «достоверно известно», «много называли и называют имен». Однако сам Висковатов предпочитает не называть их, предпочитает безличные формы: «Находили, что молодой офицер», «начинали быть недовольными», «советовали», «полагали, что будет полезным...» и т. д. Отчасти это делалось для соблюдения приличия (были живы родные тех лиц, о коих шла речь), но чаще из предосторожности политической. Назвать императора, да еще по такому «интимному» поводу, Висковатов не мог. Но нет никакого сомнения, что, подробно записывая эти рассказы, он в бумагах своих помечал, от кого слышал их. Затруднение лишь в том, что записи эти, как и весь архив Висковатова, до нас не дошли. Если бы мы располагали его архивом, то могли бы установить, как и какой даме Лермонтов помогал выехать за границу.

Павел Александрович Висковатов читал лекции в Дерптском университете. Это Юрьев, а ныне Тарту — город в Эстонской ССР. Отслужив свои двадцать пять лет, он переехал в столицу, стал директором одной из петербургских гимназий и умер в Петербурге в 1905 году. И архив его нужно было искать в Ленинграде, где до блокады жила его дочь Павла Павловна. После войны это оказалось делом уже невозможным.

Занимаясь Лермонтовым долгие годы, я почти не встречал рукописей, писанных почерком П. А. Висковатова, если не считать копий лермонтовских стихотворений и помет ученого на лермонтовских рисунках. Спрашивать в архиве, куда я входил впервые, нет ли там материалов П. А. Висковатова, стало для меня правилом. И вот — это было в 1948 году — в Ленинграде. Я занимаюсь в Пушкинском доме в Рукописном отделе. На стол тихонько кладется какая-то папка. Раскрыл — листы, писанные рукой Висковатова. Довольно много листов: подготовительный материал к биографии Лермонтова. И в записях этих упоминаются даты, когда Висковатов слушал рассказы о Лермонтове людей, его знавших, и самые имена этих людей...

Спрашиваю у сотрудницы:

— Откуда это взялось?

— Это — дар.

— От кого?

— Даритель не пожелал назвать имени.

— Но мне нужно знать это имя!

— Спросите у Льва Борисовича.

А надо сказать, что Рукописным отделом заведовал тогда известный пушкинист Лев Борисович Модзалевский, сын пушкиниста старшего поколения — Модзалевского Бориса Львовича.

Я к нему в кабинет.

— Лев Борисович, откуда это взялось?

— Я положил.

— Ты?

— Да, это история долгая... Сестра моего отца была замужем за племянником Висковатова — Василием Васильевичем. Архив перешел к этому Василию Васильевичу. Его фамилия тоже Висковатов. Я сам стремлюсь добраться до этих бумаг, но, как ни странно, мне это сложно из-за родства. Между прочим, «твой» Висковатов взял на время из архива Академии наук массу неопубликованных документов, в том числе ломоносовские бумаги, и умер, не вернув их. И Василий Васильевич не отдавал.

— Кто этот Василий Васильевич? Где он живет?

— Да он уже умер — не то в тридцать шестом, не то в тридцать седьмом году. Жил в Москве. Был художником.

— А у кого хранились бумаги Павла Александровича? Дяди? У Василия Васильевича?

— У Василия Васильевича были лермонтовские рисунки и какие-то рукописи лермонтовские — и я думаю, копии... Архив еще недавно был цел. И я знаю примерно, у кого он находится. Должен обязательно его разыскать. Меня прежде всего интересуют ломоносовские бумаги. Хочешь — вместе? Тебе, москвичу, это проще, чем мне. Если можешь, приходи ко мне вечером. Расскажу тебе все подробно.

— Я уезжаю сегодня в Москву...

— Ну тогда до Москвы отложим. Я послезавтра еду туда, могу прийти к тебе, и мы решим, как нам действовать.

На том и расстались.

Через несколько дней я узнал, что, переходя по мосткам курьерского поезда, из одного вагона «Стрелы» в другой,

Модзалевский погиб. Вместе с ним исчезла тайна архива.

Я начал искать один. Четырнадцать лет искал без всякого результата. Ни загсы, ни кладбища, ни адресный стол ничего не открыли. Ходил в Союз художников, во «Всекохудожник» — не было у них Висковатова. Кого только не спрашивал про Василия Васильевича! Кого только не мучил! Наконец решил рассказать про Василия Васильевича по телевидению. А рассказав, попросил зрителей записать телефон студии или адрес. И сообщить, кто что знает. К концу передачи дежурная передала список — двадцать шесть человек звонили: хотят вам что-то сказать.

Через два дня знал о Василии Васильевиче Висковатове больше, чем собирался узнать.

Он родился в 1875 году. Служил в Петрограде в Государственном банке. В 1918 году вместе с Госбанком был эвакуирован в Москву. Продолжал работать на прежнем месте. Жил в Рыбном переулке, дом 3, кв. 12. В свободное время делал макеты для промышленных выставок, в Союзе художников не состоял, макеты — работа нетворческая (?!), умер в 1937 году.

Рассказ мой слышал по телевидению москвич Владимир Николаевич Кудрявцев. Мы встретились с ним, и от него я узнал имена людей, которые могли видеть В. В. Висковатова в последние годы жизни.

Снова начались поиски. Но Василию Васильевичу было бы сейчас более ста лет. Люди, с которыми он общался в то время, тоже принадлежали к числу пожилых. С тех пор прошли годы. Была война. Те умерли, другие — погибли, третьих и вовсе не удалось разыскать.

Но каковы были мои радость и огорчение, когда отыскалась одна из родственниц Висковатова и в разговоре по телефону сказала:

— Как жаль, что в ту пору, когда я приезжала в Москву и заходила к Василию Васильевичу, так была поглощена своими делами, что не заглянула в папку с лермонтовскими рисунками! Если б они только нашлись!

Да, если б нашлись! Но еще лучше, если бы в папке с рисунками лежали бумаги П. А. Висковатова и мы, любуясь рисунками, нашли бы разгадку биографической тайны поэта — разгадку, которая так важна для понимания его трагического конца.

Где висковатовские бумаги?!!

1978

Заколдованное стихотворение

Путешествие начинается

В редакцию Всесоюзного радио пришло письмо. Казалось бы — дело обыкновенное. Но это письмо принадлежало к числу необычных:

«Я прослушал рассказ о том, как ученый отыскивал девушку, которой Лермонтов посвятил стихотворение. Очень похожее на это есть у меня. Оно озаглавлено «Mon Dieu» и подписано — Лермонтов... Вот оно...

Краса природы! Совершенство! —
Она моя! она моя!
Кто разорвет мое блаженство?
Кто вырвет деву у меня?»

Первая строчка показалась отдаленно знакомой. Но дальше в письме шли еще восемь строф интереснейшего стихотворения, которого я в жизни никогда не читал:

Пусть бог с лазурного чертога
Меня придет с ней разлучить —
Восстану я и против бога,
Чтобы ее не уступить.
И что мне бог? Его не знаю,
В ней все святое для меня.
Ее одну я обожаю
Во всем пространстве бытия.
. . . .
Во мне нет веры, нет законов!..
И чтоб ее не уступить,
Готов царей низвергнуть с тронов
И в небе бога сокрушить...

В конце письма были указаны адрес и фамилия отправителя: Верховка, Барского района, Винницкой области. Учитель Кушта П. А.

Мне передали это письмо с пачкою других, пришедших в ответ на радиопередачу. Я прочел его, вернувшись домой, во втором часу ночи. А в девять часов утра уже летел на Украину. Стояло жаркое лето, всё стремилось на юг, билет я достал просто чудом.

Разумеется, можно было потерпеть и вылететь, скажем, через неделю. Но я не один. Есть и другие. Жена отказывалась меня понимать: «Как ты можешь оставаться в неведении? Я — не могу!» Да мне и самому не терпелось знать: да или нет? И я полетел.

Полтора часа комфортабельного безделья, и самолет опустился под Киевом, на аэродроме Борисполь. Схватив такси, я помчался сквозь Киев в Жуляны — оттуда идут самолеты на Винницу.

И опоздал! Конечно, надо было еще из Москвы созвониться с Союзом писателей Украины, попросить позаботиться о билете. А теперь... Сегодня самолетов на Винницу больше не будет. На завтра — нет билетов. На поезд опоздал тоже.

Стал я вздыхать у окошечка кассы, рассказал про альбом... Послали к диспетчеру. Стал у него вздыхать, ему рассказал...

Через четверть часа услышал вызов по радио: мне предлагалось приобрести билет и выходить на посадку.

Выхожу — четырехместный самолетик, который называют «воздушным такси». Я вскарабкался на сиденье, рядом со мною сел летчик, надвинул прозрачный колпак, самолетик взревел, разбежался и взмыл. Тут я понял, что до этой минуты летал не на тех самолетах.

Спору нет: летать на наших лайнерах — наслаждение. Можно откинуться, пососать карамель, позавтракать, подремать. Но в круглое окошечко видишь немного, чаще всего застылые облачные сугробы. А тут!..

Со всех сторон окружает тебя сверкающее пространство! А когда, разворачиваясь, самолетик над самым Киевом лег на крыло, я почувствовал себя как Демон над горами Кавказа! Единственно тревожила красная кнопка перед глазами: «Пожар».

— Разве бывают пожары? — прокричал я в грохоте самолета.

— Сядем! — прокричал летчик.— А взорвется — не успеем подумать! Так что не бойтесь!

Через сорок минут пошли на посадку — прямо на ста-

до, которое, закрутив хвосты, расскочилось. Самолет попрыгал, остановился и, только я из него вылез,— исчез.

Я поплелся к аэропорту. Кто-то заносил ногу на мотороллер. Не видя другого транспорта, я попросился пустить на багажник, поставил чемоданчик перед собой. И мы помчались быстрее, чем тот самолет. На повороте я чуть не вылетел и схватился за моего возницу.

Он крикнул:

— Будешь хвататься — будешь больше платить!

Нет, я изо всей силы вдавливал мой чемодан в его поясницу!

Примчались в город. Осадили перед зданием областного комитета партии. Спуская меня с мотороллера, мой благодетель сказал:

— Это я пошутил, что больше платить... Можете совсем не давать, как хотите...

Товарищ П. И. Вороновский пугает себя и меня

Очень быстро я поставил Винницкий облисполком в известность, что в Барском районе отыскалось новое стихотворение Лермонтова, и просил машину, чтобы добраться до Бара и до Верховки.

Мне пояснили, что туда более ста километров, идет уборочная, машины в разгоне; может быть, придется несколько обождать. Но я как-то ловко сумел намекнуть, что в других областях лермонтовские автографы уже находились, а в Винницкой еще ни разу не находились. Так что Винница в некотором смысле как бы «недовыполнила план по автографам».

Посмеялись. Решили отдать меня в руки областного радиокомитета: «Раз письмо пришло на радио — радио и помочь должно».

Вскоре к подъезду подкатил «газик». В нем нашел я поэта Анатолия Бортняка, заведующего литературным вещанием, и Женю Щура — водителя. Ребята живые, культурные, милые. Хорошо было с ними. И путешествие вышло на славу. Еще бы: окрестность какая! За каждым поворотом дороги — новая красота, приветливая, волнующая совершенством линий набегающих друг на друга холмов и какой-то задушевной певучестью, скромностью. И август стоит украинский, долгий и светлый вечер!.. Зато до-

рога мостилась, верно, еще при Чичикове. И, как написал бы Гоголь, бокам нашего героя досталось порядочно, и он уже начинал ворчать.

До Бара добрались — солнце село. Встречены были редактором местного радиовещания товарищем Вороновским П. И., человеком немолодым, обстоятельным. Впоследствии он еще более усилил приятность нашего путешествия, но вначале меня напугал.

— Нам тут позвонили из Винницы,— сказал он негромко.— Предупредили, что вас интересует учитель Кушта П. А. Мы подняли ведомости отдела народного образования — нет такого в Верховке. Вас разыграли. Есть Кушта-ребенок, пошел в первый класс. А учителя Кушты нет. Так что делайте вывод!

— Ребенок тут ни при чем,— сказал я.— Письмо — со стихами Лермонтова, стихи — с французским заглавием. Писал человек пожилой, что, кстати, и по почерку видно.

— Если не затруднит,— сказал товарищ П. И. Вороновский,— разрешите взглянуть... Так и есть: рука дитячча, нетвердая. И пишет? Ребенок! «Виддилу литературных информаций». Учитель должен знать, что по-русски надо сказать: «отделу».

— А все-таки— говорю я,— старик.

— Нет,— говорит он,— ребенок.

Тем временем мы уже мчимся по степной дороге в Верховку. Темнеет. Отчетливо проступила луна. Степь окинулась серебристо-лиловым светом.

Вскочили в Верховку. Осадили «газик» у сельсовета. Посылаем вопрос:

— Есть у вас в Верховке учитель Кушта П. А.?

— Нет учителя Кушты П. А.

— А какой-либо есть у вас Кушта П. А.?

— Есть пенсионер Кушта П. А. До пенсии был учитель.

Не в ту ведомость заглянули: надо бы в ведомость райсобеса — отдела социального обеспечения.

Разговариваем, сидя под яблоней

Поехали к Куште. Остановились возле его плетня, у калитки. Луна стояла уже высоко над садами и хатами. Кушта давно уже спал. Его разбудили. В высокой соломенной шляпе он вышел к нам под лунную яблоню.

— Вы сообщили в Москву, в редакцию радио, стихотворение Лермонтова,— извиняясь, говорю я ему.— Нельзя ли мне посмотреть альбом, где это стихотворение?

— Его нет у меня.

— А откуда же стихотворение, простите?

— Из альбумчика. Только он был не мой. Я его возвернул хозяйке.

— Откуда же текст, который вы нам прислали?

— Он был у меня на листочке списан. Только тот листочек пропал ще при Петлюре.

— За столько лет,— говорю я, стараясь скрыть разочарование и мысленно браня себя за опрометчивый вылет,— за целых полвека текст в памяти мог претерпеть изменения... Вряд ли это может быть то, что вы читали в альбоме. Скорей — приблизительный текст...

— Да нет, у меня память хорошая,— степенно говорит Павел Алексеевич Кушта.— Я помню точно. Правда, признаюсь, я две строфы позабыл. Я и писать их не стал. А за другие строчки ручаюсь... Спросите меня Шевченка стихи или Пушкина... Я их ребенком учил, а и теперь скажу без ошибки. Что ж вы думаете — я только с печатного помню? Я и с писаного так же хорошо помню.

Не возразишь — убедительно.

— А кому принадлежал тот альбом? — спрашиваю.

— Соболевской Анне Андреевне...

И Кушта обстоятельно объясняет. До революции в Верховке служил агроном Игнатий Балтазарович Соболевский. Поляк. Жена у него была украинка — Анна Андреевна Подольская. Ее сестра работала в Одессе зубным врачом. По словам Павла Алексеевича Кушты, Анна Андреевна «была хороша, как у Рафаэля Мадонна». Детей Соболевских звали Еленой, Казимиром и Антониной — Антосей. Сам Павел Алексеевич, окончив учительскую семинарию в Коростышеве, вернулся в Верховку преподавать. Соболевские пригласили его репетитором к детям. Антосю Кушта отличал более всех: старательная, красивая, стройненькая, умная, похожа на мать.

Однажды Анна Андреевна показала Куште старинный альбомчик. В нем учителю понравилось стихотворение «Mon Dieu» («Мой бог»). Он списал его на листок — альбомчик вернул.

— Кому,— спрашиваю,— принадлежало имение?

— Бибиковой, помещице.

Это сведение показалось мне интересным. Бибиковы состояли с Лермонтовым в родстве. У одного из Бибиковых хранился лермонтовский альбом со стихами, которые так и остались нам неизвестными — пропали вместе с альбомом.

Спрашиваю:

— Может быть, это Бибиковых альбом?

— Нет,— задумчиво качает головой Кушта.— Не думаю. Я Бибикову, помещицу, знал. Бибочкой ее звали. Невзрачная была, пигалица, можно сказать. А Соболевская Анна Андреевна — как у Рафаэля Мадонна. Она, как передавала альбом, говорит мне: «Вот, погляди, учитель Павел Алексеевич, какой у меня есть старинный альбумчик». Эти слова не забывают.

Ну, ему видней, чей альбом! Стало быть, Соболевских!

— А куда девались они?

Идет украинская ночь. Идет разговор потихоньку.

— В тысяча девятьсот шестнадцатом году,— рассказывает Кушта не торопясь,— Соболевские купили участок земли тут же, на Винничине, в Могилев-Подольском уезде. Из Верховки уехали. Жили они от Могилева-Подольского к югу двенадцать верст... Название села... вроде... Садки...

— Садовá! — подсказывает кто-то из моих спутников.

— Нет, не Садовá... Садовá — двенадцать верст к северу. А это — на юг.

Во время гражданской войны Павел Алексеевич встретил в Могилеве-Подольском Антосю. Он пульвзводом командовал, а она служила в военкомате. И все. Больше не знает...

Старик провожает нас. Сняв шляпу, дожидается, покуда мы сядем в машину. На чесучовом его пиджаке фестоны лунного света.

Продолжает Сергей Сергеевич Смирнов

В Винницу вернулись под утро, разбитые. Не ложась спать, соорудили по радио передачу, я обратился к жителям области с просьбой сообщить, кто что знает про Соболевских, Подольских и Бибиковых. Просил написать мне в Москву.

Просмотрел картотеку областного адресного стола. Подходящих кандидатов не обнаружил. Подумал было — не поехать ли поискать альбом в Могилев-Подольском районе,

но тут же эту идею отверг. Уж где-где, а на Украине искать полвека спустя альбомчик в радиусе двенадцати километров, когда по этой земле прошли кровавые войны, оккупации, переселения, пожары!.. Это показалось мне нереальным. И я воротился в Москву с пустыми руками, но крайне довольный своим утомительным путешествием.

По врожденной склонности делиться впечатлениями даже тогда, когда меня об этом никто не просит, стал я рассказывать эту историю и очень скоро дорассказывался до автора «Брестской крепости» Сергея Сергеевича Смирнова. Мы уже очень давно дружим с ним, пишем, можно сказать, в одном жанре, при встречах делимся новостями по части раскрытия литературных и исторических тайн, подаем друг другу советы. Кому же, как не ему, было поведать о поездке на Винничину? Но только завел я про альбом, про стихотворение с французским заглавием, как Смирнов сразу насторожился:

— И куда ж вы поехали?

— Туда, откуда было письмо: в Барский район.

— Боюсь, вам надо было ехать в другое место.

— В какое?

— По-моему, в Могилев-Подольский район.

— В Могилев-Подольский? Позвольте... откуда вы знаете?

— Нет, нет... рассказывайте вы. Я — потом.

И как только я дошел до конца и сказал, что Соболевские поселились под Могилевом-Подольским, Сергей Сергеевич воскликнул:

— Боюсь поручиться, но, кажется, я видел этот альбом!

— Вы?

— Да, в сорок четвертом году.

И он рассказал.

Весной сорок четвертого года, когда войска Второго Украинского фронта, совершая бросок от Умани к Бессарабии, шли по весенней распутице без остановок, редакция армейской газеты, в которой работал Смирнов, совершала вместе с частями столь же стремительное движение. Останавливались, ночевали, утром шли дальше. Названий населенных пунктов Смирнов не помнит, и установить их теперь уже трудно. Помнит он точно только одно: это было между Могилевом-Подольским и Ямполем. Он в хате. Сидит, обсушенный, на диване, обтянутом парусиной, пьет чай, патефон крутит пластинку «Стелла». И он рассматри-

вает какой-то старинный альбом и обращает внимание на неизвестное стихотворение Лермонтова с французским заглавием.

— Как? «Mon Dieu»?

— Я почти в этом уверен! Вам надо ехать сейчас же и начинать поиски между Могилевом-Подольским и Ямполем!

Да, это дело другое! Ведь если альбомчик пропал полвека назад, бессмысленно искать его после того, как по украинской земле прокатились сражения гражданской войны и Великой Отечественной. Но если альбом был цел в 1944 году, после того как фашистское войско отброшено было на Запад, а с тех пор никаких «глобальных» событий в этих местах уже не было,— надо ехать искать.

Так врожденная говорливость привела меня к новой поездке.

Не теряю надежды

Сразу помчаться в Могилев-Подольский район, как я ринулся в Барский, не получилось. Но зимой, оказавшись на Украине, я решил поиски альбома продолжить, посоветовался в Киеве с управлением «Украэрофлота», по уже изведанной трассе добрался до Винницы, а оттуда на двенадцатиместном «АН» полетел в Могилев-Подольский.

Если хотите знать, «АН» не хуже воздушных такси. Снаружи похож на этажерку, притом не очень устойчивую, ползет по аэродрому, покачиваясь, потом пошел подскакивать и сразу повис и уже подбирает под крыло домики и овраги, перелески, поля— диг-диг-диг... И за час «додигал» до Могилева.

В Могилеве-Подольском меня встретили сотрудники районной газеты «Наддністряньска правда» и корреспондент «Литературной Украины» поэт Станислав Тельнюк. Настоящий поэт. И человек очень милый. И встретил Глыньский И. В., краевед могилев-подольский, великолепный знаток всего, что относится до украино-польских связей. И умница.

Привезли в редакцию «Наддністряньской правды». Я говорю:

— Вам должны были из Киева позвонить, передать мою просьбу подготовить аудиторию, с которой я могу посоветоваться...

— Мы покуда не объявляли — не знали, с каким самолетом вас ждать.

— Как же так? Ведь я ненадолго!

— А мы побежим объявим. День выходной, погода хорошая. Солнце. В тринадцать часов можно будет начать.

Минут через сорок сотрудница наддністряньской газеты Майя Григорьевна Барановская воротилась.

— Идемте,— говорит, запыхавшись,— в Дом пионеров. Публика уже собирается.

Оказалось, объявили о встрече по радио, городок небольшой — двадцать тысяч, всем близко. И созвать людей — дело, в общем, несложное.

Приходим — уже полный зал. Начал я исполнять рассказы свои. Потом заговорил о поездке в Барский район, о знакомстве с учителем Куштой, о Смирнове Сергее Сергеевиче... Кончил — потянулись на сцену и дети, и люди спелого возраста, и старики, знающие про тех Соболевских, что проживают в Могилеве-Подольском. Записал адреса. Взял одно из трех такси, что носятся по улицам города, поехал...

Ах, какой городок прелестный! Стояла зима, обильная снегом, с сугробами. Выедешь на окраину — в поле наст серебрится уже по-весеннему, за широкой смелой излучиною Днестра поднимаются «заднистряньские кручи». Красиво. Легко. Ветер плотный, как надутое полотно. Кругом все бело́, а понятно, что город летом зеленый и тонет в садах.

Стал объезжать Соболевских. На четвертом адресе кончил. Все знают всех. Но не тех Соболевских: А про Анну Андреевну, про «Антосю» даже не слышали.

Следующий день начался с рассмотрения карты района. Воткнув палец в кружок «Могилев-Подольский», я отмерил «двенадцать верст к югу» — попал в точку Садковцы. Это удача! Кушта говорил про Садки. А Садова́, как ему помнилось,— к северу. Так и по карте!

Попросил я автобус. В автобус село полгорода. Поехали в Садковцы. Входим в школу, спрашиваем учителей молодых:

— Как узнать, жили здесь Соболевские или нет?

— Вам надо,— говорят,— старичков пошукать.

— А кто пошукает?

— Ось Дмитро Варзарук, попро́сить його...

А Дмитро Варзарук обернулся:

— Вам якых Соболевських? Антосю?

Выходит, приехали куда надо!

Оказалось, надо расспросить Криворука Прокипа — «вiн про их знае богато». Филимона Потолошного надо спросить — «у его зэлэна хата пид бляхою».

Пошли. Узнаём: Соболевский умер в Садковцах в двадцатых годах. Анна Андреевна — в тридцатых, в соседнем селе Бандышивке, ближе к Ямполю.

В Бандышивке показали нам место, где стояла та хата. Хату во время войны спалили враги. Куда девались пожитки? «То була хата Микиты Волоськи. Жена его Домна вмэрла. Дивчина Ханна замужем у Ямполе. Явтух був — немае. Олександра була — немае. Може, кры́вый Мойсов знае?..»

Кривого Мойсова мы не нашли. Спросили про дочку, Антосю.

— Та ж вона була медсестрою у Могилеви!

Воротились в Могилев — и прямо в Торговый техникум. Там идет конференция читателей «Литературной Украины». Дали мне слово. Начал я рассказывать про медсестру Соболевскую — потянулась на сцену очередь:

— Повидайте доктора Бланка. До войны он заведовал районной больницей.

Назвали адресов двадцать.

Идем гурьбой к доктору Бланку. Да, он помнит: была медицинская сестра Антонина Игнатьевна Соболевская. Очень культурная, выдержанная, опытная, очень красивая. На нее всегда можно было положиться спокойно. Но он помнит ее только в начале тридцатых годов. Куда она девалась потом, не знает.

Не пойму одного: кроме доктора Бланка, никто из медицинских работников города не помнит ее.

— Соболевская? Антонина Гнативна?.. Нет!

Так и не нашел я Антонины Игнатьевны. А город весь взбудоражил. Сажусь в ресторане за столик — подходит официантка:

— Пэльмени исты будэтэ?

— Буду.

— Альбум знайшлы?

И радио в дело включил. И в газету статью написал — просил сносить все семейные альбомы в редакцию. Шум поднял такой, что мог бы Чичиков позавидовать. Но так

ничего и не обнаружил. И улетел восвояси, провожаемый тучей новых друзей.

Ан нет! Не напрасно обследовал я Могилев-Подольский район! Воротился в Москву — вдогонку приходит письмо. Пишет Р. И. Шаткина, учительница, из Могилева-Подольского.

«Одна наша девочка,— пишет она,— которая живет за Днестром, пересказала родителям вашу историю. Они говорят, что Казимир Соболевский переехал в Днепродзержинск. Поезжайте туда».

В Днепродзержинск я все-таки не поехал, а послал в Управление милиции просьбу сообщить мне адрес К. И. Соболевского.

Приходит ответ: Казимир Соболевский в 1934 году переехал из Днепродзержинска в Одессу, работал на судоремонтном заводе, в войну пропал без вести. В Днепродзержинске живет его младший брат, Андрей Соболевский, 1914 года рождения. «Мы пригласили его для беседы. Он сообщил, что в Днепродзержинске по одному адресу с ним проживает его родная сестра, 1903 года рождения, Антонина Игнатьевна Выхрестюк».

Нашлась все-таки! Милая!

Я немедленно ей написал. В ответ пришла коротенькая записка:

«Была бы рада помочь, но в ту пору, о которой вы говорите, я была еще девочкой, и, к сожалению, о судьбе альбома ничего сообщить не могу».

Вероятно, он ушел из рук Соболевских в то время, когда «Антося» была подростком и еще не интересовалась такими вещами. Либо он, как я и думал, принадлежал не Анне Андреевне, а кому-то другому. И находился в семье Соболевских временно. В таком случае, С. С. Смирнов видел другой альбом.

Так или иначе, но альбома я не нашел. И все же... был очень доволен!

Я нашел женщину, которая тридцать лет назад вышла замуж, переменила фамилию. И отыскал ее не в том городе и не в той области, а в другом городе, в другой области. И уверенность в том, что можно отыскать все, что захочешь, наполняла душу надеждой.

Переживаю позорный провал!

Позвонил мне в Москве Маршак Самуил Яковлевич, просил приехать к нему. Сидя у него в кожаном кресле, прочел я ему стихотворение «Mon Dieu». Но имени автора не назвал. Маршак говорит:

— Знаешь, похоже на Лермонтова!

Видел Николая Семеновича Тихонова — Тихонову прочел:

— О-о! — говорит.— Это манера лермонтовская!

И стал вспоминать лермонтовские стихи, напоминающие это бурное заклинание.

Что же касается литературоведов — они привыкли больше верить не ощущениям, а фактам.

— Автограф известен? Нет? И копии нельзя верить? Тогда вероятного мало...

Приехал я в Ленинград, завел разговор в Рукописном отделе Пушкинского дома в присутствии известного пушкиниста Николая Васильевича Измайлова — элегантного, высокого, статного, хоть и начал изучать Пушкина лет пятьдесят назад с лишним и немолод уже. Прочел я это стихотворение ему — он от удивления даже голову в плечи втянул:

— Помилуйте! Какой же это Лермонтов? Это — Рылеев!

Я всполошился:

— Рылеев? Почему вы так думаете?

— Да я не думаю! Я просто знаю! Как стихотворение Рылеева оно было напечатано еще в тысяча восемьсот шестьдесят первом году.

Ужас какой! Оказывается, стихотворение появилось впервые в заграничном издании, в Лейпциге.

Вот так так! Полный провал! Рылеева принял за Лермонтова! Да еще опубликованное стихотворение! Вот где ждал меня бесславный конец! А главное, вырыл себе яму сам, без чьей-либо посторонней помощи. И теперь в нее рухнул. Просто профессию надо менять!.. Не пойму: как же я так обмишурился? Память у меня покуда что крепкая —и вдруг... не узнал рылеевские стихи!

Хватаю томик Рылеева...

Нету «Красы природы»!

Другое издание...

Нету!

Дореволюционное...

Нету!

О счастье! Рано стонать! Не все пропало еще! В издании 1872 года редактор его П. А. Ефремов в примечании указывает, что стихотворение «Краса природы, совершенство...» приписано Рылееву без оснований и не включается в собрание его сочинений, потому что является полной противоположностью нравственным убеждениям Рылеева. И действительно, автор стихотворения «Краса природы...» обещает сокрушить в небе бога, а Рылеев перед смертью пишет жене: «Как спасительно быть христианином».

На душе стало несколько легче. Значит, с 70-х годов прошлого века это стихотворение рылеевским не считается. Но, увы, на той же странице Ефремов сообщает, что оно приписывалось поэту пушкинской поры Михаилу Деларю.

Прочел стихи Деларю. Не мог он сочинить это стихотворение! Деларю на каждой странице с умилением пишет о боге и об ангелах в «горних высотах», а в стихотворении, присланном Куштой, богу посылается вызов.

Только я успокоился — рано еще! Стихотворение приписывалось поэту Н. М. Языкову.

Перечитал Языкова — не Языков! Ничего общего с языковским стилем нет.

Итак: не Рылеев, не Деларю, не Языков. Но ведь это еще не значит, что Лермонтов.

Прежде всего надо выяснить, когда стихотворение написано.

Если оно было известно в 20-х годах, когда Лермонтов стихов еще не писал, Лермонтов отпадает. Наоборот, если стихотворение начинает распространяться в списках в 30-х, шансы, что это Лермонтов, повышаются.

Друзья подают совет: обследовать архивы, изучить все дошедшие до нас списки.

Послушал добрых советов — обследовал:

В Москве —

Библиотеку имени Ленина,

Центральный государственный архив литературы и искусства СССР,

Государственный Литературный музей,

Исторический музей на Красной площади.

В Киеве —

Институт литературы имени Т. Г. Шевченко,

Рукописное отделение Киевской Публичной библиотеки.

Литературовед Ефим Григорьевич Бушканец прислал две копии из казанских хранилищ.

Получил сведения из Свердловска.

Обследовал Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, перелистывал рукописные сборники.

Сиднем сидел в Пушкинском доме, в Рукописном отделе...

Нашел одиннадцать списков. Все разные. В шести — подпись Рылеева, в одном — Деларю, в двух — Лермонтова. Два — безыменных. Большинство списков поздние — середина 40-х годов, 50-е годы. И все же радоваться нечему. В общем, вопрос можно считать решенным — не Лермонтов.

В Пушкинском доме хранится тетрадка стихотворений Рылеева. В этой тетрадке стихотворение — то самое. Только без первой строфы. Под заглавием «К жене». А на обложке тетрадки каллиграфически выведено:

Альбом стихотворений К. Рылеева
С.-Петербург. *1825.*

Значит, в 1825 году стихотворение было уже известно? А Лермонтов начал писать стихи в 1828-м.

Ну, надо это дело кончать!.. Только тетрадь какая-то странная. Ошибки — чуть не в каждой строке: «Чертого» вместо «чертога», «непередатель» вместо «не предатель», «состатель», а не «создатель», «против бог», «взглят»... Словно не русский писал. Кроме того, составитель тетрадки приписал Рылееву стихотворение поэта-декабриста Федора Глинки, которое Глинка сочинил после смерти Рылеева — в 1827-м. Да и другое стихотворение написал совсем не Рылеев, а Полежаев. И тоже после смерти Рылеева — в 1828-м!

Значит, стихи вписывались после 1825 года? А на обложке — 1825?!

Ничего не пойму!

Становится несколько легче

Откуда взялась тетрадка? Из архива академика А. А. Куника.

Чьей рукой написана? Рукой академика А. А. Куника.

Это определил Лев Борисович Модзалевский. А уж он был величайшим специалистом по почеркам. Ошибиться не мог.

Что мы знаем про академика А. А. Куника, кроме того, что он известный историк и этнограф? Где тут словарь?

Академик Куник Эрнст Эдуард, ставший впоследствии Аристом Аристовичем, родился в 1814 году в немецком городе Лигнице, окончил Берлинский университет, в Россию впервые приехал в 1839 году.

Значит, в 1825 году ему было одиннадцать лет. Жил он в Германии и стихи Рылеева в Петербурге в ту пору переписывать не мог. А тетрадь написана его почерком. Стало быть, указанию «С.-Петербург. 1825» не верь! Тетрадь начала заполняться не раньше 1839 года. Что же касается даты, то остается прийти к заключению, что она поставлена, так сказать, в память декабрьского восстания и в обозначение того, что в нее вошли последние стихотворения Рылеева,— как известно, после 1825 года стихов он уже не писал.

Итак, имя Рылеева под стихотворением «Краса природы» появилось не раньше 40-х годов.

Опять стало легче. Можно снова искать доказательства в пользу того, что эти стихи писал Лермонтов.

Ищу доказательств — нет доказательств!

Ищу доказательств... нашел наконец! Напал на важную рукопись.

В 1905 году некий Н. А. Боровка подарил в Пушкинский дом список поэмы «Демон», который в свое время принадлежал его отцу, майору Африкану Ивановичу Боровке. Список изготовлен в 1857 году. Перелистываю его... И вдруг перед словами Демона, обращенными к ангелу:

«Она моя! — сказал он грозно,—
Оставь ее, она моя!»

вижу стихи, которые прислал мне Павел Алексеевич Купта:

Краса природы, совершенство!
Она моя, она моя!
Кто разорвет мое блаженство?
Кто вырвет деву у меня?
Пускай идут цари земные
С толпами воинов своих...
Что мне снаряды боевые?
Я смелой грудью встречу их.
Они со всей земною силой
Ее не вырвут у меня:

Ее возьмет одна могила —
Она моя! она моя!
Она моя! — пускай восстанет
И ад и небо на меня;
Пусть смерть грозою в очи взглянет —
Против всего отважусь я!
Пускай восстанут миллионы
Крылатых демонов в огне
И серафимов легионы —
Они совсем не страшны мне!
В ней жизнь моя, моя отрада!
Что мне архангел, что мне бес?
Я не страшусь ни казни ада,
Ни гнева страшного небес.
Пусть бог с лазурного чертога
Придет меня с ней разлучить —
Восстану я и против бога,
Чтобы ее не уступить.
И что мне бог! — его не знаю...
В ней все святое для меня:
Ее одну я обожаю
Во всем пространстве бытия.
Я не убийца, не предатель;
Не дышит злобой грудь моя;
Но за нее и сам создатель
Затрепетал бы у меня!
Во мне нет веры, нет законов!..
И чтоб ее не уступить,
Готов царей низвергнуть с тронов
И бога в небе сокрушить.
Она одна моя святыня,
Всех радостей моих чертог...
Мне без нее весь мир — пустыня:
Она мой бог! она мой бог!

О, это уже картина иная! Выходит, что стихи считались лермонтовскими еще до того, как впервые были напечатаны в Лейпциге с именем К. Ф. Рылеева! И читатели были убеждены, что это — монолог Демона.

Кто же вставил эти стихи в поэму? Сам майор Африкан Иванович Боровка? Или тот, у кого он списал поэму? Или, может быть, автор?

Лермонтов писал «Демона» десять лет. Писал даже в те годы, когда учился в юнкерской школе. Насколько это было опасно, можно понять из того, что воспитанникам запрещалось читать книги литературного содержания. Самим же писать возбранялось тем более. А уж сочинять поэму про «врага небес» Демона!.. Это могло грозить страшной карой! И вот приятель Лермонтова, однокашник его по юнкерской школе — Меринский,— потом вспо-

минал, что Лермонтов в монологах Демона уничтожил несколько стихов прекрасных, но слишком смелых.

Не о «Красе» ли «природы» он говорит?

Вполне допустимо.

Но тогда возникает новый вопрос: если уничтожил, то каким образом они могли обращаться в публике да еще под чужим именем?

Ну, это как раз очень просто.

Если Лермонтов уничтожил стихи в поэме, то есть вычеркнул их, то это ещё не значит, что он уничтожил их вовсе. Их могли пустить в обращение под видом рылеевских. После казни Рылеева ему постоянно приписывали стихи революционного содержания, которые сочиняли другие. Рылееву они уже не могли повредить, а живому поэту грозили тюрьмой и Сибирью.

«Но неужели,— спросите вы,— Лермонтов выставил под своим сочинением имя Рылеева? Он, пославший такой смелый вызов вельможам, доведшим Пушкина до кровавой могилы!»

Нет, не Лермонтов! Но почему бы не допустить, что это сделал кто-нибудь из друзей? И стали стихи размножаться с подписью: К. Рылеев! А иной знал или просто догадывался, кто истинный автор. И другие списки ходили с именем Лермонтова.

Итак, предположение, что это лермонтовские стихи, само по себе смущать не должно, если только они отвечают стилю его поэзии.

Что они похожи — в этом сомнения нет. Вот еще одно место из «Демона»:

И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «она моя!»

А мог ли Лермонтов сказать: «И что мне бог? Его не знаю».

Мог! Вспомним строки из «Любви мертвеца»:

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?

А похожа ли на Лермонтова двадцать девятая строчка:

В ней все святое для меня.

Ну, тут даже сомнения не возникает! Эта строка с лермонтовским стихом совпадает почти дословно:

Все для меня в тебе святое.

Автор стихотворения «Mon Dieu» употребляет слово «толпы́» с ударением на слоге последнем:

Пускай идут цари земные
С толпа́ми воинов своих.

И у Лермонтова есть — и царь земной, и воины, и «толпы́», с ударением на том же слоге. И антитезы есть: «демоны — ангелы», «рай — ад», «святыня — злоба», «архангел — бес». И даже ударение в слове «про́тив» — «против» («против всего отважусь я»). Всё напоминает стиль Лермонтова! Напоминают Лермонтова поэтические афоризмы-концовки, такие, как «мир — пустыня», и очень любимый автором стихотворения «Mon Dieu» прием, известный в теории литературы под названием «анафора», когда строки стихотворения начинаются с одного и того же слова. В стихотворении «Mon Dieu» таким зачином-анафорой служат «пусть» и «пускай»: «пускай идут цари земные», «пускай восстанет...», «пускай несутся...», «пусть бог с лазурного чертога...».

Но и у Лермонтова это любимый прием!

Пускай ханжа глядит с презреньем
На беззаконный наш союз.
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.
Пускай ни дочери, ни сына
Ты вечно не прижмешь к груди...

И еще один оборот, который кажется лермонтовским: «чтоб — готов».

И *чтоб* ее не уступить,
Готов царей низвергнуть с тронов...

А вот из Лермонтова пример:

Я был *готов* на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец — лишний раз пожать!

Да это только малая часть совпадений, которые позволяют считать, что стихотворение имеет много общего с поэзией Лермонтова. И разве герой этих строф, бросающий вызов царям земным и небесному, не похож на героя лермонтовских юношеских стихов, который говорит о себе, что он «для мира и небес чужой»? Не мудрено, что Павлу Алексеевичу Куште стихи к Н. Ф. И., которые он услышал тогда по радио, напомнили стихотворение «Mon Dieu»! Настолько они похожи! И в то же время... есть в них что-то

не лермонтовское! Какой-то не присущий его поэзии декларативный пафос! И наряду с очень «лермонтовскими» строчками какие-то очень на него непохожие:

Что мне снаряды боевые?

Кому? Демону?
Нет, тут что-то еще неясно!

Обращаюсь за помощью

В вопросах литературных стилей высший авторитет — выдающийся наш филолог академик Виктор Владимирович Виноградов, блистательный исследователь и знаток стилей русских писателей и целых литературных школ.

Встретились. Показал стихотворение ему.

Как всегда, глядя задумчиво вдаль, мигая медленно и спокойно, Виноградов, обдумав вопрос, обращает глаза ко мне:

— Это в духе поэзии Лермонтова. Но строки «Ее не вырвут у меня» и «Разорвет мое блаженство» для тридцатых годов не характерны. Они ближе к словосочетанию сороковых. Окончательно трудно сказать — это надо внимательно поглядеть,— но мне думается, что стихотворение написано не Лермонтовым. И даже не при Лермонтове. А позже. На несколько лет.

— Не Лермонтов?!

— Да. Я не думаю.

— А как же другие все элементы стиля? — спрашиваю я.— Почти дословные совпадения? Излюбленные приемы Лермонтова?

— Это же все атрибуты романтического стиля,— отводит мои доводы Виноградов.— Я не отрицаю сходства с поэтикой Лермонтова. Но после него эти элементы становятся особо распространенными...

Да, не обрадовал меня Виктор Владимирович! Но в этих вопросах важны ведь не радости, не огорчения, а факты. С тех пор как, студентом еще, я слушал лекции этого замечательного ученого, я привык считаться с его суждениями, даже и с беглыми. Да что — я! С его словами считаются филологи всего мира! Виноградов с высокой точностью определяет время создания вещи на основании анализа стиля.

— Вам нужно посмотреть поэтов сороковых годов,— советует Виноградов.— Особенно подражателей Лермонтова. И постараться привлечь новые факты.

Привлечь? Каким образом?

Подумал, подумал я и решил перепечатать стихотворение в «Неделе». И обратиться за советом к читателям.

Хотите знать результаты?

Если бы целая бригада выясняла его историю, то и нескольких лет, наверное, было бы не довольно, чтобы узнать, что я узнал из писем и телефонных звонков подписчиков журнала «Неделя».

«Стихотворение «Краса природы, совершенство» я слышал от своей тетки: она пела его под гитару. Было это в Днепропетровске (тогда еще Екатеринославе)». (А. М. Шевченко.)

«В 1908 году в харьковской больнице крестьянский парень целыми днями распевал песню «Краса природы, совершенство». (Пенсионер И. Сидоров.)

«50 лет назад моя мать в Рязани пела это стихотворение. Говорила, что Лермонтов написал. Отец ворчал: «В кутузке насидимся из-за тебя». (Н. А. Бобров.)

«Эту песню с ее бунтарским содержанием я услышал впервые в Одессе от моей покойной жены». (В. А. Чернецкий.)

«Эту песню пела мне мама, когда я была девочкой. Ее адрес — Ростов-Дон... Если я не перепутала, эту песню пели в тюрьме...» (Е. А. Дудошкина.)

«В начале двадцатых годов я видел это стихотворение в альбоме «губернской барышни» в Семипалатинске». (С. Соколов.)

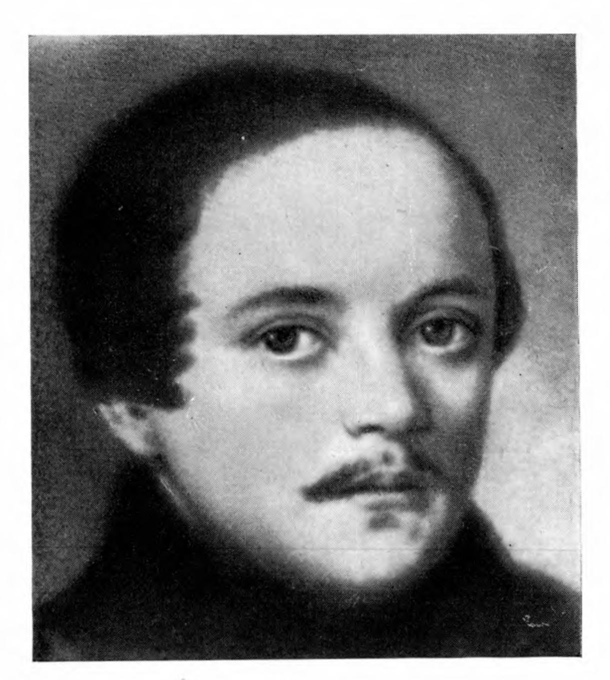
«Моя бабушка — старая москвичка. Ей 80 лет. Она и сейчас помнит эту песню. Я записала для вас мелодию». (Ученица Центральной музыкальной школы Люда Шевченко.)

Оказывается, романс «Краса природы, совершенство...» пели в гостиных. Пели на семейных и на студенческих вечеринках. Делали добавления от себя:

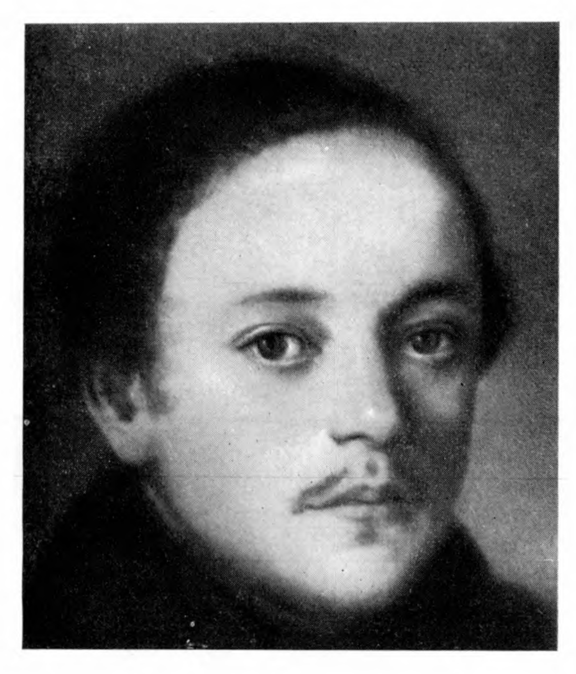
И если царь тогда подпишет,
Чтоб жизнь с позором кончил я,
Я так скажу, чтоб всякий слышал:
«Она моя, она моя!»

Н. Ф. Иванова. *Рис. В. Биннемана*

«Вульфертовский» портрет



М. Ю. Лермонтов. *Худ. П. Е. Заболотский*



Совмещение портретов

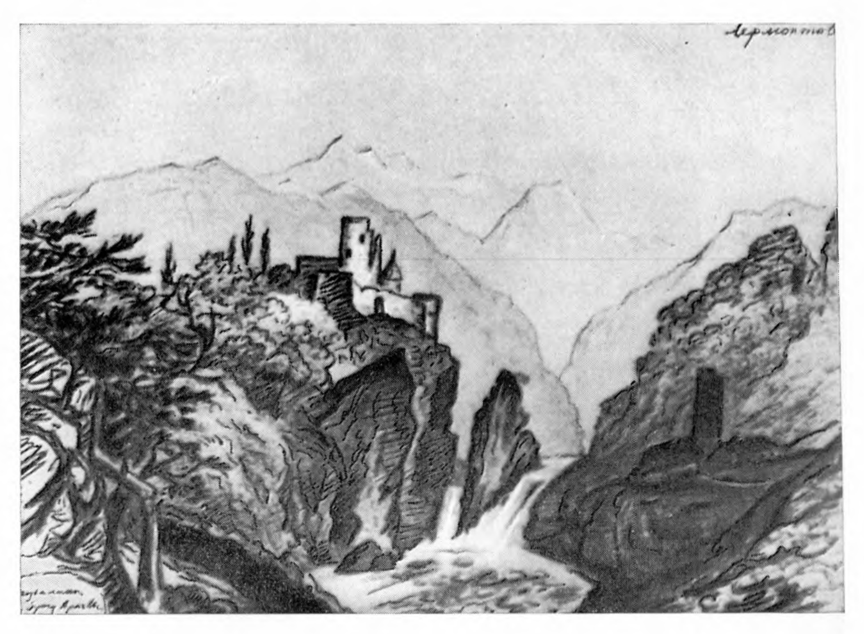
1909.
23 июля
Куоккала

Модные эстетики помешались, что в живописи главное — краски, что краски составляют душу живописи. Это неверно.

Душа живописи — идея
Форма — ее тело.
Краски —— кровь.
рисунок —— нервы.
Гармония — поэзия дают живописи искусству — безсмертную душу.

Илья Репин

Автограф И. Е. Репина



Развалины на берегу Арагвы в Грузии. *Рисунок Лермонтова*

Samedi le 30 Janvier 1837 Petersb.

Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами наполненными слез, а сердце и душа тоской и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуели с Дантесом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арендт с первой минуты сказал, что ни какой надежды нет! — Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтоб я вышла. Я уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, опять прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, от чего и почему это великое нещастие случилось: они мне противны; Сонюшка тебе их опишет, а мне жаль тебя; я

Письмо Е. А. Карамзиной о гибели Пушкина

знаю и чувствую сколько тебя эта весть огорчитъ, потеря для Россіи, но еще особенно наша: онъ былъ жаркій почитатель твоего отца и нашъ неизменный другъ 20 летъ.

Je joins ici une copie de la lettre de change envoyée à Kirschbaum: en cas que vous ne l'ayez pas retrouvée vous presenterez celle-ci au banquier, et si elle n'est plus nécessaire tu la lui rendras aussi. Adieu, mon cher André, mon cher fils; les duels sont horribles, et qu'est ce qu'ils prouvent? Le malheureux Pouchkin n'est plus et dans deux ans tous ceux qui sont restés n'y penseront plus. Que le ciel t'en préserve et que ton bon cœur et ta raison t'en éloignent! — Je te quitte avec mon cœur triste et douloureux, en te suppliant de faire passer dans le tien ces sentiments. Je te bénis avec amour en te recommandant à la bonté Divine. Je me porte parfaitement bien.

Et nous qui te parlions si légèrement de ce déplorable drame Mercredi dernier, le jour même où il se dénouait d'une manière si terrible! Pauvre, pauvre Pouchkine! tout ce qu'il a dû souffrir depuis ces trois mois qu'il a reçu l'infâme lettre anonyme, cause première ostensible, de cet immense malheur. Je dis ce qui a justement provoqué le duel maintenant que le mariage de d'Anthès semblait le rendre impossible, personne n'en sait rien: on croit que au bal de Vorontzoff, Samedi dernier, l'irritation de Pouchkine a été portée à son comble en voyant sa femme causer, rire, et valser avec d'Anthès, et cette imprudence

Вторая страница письма, продолженная С. Н. Карамзиной

А. М. Верещагина-Хюгель

Ma cousine,
Je m'incline
[illegible]
à cette place!
qu'il est doux
de faire grâce!

Pardonnez
ma parade: ce n'est
— Vraiment je n'ai trouvé que
ce moyen pour me rappeler
à votre souvenir, et obtenir
mon pardon; soyez heureuse, et
ne m'en voulez pas; demain je commence
une énorme lettre pour vous..... Ma tante
m'arrache la plume .....ah!... Lermontoff

[illegible]

Приписка Лермонтова в письме Е. А. Верещагиной

Тетрадь
Василия Завелейского

«Демон».
Список А. Н. Боровки

Дом на Фонтанке, где жил А. Г. Чавчавадзе

Екатеринослав, Харьков, Одесса, Ростов, Рязань, Семипалатинск, Москва, больницы, тюрьмы, гостиные, студенческие и семейные вечеринки — вот где исполнялось это стихотворение, вот что выяснилось с помощью читателей «Недели».

Но это еще не все!

«В 1912—1917 годах мой друг служил мальчиком для посылок в «Европейской гостинице» в Киеве. Однажды ему дали конверт с надписью «Прочитай и передай товарищу». В нем он нашел «Неизданное стихотворение Лермонтова»: «Пусть бог с лазурного чертога придет меня с ней разлучить». (Подпись неразборчива.)

«Уважаемый товарищ Андроников! В журнале «Сибирский архив» за 1911 год я встретил заметку, которую посылаю вам:

«В 70-х годах прошлого столетия иркутская обывательница княжна Ю. А. Ланская приобрела в Германии лейпцигское издание сочинений М. Ю. Лермонтова. Интересно отметить, что в этом заграничном издании есть строфы, каких нет в русском издании. Например, в «Демоне» были стихи:

Краса природы! совершенство!
Она моя! она моя!
Кто разорвет мое блаженство?
Кто вырвет деву у меня?

К сожалению, сама книжка произведений Лермонтова лейпцигского издания затерялась». (В. Русин).

«Перелистайте роман Д. Мережковского про Александра Первого: это стихотворение приводится, по-моему, там». (Н. Курасов.)

Вот они — новые факты!

Стихотворение кажется заколдованным

Еще письмо — из Казахстана. Из города Темир-Тау. От инженера-статистика Ольги Дмитриевны Каревой.

«Строки «Краса природы, совершенство» встречались мне,— пишет она,— только давно, в собрании сочинений

Н. С. Лескова,— приложении к журналу «Нива», в рассказе «Очарованный странник». Мне помнится, в сноске было указано, что стихотворение принадлежит перу малоизвестного поэта той поры Грубера или Губера. Этого старого издания у меня теперь нет».

Неслыханно! Новый кандидат в авторы появился — Эдуард Губер!

Пересмотрел все издания Лескова. Вот откуда мне помнилась эта первая строчка: «Краса природы, совершенство...»! Теперь-то понятно! Действительно, она варьируется в «Очарованном страннике». Но это и все! Ибо дело вперед не пошло. Никакого примечания в изданиях Лескова нет.

На помощь приходят педагог Г. В. Гончаренко из Минска и заведующая кафедрой иностранных языков Сибирского отделения Академии наук СССР тов. В. Купреянова.

«Я хорошо запомнил замечательное стихотворение «Краса природы»,— пишет Г. В. Гончаренко в ответ на мое обращение в «Неделе».— Я читал его еще семнадцатилетним юношей в журнале «Нива». Помню, в этой подшивке была корреспонденция о закрытии Государственной думы».

«Часть этого стихотворения я знаю наизусть с детства,— читаю в письме В. Купреяновой.— Насколько могу припомнить — это было больше сорока лет назад,— я читала его в журнале «Нива», в романе «Избалованный» (не то Брешко-Брешковского, не то Потапенко, не то Тихонова)».

Сажусь перелистывать комплекты журнала «Нива».

Действительно, оба корреспондента правы: в «Ниве» 1912 года напечатаны и заметка о разгоне Государственной думы, и повесть «Избалованный» известного беллетриста тех лет А. А. Лугового (Тихонова). Видимо, эта повесть смутно помнилась и О. Д. Каревой, потому что именно в ней идет спор о достоинствах стихотворения «Грубера или Губера» «Краса природы, совершенство...».

Почему Тихонов-Луговой решил, что стихотворение это принадлежит Губеру, покуда остается загадкой. Архив Лугового в Пушкинском доме ответа на этот вопрос не дает.

Перечитал всего Губера. Современник Пушкина, сверстник Лермонтова: родился в 1814 году, умер в 1847-м. «Красы природы» среди его напечатанных произведений

нет, да и быть, конечно, не может. Если бы он даже и написал этот вызов царям и богу, напечатать его в те времена нечего было и думать.

Современники прочили Губера в преемники Пушкину. Сколь неосновательны были эти надежды, видно уже из того, что ныне имя Губера знают по преимуществу историки русской литературы.

Губер — поэт умелый, но своего «лица», своего ясно выраженного индивидуального стиля у него нет. Когда вошел в славу Лермонтов, Губер стал ему подражать, и многие строчки его стихов кажутся перепевами Лермонтова. Мысль, что Губер — автор стихотворения «Краса природы», была бы не лишена основания, если б не одно неуловимое, но важное обстоятельство. Стихотворение кажется мне слишком бурным для Губера, слишком увлекательным, энергичным. Слишком талантливым! И тем не менее нельзя отрицать, что в «Прометее», губеровском стихотворении 1844 года, многие строчки сильно похожи на монолог о «красе природы». «Встают ли грозными толпами», «Я вырвал тайну бытия», «Кто дышит злобой на меня», «Я ад и небо подниму», «Когда к небесному чертогу», «Я головы моей не преклоню перед чужим кумиром»...

Что же? Выходит, что Губер?

Нет, покуда ясно одно: «Краса природы, совершенство...» — стихотворение лермонтовской поэтической школы, при этом удивительное по смелости. Но напрасно станем мы искать его в поэтических сборниках. Оно осталось неизвестным даже самым крупным знатокам русской революционной поэзии. А между тем оно долгие годы читалось и распевалось по всей России, было популярно в различных слоях русского общества. Стало народной песней. Его переписывали, заучивали с голоса, переделывали, дополняли. В предреволюционную пору оно сыграло свою благородную роль, использовалось в освободительной борьбе. В истории русской революционной поэзии оно должно занять почетное место. А кто автор — поможет выяснить тот из вас, читателей этой книги, кого увлечет история русской поэзии и общественной мысли.

Стихотворение стоит того.

И надо помнить еще, что альбом, который во время войны видел Сергей Сергеевич Смирнов, еще не разыскан!

1962—1963

Тетрадь Василия Завелейского

Что было в тетради?

Когда она попала мне в руки, значительного я увидел в ней мало, но без нее, наверное, не отыскал бы того, что удалось обнаружить после, листая архивные дела, старые адрес-календари и статистические отчеты. Словом, настоящие поиски начались уже после находки. А находка пришла сама. И тут же пропала... Но лучше вспомнить историю эту сначала. Случилась она в ту пору, когда нынешний Центральный государственный архив литературы и искусства СССР в Москве — ЦГАЛИ — был еще Центральным государственным литературным архивом и соответственно назывался в сокращении ЦГЛА. Так вот, одна из сотрудниц ЦГЛА привезла на мою московскую квартиру толстую тетрадь — страниц 350 с лишним; порыжевшие чернила, тронутые желтизною листы... Ее еще не купили, а только взяли у владелицы посмотреть, стоит ли покупать. А для этого выясняли мнения людей, изучающих литературу прошлого века. Решили узнать и мое. В тот день я листал эту тетрадь... ну, что-нибудь вроде минут двадцати, не больше.

На первом листе автор старательно вывел:

ВЫДЕРЖКИ ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА НА ПАМЯТЬ.
ПРОШЛОЕ БЕДНОГО МАКАРА.
Начаты в июне 1865 года в Житомире.
ВАС. ЗАВЕЛЕЙСКИЙ

А дальше каллиграфическим почерком, без единой помарки этот «Вас. Завелейский», современник Лермонтова и Пушкина, подробно описывал детство свое, годы учения в Витебске, переезд в Петербург, службу в министерстве финансов — в департаменте внешней торговли... словом, жизнь чиновника 1830-х годов: сослуживцы, протекции, преуспеяния, повышения в чинах, награды к Новому году и к пасхе...

Все было бы хорошо — неважно одно: большею частью упоминались малозначительные события. Правда, иногда попадались литературные имена:

«Я несколько раз видел Пушкина на Невском проспекте в сюртуке шоколадного цвета, с зонтиком под мышкой»,— записал Завелейский.

Не много!

Но вот и еще о Пушкине:

«Видывал его в лавке купца Барсукова, где иногда по вечерам собирались наши литераторы и пили там чай».

Встречался автор с Пушкиным в доме известного журналиста Николая Ивановича Греча, где в одной комнате литераторы «курили цигары и трубки, а иные читали свои сочинения и иногда очень горячо спорили, что чаще случалось между господами Сенковским и Булгариным».

О том, что Пушкин одно время бывал в доме Греча,— это известно. Но что он посещал чайную лавку купца Барсукова в доме Энгельгардта на Невском,— про это никто никогда не слыхал. Снова мелочь,— а все же о Пушкине. И, наверное, когда-нибудь пригодится. И бесспорно значительный факт — страницы о белорусском дворянине Островском, который послужил Пушкину прототипом Дубровского.

«Островский проказничал долго, лет пять, шесть,— пишет о нем Завелейский.— Или его преследовали не так усердно, или он умел вести свои дела, так что его трудно было поймать. У него, кажется, не было шайки: крал и грабил один. Он был несколько образованный шляхтич, то есть знал грамоту, учился где-то в уездном училище и пошел на этот промысел, чуя в себе богатырскую силу и любя свободу, по своим понятиям. Он грабил с разбором: у кого лишнее, он отнимал это лишнее; встретясь в лесу или на

дороге с нищим, он делился с ним тем, что сам имел. Поэтому у него было много покровителей, даже между дворянами; ему сочувствовали некоторые даже дамы из помещиц средней руки, начитанные романов».

Полиция схватила Островского. Завелейский жил тогда в Витебске и видел несколько раз, как его водили на допрос из острога — в цепях, в сером сюртуке, в фуражке набекрень.

Тем, кто занимается Пушкиным, эти страницы окажутся не без пользы.

В Петербурге, уже чиновником, по дороге в свою канцелярию, подходя по Большой Садовой к зданию Публичной библиотеки, Завелейский часто видывал во втором этаже Крылова, который, лежа в окне, иногда без фрака, в одной жилетке, облокотясь на подушке, «посматривал на ходящий и езжущий народ и на кучи голубей, которые смело бродили тут и выпархивали из-под ног людей и лошадей. Я думаю,— рассуждает мемуарист,— что тут родилась не одна басня дедушки Крылова».

Однажды Завелейскому удалось даже и познакомиться с Иваном Андреевичем.

Александровская колонна на Дворцовой площади в Петербурге в ту пору еще только строилась и стояла в лесах. И многие петербургские жители подымались на эти леса, чтобы полюбоваться видами города. Все ходили — и Завелейский пошел.

Приближаясь к колонне, он догнал высокого и массивного на вид человека в коричневом сюртуке, с круглою шляпою на голове и толстою палкою, которая лежала у него на самом изгибе талии, а обе руки были заложены за палку.

«Человек этот, поставя ногу на первую ступень лестницы, оглянулся, и я узнал Крылова,— вспоминает наш автор.— Не будучи знаком с ним, я, однако ж, снял почтительно шляпу и поклонился нашему славному поэту. Он так приветливо взглянул на меня, что я влюбился в его ласковую улыбку. Он спросил меня: «И вы тоже наверх?» — Я отвечал: «Да-с!»

Тут Завелейский пропустил великого баснописца вперед, и они поднялись до самых верхних подмостов, где.

«сидя на стульях перед столиками, два молодых художника что-то рисовали на больших листах бумаги, наклеенных на досках. Они встали и тоже почтительно поклонились Крылову».

Это были — Завелейский не знает! — братья Чернецовы, художники, которым было поручено изобразить панораму Санкт-Петербурга. А до этого один из них — Григорий Чернецов — написал картину «Парад на Марсовом поле», где в группе литераторов изобразил и Пушкина, и Крылова.

Полюбовавшись видами Петербурга, Крылов с Завелейским стали спускаться. По вицмундирному фраку Крылов без труда угадал, в каком министерстве служит его новый знакомый, и заговорил с ним об этом:

«Да-с! — с гордостью отвечал Завелейский.— Я служу помощником столоначальника в департаменте внешней торговли».

«А, я знаю, там славный директор — Бибиков, знаю»,— сказал на это Крылов...

Тут они оказались уже внизу и простились. Крылов пошел на Невский, а Завелейский поворотил к Адмиралтейскому бульвару, чтобы у Зимнего дворца сесть в ялик и переехать через Неву на Петербургскую сторону.

Дальше листаю...

Однажды Завелейский мельком видел поэта и драматурга Нестора Кукольника и оставил в записках довольно точный его портрет. В другой раз возвращался со службы с поэтом Бенедиктовым, имя которого в ту пору гремело... Эпизоды не очень значительные, но все же доносят до нас какие-то живые мгновения, живые черты характеров.

Василий Павлович Игнатович-Завелейский, автор записок, приходился родным племянником известному Петру Демьяновичу Завелейскому, который несколько лет до этого прослужил на Кавказе в должности грузинского гражданского губернатора и был хорош с Александром Сергеевичем Грибоедовым...

Дочитав до этого места, я понял, что в записках будет сообщено что-то новое. А подумал я так потому, что незадолго до своей гибели Грибоедов увлек Петра Демьяновича Завелейского, грузинского губернатора, своим колоссаль-

ным проектом: создать в Закавказье акционерное общество — «Российскую Закавказскую компанию», чтобы с ее помощью осуществить полное экономическое переустройство закавказских провинций.

Из этого плана так ничего и не получилось. Грибоедову было объявлено о назначении его министром-посланником в Персию, и он должен был покинуть пределы Кавказа. Перед отъездом он женился на дочери своего давнего друга замечательного грузинского поэта и генерала русской службы Александра Гарсевановича Чавчавадзе. Две недели спустя, представив записку о «Российской Закавказской компании» главноуправляющему Грузией фельдмаршалу графу И. Ф. Паскевичу, он уехал. А через три месяца стало известно, что он убит при разгроме русской миссии в Тегеране.

Вскоре в Тифлисе был раскрыт заговор грузинских аристократов, мечтавших о восстановлении грузинского престола и династии грузинских царей. В числе арестованных оказался и Александр Гарсеванович Чавчавадзе. Он не разделял этих замыслов. Но заговорщики открылись ему. Напрасно уговаривал он их отказаться от этой мысли, находя ее безрассудной: о заговоре ему стало известно. Поэтому следственная комиссия отнесла его к категории лиц, «кои знали об умысле, но с тем вместе не изъявили на оный согласия». В 1834 году, по окончании дела, за Чавчавадзе установили секретный надзор и сослали его в Тамбов.

Завелейского в это время в Грузии не было. Он находился уже в Петербурге. И вот из мемуаров его племянника, Василия Завелейского, я узнаю, что в 1834 году в Петербурге, в доме своего дяди Петра Демьяновича, он познакомился с князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе!

Как так?! Александр Чавчавадзе в Петербурге, в 1834 году? В то время, как в 1834 году он сослан в Тамбов?

Ничего не понятно! Это какое-то новое сведение, не известное никому из исследователей!.. Вот еще раз про Чавчавадзе!.. И еще раз!..

Одного этого было достаточно, чтобы привлечь интерес к тетради. А тут еще Пушкин, Крылов...

Я написал для архива небольшую записку, рекомендовал тетрадь Завелейского приобрести. А сам решил

внимательно изучить ее после того, как она поступит в архив. Возвращая, поинтересовался, кто продает.

— Внучка.

— Сколько просит?

— Немного!

Собеседница назвала какую-то ничтожную сумму и, спрятав тетрадь в портфель, удалилась.

Пренеприятнейшее письмо

Прошло года два. Получаю письмо. Его автор прочел в моей книге, что Лермонтов в 1837 году встретился в Грузии с Александром Гарсевановичем Чавчавадзе. «Мне очень неприятно,— читаю в письме,— сообщать Вам о допущенной Вами грубой ошибке. По делу о грузинском заговоре 1832 года Чавчавадзе был сослан в Тамбов на четыре года. Выехал в ссылку в начале 1834-го. Значит, вернулся в 1838-м. В 1837 году в Грузии его не было. Следовательно, в 1837 году Лермонтов и Чавчавадзе встретиться не могли. А вы пишете...» Мой оппонент беспокоился зря. Мне уже удалось найти к этому времени бесспорные доказательства, что осенью 1837 года Чавчавадзе находился в Тифлисе. Что же касается ссылки в Тамбов, то действительно почти во всех биографиях Чавчавадзе можно прочесть про эти четыре года. Правда, в них говорится, что ссылка окончилась раньше. Но объяснить, откуда известно, что ссылка была недолгой, и откуда взялись эти четыре года, я не могу. Из документов это не видно.

В Тбилиси, в Историческом архиве Грузии, хранится утвержденный царем приговор:

«Чавчавадзе князь Александр... Выслать на жительство в Тамбов».

Про четыре года не сказано!

Видимо, для того чтоб решить этот вопрос окончательно, надо обратиться в тамбовский архив. Наверное, туда никто никогда не писал.

Пишу. Получаю ответ: Чавчавадзе прибыл в Тамбов 18 февраля 1834 года, выехал оттуда в самом начале мая того же, 1834 года.

Куда выехал?

В Петербург.

На каком основании?

По велению царя.

Оказывается, поэт написал в Варшаву фельдмаршалу графу Паскевичу, которого знал по Кавказу,— просил помочь в облегчении его, Чавчавадзе, участи. Паскевич обратился к царю. Николай, ценивший Паскевича едва ли не выше всех сановников в государстве, просьбу его исполнил. Чавчавадзе был вызван в столицу для свидания с царем и больше в Тамбов не вернулся.

Значит... тамбовская ссылка длилась совсем не четыре года, а всего два с половиной месяца! Но тогда возникает новый вопрос: где находился Чавчавадзе с мая 1834 года до середины 1837-го?

Вот тут-то и вспомнил я о тетради Василия Завелейского.

Кто приносил?

Приезжаю в Центральный литературный архив. Вхожу в кабинет начальника. Строчу заявление: «Прошу разрешить ознакомиться... Записки Василия Завелейского...»

— Да их у нас нет. Мы их тогда не купили...

— Как — не купили? Там же про Пушкина есть! Про Крылова!

— Так это всё мелочи! Ну, видел на улице Пушкина... Какой в этом толк для науки? А тут ценные документы приносят...

— Ну как же так? — говорю.— Ведь иной раз и незначительный факт, если его поставить рядом с другими, становится важным! Вы же спрашивали — я написал: купить.

— У нас как-то сложилось другое мнение...

— А вот мне теперь эта тетрадь просто до зарезу нужна!

— Этого же мы не могли предвидеть!..

— Ну, хоть фамилию владелицы помните?.. Которая вам приносила...

— Сразу так не скажу... Попробую выяснить...

Внутренний телефон под рукой:

— Тут внучка одна приносила записки... Два года назад... Завелейского... Фамилию ее случайно не записа-

ли?.. Жаль!.. Что-то похоже на орла? Не Орлова?.. Нет?.. Не Орловская?.. Орлевич не подойдет?..— Усмехнулся.— Да уж это не «лошадиная» фамилия, а скорей птичья... Ну, добре!..

И в мою сторону:

— Поищем. Попробуем выяснить...

Но ясно, что если никто не помнит сейчас, то потом вспоминать не станут. Надо искать самому. А вот как искать — это надо подумать.

Разгадка «птичьей» фамилии

Завелейского звали Василием. Следовательно, сын или дочь его были Васильевичи. Посмотрю-ка я в каталогах, не писал ли книжек какой-нибудь Икс Васильевич Завелейский?

Генеральный каталог Государственной библиотеки имени В. И. Ленина дает ответ положительный. В 1894 году вышла в свет брошюра «Электрический трамвай в Киеве». Автор Игнатович-Завелейский Владимир Васильевич. Очевидно, сын «нашего». Вторая брошюра — его же «Помощь утопающим». Киев. Третья работа — «Киевское реальное училище».

Первый вопрос выяснен: в 90-х годах прошлого века Игнатовичи-Завелейские жили в Киеве. Это хорошо согласуется с пометой в конце тетради Василия Завелейского, я ее тогда выписал: «...1869 год. Киев». Возможно, что и внучка, которая приносила в архив эту тетрадь, тоже из Киева?

Еду в Киев — по другим делам, разумеется. Заодно навожу справки. Узнаю от одного театрала: была в Киеве, только давно, Игнатович, актриса. Потом она выступала в Москве.

Вернулся в Москву — заглянул в ВТО (Всероссийское театральное общество). Решаю посоветоваться с сотрудниками кабинета драматургии. И начинаю выкладывать им эту историю. А какой-то маленький старичок ждет, когда ему наведут справку. Я мешаю ему.

— Я не расслышала,— переспрашивает меня та, что наводит старичку справку,— как вы назвали фамилию?

— Игнатович. Актриса. Играла в Москве.

— Нашли вы ее?

— Я еще не искал.

И вдруг старичок ядовито глядит на меня:

— И, между прочим, никогда не найдете!

— Почему не найду?

— Потому что она никогда не играла под этой фамилией. Ее сценическая фамилия Орлик. А зовут ее Ольгой Дмитриевной.

— А как мне ее найти?

— Вот уж этого я не знаю!

Взял справку и, приняв горделивый вид, удалился. А я даже не спросил, кто он такой.

Во всяком случае, ясно стало одно: «птичья» фамилия уточнилась.

Еду в адресный стол — нет в Москве Ольги Дмитриевны Орлик!

Состояние привычное, но все-таки неприятно.

Тогда я обращаюсь к Ивану Семеновичу Козловскому, нашему замечательному певцу. Он знает чуть ли не всех старых актеров, с довоенных времен добывает им пенсии, поет на их юбилеях, с готовностью откликается на их нужды... Я ему позвонил. И что же вы думаете?!

Он говорит, что помог устроить Ольгу Дмитриевну Орлик в Ленинградский дом ветеранов сцены.

— Она в переписке с моим секретарем — Саррой Рафаиловной Шехтер,— говорит мне Козловский.— Вы же с ней знакомы. Поговорите... Я сейчас попрошу ее к телефону.

Невероятно! Я слышу голос той самой сотрудницы Центрального литературного архива, которая привозила ко мне на дом тетрадь Завелейского, вскоре ушла с работы, потом поселилась под Москвой где-то по Казанской дороге, и адрес ее выяснить было не легче, чем найти тетрадь Завелейского.

Ну конечно... Она в курсе дела: Ольга Дмитриевна писала совсем недавно, что тетрадь по-прежнему у нее, что она готова уступить ее в какой-нибудь архив за бесценок.

— Она вам охотно отдаст, я совершенно уверена,— говорит Шехтер.— По-моему, рада будет.

Хотя Ольга Дмитриевна живет в Ленинграде, а я — в Москве, мне кажется, можно уже успокоиться. Остается сесть в поезд.

Дом ветеранов сцены

Не так скоро, но случай представился. Я — в Ленинграде. Свиданию с Ольгой Дмитриевной решаю посвятить утро. Покатил на Петровский остров. Красота. Черная вода Малой Невки. Осенний парк. Уютный дом с флигелями и службами. Под окном, на скамейке под голым кустом сирени,— старушка в фетровых ботах, в шляпке, повязанной сверху оренбургским платком.

— Простите,— спрашиваю,— где тут у вас канцелярия?

— Я лучше, чем канцелярия,— отвечает старушка,— я знаю тут всех. Кто вас интересует, скажите?

— Ольга Дмитриевна Орлик.

— Ее комната там... Но... Ольга Дмитриевна скончалась недавно — я должна огорчить вас... Разве вам не известно? Уже две недели...

Я действительно огорчился. Тетрадь показалась в эту минуту не столь уж и важной. Кстати, подумал, что сейчас ее получу.

Вхожу в помещение дирекции. Объясняю, что́ меня привело сюда, выражаю сожаление по поводу смерти старой актрисы. Интересуюсь, нельзя ли получить записки деда ее. А мне отвечают с досадой:

— Ну что бы вам раньше прийти! Орлик бумаги пожгли!.. Вчера как раз, вечером. Ну скажите!.. Кто знал?! Инспектор соцстраха отложил в сторону — «это, говорит, тетради с ролями... сожгите». А нам какой смысл беречь? Нужен текст роли — возьми «Нору» или Островского и спиши...

— Да ведь у нее были записки деда ее! — выкрикиваю я.— Завелейского! Там было про Пушкина, про Крылова! Про грузинского поэта Александра Чавчавадзе ценнейшие сведения! В огонь? Под плиту? И только вчера? Где же я был? Будь я проклят!..

Всех огорчил, растревожил весь дом, нарушил порядок и тишину. В канцелярию стали заглядывать с недоумением и даже тревогой: «Где огонь?»

Послали за директором на строительство. Пришел — высокий, статный, с серебряной головой, с благородным и бледным лицом, тонким, умным. В свое время — любимец театрального Петербурга. Партнер знаменитой Комиссаржевской. Прославленный Лаэрт в «Гамлете» — Андрей

Андреевич Голубев. Улыбается примирительно. Хочет успокоить, утешить:

— Погодите огорчаться. Не могли мы сжечь бумаги про Пушкина. Сожгли тетради, не имеющие никакого значения. К архивам наших актеров мы относимся очень бережно. Мы вам целый музей покажем... Берусь вас уверить — это недоразумение. На всякий случай я сейчас попрошу уборщицу еще раз поглядеть на кухне... Голубчик,— говорит он, приоткрывая дверь в коридор,— спросите на кухне, не осталось ли там бумаг из комнаты Орлик?

— Да на них вчера кот сидел,— отвечает голос из коридора,— так повар кота шуганул, а бумагу всю под плиту, на растопку...

Директор поморщился, снисходительно улыбается:

— Целая диссертация про кота — совсем ни к чему все это! Попробуем посмотреть в шкафу, где лежат документы Орлик.

Посмотрели: пенсионная книжка, сберегательная книжка, профсоюзная книжка... Завелейского нет!

Директор поворачивает ключ:

— Очевидно, и не было.

— Как — не было! — говорю.— Было! Я уверяю вас! Может быть, тетрадь осталась в комнате Орлик?

— Нет, там ничего не осталось. В ту комнату мы перевели уже другого актера — Василия Ильича Лихачева. Вы не застали его на сцене? Он в Москве, в Незлобинском театре играл ростановского Орленка. О, это было блестяще! Вообще он считался лучшим Орленком не только среди русских актеров, но и среди европейских. Это талант удивительный!

— Я не знал, что Лихачев здесь,— говорю я.

— А что? Вы хотели бы познакомиться?

— Конечно, если это возможно.

— Ну почему же... Если хотите — зайдем. Но я попрошу вас не заводить с ним разговор о тетради. Мы не любим нашим актерам напоминать об утратах. Разве только если он сам заговорит об Ольге Дмитриевне Орлик. Они были дружны.

Идем к Василию Ильичу Лихачеву. Идем по сверкающим паркетам через анфиладу уютнейших гостиных, обставленных старинной мебелью, увешанных полотнами знаменитых художников, фотографиями прославленных

артистов. И чуть не каждая — с дарственной надписью. Или на память о посещении Дома. Или в знак старой дружбы. Тут основательница Дома Мария Гавриловна Савина, Шаляпин, Собинов, Давыдов, Варламов... Чайковский с автографом. Бюст Станиславского. Старые афиши. Портреты тех, кто здесь жил, для кого этот Дом стал родным домом... Проходя, Голубев здоровается с артистами. На низеньком диванчике читает книгу знаменитая Снегурочка-Виолетта-Лакмэ, голос которой не можешь забыть с юных лет. В следующей гостиной над шахматным столиком склонились, задумавшись, знаменитый Вотан из опер Вагнера и знаменитый Кречинский. Знаменитый Швандя из пьесы Тренева следит за игрой. Навстречу, закутанная в пушистый платок, с огненнным взором, вышла в коридор знаменитая Настасья Филипповна...

Василий Ильич откладывает в сторону газету, очки, учтиво приветствует директора и меня, соединяя спокойное благородство движений с торопливой предупредительностью. На стене над кроватью во весь рост несчастный сын Наполеона Орленок — молодой Василий Ильич Лихачев.

Садимся. Поговорили. Василий Ильич интересуется родом моих занятий. Ах, да: он слышал — Лермонтов, Пушкин, история русской литературы.

— Я посоветую вам,— с оживлением говорит он,— издать записки деда одной нашей актрисы — Ольги Дмитриевны Орлик. Они очень занимательны, интересны, написаны хорошо — она давала мне почитать. Только заключаем условие: когда вы их напечатаете, один оттиск пришлете мне. Это будет «плата» за консультацию!

— Я и сам готов бы издать эту рукопись,— говорю я со вздохом,— но боюсь, что теперь это трудно...

— А почему?

— Есть подозрения, что тетрадь нечаянно сожгли.

— То есть как «сожгли»? — Лихачев встрепенулся.

— На растопку пустили.

— Боже мой! Кто же это мог позволить себе?

— С разрешения инспектора.

— Какого инспектора?

— Из соцстраха.

— Откуда же он возник?

— Пришел описывать имущество, оставшееся после покойной,— поясняет директор.

— Как «покойной»? Я не совсем понимаю...— Лихачев встревоженно приподнялся.— Я только вчера получил от нее открытку... Она спрашивает, что ей делать с записками Завелейского...

— Кто спрашивает? — Я перевожу глаза на директора.

Директор тоже смотрит с недоумением:

— Простите, Василий Ильич, я тоже отчасти не понимаю.... Откуда же может быть открытка?

— Я говорю о Наталье Михайловне Крымовой,— испуганно произносит Лихачев.— Она только что вернулась в Москву с Черноморского побережья и отвечает мне на письмо...

Недоразумение выясняется, а с ним вместе и судьба тетради. Записки Завелейского находятся в Москве, у переводчицы, члена Союза писателей Натальи Михайловны Крымовой. Ольга Дмитриевна Орлик была с ней дружна и незадолго до смерти отправила эти записки ей с просьбой попробовать снова устроить их в какой-нибудь литературный архив. Хорошо. Я устрою. В ЦГАЛИ.

Племянник и дядя

Записки в моих руках. Теперь можно прочесть их внимательно, не спеша и выяснить, много ли нового содержится в них об Александре Гарсевановиче Чавчавадзе.

Но прежде — два слова о самом Василии Завелейском.

Решительно, заглавие записок сбивает читателя с толку. «Прошлое бедного Макара» оказывается весьма любопытным, а сам «Макар» вовсе не таким простаком, каким он хочет представить себя. Сначала я было подумал, что это обыкновенный чиновник, интересы которого не выходят за пределы его департамента. И ошибся!

По приезде в Петербург, поступив в канцелярию министра финансов, Василий Завелейский стал посещать университетские лекции и в течение трех лет прослушал полный курс по философско-юридическому факультету. Потом решил окончить второй факультет — историко-филологический, увлекся лекциями, которые читал историк Н. Устрялов, прошел первый курс... Но в это время произошла важная перемена в его служебных делах: его повысили в должности, назначив столоначальником в департамент внешней торговли. От университетских лекций

пришлось отказаться. Случилось это весной 1834 года. Виновником перемены, о которой Василий Завелейский жалел потом целую жизнь, оказался не кто иной, как дядя его Петр Демьянович. Это он позаботился о карьере племянника, а связи у него были огромные. И — получилось.

Так неожиданно, но, в общем, спокойно сложилась судьба племянника. Не в пример драматичнее была биография дяди.

Получив смолоду военное воспитание, Петр Демьянович по влечению интересов своих перешел к «статским делам», поступил в министерство финансов и сразу же «был употреблен к открытию шайки контрабандистов», действовавшей в городе Радзивилове и в местечке Зельвах на западной границе Российского государства. Назначенный начальником «секретной экспедиции», он в короткий срок обнаружил контрабандных товаров более чем на два миллиона рублей. За это таможенные чиновники и купцы, разжившиеся на незаконной торговле, несколько раз пытались его отравить...

Остановимся. Вспомним «Мертвые души» Гоголя. Ведь Павел Иванович Чичиков тоже служил по таможенной части и пострадал от секретной экспедиции, посланной в западные губернии.

Сначала все текло гладко. «Ревностно-бескорыстная служба» Чичикова стала предметом общего удивления и дошла наконец до внимания начальства. Получив повышение и чин, он решил, что время пришло, и представил проект изловить контрабандистов всех до единого, если дадут ему исполнить этот проект самому. Получив на то разрешение, вступил он с контрабандистами в сговор, и уже миллионы сулило выгод дерзкое предприятие, и бараны испанские, одетые в двойные тулупчики, пронесли через границу брабантских кружев на огромную сумму, когда тайное сделалось явным. У Чичикова все отобрали. И хотя от суда ему удалось увернуться, но ничего не осталось ему, кроме двух дюжин голландских рубашек, небольшой брички, крепостных Петрушки и Селифана да десятков двух тысчонок, которые были запрятаны у него про черный день.

Впоследствии, когда спрашивали, где он служил, Чичиков больше отделывался общими фразами, что-де «претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его».

Очевидно, Гоголю было хорошо известно это нашумевшее дело о поимке контрабандистов, которым руководил Завелейский.

Но вернемся к воспоминаниям.

Удачное завершение предприятия, за которое Петр Демьянович получил орден и триста тысяч рублей, послужило к быстрому его возвышению. Вот почему уже на другой год его назначили в Грузию — исполняющим должность начальника грузинской казенной экспедиции «Верховного Грузинского правительства», где в полной мере мог проявиться его административный талант.

Чего удалось ему достигнуть на этом посту, племянник не пишет. Но если несколько постараться, то с помощью адрес-календарей, картотек и архивов установить это мы можем и без него. И вот, выясняя, чем ознаменовалось пребывание Петра Демьяновича Завелейского в Грузии, я узнал, что сразу же по приезде в Тифлис — это было в начале 1828 года — он познакомил чиновников вверенной ему грузинской казенной экспедиции с проектом, который им предстояло осуществить. Им надлежало составить полное финансовое и статистическое, так называемое *камеральное*, описание закавказских провинций, произвести изучение их природных ресурсов, перспектив их экономического развития, численности и нужд местного населения. Все это сразу же было поставлено широко, основательно, по-деловому. Предпринято это было по распоряжению министра финансов графа Канкрина. Но инициатива принадлежала Александру Сергеевичу Грибоедову, с которым Петр Демьянович в ту пору снова встретился в Грузии. Еще в Петербурге стали они обмышлять план «Российской Закавказской компании», в Тифлисе решили подробности.

Им представлялось, что компания должна начать широкую торговлю русскими и заграничными товарами и открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, развивать виноградарство, виноделие, шелководство, разводить хлопок, табак, красильные и лекарственные растения. Составители намечали прокладку новых дорог, открытие школ, внедрение в сельское хозяйство новых технических средств и навыков... Для этого правительство должно было отвести компании землю — 120 тысяч десятин — за ничтожно малую арендную плату, предоставить монополию тор-

говли, право свободного мореплавания, отвоевать для компании занятый турками порт Батум... В качестве рабочей силы Грибоедов хотел использовать в Закавказье армянских переселенцев из Персии и русских крестьян, которые получали бы освобождение от крепостной зависимости, но с обязательством, хотя и за плату, работать на компанию 50 лет. Компания рассчитывала получить административные и дипломатические права и для охраны путей к батумскому порту — войска. Образец выгод, которые будут получены в случае осуществления проекта, Грибоедов и Завелейский видели в процветающей экономике Северо-Американских Соединенных Штатов, а одну из важнейших целей компании — в том, чтобы она стала посредницей в мировой торговле между Азией и Европой. Акционерами Грибоедову мыслились закавказские помещики, закавказские купцы и чиновники русские, но без русских фабрикантов и русских купцов. Другими словами, Грибоедов и Завелейский прежде всего заботились о процветании Закавказского края, о поднятии его производительных сил. Все это было изложено, как говорит современник, «красноречивым и пламенным пером».

Паскевич отверг этот план. И даже в том случае, если бы Грибоедов остался в живых, это ничего бы не изменило. План Грибоедова противоречил интересам русской буржуазии, всей экономической и политической структуре тогдашней России.

Вместо «Российской Закавказской компании» для торговли русскими товарами в закавказских провинциях и в Персии в 1831 году была учреждена «Закавказская торговая компания», в которой Завелейский недолго числился попечителем. Но это было совершенно не то.

В те же годы, когда создавался этот широкий и смелый план, Петр Демьянович Завелейский познакомился и подружился с Александром Гарсевановичем Чавчавадзе, а некоторое время спустя — после гибели Грибоедова — стал мечтать о женитьбе на его вдове, Нине Александровне, дочери Чавчавадзе. «Это как-то расстроилось»,— пишет племянник. Расстроилось, но не отразилось на отношениях с ее отцом, который был о молодом губернаторе самого высокого мнения. «Благородность его души,— писал Чавчавадзе о Завелейском три года спустя,— его благонамеренность, его неусыпная деятельность по много-

сложным обязанностям, на него возложенным, его смелая справедливость ко всем без различия лицам, особенно верное и скорое постижение вещей для него новых, чрезвычайно нравились мне в нем и час от часу усиливали мою к нему любовь и уверенность. Он имел о Грузии самое точное понятие... Я с ним подружился».

Те же, кто знал Завелейского, в свою очередь тоже говорили, что и он «очень восхвалял» Чавчавадзе.

Это неудивительно: Чавчавадзе и Завелейский — люди одного образа мыслей. Теперь уже ни у кого из историков не возникает сомнений в том, что Чавчавадзе разделял многие взгляды зятя своего Грибоедова и, как видим, высоко ценил позицию Завелейского: недаром писал, что думает с ним одинаково.

В должность грузинского губернатора Завелейский вступил в 1829 году, когда ему не было еще и тридцати лет. Это расценивалось как головокружительная карьера. Однако два года спустя последовала внезапная катастрофа: по «высочайшему повелению» его отрешили от должности с преданием суду.

Василию Завелейскому кажется, что причиной тому была ревность, которую губернатор вызвал в сердце одного из кавказских начальников — генерала Панкратьева. Возможно, было и это. Но официальная версия выглядит совершенно иначе. Губернатор обвинен в том, что «стеснительное управление» его влияло на «брожение» умов.

В чем же оно заключалось?

Медлил с определением подлинности дворянских грамот. Самочинно повысил земские сборы. Отменил таксы на вино. В 1829 году во время русско-турецкой войны объявил сбор грузинского ополчения («милиции»), чем «неосновательно взволновал народ».

На самом деле начало крушения Завелейского — рапорт, посланный им царю. В этом обстоятельном документе представлена картина упадка экономики Закавказья с 1801 года и предложены благотворные меры. С соображениями Завелейского не согласилась комиссия, присланная царем в Тифлис. Немаловажно и то, что передовой круг грузинского общества относится к Завелейскому как к своему. Уже это одно почитается несовместимым с задачами, которые ставятся перед царским администратором на Кавказе. Зная об отношении царя, новый наместник, барон Г. В. Розен, назначенный в 1831 году на место

Паскевича, старается удалить Завелейского с поста губернатора.

Добился! Кавказский период в жизни Петра Демьяновича кончился. Дело пошло в сенат. Завелейский вернулся в столицу и ждет решения судьбы.

Тем временем в Грузии открывается заговор. Многие из арестованных на допросах с похвалою отзываются о Завелейском. Комиссия утверждает, что большая часть полагала его своим соучастником — «одни вследствие личных им внушений, другие по причине разных правительственных мер, явно клонивших к негодованию и взволнованию народа в самое именно время сильнейшего брожения здешних умов». Барон Розен шлет в Петербург донесения, в которых особо подчеркивает, что Александра Чавчавадзе с Завелейским и покойного Грибоедова объединяли общие взгляды, что они находились «в тесной связи». «Будучи тестем покойного Грибоедова,— пишет Розен о Чавчавадзе,— он имел в нем средство усовершенствоваться в правилах вольнодумства... Завелейский,— продолжает он,— был связан тесной дружбой с тем же Грибоедовым и сохранил до сего времени такую же с Чавчавадзевским».

Обвинение распространяется дальше. В замышленной Грибоедовым и Завелейским «Российской Закавказской компании» Розен видит связь с открывшимся заговором.

Если бы осуществился проект Грибоедова и Завелейского, пишет Розен, то «тогда были бы здесь Соединенные Американские штаты...— в особенности, если бы правительство отдало им 120 тысяч десятин земли, как они предполагали».

Вредным почитает он и производившееся камеральное описание края. «К описанию таковому здесь не пришло еще время,— решительно заявляет Розен.— Если бы не было оного, то не произошло бы, может, и случившегося в Грузии».

Грибоедовский план связан с грузинским заговором. Грибоедов, Чавчавадзе и Завелейский представлены как вдохновители заговорщиков.

Следствие по делу ведется в Тифлисе, Завелейский находится в Петербурге, где судьбою «прикосновенных» к делу, то есть его — П. Д. Завелейского, грузинского царевича Димитрия, служащего в сенате канцеляриста Додаева (Додашвили) и француза Летелье, занимается специ-

альная комиссия под председательством генерал-адъютанта царя — графа Орлова.

Дело окончено. Прямых доказательств причастности Завелейского к делу не найдено. Но так же, как и сосланный в Тамбов Чавчавадзе, он взят под строгий секретный надзор Третьего отделения.

Снова вступив на службу в министерство финансов, Завелейский отправляется обследовать состояние сибирских губерний, женится там на шестнадцатилетней купеческой дочке с огромным приданым, возвращается в 1834 году в Петербург и снимает квартиру «возле церкви Всех скорбящих», другими словами — на углу нынешнего проспекта Чернышевского и нынешней улицы Воинова. Широко принимает гостей. И у него постоянно бывает... Александр Гарсеванович Чавчавадзе!

Тифлисские сослуживцы

Да, вот это мы узнаем впервые. И узнаем из тетради племянника — Василия Завелейского. Теперь становится окончательно ясным, что не зря я искал ее, она того стоила! Потому что племянник сообщает много новых и весьма интересных сведений, рассказывая о своих отношениях с дядей и шестнадцатилетнею «теткой».

«Я,— пишет Завелейский-племянник,— стал бывать у них довольно часто, а обедал каждое воскресенье и каждый праздник. У них я познакомился с некоторыми лицами, значительными в нашей администрации, и аристократами. Здесь,— продолжает мемуарист,— я познакомился с князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе, грузином, генерал-лейтенантом и владетелем Кахетии, с Василием Семеновичем Легкобытовым и с Николаем, по отчеству забыл, Калиновским и некоторыми другими лицами, которые служили или так были знакомы дяде, когда он был грузинским губернатором».

И снова — через тридцать страниц — вспоминает, что дядя познакомил его с «несколькими хорошими людьми». Кто же эти хорошие люди?

Тот же Александр Гарсеванович Чавчавадзе, Василий Семенович Легкобытов, тот же Калиновский, «который был

при дяде в Грузии вице-губернатором». И два новых имени: сочинитель Григорьев и Лысенко, «который был у дяди правителем канцелярии».

Фамилия Чавчавадзе не нуждается здесь в пояснениях. Поэтому начнем с Легкобытова.

Василий Семенович Легкобытов смолоду служил в министерстве финансов, потом был отправлен в Грузию к Завелейскому — советником грузинской казенной экспедиции. Занимался описанием восточных провинций Закавказья и по возвращении в Петербург на основе тех материалов, что были собраны им и его товарищами, написал четырехтомное исследование «Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях», обозначив долю участия каждого в этом общем труде.

Все четыре тома вышли в 1836 году. Вернулся Легкобытов в столицу в 1834-м. Стало быть, в то самое время, когда его встречает Завелейский Василий, он трудится над составлением этого описания, которое в продолжение многих десятилетий будет считаться «самым обстоятельным трудом» по экономике Закавказья.

Иван Николаевич Калиновский — старый сослуживец П. Д. Завелейского по министерству финансов. Они вместе участвовали в поимке контрабандистов, вместе отправились в Грузию, где Калиновский возглавлял после Петра Демьяновича грузинскую казенную экспедицию и в отсутствие Завелейского постоянно заменял его на посту губернатора. В 1833 году по неудовольствию барона Розена освобожден от должности и возвратился в столицу.

А кто такой литератор Григорьев?

Тоже сослуживец по Грузии, кстати — лицо в литературе небезызвестное.

По окончании петербургской гимназии Василий Никифорович Григорьев увлекся литературой и познакомился с Кондратием Федоровичем Рылеевым — будущим руководителем Северного общества декабристов. Стал часто бывать у него, «оставался с ним наедине, толкуя о современной литературе».

В ту пору Григорьев писал стихи в рылеевском духе и печатал их в «Полярной звезде», альманахе Рылеева и Бестужева.

Вскоре Рылеев рекомендовал молодого литератора в члены «Вольного общества любителей российской словес-

ности». Тут, на заседаниях Общества, Григорьев встречал будущих участников декабрьского восстания Александра и Николая Бестужевых, Федора Глинку, Александра Корниловича... Этим его литературные знакомства не ограничивались. Григорьев знал Пушкина, Языкова, Сомова, Дельвига, знал Грибоедова. Знакомство с Грибоедовым продолжилось на Кавказе, когда Григорьев был послан из Петербурга на службу в Грузию, к Завелейскому. В Тифлисе встречал он и Чавчавадзе и был позван на бал по случаю свадьбы Грибоедова и дочери Чавчавадзе Нины. Это в разговоре с Григорьевым Грибоедов назвал «самой пиитической принадлежностью Тифлиса» монастырь святого Давида, в ограде которого хотел найти последний приют. Так случилось, что именно он, Григорьев, первый из русских встретил «бренные останки Грибоедова у Аракса, на самой нашей границе», когда гроб с телом великого драматурга везли из Тегерана в Тифлис. Описание этой печальной встречи Григорьев послал в Петербург, и оно появилось в «Сыне отечества».

Кроме того, в петербургских журналах в те годы печатались его грузинские очерки: «Грузинская свадьба», «Алавердский праздник», «Встреча с англичанами в Кахетии». Содержание очерков объясняется тем, что Григорьев занимался камеральным описанием Кахетии и заодно побывал в гостях в Цинандали — кахетинском имении А. Г. Чавчавадзе, где был принят Ниной Александровной очень радушно.

Однажды — это было в Тифлисе — Григорьев обедал у военного губернатора Стрекалова,— в комнату ввели людей, только что доставленных из Сибири. Это были декабристы Владимир Толстой и Александр Бестужев-Марлинский, «сгорбленный, с мрачной физиономией».

«Может ли быть! — вскричал Бестужев, узнав в молодом чиновнике юношу, коего некогда встречал в Петербурге на заседаниях «ученой республики», как называли «Вольное общество любителей российской словесности».— Вы ли это, Григорьев?»

Вспоминал об этом Григорьев в старости, когда от революционного пыла в нем уже ничего не осталось, и о своих декабристских симпатиях он говорит неохотно и как-то вскользь. Тем не менее, описав эту встречу, он добавляет: «Я раз, навестив его, нашел в нем прежнего Александра Бестужева. Остроты по-прежнему так и сыпались... В об-

ществе он был при всей колкости своей очень занимательный собеседник, душа у него была добрая...»

«Нашел прежнего Бестужева»! Значит, знал его близко! Бестужев в его присутствии разговаривает с непринужденностью... Становится ясным, что их знакомство было более коротким, а встречи — более частыми, нежели Григорьев собирался представить это в своих записках: в Тифлисе они встречались, и, можно думать, не один раз.

Потом Григорьева послали в Нахичевань.

Вернувшись в столицу, в прежний свой департамент, он выпустил книгу «Статистическое описание Нахичеванской провинции». Об этой книге Пушкин в своем «Современнике» 1836 года напечатал очень похвальный отзыв.

Что касается упомянутого Василием Завелейским Дмитрия Степановича Лысенко (или Лисенкова), то он действительно был в Грузии правителем канцелярии при Петре Демьяновиче Завелейском и к этому времени тоже вернулся в столицу.

Вот, оказывается, кого встречал автор воспоминаний в доме своего дяди. Его старого друга А. Г. Чавчавадзе и прежних дядиных сослуживцев, которые стали друзьями обоих — и Завелейского, и Чавчавадзе. Это — Калиновский, Легкобытов, Григорьев и Лысенко, удаленные из Грузии по соображениям политического порядка. Розен не доверяет им. Он предписал местным начальникам, какие дóлжно давать им сведения, как учинить за ними надзор.

Розен достиг своего. Министерство финансов вынуждено было отозвать с Кавказа этих способных чиновников, не успевших завершить порученную работу, ибо Розен продолжал настаивать на том, что разыскания о состоянии жителей закавказских провинций «должны были породить недоверчивость, а потом и негодование».

«Нерешительность,— писал Легкобытов в предисловии к своей книге, подразумевая наместника Розена,— нерешительность думала видеть препятствия... в то уже время, когда важнейшая и большая часть владений были осмотрены... Невозможность существовала только в воображении и представлялась тому только, кому характер обитателей Закавказья вовсе был не известен, кто не желал или не был в состоянии видеть слишком ясной пользы этого предприятия».

Итак: Чавчавадзе и Завелейский, состоящие под секретным надзором Третьего отделения, и друзья обоих — чиновники из грузинской казенной экспедиции — это кружок. Кружок «кавказцев», людей, очень близких между собою: четверо из них даже живут сообща, одним домом. Столуются вместе. Вот что узнаем мы — и тоже впервые — из рассказа Василия Завелейского:

«Чавчавадзе, Легкобытов, Калиновский и мой меньшой дядя, Михайла, жили в доме купца Яковлева у Семеновского моста и сходились обедать вместе в квартире Чавчавадзе; кажется, все они держали общий стол, хоть повар был князя Чавчавадзе. Я обедал у них часто, а праздники и воскресенье в особенности я проводил у них. Здесь после вкусного обеда и кахетинского чавчавадзевского вина мы говорили, шутили, смеялись и читали новости политические и литературные. Читали или Легкобытов или я; а Миша с Калиновским дурачились. Последний, хотя статский советник и бывший уже вице-губернатор, небольшого росту, толстяк — был очень веселый и смешливый человек; редко, бывало, не хохочет. А был очень неглуп и человек с состоянием».

Далее следует портрет Александра Гарсевановича Чавчавадзе, которого мемуарист запомнил в его излюбленной позе:

«...курит себе сигару да лежит на кушетке, задравши ноги, но всегда в сюртуке и в эполетах. Говорили, что он был владетельный князь Кахетии и был с нашими войсками в Отечественную войну в Париже, вероятно очень еще молодым. Он был стройный, тонкий в стане и красивый очень мужчина и казался еще молодым, лет 33-х, не больше. Кажется, он шнуровался, но волосы у него были не подкрашенные черные и движения еще молодые. Он, помнится, нигде уже не служил тогда, но носил эполеты и саблю. Вероятно, он числился по кавалерии. Сын его Давыд, молодой гвардейский уланский юнкер, приходил к нему из школы подпрапорщиков каждую субботу и обедал на другой день с нами, но всегда за другим, маленьким столом, в своем толстом мундире. Почтительность

к отцу у него была удивительная: бывало, отец скажет: «Давыд». И он тотчас же отвечает из другой комнаты: «Батоно?» Но в этом ответе по интонации голоса так и звучит: «Батюшка! слушаюсь, что прикажете?»

Первое, что надо отметить в этом рассказе,— чтение вслух новостей литературных и политических. Нетрудно представить себе, что за чтением должно было следовать их обсуждение. Приятели Чавчавадзе — люди с образованием и с интересами. Легкобытов окончил Московский университетский Благородный пансион (в котором после него учился Лермонтов). Калиновский — воспитанник Харьковского университета. У Григорьева — гимназическое образование. Александра Чавчевадзе Григорьев рекомендует как человека «весьма начитанного». Это мы и без него знаем. Но, видимо, в Петербурге Григорьев имел возможность и сам убедиться в этом.

Поэтому совершенно ясно: журналы и газеты читаются не ради времяпрепровождения, а из интереса всей этой компании к политике и литературе. Много смеются. Главные по этой части — Калиновский и «меньшой дядя Михайла Завелейский». Кто такой? Тоже чиновник, только почтового ведомства.

Теперь давайте попробуем выяснить, что это за дом возле Семеновского моста, в котором они живут. Возьмем старый план.

Дом купца Яковлева у Семеновского моста числится тут под № 58 по Гороховой улице и № 64 по Фонтанке. Если же открыть «Книгу адресов С.-Петербурга на 1837 год», то нетрудно узнать, что в доме «по Гороховой № 58 и по Фонтанке № 64» жил «Чивковадзи князь Алексей Иванович, генерал-майор, состоящий при Отдельном Кавказском корпусе». То ли тугое ухо было у квартального надзирателя, то ли рука нечеткая, но только при «прописке» Александр Иванович Чавчавадзе превратился в Алексея Ивановича Чивковадзи. Вы спросите: почему же «Иванович»? Не будем слишком строги по отношению к квартальному. Ивановичем величал Чавчавадзе даже добрый его знакомец — помянутый нами поэт Василий Григорьев.

Ныне этот старинный дом — угол улицы Дзержинского и Фонтанки — возле Семеновского моста значится под

номером 85/59. Как видим, Василий Завелейский не ошибается: все верно!

Вот сюда, на Фонтанку, и приходил сын Чавчавадзе Давид. Он приехал к отцу из Грузии и поступил в Петербурге в школу подпрапорщиков и юнкеров в тот самый год, о котором идет речь в мемуарах Василия Завелейского,— в 1834-м, когда эту школу кончает Лермонтов. Зачислен Давид Чавчавадзе в лейб-гвардейский Уланский полк — все верно! Что память у Василия Завелейского хорошая — неудивительно, поскольку записки представляют выдержки из его дневника. Неточности есть, но они небольшие: написание фамилии — Чивчавадзе, Чевчевадзе... Требуют уточнения слова о корсете. Шнуруется не один Чавчавадзе. Шнуруются все. Шнуруется император. И еще одна мелочь: в те годы Чавчавадзе был генерал-майором, в генерал-лейтенанты его произвели позднее, уже по возвращении в Грузию. В описании же его внешнего вида также нет никаких оснований не верить Василию Завелейскому, что грузинский поэт выглядел гораздо моложе своих 48—49 лет. Интересны подробности, что в Петербурге Чавчавадзе держит своего повара и в избытке получает из Цинандали (разумеется, в бурдюках) свое «чавчавадзевское» вино. Но по существу-то об Александре Чавчавадзе Василий Завелейский знает очень немного.

Чавчавадзе не просто владетельный князь. Он сын грузинского посла в Петербурге, убежденного сторонника объединения Грузии и России. В Петербурге он и родился. Крещен Екатериной II. Воспитывался в Петербурге, в частном пансионе. Потом отправился в Грузию. Шестнадцати лет вовлечен в заговор грузинского царевича Парнаоза. Сослан в Тамбов (куда его потом сослали вторично). Прощен. Поступает в Петербурге в Пажеский корпус. Окончил. Зачислен в лейб-гусарский полк, расквартированный в Царском Селе (в нем потом служит Лермонтов). Участвует в войне 1813—1814 годов. Ранен. Вступает с русскими войсками в Париж, состоя в должности адъютанта Барклая-де-Толли. Вернулся в столицу и в полк. Переведен в Грузию. Служит в Кахетии, в Нижегородском драгунском полку, и одно время командует им (в этот полк сошлют потом Лермонтова). Ушел из полка, произведен в генерал-майоры. Состоит при Отдельном Кавказском корпусе. Принимает участие в персидской

войне; после взятия Эривани назначен начальником Армянской области. С началом военных действий против Турции командует отрядом и одерживает несколько блестящих побед. «Покорение» Баязетского пашалыка навсегда останется связанным с именем Чавчавадзе.

Василий Завелейский не знает, что Чавчавадзе принадлежит к числу замечательных грузинских поэтов. Впрочем, этому найти объяснение можно. Стихов своих генерал Чавчавадзе не печатает, об их переводах на русский язык в ту пору никто и не помышляет, и понятно, почему из современников его поэзию знают только грузины. Да и то в списках: на грузинском языке нет в те годы ни газет, ни журналов.

Розен не ошибается: Чавчавадзе действительно вольнодумец. То же самое думает император. Он считает, что «генерал-майор князь Чавчавадзе был всему известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14-го декабря». Другими словами, так же, как декабрист Михаил Орлов, который вначале входил в тайное общество, был в нем одной из самых видных фигур и, хотя потом отошел от движения, намечался после победы восстания на важный государственный пост.

Считается, что, сократив Чавчавадзе срок ссылки, Николай I «обласкал» его. Тем не менее три года Чавчавадзе живет в Петербурге, а не в Тифлисе. Очевидно, Николай выжидает: должно пройти время, для того чтобы поэт мог возвратиться в Грузию. Надо, чтобы события отошли в прошлое. А еще вернее — суть заключается в том, что в столице за Чавчавадзе присматривать куда легче, нежели в далеком Тифлисе.

Чем вызвано это стойкое недоверие?

Оно вызвано дружескими связями Чавчавадзе с передовыми людьми. Сперва — это служба в одном полку с выдающимся мыслителем Чаадаевым. Потом — знакомство с поэтом-декабристом Кюхельбекером. Долголетняя дружба и родство с Грибоедовым. Тесная связь с кружком прогрессивно мыслящих офицеров, служивших в Грузии у генерала А. П. Ермолова. Дружеское отношение к участникам декабрьского восстания, отбывавшим ссылку в полках, расквартированных на Кавказе и в Грузии. Впрочем, выдержки из дневника Василия Завелейского и по этой части сообщают нам новые данные и косвенно подтверждают связи с декабристским кругом и Чавчава-

дзе и Завелейского и их компании. Но сначала хочу обратить внимание, что в эти годы Чавчавадзе не разлучается с Завелейскими даже и летом.

1835 год. Михаил Завелейский снимает дачу под Петербургом, в Лесном, где у него собираются и постоянно обедают «почти все кавказцы» — то есть знакомые «старшего дяди». Кто же такие?

«Князь Чавчавадзе, Калиновский, Легкобытов...»

Впрочем, тут появляется фамилия новая — Вышеславцев, который тоже «иногда бывал у дяди Михаила Демьяновича».

Можно уже предвидеть: Вышеславцев Павел Сергеевич — чиновник грузинской казенной экспедиции. Так и есть: он составлял описание Тифлиса. Это тоже один из соавторов «Обозрения российских владений за Кавказом», еще один из петербургского окружения Чавчавадзе.

Но гораздо важнее, что в Тифлисе Вышеславцев встречался с писателем-декабристом Александром Бестужевым и близко сошелся с братом его, Павлом Бестужевым, и братом другого декабриста, Титова,— литератором Николаем Титовым. Эта дружба — Вышеславцева, Николая Титова и Павла Бестужева, которые в разговорах о сосланных декабристах называли их «нашими»,— встревожила присланных на Кавказ жандармов и вселила им сильные подозрения, не возникло ли в Тифлисе новое тайное общество и не являются ли они его членами? После этого нас уже не должно удивлять, что «Вас. Завелейский» дважды встречает в Петербурге, у дяди Михаила Демьяновича на даче в Лесном, Павла Бестужева.

Но тут следует рассказать о Бестужеве хотя бы немного, иначе важный смысл этих встреч окажется не вполне понятным.

Брат декабристов

Павел Александрович Бестужев, младший брат знаменитого декабриста Александра Бестужева-Марлинского и декабристов Николая Бестужева, Петра и Михаила Бестужевых, воспитывался в Петербурге, в артиллерийском училище, и был уже в офицерском классе, когда произошло декабрьское восстание, в котором приняли участие четверо братьев его. Все четверо арестованы. Спустя

несколько месяцев арестован и Павел Бестужев. Предлогом послужила найденная у него книжка «Полярной звезды», альманаха, который издавали брат его Александр Бестужев-Марлинский вместе с Рылеевым. Семнадцатилетнего юношу заключают в Бобруйскую крепость, а через год переводят юнкером на Кавказ, где он сражается с отличною храбростью в персидском и в турецком походах и, между прочим, участвует во взятии Арзрума. Под Карсом Павел встречается с братом Петром, тоже сосланным на Кавказ. Под Ахалцихом судьба разлучает их снова. И снова они встречаются — в Тифлисе, у Грибоедова. Вскоре к ним присоединяется брат Александр, которого перевели на Кавказ из Сибири.

После окончания походов в Тифлисе оказались одновременно, кроме братьев Бестужевых, и другие участники декабрьского восстания — Михаил Пущин, Оржицкий, Мусин-Пушкин (моряк) и граф Мусин-Пушкин, Кожевников, Вишневский, Гангеблов, которые проживают тут законно и незаконно. К их компании примыкают гвардейские офицеры, прикомандированные к кавказским полкам. Они постоянно видятся с Чавчавадзе, дом которого всегда открыт для гостей, каждого встречает здесь радушный прием. Но тут начальство опомнилось. Декабристов рассылают по гарнизонам.

Даже в кавказской ссылке Бестужевы не оставляют литературных занятий. Не говорю о Марлинском. Он навсегда прославил себя в истории своими блистательными романтическими рассказами о кавказской войне и о горцах. Но пишет и Петр Бестужев. И Павел, который напечатает потом в Петербурге страстную полемическую статью в защиту народов Кавказа.

Проявился его талант и в другом: Павел Александрович Бестужев изобрел прицел к пушкам, который был введен во всей артиллерии под наименованием «бестужевского прицела». Это дало ему чин поручика, орден и разрешение вернуться в Россию. Но по приказу царя за ним учрежден самый строгий надзор. В Петербурге Бестужев фактически стал редактором «Журнала для чтения воспитанников военно-учебных заведений» и в год смерти Пушкина перепечатал на страницх этого органа отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум», а еще раньше — статью о военных действиях на территории азиатской Турции в 1828—1829 годах, автор

которой с похвалою упоминает имя генерала А. Г. Чавчавадзе.

Вот что пишет Василий Завелейский о встречах с Павлом Бестужевым:

«Павел был молодой человек — высокий, тонкий, красивый собою и большой остряк; мы валялись (от смеха) по коврам, постланным в саду, где почти всегда обедали; его остроты были очень милы, никого не кололи, но заставляли хохотать до слез. Он был тогда возвращен, по просьбе своей матери, из-за Кавказа, где он служил юнкером Куринского егерского полка. Кажется, он был сослан туда вместе с декабристами. Помню, что во время этих обедов иногда пели и плясали цыганки. Веселое было время!»

К сведениям нашим о Павле Бестужеве эти строки прибавляют немногое. Но самый факт, отмеченный Василием Завелейским, важен. Он служит подтверждением тех коротких дружеских отношений, которые установились с декабристами, и прежде всего с Бестужевым, у Чавчавадзе и у этих русских людей еще тогда на Кавказе, в Тифлисе.

Теперь уже нетрудно сделать окончательный вывод, что интересы и взгляды этих «кавказцев», собиравшихся у Петра и Михаила Демьяновичей, отвечали интересам и взглядам самого Чавчавадзе. Иначе не стал бы он с ними так неразлучно дружить. Более того: близкие отношения его с сотрудниками Петра Завелейского могут только служить подтверждением их прогрессивных взглядов.

Итак, отношения, завязавшиеся с ними у Чавчавадзе в Тифлисе, продолжены в Петербурге, куда к 1834 году возвратились почти все чиновники Завелейского, служившие в грузинской казенной экспедиции. Правда, в Тифлисе остался Зубарев — фигура достаточно интересная. Из вольноотпущенных крестьян родом, Дмитрий Елисеев сын Зубарев в 1812 году, как сказано в его формуляре, вступил «в московскую военную силу рядовым» и «за отличие под Бородиным произведен в унтер-офицеры» (десятилетним ребенком!). Впоследствии он окончил Московский университет по словесному отделению, печатался в столичных журналах. Потом послан в Грузию, где зачислен в казенную экспедицию, и занимается камеральными

описаниями. Ныне имя его вспоминается только в связи с историей комедии Грибоедова «Горе от ума». Ибо прежде чем эта пьеса была представлена на московской и петербургской сценах, ее разыграли любители спе́рва эриванские, а потом и тифлисские. Тифлисский спектакль состоялся в январе 1832 года в доме брата прославленного полководца Багратиона — Романа Ивановича. Зубарев играл Чацкого. После спектакля в газете «Тифлисские ведомости» появился отчет, подписанный псевдонимом «Гаретубанский пустынник». «Гаретубанский пустынник» — это тот же Дмитрий Елисеевич Зубарев. Напечатать отчет о спектакле ему было тем проще, что в 1832 году он был одним из редакторов этой газеты. А главную роль в тот год играл в ней Григорий Гордеев — Гордеев, который напечатал в газете записку Грибоедова о «Российской Закавказской компании» и назвал этот план «исполинским», который помещал под буквами «А. Б.» произведения опального Александра Бестужева. Гордеев, который выступил в «Тифлисских ведомостях» с опровержением клевет на Грузию и грузинский народ, напечатанных в столичном журнале. Теперь остается добавить, что Григорий Гордеев тоже чиновник грузинской казенной экспедиции, тоже один из соавторов «Обозрения российских владений за Кавказом». Если еще назвать имена Александра Яновского и Николая Флеровского, то нам уже будет известен весь «авторский коллектив» этого капитального экономического труда.

Однако познания друзей Чавчавадзе и Завелейского, приобретенные в годы их службы в Грузии, не ограничились в Петербурге участием в этом важном коллективном издании. Можно пойти несколько дальше и заглянуть в «Энциклопедический лексикон».

«Лексикон» Плюшара

В 1834 году петербургский издатель Адольф Плюшар задумал выпустить многотомный «Энциклопедический лексикон». К участию в этой первой русской энциклопедии решено было пригласить лучшие научные и литературные силы России. Главным редактором на общем собрании сотрудников был выбран Николай Иванович Греч. Первый том вышел в 1835 году. Особое внимание редак-

ция обращала на русскую часть издания — на статьи по русской словесности, русской истории, законоведению русскому, по географии России, ее экономике, много места отводилось жизнеописаниям русских людей.

Рекомендуя географические статьи «Лексикона», редакция заверяла, что «каждая часть России обработана в сем отношении сотрудниками, бывшими на местах, ими описываемых... статьи о Кавказе...»

Остановимся, чтобы обратить внимание на две знакомые пам фамилии:

«...Статьи о Кавказе сообщены В. Н. Григорьевым и В. С. Легкобытовым, занимавшимися исследованием и описанием Кавказа по поручению начальства».

Если же заглянуть в перечень подписчиков, то мы без труда обнаружим еще одно знакомое имя: «Генерал-майор князь А. Г. Чавчавадзев».

Статьи о Кавказе для «Лексикона» Плюшара пишутся в годы, когда А. Г. Чавчавадзе — знаток Кавказа, высокообразованный человек, владеющий грузинским, русским, иностранными языками,— живет в Петербурге общим хозяйством с В. С. Легкобытовым, когда они вместе читают газеты, обсуждают все новости. И, естественно, говорят о статьях, предназначенных для печати. Может ли быть сомнение в том, что Чавчавадзе просматривает эти статьи, подает советы друзьям...

Давайте подумаем!

Если Василий Завелейский, скромный министерский столоначальник, по протекции дяди мог попадать на литературные вечера в доме Греча, мог ли прославленный генерал, тесть Грибоедова, крупный поэт А. Г. Чавчавадзе, живя в Петербурге целых три года — половину 1834-го, 1835-й, 1836-й, половину 1837 года,— мог ли он не видеть никого из писателей? Нет! Это просто еще не исследовано: поверить в это нельзя!

Вспомним: именно в 1836 году, когда Чавчавадзе находится в Петербурге, Пушкин печатает в «Современнике» свое «Путешествие в Арзрум». А в предисловии к нему упоминается генерал Чавчавадзе. И вот мы должны уве-

рить себя, что за три года Чавчавадзе ни разу не встретился в Петербурге с Пушкиным. Даже если бы они были незнакомы между собою, три года — очень значительный срок. Но ведь имеются веские основания считать, что они и прежде были знакомы. Они могли и должны были встретиться в 1829 году, когда Пушкин, совершая путешествие в Арзрум, на две недели останавливался в Тифлисе и, как он пишет, «познакомился с тамошним обществом».

Пушкин не называет имен, но мы-то знаем, кто был виднейшим лицом в тогдашнем тифлисском обществе!

А. Г. Чавчавадзе.

На обратном пути Пушкин снова останавливался в Тифлисе. И его приглашали в гости наперебой. «Здесь остался я несколько дней,— пишет Пушкин,— в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских».

Это было две недели спустя после похорон Грибоедова. И Чавчавадзе в те дни находился в Тифлисе. Это уж нам точно известно. Правда, тогда над его домом тяготел траур, но именно потому Пушкину, хорошему знакомому Грибоедова, надлежало нанести визит его вдове и его тестю и выразить им сочувствие. Если бы он даже и не был с ними знаком — этого требовало уважение к грузинским обычаям и дружеские чувства к убитому. Это соображение высказал наш великолепный поэт — покойный Г. Н. Леонидзе. Пушкин восхищался умом Грибоедова, писал о нем как о человеке необыкновенном и выдающемся деятеле государственном. Имя его Пушкин ставил среди первых поэтов.

Тифлис в ту пору — маленький город, если сравнивать его с современным: около двадцати тысяч жителей. Известно, что Пушкин в Тифлисе обедал у Прасковьи Николаевны Ахвердовой, ближайшего друга этой семьи. Чавчавадзе жили вместе с ней в ее доме в продолжение пятнадцати лет. Это она воспитала Нину, сосватала ее с Грибоедовым. Сопоставляя все эти данные, думаешь: Пушкин должен был познакомиться с Чавчавадзе, даже если бы раньше и не был знаком! Но ведь они могли встречаться и раньше — еще в ту пору, когда Пушкин учился в Царскосельском лицее, а Чавчавадзе служил в царскосельских гусарах вместе с П. Я. Чаадаевым, П. П. Кавериным, к которым Пушкин убегал, чтобы провести время в пылких беседах. Чавчавадзе перевел на

грузинский язык пушкинские стихи — «Цветок», «Пробуждение», «Анчар», «Обвал», вступление к «Медному всаднику»... Нет. Просто еще не найдены прямые доказательства знакомства Чавчавадзе с Пушкиным! Но ведь и не все еще обнаружено, не все исследовано, прочтено — мемуары и письма людей того времени, которые могли знать поэтов. Нашлись же записки Василия Завелейского. И другие найдутся! Уверен! Сколько в одних государственных наших архивах лежит еще не прочитанных писем — тысячи, десятки тысяч и сотни, а изучена лишь малая часть... А сколько существует семейных архивов, неизученных воспоминаний и дневников!..

Кстати: в то самое время, когда в Петербурге живет Чавчавадзе, туда чуть не каждый день приезжает из Царского Села Лермонтов. Лермонтов бывает у своей тетки Прасковьи Николаевны Ахвердовой. В 1830 году она переехала в Петербург (это стало понятно, когда я попал в Актюбинск и нашлось неизвестное лермонтовское письмо). На петербургский адрес Ахвердовой поступают из Тифлиса письма для Чавчавадзе. Лермонтов в 1836 году собирался с бабушкой поселиться в ее петербургской квартире. Как утверждать после этого, что Чавчавадзе в Петербурге не мог встретиться с Пушкиным, с Лермонтовым? Можно ли нам успокоиться и отказаться от поисков? Разумеется, нет! Но...

Выдержки из дневника Василия Завелейского кончились. И на этом должен сегодня окончиться наш рассказ!

1950—1968

Новый поиск. Швейцария

1

Для того чтобы рассказать, зачем я поехал в Швейцарию, придется начать издалека.

Вы знаете: в 90-х годах прошлого века идеологи либерального народничества, любившие называть себя друзьями народа, печатали в «Русском богатстве» одну за другой статьи, в которых искажали учение Маркса, в неверном свете представляли взгляды русской социал-демократии.

И вот приехавший из Самары двадцатитрехлетний Владимир Ильич Ульянов, войдя в один из петербургских марксистских кружков и вскоре став признанным руководителем петербургских марксистов, проанализировал серию статей народников Михайловского, Кривенко и Южакова, стал развивать положения, о которых уже докладывал в самарском кружке, и в 1894 году написал глубочайший труд, где подверг резкой критике народников, всю совокупность их идейных и экономических взглядов. Вы знаете эту ленинскую работу. Она называется «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Ленин показал в этом труде, что будущее России принадлежит рабочему классу, и впервые провозгласил неизбежность в России победоносной коммунистической революции.

Работа состояла из трех частей: в первой Ленин выступал с критикой статей Михайловского, вторая часть

заключала полемику с Южаковым, третья опровергала писания Кривенко.

Решено было распространить этот труд. Но как?

За дело взялся студент Петербургского технологического института Алексей Александрович Ганшин вместе со своими московскими друзьями и родственниками — студентами Масленниковыми. Ленин передал Ганшину рукопись. Ее перепечатали на машинке,— изготовили из нее три тетрадки в половину писчего листа. А затем размножили этот машинописный текст на автокопиисте или мимеографе. Работа осуществлялась во Владимирской губернии, в имении отца Ганшина — Горках (ныне это Ярославская область), а позже — в Москве. Но изготовлены были тогда только два выпуска, содержащие полемику с Михайловским и Южаковым. Третий остался ненапечатанным.

Одновременно в Петербурге шло размножение той же работы на гектографе. Петербургские копии заключали в себе уже все три выпуска. В общей сложности первый выпуск, по мнению специалистов, насчитывал около двухсот семидесяти пяти экземпляров, второй, считается, около ста пятидесяти, а вот третий был оттиснут только в пятидесяти. Чтобы сбить полицию с толку, на обложке этих петербургских оттисков было указано: «Издание провинциальной группы социал-демократов».

Напечатаны были эти тетрадочки на желтоватой бумаге. И в среде социал-демократов — первых читателей этой работы Ленина — назывались «желтенькими тетрадками».

Поскольку полиция зорко следила за выпуском нелегальных изданий, передавались эти тетрадки из рук в руки с соблюдением всевозможных предосторожностей. И только проверенным людям. Хранить эту литературу было опасно. С конца 90-х годов эти тетрадки полностью исчезли из обращения. Когда после Октябрьской революции стали искать эту ленинскую работу, оказалось, что ни рукописи нет, ни одной копии до нас не дошло. В конце 1922 года были найдены первая и третья части из тех, что были изготовлены на гектографе. Вторая же часть, с критикой народника Южакова, исчезла. Впоследствии еще два раза были обнаружены «желтенькие тетрадки», и снова — первая и третья части. А вторая так и не найдена. До сих пор. Возникли даже сомнения: был ли переведен

на гектограф второй выпуск замечательного ленинского труда?

Эти сомнения поддерживаются тем обстоятельством, что из пятидесяти экземпляров третьего выпуска найдены три, а второй, коего изготовлено было, как считается, почти полтораста, не обнаружен ни разу. Так был ли он издан тогда?

Но тут следует обратить внимание на то, что эти сомнения зародились несколько десятилетий спустя с того времени, когда размножался текст ленинского труда. И что до этого ни у кого из сподвижников Ленина не возникало даже сомнения в том, что работа была размножена целиком и содержала в себе все три части.

С каждой новой находкой первой и третьей тетрадей возрастает сомнение в существовании второй. Психологически это совершенно понятно. Но в тексте и первой части и заключительной Ленин неоднократно ссылается на вторую; без нее труд был бы неполон. И достаточных оснований считать, что в 1894 году размножались только фрагменты этого основополагающего ленинского труда, а не весь его текст целиком,— таких оснований нет. При этом важно иметь в виду, что из оттисков, изготовленных Ганшиным и Масленниковыми во владимирских Горках и в Москве, до нас не дошла не только вторая часть, но и первая. И если бы не было параллельных петербургских оттисков на гектографе, то и первая часть ленинского труда осталась бы нам неизвестной. Это, однако, не означало бы, что первого выпуска не существовало в природе. И поэтому есть все основания не соглашаться с теми, кто сомневается в существовании копии второй части, направленной Лениным против политико-экономических взглядов народника Южакова. Тем более что, по всему судя, вторая тетрадь из тех, что были размножены на гектографе, была известна жандармам. Вот почему с особой настойчивостью надо продолжать поиски второй части, равно как до сих пор не разысканного ленинского автографа.

2

С того времени, как я впервые прочел ленинскую работу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» и, заглянув в примечания, узнал, что

текст второго выпуска не обнаружен, я никогда об этом не забывал. Знал, что собиратели ленинского архива ищут это утерянное звено, что существует целая литература о том, когда писалась и как распространялась работа и каково было содержание утерянной части. Но дело это требует не только весьма тонких соображений. Оно требует больших специальных познаний. И я не включался в него.

Но вот однажды зимой, в Кисловодске, в санаторий «Красные камни», где я лечился, приехал из Орджоникидзе, чтобы меня повидать, старый мой друг, талантливый исследователь лермонтовской поэзии Девлет Азаматович Гиреев. Родная тетка его живет в Кисловодске, Гиреев предложил мне ее навестить.

— Она говорила, что твой отец был известным петербургским адвокатом до революции. Она, оказывается, знала его, слышала его речи. Пойдем на полчасика!

Пошли. Купили коробку конфет.

Тетушка Девлета Гиреева — Вера Георгиевна Пеховская — милая, живая, радушная. Интересная собеседница. Ну... отец был, конечно, много лучше меня,— этого она скрыть не могла,— и внешне был презентабельнее, и гораздо моложе, чем я теперь. Она знала его совсем юной девушкой, когда жила в Петербурге, встречала в доме Юрия Макаровича Тищенко, с дочерью которого была очень дружна.

— А вы что? Жили у Тищенко? — спрашиваю.

— Нет,— сказала Вера Георгиевна.— Я воспитывалась в семье Южакова.

— Южакова?

— Да, Сергея Николаевича.

— Он к «Русскому богатству» отношение имел?

— Самое близкое. В большой дружбе был с Короленко.

— А умер когда? В девятьсот десятом году? — говорю.

— Да, в девятьсот десятом!

И тут у меня в мозгу что-то зажглось: ведь в южаковской библиотеке могла находиться та часть гектографированного издания ленинского труда, которая была направлена как раз против него, Южакова. Социал-демократов преследовали, им хранить тетрадки, призывавшие к революции, было опасно. А Южаков предлагал добиваться у

правительства легальных реформ. Он мог не опасаться жандармов, ему не страшен был обыск, он мог безопасно хранить у себя направленную против него ленинскую работу.

— А библиотека его,— спрашиваю,— куда девалась, не знаете?

— О, библиотека была у него огромная! Он ведь издавал энциклопедический лексикон, был всесторонне образованным человеком. Библиотека перешла к его сыну Николаю Сергеевичу. А когда Николай Сергеевич переехал в Швейцарию, библиотеку увез с собой.

— Когда это было?

— Да вскоре после смерти отца, Сергея Николаевича, еще до той мировой войны.

— И что, в Россию Николай Сергеевич не возвращался?

— Нет, он остался в Швейцарии. А уж после революции я точных сведений о нем не имела.

...С того дня Швейцария застряла в моей голове. И стремление найти утраченную часть ленинского труда крепло во мне все больше и больше.

Я обратился в Союз писателей. Обратился в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Меня поддержали. В институте напомнили, что вторую часть «Друзей народа» ищут давно, что насчет ее гектографированного экземпляра существуют сомнения. Однако все обсудили, признали, что поиски южаковской библиотеки следует обязательно предпринять.

Конечно, мало вероятия было рассчитывать на встречу в Швейцарии с человеком, покинувшим Россию почти шестьдесят лет назад, и притом в зрелом возрасте. Естественнее было бы допустить, что его нет на свете, не говоря о том, что еще раньше он мог и покинуть Швейцарию, мог уступить свою библиотеку другому, распродать ее, наконец. Сложность этого поиска и в том еще заключается, что на «желтеньких тетрадках» нет имени автора, только название «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Но, увы, это название ничего не может сказать тому, кто не читал Ленина, а тем более не знает русского языка. Словом, сложностей можно было представить себе достаточно.

3

Пятнадцатого ноября 1969 года я вылетел по маршруту Москва — Вена — Цюрих вместе с Зинаидой Алексеевной Лёвиной. Она работает в Институте марксизма-ленинизма более тридцати лет, специальность ее — биография Ленина. В Швейцарии бывала уже. Под ее редакцией вышла книга «Ленин в Женеве», подготовлена к печати книга «Ленин в Берне и Цюрихе». Я понимал, что это спутник незаменимый, способный на месте, без книг и без консультаций, решить любой из вопросов, которые могли возникнуть у меня в ходе поисков. Но сверх того она оказалась еще очень контактным и умным, энергичным, милым и жизнерадостным человеком. Работать и путешествовать с ней необыкновенно легко.

В продолжение двадцати трех дней впервые знакомился я со страной, известной мне дотоле по изображениям и книгам. Порой, однако, казалось, что я ношу ее в памяти. В Кларане, высоко над Женевским озером, Чайковский инструментовал «Евгения Онегина», здесь же, в Кларане, написал свой знаменитый скрипичный концерт. В Цюрихе жил Рихард Вагнер. Близ Люцерна рождалось его «Кольцо Нибелунгов». Пребывание в Швейцарии побудило Льва Николаевича Толстого написать свой «Люцерн». Неподалеку от Люцерна — вилла, где жил и творил Рахманинов. В Лугано похоронен дирижер Бруно Вальтер. В Женеве родился великий Руссо, побывал Байрон. Замок Шильон на Женевском озере вдохновил его на создание поэмы про шильонского узника. Рядом, в Веве,— вилла Чаплина. На вилле «Ольга» в Вильнёв трудился Ромен Роллан. Мы знаем Швейцарию по книгам швейцарских писателей начиная от Конрада Фердинанда Майера до Дюрренматта, по романам Хемингуэя, Томаса Манна и Федина. И, конечно, всегда вспоминаем о том, что именно здесь, в Женеве, с 1865 года выходил «Колокол», который издавали Герцен и Огарев, что здесь была их «Вольная русская типография». Что именно тут зародилась и потом стала печататься «Искра», которую редактировал Ленин. Что здесь, в Швейцарии, в общей сложности он провел около семи лет.

Представление о Ленине «там, в эмиграции», превращается тут в «здесь, в Женеве», на старинной и узкой Гранд-Рю, в «Сосиете де Лектюр» — в «Обществе любите-

лей чтения», где он занимался, делал выписки, снимал книги с этих вот полок, сидел за этим столом, расписывался в этой книге... И без всяких усилий воображения Ленин является перед вашим мысленным взором живой, совершенно живой, в различных поворотах,— стремительный и спокойный, сосредоточенный и общительный, бесконечно деликатный и скромный и в то же время страстно-непримиримый к врагам и ко всем, кто словами о революции и народе маскирует леность мысли, нерешительность, неискренность, половинчатость, трусость. В Цюрихе жаль уходить от дома на Шпигельгассе, 14, где у сапожника Каммерера Ленин и Крупская снимали комнату в последний период своего пребывания в Швейцарии. В 1928 году этот дом был отмечен мемориальной доской. Переулочек узкий, крутой, но перед ленинским домом — ровное место и маленькая квадратная площадь. Дома — почти все старинные — XV век, XVII. На многих — мемориальные доски. В соседнем в 1837 году скончался Георг Бюхнер, юный писатель, что создал «Общество человеческих прав» и бежал из Германии, сочинив воззвание к крестьянам, слова из которого: «Мир хижинам, война дворцам»,— стали навсегда революционным призывом.

В XVIII веке чуть дальше, в этом же переулке, жил знаменитый Лафатер, физиономист, вошедший в историю с легендой о том, что по чертам лица мог предсказывать судьбу человека. Тут гостил Н. М. Карамзин, рассказавший об этом в «Письмах русского путешественника». На доме, замыкающем переулок, доска в память великого педагога Иоганна Генриха Песталоцци; наискосок — кабаре «Вольтер», где в годы первой мировой войны собирались художники и писатели-«дадаисты», представлявшие модное декадентское течение тех лет. А вообще старый Цюрих — район рабочих, мастеровых, мелких служащих, мелких торговцев, людей недостаточных. Здесь Ленину было проще жить — и по средствам, и люди его окружали простые, люди труда.

Тут — в Женеве, в Берне, в Цюрихе, в Лозанне — обнимаешь в представлении своем подвиг жизни Ленина, жизни вдали от России, ради нее, ради ее великой судьбы, ради будущего, ради тех, чьим трудом живет человечество, у кого украдены достижения трудов. С ясностью думаешь о подвиге этом ради идеи, овладевшей им с юных лет. И Швейцария становится в нашем представлении еще бо-

лее значительной, ибо особое красноречие обретают для нас ее города, ее улицы, ее дома, названия, маршруты, ландшафты. Целые периоды ленинской жизни и истории выпестованной им партии обретают здесь удивительную конкретность и воплощаются для нас не только во времени, но и в пространстве.

4

Поиск наш осложняется тем, что Швейцария состоит из двадцати двух кантонов. И в каждом — свой архив, свой учет и своя кантональная библиотека. Правда, федеральная полиция тоже ведет учет населения, но архивы свои хранит в течение двадцати лет. Поэтому с ее помощью можно выяснить только одно: находился ли Южаков в Швейцарии с сорок девятого по шестьдесят девятый год. Или не находился. Обо всем этом я узнал в Берне, в федеральном полицейском управлении, куда меня привез наш вице-консул Владимир Михайлович Карсов. Выражая ему благодарность, хочу тут же добавить: при словах «мы», «мы с Лёвиной» — каждый раз надо иметь в виду помощь наших дипломатических работников — посла Анатолия Семеновича Чистякова, Зои Васильевны Мироновой, возглавляющей в Женеве Советское представительство при ООН, второго секретаря посольства Костикова Анатолия Сергеевича, сотрудника представительства Вячеслава Вадимовича Жаркова — «Вячвада», как называли мы его сокращенно, сотрудника посольства Виктора Киселева. И переводчицу «Интуриста» Марину Эразмовну Павчинскую надо поблагодарить от души.

Начать поиск решено было с Женевы. Именно в этой — романской — части Швейцарии селилась, по преимуществу, русская дореволюционная эмиграция.

Наши расспросы о Южакове вызвали интерес у очень многих людей, которые согласились помочь нам и делали это, не жалея времени,— щедро, с охотой. Сейчас еще рано называть имена. Нам помогали без расчета попасть в газету. Это надо было бы каждый раз оговаривать особо: опасаясь повредить поиску, мы не делали этого. Ограничусь тем, что скажу: мы побывали в Женеве, Лозанне, Берне, Цюрихе, Базеле, Нёвшателе, Люцерне, Лугано, Монтрё, Веве, Кларане, Швице, Интерлакене, Мюррене...

В библиотеках Швейцарии мы просмотрели адресные книги наиболее крупных городов за годы 1914 и 1920 — искали Николая Сергеевича Южакова во всех возможных вариантах начертания его трудного имени и в немецкой и во французской транскрипциях. Мы обращались в адресные столы. Нам помогали библиофилы, книготорговцы, библиотекари, ученые-историки, литераторы, музейные работники, архивисты, переводчики из ООН, рабочие, деловые люди, врачи, адвокаты, банковские чиновники, педагоги, полицейские чиновники и даже служители православной церкви. И, разумеется, люди из среды старой дореволюционной эмиграции, которые могли знать Южакова. Нам давали советы, ради нас наши новые знакомые связывались по телефону с другими городами и странами, чтобы выяснить, не ушла ли южаковская библиотека туда. От одного нить тянулась к другому. Иной раз нам сообщали, что кто-то интересуется Южаковым: оказывалось — мы.

Однажды нас вызвали из Берна в Женеву. Известный адвокат сообщил нашей знакомой, что отец его — русский священник — знает что-то о судьбе рубакинского наследия и о судьбе южаковских книг. Примчались. Историю узнали печальную. Но сперва уясним, при чем тут Рубакин.

Знаменитый библиофил-просветитель Николай Александрович Рубакин, высланный царским правительством из России, владел уникальной библиотекой — около 100 тысяч книг. Это была его вторая библиотека. Первая, которую он подарил в Петербурге «Лиге образования», насчитывала 130 тысяч томов. Вторую библиотеку он перевез в Швейцарию, где его книгами пользовался и Владимир Ильич. Ленин высоко ценил просветительскую деятельность Рубакина и в 1914 году написал рецензию на его труд «Среди книг».

Рубакин так и остался в Швейцарии, умер в Лозанне в 1946 году. Но прах его покоится в Москве, на Новодевичьем кладбище. Библиотеку свою и большую часть архива он завещал Ленинской библиотеке в Москве. И они поступили туда. Другая часть архива — это уже рассказывал мне настоятель — была подарена Рубакиным секретарше — мадемуазель Мари Бетманн. Эта часть оставалась в Кларане. Мадемуазель Бетманн — Рубакин, очевидно, об этом не знал — состояла членом религиозной секты и завещала этой секте драгоценные рубакинские бумаги. Не-

сколько лет назад Бетманн умерла, а секта вскоре перебралась на Кубу. Оттуда — в Испанию, в Барселону, и, не желая таскать за собой написанное на непонятном им языке, члены секты сожгли рубакинское наследие... Может быть, там были материалы из южаковской библиотеки?

Я спрашивал в Лозанне Юрия Николаевича Рубакина, сына замечательного библиофила. Нет, книг там, кажется, не было. Брат его, Александр Николаевич Рубакин, живущий в Москве, уже описал эту историю. Оснований считать, что в погибшей части рубакинского собрания было что-то от Южакова, у нас пока нет.

5

Искали мы, однако, не одного Южакова. Искали неизвестные материалы о пребывании в Швейцарии Ленина и людей, его окружавших. Искали ленинские автографы.

Нам удалось побывать в одном доме и вести переговоры о передаче в Институт марксизма-ленинизма в Москве ленинских материалов. Нам показали их. Среди них — неизвестное письмо Ленина, оригинал.

В другом месте мы посетили дочь человека, в годы эмиграции очень близкого к Ленину. Владимир Ильич и Надежда Константиновна Крупская очень любили его и его семью. Мы видели подлинное, еще неизвестное ленинское письмо. Так же бережно хранит дочь странички, исписанные рукою Ленина, неизвестный рисунок с натуры, сделанный в 1915 году,— Ленин с газетой в руках. Можете представить себе, что мы испытывали, разглядывая ленинские материалы, расспрашивая интереснейшую собеседницу нашу, слушая ее талантливые, живые рассказы о Ленине. Да, все, что она хранит, она обещала передать нам, нашей стране.

Наши швейцарские друзья подарили нам четырнадцать фотографий — копии ленинских автографов, некоторые из них исследователям были еще неизвестны.

Мой старый знакомый профессор Мартин Винклер, от которого несколько лет назад я получил автографы и рисунки Лермонтова, переехал из Федеративной Республики Германии в итальянскую Швейцарию и поселился в Лугано. Мы повидались и с ним.

— В Асконе, на берегу Лаго Маджиоре, живет фрау Висс,— сказал он.— Ее муж близко знал Ленина и очень любил его. Поезжайте в Аскону. У нее могут быть письма.

Мы позвонили в Аскону.

— Мой муж,— отвечала нам фрау Висс,— давно оставил меня. Впоследствии он женился на Хильди Гуртнер. Он умер. Но архив у нее. Живет она в Бернском кантоне, в городе Мюррен. Вам следует увидеться с ней.

Вернулись в Берн, соединяемся с Мюрреном. Взволнованно и, как показалось нам, радостно нас приветствует та, к которой нас направляли. Она приглашает нас приехать к ней в Мюррен. Ехать надо через Тун, Интерлакен. Потом подняться по двум канатным дорогам. Мюррен — это напротив Юнгфрау, почти 1700 метров над уровнем моря. Она встретит нас на верхней площадке. Но пообедать просит внизу.

— Я буду в русском платке,— предупреждает она.

Едем втроем — с нами Марина Павчинская. Обедаем в Штехельберге.

Здесь сурово. Невольно сравниваю горы с Кавказом. Похожего мало. Но если Луганское озеро и удивительной красоты городок, стеснившийся в чаще гор, отдаленно напоминают озеро Рица, то здешнее ущелье — теснины Баксана.

Колесико бежит вверх по канату, кабина покачивается, иногда запинается. Долина уходит вниз, набегает туман. Пересадка. В новой кабине мы должны перепрыгнуть на противоположную стену.

Звонки. Приближается верхняя станция. Нас встречает женщина, пожилая, с пронзительным взглядом, с каким-то, я бы сказал, знойным цветом лица: Хильди Гуртнер, или Хильди Висс. Она — в русском платке, в куртке, в брюках, с натруженными руками. Ведет нас... не знаю, как лучше сказать: по улицам городка? местечка? поселка? Две церкви, триста пятьдесят жителей. Глубокий снег. Зима. Все окутано легким туманом. Фрау Висс дорогой рассказывает: сдает летом комнаты — наезжают туристы. А сейчас закончила ремонт крыши — пришлось заменить всю дранку, старая совершенно сгнила. На это ушли двадцатилетние сбережения. Зато старой дранкой можно будет топить и сэкономить на топливе.

В доме холодно. Но радушие, искренность, доброта этой женщины удивительны. Она говорит о муже. Еще

отец его отказался от частицы «фон» — Висс. Отто последовал его примеру. Потом вступил в партию. Ленина встречал в Цюрихе, будучи совсем молодым. С первой женой развелся давно. В 1929 году уехал в Москву. Он — юрист, читал в Московском университете курс права. Полюбил чудесную женщину — Валентину. В 1937 году вернулся в Швейцарию, в Мюррен. Был убит разлукой с Москвой. Потерял волю к жизни. Она, Хильди Гуртнер, его утешала. Время прошло — поженились. Он занимался литературой — переводил на немецкий язык русских классиков и советских писателей. В 1960 году ездили оба в Москву. Он мечтал вернуться на Красную площадь. И, увидев ее, зарыдал.

Она показывает мне его записную книжку, где отмечено все, что они тогда видели. Последняя запись:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Вскоре он умер.

Хильди Висс любит музыку, играет на пианино. Так, для себя. И поет. Чаще всего — песни Брамса. Сейчас она выбирает для нас пластинку — Второй концерт Брамса в исполнении Рихтера.

За окном падает снег — медленный, крупный. Смеркается. Звучит полное глубокого покоя и мысли брамсовское и рихтеровское анданте. На столе — фрукты и русские пирожки, которые мы захватили с собой. Напротив нас — женщина большой скромности и прекрасной души.

К ней приезжала из Москвы Валентина.

— Мы пригласили Маргарет Висс из Асконы. Мы любим друг друга. Мы — самые близкие люди. И нам необходимо встречаться втроем. Мы так хорошо вспоминаем его. Но теперь, когда на крышу ушли последние сбережения...

Поздно. Надо спускаться. Она смотрит на нас с тоской прекрасными, добрыми и пронзительными глазами:

— Вас трое. Вы будете разговаривать. А что буду делать я со своими впечатлениями, когда останусь одна? Что же я буду делать?..

Я говорю ей:

— Мы не нашли у вас писем Ленина. Но мы счастливы, что повидали и успели полюбить вас.

Она возражает:

— Писем Ленина вы не нашли — это правда. Но ведь на этой высоте как друзей свел нас Ленин!

И она старается обхватить нас, всех троих сразу, и прижать к своему сердцу.

6

Вернемся к «Друзьям народа».

Библиотека Южакова в Швейцарии пока не разыскана. Этого имени не помнят ни в Женеве, ни в Берне, ни в Лозанне, ни в Цюрихе, ни в других городах даже те, кто более полувека занят книжной торговлей и знает в стране каждого крупного библиофила. Может быть (как знать!), у Южакова была дочь, библиотека перешла к ней, а она замужем за швейцарцем, фамилия которого остается нам неизвестной. А возможно, Южаков давно переехал — во Францию, в Германию, в Соединенные Штаты и умер там? Сомнений у меня нет — следы библиотеки найдутся. Не могут кануть бесследно тысячи книг. И сегодня я обращаюсь ко всем, кто прочтет эти строки: если вам известно что-нибудь про Николая Сергеевича Южакова или про библиотеку его — сообщите это сведение в редакцию «Литературной газеты». Это к тем, кто живет за границей.

Но почему нам ограничивать поиски заграницей? Ведь оттисков второго выпуска ленинской работы было, как уже сказано, около ста пятидесяти, во всяком случае, не менее ста. Хоть один-то из них мог уцелеть у нас, в нашей стране?! А кроме того, известно: ленинскую работу усердно переписывали от руки. И трудно представить, что оттиски и копии пропали бесследно, все до единого. Может быть, и лежит еще более от времени пожелтевшая «желтенькая тетрадка» среди старых книг? Или заложена в книгу? Или затерялась среди старых бумаг, которые принадлежали когда-то участникам нелегальных кружков, грамотным рабочим, студентам, курсантам? Может быть, она затерялась у ваших знакомых? А может быть, лежит у вас, в вашем доме? Напомню: эту работу читали тогда в Москве, Петербурге, Тифлисе, Владимире, Пензе, Чернигове, Киеве, Томске, Полтаве, в Вильно, в Ростове. Это известно точно. Вероятно, читали в Самаре. Из сообщений полиции и охранки известно, что в 90-е годы сочинения Ленина нелегально распространялись в Казани, Баку, Тифлисе,

Одессе, Екатеринбурге (ныне Свердловске), в Архангельске, Новгороде, Перми, Красноярске, Иркутске, Кронштадте, Воронеже, Вологде, Барнауле... Утраченный выпуск может лежать в архиве вашего города. Может обнаружиться в вашей публичной библиотеке, вплетенный в старую книгу. Надо искать среди брошюр, оттисков, вырезок из журналов. Есть сведения, что в 1925 году известный книговед и оценщик букинистических редкостей Алексей Иванович Кудрявцев в Петроградском книжном фонде обнаружил и тогда же передал в Публичную библиотеку тетрадь, заключавшую прокламации петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», сшитые вместе со вторым выпуском работы «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Искали. Пока что по этим указаниям не обнаружили. Но эта тетрадь ведь может еще и найтись!

Поверьте: никто не решится категорически утверждать, что часть вторая ленинского труда исчезла бесследно и навсегда. Надо искать! Искать одновременно и в Советском Союзе, и за границей. А параллельно и рукопись этой работы Ленина! Я предлагаю: примемся вместе за дело! Попадутся на глаза старые бумаги, сложенные в углу старые книги — вспомните: желтенькая тетрадка, в половину листа. На обложке — крупные машинописные буквы «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». И сверху римская цифра — II.

Начнем этот поиск с помощью Всесоюзного радио!

1969

Давайте искать вместе!

Когда в конце 1969 года я отправился в Швейцарию вместе с научной сотрудницей Института марксизма-ленинизма Зинаидою Алексеевной Лёвиной, мы имели в виду широкие поиски ленинских документов, но, конечно, в первую очередь следов южаковской библиотеки.

Скажем прямо: я не очень рассчитывал на то, чтобы по прошествии почти шестидесяти лет так сразу обнаружить следы Южакова и его книг. План заключался в том, чтобы, начав поиски, рассказать о них в печати и по радио, втянуть в эти поиски читателей газеты и радиослушателей и, обратившись за помощью к ним, посвятить во все сложности. И искать дальше — следы уже не одного экземпляра, а всех. И не одному, а вместе с огромным «активом». Убежден, и в этом убеждении пребуду, что только при помощи радиослушателей, читателей, телезрителей можно поиск такой превратить в повсеместный и массовый и рассчитывать на результат.

Расчет оправдался. В ответ на статьи в «Литературной газете» и на обращение по радио пришло множество откликов. И среди них много таких, в которых сообщаются ценнейшие сведения и подаются квалифицированные советы.

Прежде всего — два слова о Южакове, сыне народника. Он действительно уехал в Швейцарию — жил в Женеве, давал уроки племянникам председателя Государственной думы Родзянко. Иногда приезжал в Россию. Революция

застала его в Петрограде, откуда он перебрался в Курск, а с 1920 года обосновался в селе Ракитном на Белгородщине, где стал заведовать советской трудовой школой и создал великолепный педагогический коллектив. Написала мне обо всем этом ракитянская учительница Мария Петровна Сидорова, которая в те времена только еще начинала преподавать.

В Ракитном у Южакова было пять стеллажей книг и еще целый шкаф. Он привез с собою в Ракитное самые ценные из библиотеки отца.

В 1926 году он заболел и отправился в Ленинград, где ему сделали операцию, но спасти не смогли.

Книги свои он завещал ракитянской школе. Но остались они у Ирины Даниловны Федутенко, которая служила в школе уборщицей и вела у Южакова хозяйство. «И хорошо сделала, что хранила,— пишет Мария Петровна Сидорова,— потому что во время войны от школы ничего не осталось».

Когда сын Ирины Даниловны — Семен Федутенко окончил в Москве институт, мать переехала жить к нему, книги взяла с собой.

Федутенко Семен погиб на фронте в Отечественную войну. Федутенко-мать живет в Шацке — в доме престарелых. Вдова Семена прислала письмо: все книги погибли во время войны. Уцелел только шкаф.

Что касается сведений о Н. С. Южакове, их подтвердил ленинградский актер Владимир Викторович Усков. Он хорошо помнит его: с Южаковым был дружен его — Ускова — отец.

Советы и сведения присылают не только в адрес «Литературной газеты» и Радио, пишут в адрес Института марксизма-ленинизма и по моему домашнему адресу. Подают советы по телефону, при встречах — как искать? где искать? Но всего более — в письмах.

Вот, например, сообщение из Томска. Там в 1904—1905 годах в доме врача Грацианова существовала нелегальная типография, в которой собирались печатать труд Ленина «Что такое «друзья народа». Это издание не состоялось. Через несколько лет помещение типографии, вырытое под домом, обрушилось, и все имущество типографское арестовала полиция. В Томском архиве есть протокол, где перечислены взятые тогда вещи. «Так нет ли в этом архиве и той желтой тетради, которую собирались

перепечатывать и которую теперь ищете вы?» — задает вопрос автор письма, к сожалению, не сообщивший своего имени.

Другое письмо. «В годы гражданской войны,— пишет радиослушательница Перетнельева,— в Акше Читинской области по рукам ходили тетрадки ленинского труда «Что такое «друзья народа». Попросите Читинский архив поискать в своих фондах».

«Напишите Шишову Александру Николаевичу,— предлагает пермский профессор Иван Степанович Богословский.— В 1911—1915 годах Шишов хранил в Перми подпольную социал-демократическую библиотеку. Ныне он живет в Омске».

Вера Леопольдовна Штюрмер, жившая долгие годы в Перми, советует искать в городах Верхней Камы — в Усолье, в Чердыни, Березниках, где были крупные социал-демократические организации. «В Чердыни,— пишет она,— исторический архив хранится в старой церкви, в подвале. Может быть, поискать ленинскую работу там?»

Из Кашина Калининской области советы подаст М. Кнышинский, считает, что надо искать библиотеку не одного Южакова, но и других народников, с которыми полемизирует Ленин. Надо искать архивы сотрудников журнала «Русское богатство»; с ним был связан не один Южаков, но и Кривенко, и Михайловский, и другие народники-публицисты.

На это могу ответить. Проверил. Иные архивы не сохранились, другие дошли до нас и хранятся в порядке. Но в них следов утраченного второго выпуска покуда не обнаружено. А вопрос поставлен в письме г. Кнышевского правильно: так, только так, если использовать самомалейшие способы к отысканию желтой тетрадки, дело сможет увенчаться успехом.

Известный литературовед профессор Владимир Николаевич Орлов посоветовал обратить внимание сугубо на Библиотеку Академии наук СССР в Ленинграде. Именно там в дореволюционные годы академик Шахматов, великий русский филолог, скрывал от жандармских глаз документы партийного социал-демократического архива.

Разумеется, я побывал в Ленинграде, беседовал в дирекции Библиотеки. Попытки найти ленинскую работу уже делались. Тем не менее дирекция снова дала указания проверить старые фонды. То же самое обещали пред-

принять в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Искали не раз. Но в настоящее время идет описание хранящихся в библиотеке листовок и революционных воззваний, заканчивается разборка неописанных фондов. Это — остатки... Но понятно, будет сделано все...

На ленинградских архивах и книжных собраниях советовал сосредоточить внимание и историк Г. С. Жуйков, долгие годы занимавшийся разысканием ленинских документов.

Безусловно, Ленинград — направление поисков очень важное. В Петербурге гектографировался ленинский труд, переписывался от руки, изучался внимательно, передавался из рук в руки. Не могли исчезнуть все экземпляры! Хоть один-то должен был уцелеть! В Ленинграде надо искать непременно.

«Поищите в фондах Русского заграничного исторического архива, находящегося в Москве, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции,— подает совет из Оренбурга писатель Леонид Большаков.— Этот фонд долгие годы находился за рубежом, изучен еще недостаточно».

Ольга Алексеевна Эдиэт — она живет в Подмосковье — рекомендует прочесть статью профессора Б. А. Бялика. Оказывается, подпольные издания начала века, среди них листовки нижегородской и саратовской социал-демократических организаций, и даже работы Ленина, были найдены в 1956 году в Арзамасе Горьковской области.

Обращаюсь к известному исследователю творчества Горького — Борису Ароновичу Бялику. Это тем легче мне сделать, что мы с ним друзья. «Да,— подтверждает он,— в этом смысле Арзамас — весьма перспективный город. Вслед за нечаянной находкой планомерные разыскания могут привести к результатам еще более важным».

Но это, так сказать, советы характера общего.

А вот стопка писем, и в них — указания, где искать архивы людей, имевших непосредственное отношение к распространению интересующего нас ленинского труда.

Конверт из города Вязники Владимирской области от Хворостухина Павла Ивановича. Узнаю, что Алексей Александрович Ганшин, тот, который в 1894 году в имении Горки Владимирской области размножал ленинский труд, все свое имущество и библиотеку впоследствии перевез на

фабрику «Свобода» в Бельково. После него все имущество перешло к его сыну. А с этим сыном Хворостухин вместе работал на фабрике. Так вот: искал ли кто-нибудь ленинскую тетрадь в Белькове?

К письму Хворостухина примыкает сообщение москвича Константина Сергеевича Волкова. Волков рассказывает со слов своего соседа. А сосед его — Алексей Сергеевич Ганшин, состоящий в дальнем родстве с Ганшиным Алексеем Александровичем. Волков сообщает: дома Ганшиных находились в Юрьеве-Польском. Следы «желтых тетрадок» следует искать там. Действительно: кажется, ни Бельково, ни Юрьев-Польской в сферу планомерных поисков ленинского труда еще не включались.

В годы гражданской войны в городе Вольске Саратовской области жила семья Куликовых. И у Надежды Ивановны Куликовой хранились тщательно переписанные от руки *все три тетрадки ленинского труда* с пометой «Июль 1894 года». Куликова их давала читать Федору Ивановичу Панферову, впоследствии ставшему известным писателем. Об этих тетрадках он рассказал в своей автобиографической повести «Недавнее прошлое», напечатанной в 1956 году в «Новом мире».

«В Куйбышеве надо искать! — заявляет Антонина Ивановна Петрищева,— в Областной библиотеке, где лежат «штабеля необысканных книг». Случай был: в книгу по пчеловодству был вплетен «Коммунистический манифест».

И второе сообщение в том же письме: до революции в Куйбышеве (бывшей Самаре) был закопан железный ящик с нелегальной литературой. Закопал его самарский революционер Арцыбушев. Клад не найден, хотя его долго искали и в раскопках принимал участие сын Арцыбушева. Правда, в ту пору этот сын был подростком, но ездил зарывать ящик вместе со взрослыми. Не может ли в этом ящике находиться ленинская тетрадь?

Такие предположения есть. В ящик были уложены письма Ленина к Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, уложены документы самарского партийного архива. Закопал Василий Петрович Арцыбушев этот оцинкованный ящик на одном из волжских островов напротив Самары. Закопал будто бы под «красивой сосной».

Поиски велись еще до войны, когда был жив Глеб Максимилианович Кржижановский. И пока что не приве-

ли ни к чему. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в курсе всех этих дел.

Идею продолжения поисков самарского клада страстно поддерживают проживающий в Куйбышеве Сергей Владимирович Ильин и московский художник Ильин Евгений Владимирович, его брат. Но рассказывают они историю клада несколько иначе.

«В нашем доме в Самаре,— пишет Ильин-художник,— находилось Восточное бюро ЦК РСДРП, которым руководил Василий Петрович Арцыбушев. С ним работала моя бабушка — Ильина Евгения Яковлевна, ныне покойная. Она и мой дед были дружны с Глебом Максимилиановичем Кржижановским. Ожидая ареста, Кржижановский передал бабке свою переписку с Лениным в ящике, где, как предполагают, была *рукопись* «Что такое «друзья народа».

При личном свидании художник Ильин показал мне свою переписку с братом и посвятил в свои планы, как надо вести дальнейшие розыски. Оба они просто одержимы стремлением отыскать ленинский клад! Я тоже думаю, что поиски надо возобновить.

До сих пор мы, однако, говорили о письмах, излагающих сведения о существовании второй части «Друзей народа», идущие, как говорится, от третьих лиц. А есть ли прямые свидетели? Люди, державшие эту тетрадь в руках? Видевшие ее своими глазами?

Да, Любовь Николаевна Лобанова утверждает, что видела. Одно время она была связана с ленинградским Политехническим институтом, где хранится библиотека идейного противника Ленина Петра Бернгардовича Струве. «В 1946—47 учебном году,— пишет Лобанова,— я работала в кабинете марксизма-ленинизма и видела там несколько экземпляров «Что такое «друзья народа». И там находилась среди них серо-желтая тетрадь, напечатанная очень бледным шрифтом. Ручаться, что это вторая часть, не могу, но кажется, что она».

Снова отправляюсь в Ленинград. В фундаментальной библиотеке Института подтверждают: библиотека Струве хранится у них, передана сюда в 1919 году по распоряжению Владимира Ильича Ленина. Показывают документ, адресованный заведующему Петроградским библиотечным отделом Кудрявцеву.

«Охраните от расхищения библиотеку Струве, находящуюся в Политехническом институте,— пишет Владимир Ильич.— Передайте особо ценное в Публичную библиотеку, остальное Политехническому институту». И — характерная ленинская черта: ничего не упускать из виду. «Портрет Герда, работа Ярошенко,— продолжает Владимир Ильич,— подлежит передаче Нине Александровне Струве через дирекцию Политехнического института. Исполнение телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин».

Все поражает здесь: забота о сохранении ценнейшей библиотеки, и предложение целесообразно ее использовать, и указание, чтобы портрет выдающегося русского педагога Герда был возвращен его дочери — бывшей жене Струве. И требование телеграфировать об исполнении.

Интересуюсь библиотекой Струве. Хранится она вместе с другими книгами. Специальной описи тогда не составили. Гектографированные тетрадки ленинского труда в генеральном каталоге не значатся. В кабинете марксизма-ленинизма, где их видела Любовь Николаевна Лобанова, их тоже нет. Правда, с тех пор проходили проверки фондов... Но ведь это же ленинская работа!

Напоминаю: работа ленинская, но имени Ленина на этих тетрадках нет: только название, номер и дата — римская цифра II, сентябрь 1894 года, «Издание провинциальной группы социал-демократов» (последнее, как уже сказано,— для того, чтобы сбить с толку охранку). Может быть, тетрадь приняли за номер журнала, поскольку есть номер, месяц и год?

— Нет, это сомнительно,— считают в библиотеке,— тем более что и среди периодических изданий этой тетради нет. Очевидно, и не было.

Но Лобанова утверждает: «лежала слева, в нижнем шкафу».

Оценивая все эти данные, следует помнить, что тот самый А. И. Кудрявцев, которому адресовано ленинское письмо, утверждал, что шесть лет спустя он нашел вторую часть работы Ленина «Что такое «друзья народа» в Петроградском книжном фонде и передал эту тетрадь в Публичную библиотеку, где, к сожалению, обнаружить ее не удалось до сих пор. А коли так, то трудно допустить, что от внимания Кудрявцева могла ускользнуть такая же тет-

радь в библиотеке Политехнического института. Впрочем, может быть, библиотеку Струве он не обследовал?

Но это еще не все!

Из Чувашии, из города Шумерля, пишет Н. Новиков, член КПСС с 1917 года. Вскоре после Октябрьской революции он был направлен в Тверь на работу. Разбирая там жандармский архив, он обнаружил фотографию Ленина с описанием примет и изложением биографических данных. «Тут же,— пишет товарищ Новиков,— была пришита эта желтенькая тетрадка. Я об этом поделился с товарищем Мальковым. А вскоре к нам на работу прибыл товарищ Шибаев. Весь архив я передал ему».

Институт марксизма-ленинизма послал запрос в Калининский партийный архив — ответ отрицательный.

Прислал письмо москвич — доцент Модест Евгеньевич Афанасьев. В Егорьевске,— тогда это был городок Рязанской губернии — имелась подпольная социал-демократическая библиотека. С 1906 года, после жандармского погрома, она хранилась у матери Афанасьева. Потом книги находились в Рязани. А перед Великой Отечественной войной остатки этой библиотеки отдали Модесту Евгеньевичу, и они хранились у него дома в Москве, в квартире, где он тогда проживал: на Верхней улице. Гектографированные тетрадки ленинского труда были вложены в тома сочинений Ленина.

В октябре 1941 года, когда Афанасьев находился в рядах Красной Армии, а соседи его эвакуировались из Москвы, комнатой завладел гражданин, истребивший афанасьевскую библиотеку. Из подпольных егорьевских книг уцелели случайно «18 брюмера Луи Бонапарта», «История французской революции» Минье, Блосс — «Революция 1848 года», «Эрфуртская программа» Каутского, еще несколько книг и... (это — главное и веское подтверждение слов Афанасьева) — «Экономические этюды и статьи» Владимира Ильина, изданные в 1899 году в Петербурге. Мерзавец, истребивший ленинские труды, не знал, что Владимир Ильин — тоже Ленин. Эта книга Владимира Ильича — издание редчайшее, которого нет даже в очень крупных библиотеках, хотя первоначальный тираж его был по тем временам очень высок: 1200 экземпляров.

Находясь в ссылке, в Сибири, Ленин изданию этой книги придавал большое значение. Это был первый сборник его работ, первое собрание статей, примыкавших по

содержанию к работе «Что такое «друзья народа». «К характеристике экономического романтизма» — называется первая статья в сборнике. Дальше идет: «Перлы народнического прожектерства» — острейшая критика того самого Южакова, с которым ведется полемика в «Друзьях народа», во втором, утраченном выпуске.

Появление этого сборника составило целое событие в жизни Владимира Ильича, о чем рассказывает в одном из своих сибирских писем Надежда Константиновна Крупская.

Эта книга сохранилась у Модеста Евгеньевича Афанасьева. Он вручает ее мне с просьбой передать в Центральный музей В. И. Ленина как подарок его к ленинским дням.

Просьба исполнена.

Итак, есть свидетели, которые утверждают, что видели гектографированные оттиски «Что такое «друзья народа».

Видел Новиков «желтенькую тетрадь».

Видел и хранил у себя Афанасьев «экземпляры такого издания».

Лобанова видела и полагает, что это была вторая часть ленинского труда.

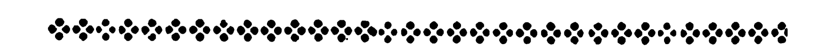
Панферов пишет, что получил от Куликовой, прочел и вернул ей потом переписанные от руки *все три* тетрадки.

Это пока не находка. Но, если так пойдет дальше, уверен, что обнаружим.

Надо искать в библиотеках среди неразобранных книг. Среди конволют — то есть переплетенных вместе брошюр, оттисков, тоненьких книжек. Искать в архивах, особенно тех городов, где в свое время по рукам ходили «желтенькие тетрадки». Искать в личных архивах и в личных библиотеках. Второй выпуск был! Если еще могут возникнуть сомнения в том, успел ли его изготовить Ганшин в Горках, в Москве, то ведь петербургское гектографированное издание сомнению не подлежит! Был второй выпуск! О трех тетрадках вспоминает Надежда Константиновна Крупская. Вспоминает Анна Ильинична Елизарова — сестра Владимира Ильича. Мартов говорит о трех выпусках, то есть о полном тексте ленинского труда.

Давайте докажем, что, если будем искать все вместе,— найдем!

1970



Разгадка тысячелетней тайны

Страна древней культуры

Когда в 1885 году Николай Дадиани — внук знаменитого грузинского поэта Александра Чавчавадзе — вместе со своей уникальной библиотекой передал в дар национальному музею в Тбилиси хранившуюся в его семье древнюю грузинскую рукопись, никто не мог предвидеть в ту пору, какую ценность представит для истории культуры этот замечательный манускрипт, хотя ученые тогда же назвали его «сокровищем десятого века».

Ныне эта книга хранится в Институте рукописей Академии наук Грузии. Писана она на пергаменте, старинным грузинским шрифтом, над строками и под строками киноварью выведены музыкальные знаки. Это свод древних гимнов, составленный крупнейшим грузинским композитором и поэтом X века Микаэлем Модрекили.

До нас дошла не вся рукопись, только часть — 544 страницы. Еще больше утрачено — 720. Не хватает начала и большого числа страниц в середине. Отсутствует и конец; сколько в нем заключалось страниц, мы не знаем. Тем не менее даже и уцелевшая часть манускрипта свидетельствует о высокой культуре средневековой Грузии, с древнейших времен связанной со странами классического Востока — с Ассиро-Вавилонией, с государствами урартов и хеттов. Вы об этих связях наслышаны. О них рассказывают и памятники материальной культуры, и клинописные

тексты второго и первого тысячелетий до нашей эры. Что касается сведений о прочных связях Грузии с Западом — с эллинским миром, то их содержат не только сочинения античных авторов, но и всемирно известные греческие легенды. Одна из них сохранила память о походе аргонавтов в Колхиду в поисках золотого руна, другая — олицетворила человеческий гений в образе Прометея, прикованного к Кавказской скале. Скала — Кавказская, и уже одно это служит прямым доказательством, что легенда, послужившая основой для гениальной трагедии Эсхила, пришла в Грецию из древней Колхиды.

В нашу эру — в первом веке и во втором — Грузия играла важную роль в отношениях Рима с Востоком. О том, как велик был в ту пору политический авторитет грузинского государства, рассказывают античные авторы, описавшие торжественый прием, который устроил в Риме император Адриан грузинскому царю Фарасману II. Это было в 138 году нашей эры. Фарасман принес в Капитолии жертву и удостоился почести высочайшей: конная статуя грузинского царя была установлена в храме Белонны.

Археологические раскопки обнаружили недавно недалеко от нынешней столицы Тбилиси остатки древнейшей столицы — Армази. Крепостные стены, башни, вещи, найденные в гробницах,— оружие, золотые украшения, посуда, геммы, на одной из которых изображен приближенный царя Фарасмана II Дзевах со своей супругой,— все это еще более расширило представления об очень высоком уровне древней культуры Грузии. При этом важно напомнить, что христианство было объявлено государственной религией в Грузии уже в начале IV века.

Но наивысшего расцвета культура достигла в XII и XIII столетиях; их принято считать «золотым веком» Грузии, когда среди грузин стали развиваться гуманистические идеи, что позволяет сблизить эту эпоху с последующим явлением европейского Ренессанса. В частности, к этому времени относится стремительное развитие светской литературы, достигшее наивысшего выражения в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»; в ней — это известно и признано — автор выступает как великий певец гуманизма. Если при этом напомнить, что Грузия издревле была единственной среди окружающих ее народов страной трехголосного пения, то будет легче представить себе атмосферу, в которой поэт и композитор X века

Микаэль Модрекили трудился над рукописью, поступившей в конце прошлого века в национальный музей.

Что же представляет собой этот сборник?

«Я, Микаэль Модрекили,— пишет составитель в послесловии к одному из разделов,— потрудился и в результате тщательных поисков собрал отовсюду все песнопения, какие нашел на грузинском языке, и записал их в эту святую книгу истинно... сохраняя чистоту напевов, без ошибок в музыкальных знаках».

Итак, в сборнике Модрекили собраны песнопения, снабженные нотными знаками. Но как их прочесть? Как подойти к расшифровке этих своеобразных обозначений?

Это произошло в наше время, но тоже не сразу. Замечательному открытию древнегрузинской музыки предшествовало другое открытие, не менее удивительное,— в области древнегрузинской поэзии. Оба открытия принадлежат выдающемуся ученому Грузии Павле Ингороква — историку и филологу, специалисту в области древней грузинской поэзии.

Вот краткая история этих недавних открытий.

«Монумент грузинской учености»

В древнегрузинских рукописях сохранилось немало гимнов; ученые хорошо знали их, но читали их как прозаические произведения.

Вчитываясь в старые рукописи, Ингороква обратил внимание на то, что далеко не все точки в текстах можно рассматривать как обычный знак препинания. Заподозрив, что они выполняют другую функцию, ученый стал подсчитывать количество слогов между точками и обнаружил в них несомненную закономерность: 7, 7, 7, 11, 7, 7, 5. Следующий абзац — та же последовательность. И так — до конца песнопения. Ингороква взял другой текст. И снова: 5, 10, 5, 11, 5, 8, 10. И то же чередование слогов до конца текста. Исследователь понял: это стихи без рифм, но с точным строфическим построением, записанные без выделения стиховой строки ради экономии дорогой в ту пору «бумаги» — пергамента.

Ингороква продолжил подсчет. И когда работа над всеми сводами гимнов была закончена, смог подвести итоги.

Он обнаружил тысячу двести семнадцать разновидностей древней грузинской строфики!..

Так была раскрыта стиховая структура гимнов. Разгадав их метрическую основу, Павле Ингороква открыл свод стихотворных размеров, смог изучить систему древнегрузинского стихосложения, выяснив, что построение стиха в виде строфы с параллельными антистрофами имеет связь с хорической лирикой античной эпохи и с формой стиха, который произносится хором в античной трагедии. Более того: Ингороква открыл несколько сот неизвестных грузинских гимнов, открыл новых поэтов и среди них таких крупных, как гимнографы Григорий Хандзтели и Георгий Мерчуле. Установил, что древнейшие гимны восходят к V веку.

Это открытие один из английских историков назвал «монументом современной грузинской учености».

Результаты своей работы П. Ингороква опубликовал в книге «Георгий Мерчуле. Очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни древней Грузии». Этот объемистый труд (более тысячи страниц) вышел в свет в 1955 году и привлек внимание не только научных кругов в СССР и за рубежом,— он стал широко популярным среди грузинских читателей. Международный филологический орган «Ориенс кристианус» (1957, т. 41) поместил весьма положительный и обстоятельный разбор этой замечательной книги.

Восемь

Разгадав метрическую и ритмическую основу гимнов, Ингороква совершил открытие, важное не только для изучения и понимания древнегрузинской поэзии, но подошел тем самым и к разгадке музыкальных обозначений. Стало ясно, что между стихотворным и музыкальным текстами существует неразрывная связь. Надо было обнаружить ее.

Первый шаг в этом направлении был сделан без особых усилий; черной точке в поэтическом тексте соответствовала красная точка среди музыкальных знаков.

Тогда Павле Ингороква приступил к изучению всех древнегрузинских рукописей, в которых имеются нотные знаки. Таких манускриптов дошло до нас девять. Пять из них находятся в Грузии, один в Греции, в Афонском мона-

стыре, основанном в X веке грузинами: он был центром грузинской литературной школы. Три рукописи хранятся на Синае, в обители святой Екатерины, где с VIII века находилась грузинская монашеская колония и процветала грузинская письменность.

Всего в девяти рукописях насчитывается около тысячи трехсот ирмосов — песнопений.

Сличая рукописи, хранящиеся в грузинских музеях, с микрофильмами синайских нотированных манускриптов, Ингороква окончательно убедился в том, что нотные знаки в них представляют одну и ту же систему. Но при этом они не имеют ничего общего с известными нам типами нотописи,— в частности, совсем не похожи на невмы, которые в средневековье заменяли нотные знаки у народов Европы и восточнохристианского мира.

Ингороква выписал грузинские музыкальные знаки. Их оказалось восемнадцать. Было ясно, что это не иероглифическое письмо: иероглифов в древних письменах бывает гораздо больше, чем букв. Очевидно, здесь каждый знак обозначает не группу звуков, а всего один звук, и восемнадцать знаков должны представлять собой нотный алфавит.

Как часто повторяются эти знаки?

Ингороква снова принялся за подсчеты. На это ушло несколько месяцев. Наконец можно было принять как бесспорное: основных знаков восемь. И тут же стало ясно, что они соответствуют восьми ступеням октавы.

I ст. II ст. III ст. IV ст. V ст. VI ст. VII ст. I (VIII) ст.

Это был первый крупный успех. Ученый понял, что находится на верном пути. Но последовательность пока еще не ясна, не ясно значение каждого знака. Если это не удастся восстановить — все сделанное окажется бесполезным.

Началось сличение знаков.

Четыре из них пишутся под строкой, четыре — над строкой. Но совершенно очевидно, что между ними есть соответствие. Среди них есть один совсем маленький —

черточка. Но и среди верхних один тоже меньше других. Этот напоминает скобку. Один из нижних — самый большой — похож на чайку в полете. Такой же знак имеется среди верхних; только он перевернут и дополнен чертой. При этом нетрудно заметить, что нижние знаки по мере приближения к строке становятся меньше. А верхние, удаляясь от строки, начинают расти. Еще одно наблюдение: нижние знаки по мере приближения к строке имеют тенденцию к упрощению рисунка, а верхние знаки, наоборот, начинают усложняться по мере того, как удаляются от строки. Так и кажется, что между ними имеется «зеркальное соответствие».

Исследователь расположил эти знаки так, что, сходясь, они уменьшаются. Получилась шкала. Стало ясным, что группы из четырех знаков — это нижний и верхний тетрахорды диатонической гаммы, как бы нижняя и верхняя ее половины.

Но как узнать, правильна ли последовательность, в которой он расположил самые знаки?

Опять на помощь приходит подсчет. Самый малый знак, напоминающий скобку, встречается в четыре раза чаще, чем остальные. Он доминирует. Понятно: это и есть «доминанта», пятая — господствующая — ступень октавы. Кроме того, можно предположить, что, поскольку в последнем такте каждого гимна должна звучать тоника, следовательно, тут должен стоять хотя бы один из двух знаков октавы... Так и есть! Значит, перевернутая птица и похожий на нее узорчатый знак — крайние ноты, обозначение первой и восьмой ступеней.

Так удалось разгадать последовательность новых обозначений. Это был второй крупный успех. Но все же какие звуки обозначает каждая нота, оставалось неясным.

Однако еще в самом начале работы Ингороква обратил внимание на то, что над первой строкой каждого гимна приписано, на какой «глас» они поются: «глас первый», «глас четвертый», «первый побочный» (пятый), «третий побочный» (седьмой). Всех «гласов» восемь. Значит, это указание на так называемые «церковные» диатонические лады, на которых строилась музыка древнехристианского мира; это указание на то, какой подразумевается звукоряд.

Это был третий существенный шаг на пути к разгадке тайны древнегрузинской нотописи.

Решив эти основные вопросы, можно было заняться изучением и дополнительных знаков. Шесть из них оказались обозначением «юбиляций» — музыкального орнамента ликующего характера. Другими переданы хроматизмы — полутона, которые в грузинском культовом пении допускались весьма редко.

Таким образом появилась возможность перевести древние обозначения в современные нотные знаки. Но при этом надо иметь в виду, что как в культовом пении римско-католической церкви, где до XIII века выписывался только ведущий голос (он называется «кантус фирмус»), так и в грузинских рукописях нотировалась только ведущая мелодия — по-грузински «дзлис пири», «предводитель голосов». Другие голоса не обозначались. Певцы, обрамляя мелодию, руководствовались нормами церковной гармонии.

Итак, первую часть исследования можно было считать оконченной: система музыкальных знаков раскрыта, разгадана грузинская нотопись в рукописи X века!

Из глубины веков

Теперь можно было приступить к чтению самих музыкальных текстов. И вот записи X века Ингороква стал переводить на современные нотные знаки! Первым он транскрибировал гимн в честь девы Марии — «Гихароден!» («Радуйся!») — и, положив листок на пюпитр рояля, проиграл расшифрованный музыкальный текст.

— Трудно передать,— вспоминает исследователь,— неповторимое переживание этих минут, когда я впервые услышал звуки, доносившиеся из глубины веков, звуки, отдаленные от меня десятью столетиями.

Если бы в расшифровке была допущена хоть незначительная ошибка, в результате получился бы случайный и бессмысленный набор звуков. А между тем зазвучала прекрасная торжественная мелодия.

Вслед за первым гимном Ингороква расшифровал еще восемьдесят. И во всех случаях рождалась великолепная музыка, поражающая внутренней логикой и глубиной музыкальной мысли.

Наконец настал день, когда Ингороква решил познакомить с ходом открытия и с его результатами музыкантов и отправился в Союз композиторов Грузии, где передал се-

кретарям Союза, известным грузинским композиторам Андрею Баланчивадзе и Алексею Мачавариани, «ключ» к своей расшифровке. Рассказ его поразил композиторов. А. Мачавариани выразил желание детально познакомиться со всеми положениями Ингороква и с расшифрованными музыкальными текстами.

Изучив материалы, Мачавариани выступил со статьями. Он писал, что «расшифрованные знаки составляют вполне организованные мелодии» и носят глубоко национальный характер, обнаруживая «тесную связь с народно-хоровой музыкой». «Во всех случаях,— заявлял композитор, аттестуя восемьдесят проигранных им гимнов,— звучала величественная древнегрузинская музыка».

Эти статьи появились в грузинской и русской печати.

Тысячелетние гимны

Теперь Ингороква занимал новый вопрос. Не сохранились ли остатки древнегрузинских песнопений в церковных песнопениях XIX—XX веков?

Три дня спустя после визита в Союз композиторов он пришел в Институт рукописей и попросил выдать ему все имеющиеся там записи грузинской церковной музыки. Ему принесли собрание грузинских церковных песнопений, которые были записаны в 80—90-х годах прошлого века от глубоких знатоков древнегрузинской духовной музыки. До недавнего времени эти материалы хранились у одного из собирателей церковных мелодий и только после смерти его поступили в Институт рукописей. Никто никогда не работал над этими записями, никто не интересовался ими.

Ингороква открыл оглавление и сразу же увидел среди множества иных сочинений первые строчки уже известных ему стихов, тех, что легли в основу нескольких древних гимнов. Это были стихи те самые, которые он, Ингороква, опубликовал годом раньше в своей монографии о Георгии Мерчуле.

Это его обрадовало. Значит, стихотворные тексты X века исполнялись еще совсем недавно. А музыка?

Чтобы не разбрасываться, исследователь взял хорал «Сасцаулита» («Чудом»), которым открываются своды песнопений X века, нашел его в записи 80-х годов — большая часть знаков совпала. Запись XIX столетия, более

сложная в некоторых элементах, была похожа на древнюю запись, как дочь бывает похожа на мать! Ингороква чуть не лишился чувств! В институте до сих пор вспоминают, как слабеющим голосом он попросил воды.

Этот момент в процессе исследования Ингороква я бы сравнил с недавней находкой хетто-финикийской биллингвы — двуязычной записи, которая подтвердила правильность работ И. Мериджи, Б. Грозного, Х. Т. Боссерта по расшифровке хеттского иероглифического письма.

Ингороква продолжал сличать музыкальные тексты... Второй гимн: стихи те же, но между музыкальными текстами нет ничего общего! Третий хорал — то же самое. Четвертый... Пятый... Восьмой... Не похоже! Ирмос «Обремененная» — сильное сходство!

Ингороква сравнил между собой почти триста гимнов. Тридцать один из них имел много общего с записями XIX столетия. Но особое сходство обнаружилось в записях семи гимнов. Значит, на все остальные тексты позже — на протяжении тысячи лет — была написана новая музыка.

Подобно археологу, Ингороква поднял тысячелетний исторический слой и обнаружил тридцать один гимн, переживший десять столетий. И более тысячи двухсот гимнов, которые навсегда, казалось, исчезли, поглощенные временем, но благодаря трудам Ингороква ожили и зазвучали вновь в наше время.

Он воскресил творчество великих музыкантов древней Грузии — Иване Минчхи, Иоанна Мтбевари, Микаэля Модрекили и прежде всего Григория Хандзтели, который,— это теперь становится ясным,— сыграл в истории древнегрузинской музыки примерно такую же роль, как Иоанн Дамаскин в греческой, а в истории римско-католической — папа Григорий II.

Наконец — это было 26 ноября 1956 года — на расширенном заседании отделения общественных наук Академии наук Грузии Павле Ингороква сделал доклад об этом открытии. Когда ученый сошел с трибуны, в зал стали входить артисты Грузинской капеллы. За рояль сел композитор Мачавариани. Нет, не берусь передать силу этого первого впечатления. Дирижер поднял руку, и величественно, торжественно, стройно зазвучала «Песнь покаяния» Григория Хандзтели на слова грузинского царя Давида Строителя:

Когда настанет время последнего вздоха,
Величие царственности прейдет и слава померкнет,

Радость станет излишней,
Цветение увянет,
Другой получит скипетр,
За другим встанет воинство,—
Тогда помилуй меня, мой всевышний судия!

Нотопись грузинская и нотопись греческая

Уже не одни ученые Грузии знают теперь, как звучали древние грузинские гимны. Всесоюзное радио транслировало их на весь Советский Союз. Радиопередачу из Парижа, посвященную открытию Ингороква, организовала ЮНЕСКО: древняя грузинская музыка прозвучала уже на весь мир. Еще раньше, в майском номере «Курьера ЮНЕСКО» за 1962 год, редакция напечатала статью П. Ингороква, излагающую основную суть его замечательного открытия. Работа вызвала большой интерес и во Франции, и в Италии, и в Японии, и в социалистических странах. Казалось бы, все уже выяснено, все обнародовано.

Нет! Последнюю точку в науке поставить нельзя. Поэтому пойдем дальше и расскажем больше того, что изложено в «Курьере ЮНЕСКО».

Как и когда возникла грузинская нотопись? В какой связи находится она с нотным письмом других древних культур?

Ингороква снова всматривается в «невмы», которыми в средние века пользовались народы Европы и христианский Восток. Нет, они не похожи ни по рисунку, ни по характеру, ибо невмы — это обозначение не звуков, а интервалов.

Ученый рассматривает нотные знаки античных греков... Это гораздо ближе, ибо греческое письмо обозначает не интервалы, а звуки. Но в остальном между ними нет ничего общего. Греческие нотные знаки буквообразны и пишутся в строчку, как в книге. Грузинские напоминают стенографические обозначения и движутся вверх и вниз: движение голоса и движение глаза здесь согласованы. Эта система приспособлена для свободного чтения музыки. У греков двадцать три нотных знака. Из них главных пятнадцать, и в основе их лежит звукоряд двух октав, образующих систему «телейон». У грузин восемь знаков; следовательно, они проще и тем самым более совершенны, поскольку отражают структуру одной октавы. Но что это?

Грузинский нотный знак, напоминающий собою флажок, принятый для обозначения шестой ступени октавы, в точности совпадает с греческим знаком! И, что самое удивительное, у греков этот знак тоже стоит шестым в первой октаве! Значит, совпали не только начертания знаков, но и функции знаков! Если такое же сходство обнаружится в других знаках... Нет, пятый греческий знак «гамма» — «Г» — не похож на грузинский. Тем не менее связь несомненна, ибо пятый грузинский знак — это тот же греческий «Г», как упрощенно, скорописью, обозначали его древние греки. Седьмой знак тоже греческого происхождения: это упрощенное написание греческой буквы «дигамма» (Ё). Восьмой знак грузинского письма повторяет восьмой знак из второй октавы греческой нотописи, только в перевернутом виде. Но зато этот знак — «прессус майор» — имеется в латинском письме, и он совпадает с грузинским начертанием полностью. Это не удивительно: латинские нотные знаки тоже восходят к греческим!

Так выяснилось, что верхний ряд нотных знаков связан с нотным письмом Древней Греции. Но в подстрочных знаках ничего общего с греческим Ингороква не обнаружил.

Откуда же взялись они?

Раздумывая над происхождением этих подстрочных знаков и видя в их очертаниях сходство с верхними знаками, зеркальное их подобие, Ингороква подумал, что, наверное, грузины сами сконструировали их по образцу верхнего ряда.

Это предположение было правильно, но правильно только отчасти. Однако, прежде чем рассказать о происхождении знаков нижнего тетрахорда, нам придется сообщить еще об одной находке.

Учебник VII века

В сущности, на первый взгляд никакой новой находки не было: рукопись, которую потребовал Павле Ингороква, уже бывала в руках ученых, только никто из них не смог разобраться в ее содержании.

Это древний учебник пения, озаглавленный «Свод номосов полный и точный». С таким же правом его можно было назвать «Свод законов полный и точный», потому что

по-гречески «номос» — закон. Собранные в этом своде стихи сопровождаются не нотными знаками, а проставленным возле каждой стихотворной строки указанием на номос (закон), по образцу которого она должна исполняться. Возле каждой строки указан свой номос. Таким образом, в целом напев складывался из готовых музыкальных «формул» — «законов», из комбинаций уже существовавших мелодических оборотов. Образно говоря, пение по номосам можно сравнить со строительством зданий из готовых крупноблочных панелей: каждая строчка — это готовая цельная музыкальная фраза. А самые фразы, то есть готовые музыкальные штампы — номосы, черпались из обширного репертуара уже существующих гимнов. И от того, в каком порядке они следовали друг за другом, слагался хорал.

Расположены песнопения в этом учебнике в последовательности церковно-грузинского календаря V—VIII веков.

Изучая тексты учебника и сопоставляя их с данными грузинской истории, Ингороква выяснил, что он составлен в 30-х годах VII века, во Мцхете — в центре грузинской патриархии. В это самое время номосы, выработанные в течение трех первых веков христианского богослужения в Грузии, и были приведены в систему, классифицированы. Кроме того, в учебник вошли те древние номосы, которые сложились еще в античный, дохристианский период.

В учебнике эти древнейшие номосы используются в качестве образцов. Этого мало. В конце книги они представлены в виде особого приложения под названием «Роды номосов 24». И каждый из них имеет свое название.

Перечитывая эти названия, ученый обратил внимание на то, что они составляют три группы по восемь номосов и что между этими тремя «восьмерками» существует какая-то связь. Эта система напомнила Ингороква греческую систему «телейон», то есть греческий звукоряд в две октавы. Но то, что в грузинском учебнике эти группы заключают по восемь номосов, наводило на мысль, что они должны быть связаны с системой октавы. Тогда Ингороква решил, что номосы соответствуют звукорядам — «гласам», выставленным в начале каждого гимна. И не ошибся: это подтвердил анализ названий номосов. Так, первые номосы в каждой из этих трех групп носят названия, которые означают — «главенствующий», «основной», «низкий». А это

говорит о том, что они имеют прямую связь с первой ступенью октавы.

Восьмые номосы называются по-грузински «одиа», «ахайа» и «дасадебели». «Дасадебели» значит: «то, что накладывается». Это вызывало в памяти Ингороква греческий термин, замыкающий систему «телейон» — «прос-ламбаноменос», что полностью совпадает со значением грузинского термина и заключает в себе важный смысл — «соответствие звуков октавы». А что значит «одиа»?

В античной грамматике есть раздел, называемый «просодия»: буквально это значит припев. В грамматику этот термин вошел из музыкального обихода.

Заподозрив, что по аналогии с «прос-ламбаноменос» «одия» обозначает соответствие между собой восьмых ступеней, Ингороква предположил, что термин «одиа» произошел от «прос-одия»...

В ту минуту он еще не знал сам, насколько он прав!

Тройная решетка

Иоанэ Петрици, грузинский философ XI века, в своем сочинении «Толкование Платоновой философии» приводит греческие и соответствующие им грузинские названия знаков просодии. «Вракия»,— пишет он,— по-грузински значит «сабрунави», «псиле» означает по-грузински «цвили».

Позвольте, ведь это же названия номосов! Тех самых, что составляют раздел «Роды номосов 24».

Ингороква раскрыл греческий справочник, чтобы проверить, как выглядят знаки просодии. И увидел: знак «брахия» полностью соответствует второму нотному знаку грузинской октавы. Так вот откуда взялись нижние знаки. Они взяты из античной грамматики. Этого мало! В списке номосов «сабрунави», или, как пишет Петрици, «вракия», тоже стоит на втором месте.

Это двойное совпадение могло поразить любого!

Но это еще не все!

Знак «псиле» соответствует третьему знаку октавы. И, естественно, в списке номосов «цвили», или, как заявляет Петрици, «псиле», точно так же занимает третье место!

Таким образом, в тот миг, когда Ингороква убедился,

что два нотных знака в грузинском письме представляют собою знаки просодии, объяснилось:

происхождение грузинских нотных знаков нижнего тетрахорда, обозначаемых под строкой;

название двух нотных знаков;

соответствие между положением нотных знаков среди ступеней октавы и положением двадцати четырех номосов в трехоктавной системе. А главное — была установлена глубокая связь между знаком просодии, нотой и номосом, которая обнаружила строгий порядок, систему, в которой они расположены, словно в клетках таблицы.

После того как выяснилось все это, следовало углубиться в изучение родословной остальных нотных знаков.

На помощь приходит Евангелие

В общем-то все уже было ясно: четвертому знаку грузинской нотной системы должно соответствовать название четвертого номоса — «ойни», пятому — номоса «нойни». Но откуда происходят эти названия?

Знак просодии, означающий четвертую ноту,— маленькая черта. И тут Ингороква вспомнил евангельский текст: «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или керайа (черта) не прейдет из закона». Отсюда родилось выражение, которое употребляет каждый из нас: «Не уступить ни на йоту».

Йота — «I» — писалась так же, как единица. «Ойни» — по-гречески «один». Значит, «йота» и «ойни» — синонимы, слова-близнецы! Сходится!

Второй знак в евангельском тексте носит наименование «керайа». В просодии он передается знаком, напоминающим скобку. Этот знак в грузинском нотном письме совпадает с пятой ступенью. Среди просодических знаков «керайа» и «йота» — самые маленькие. И в грузинском нотном письме они самые маленькие среди знаков верхнего и нижнего тетрахордов.

Но что значит название «нойни»?

Это значит: «не ойни», то есть противостоящий «ойни». А ведь в грузинской нотной графике они и находятся именно в таком отношении друг к другу: «ойни» в нижнем ряду противостоит знаку «керайа» в верхнем.

Ингороква решает проверить себя. Петрици в перечис-

лении знаков просодии называет «керайа» чертой, а «йоту», или «ойни»,— нижней чертой. И вносит в рукопись начертания обоих знаков. А это как раз и есть четвертый и пятый знаки грузинской октавы! И действительно, один из них пишется выше строки, другой — ниже строки, то есть является «нижней чертой».

В том, что в основу грузинских нотных знаков было положено греческое письмо, нет ничего удивительного. До нас дошло множество фактов, говорящих о широком распространении в Грузии античной эпохи наряду с грузинским письмом письма греческого.

Оставалось выяснить происхождение самого нижнего знака в нижнем ряду. Но поскольку все нижние нотные знаки, как стало ясно Павле Ингороква, восходят к знакам просодии, то и этот знак надо было искать среди просодических начертаний. Так и оказалось на деле.

По-гречески этот знак носит название «ипо-диастоле». Когда в VI или VII веке переводилось сочинение греческого писателя Епифания Кипрского, грузинский переводчик, дойдя до этого знака, передал его словами «квеше-скнели», что значит «крайний снизу». А именно такое положение и занимает этот знак в грузинском нотописании! Отсюда нетрудно понять, что в VII веке между знаками просодии и нижними нотными знаками грузины не видели разницы. И опять совпадение с номосом: соответствующий этому номос, как уже сказано, носит название «главенствующий», «основной», а это определяется его ведущим положением в октаве.

Эта необычайная аргументация, многократно и всесторонне подтверждающая стройность единой системы нотных знаков, гласов и номосов, вызывает в памяти знаменитую «решетку» Вентриса — замечательного ученого нашей эпохи, раскрывшего тайну крито-микенской письменности. Как известно, стройность аргументации, графически воплощенная именно в виде таблицы — «решетки», произвела наибольшее впечатление на всех следивших за открытием Вентриса.

В одном ряду

Все, что открыл Ингороква и о чем я решился вам рассказать, дает достаточно ясное представление о высоком уровне музыкально-теоретических представлений и музы-

кального мышления в древней Грузии. Возникновение грузинского музыкального письма Павле Ингороква относит к первым двум векам нашей эры. Не так уж много дошло до нас музыкальных памятников древности столь глубокой, как новооткрытые древнегрузинские гимны. Древнегреческих памятников сохранилось очень мало, это известно. Самые ранние записи музыки европейской в основном относятся к средним векам. Наиболее ранние — репертуар римско-католической церкви: это века VII—XI. Древнейшие греко-византийские рукописи относятся к X веку. Уже из одного этого ясно, что древнегрузинская музыка VIII—X веков должна занять место в одном ряду с древнейшими музыкальными культурами мира. Это со всей очевидностью вытекает из открытия Павле Ингороква.

Единственное, что оставалось невыясненным,— это реальное звучание номосов. Казалось, ни один из них до нас не дошел, казалось, что они уже раз и навсегда «растворены» в песнопениях и уже не могут быть выделены из них в «чистом виде».

Но это только казалось. До тех пор, покуда не было расшифровано древнее нотное письмо, система номосов сама по себе не привлекала исследователей. Между тем в начале XX века пять номосов — «Чабанеба», «Улхине», «Чрелсадаги», «Ойни» и «Нойни» — были записаны. Их сохранил для нас знаток древнегрузинского пения Василий Карбелашвили.

В учебнике номосов Ингороква нашел указание на то, что гимн «Натели мохвед» («Ты явился, свет») поется как номос «Чрелсадаги», а первый стих песнопения «Христос воскрес» — как номос «Улхине».

Эти тексты отыскались среди записей X века в сборнике Модрекили. Ингороква стал сличать расшифрованные гимны с номосами, записанными Карбелашвили... И опять получилось совпадение разительное!

Это новый и весьма убедительный аргумент.

Но и без этого ясно выдающееся значение того, что открыл замечательный советский ученый в древних грузинских рукописях.

1963

О диссертации С. М. Осовцова «Надеждин — театральный критик»

1

Начнем с того, что если бы не Семен Моисеевич Осовцов, у нас не было бы никаких оснований судить о взглядах Николая Ивановича Надеждина на театр по той простой причине, что до исследования Осовцова мы даже и понятия не имели о театральных работах Надеждина, если не считать небольшой статьи, напечатанной под буквой «Н» в его газете «Молва» 1836 года и посвященной бенефисам Щепкина, Мочалова и Львовой-Синецкой. Только это одно сочинение на театральную тему и значилось в библиографии надеждинских трудов.

Напротив, в трудах некоторых советских исследователей прямо говорится о том, что специальной осведомленностью в вопросах театра и актерской игры Надеждин не обладал, что драма и театр интересовали его как один из видов искусства лишь в общем философско-эстетическом плане.

Этот взгляд, притом в самой решительной форме, высказывался еще совсем недавно. И тут сказалось не столько заблуждение исследователя, писавшего это, сколько состояние вопроса. Поэтому уже само заглавие этой диссертации говорит и о характере открытия, и о размерах вклада, который вносит С. М. Осовцов в нашу науку о театре.

Выяснить и убедительнейшим образом доказать, что Надеждину принадлежат девяносто девять анонимных и

псевдонимных статей и рецензий на спектакли московских театров — статей, которые с 1829 по 1836 год печатали журналы «Вестник Европы», «Телескоп» и газета «Молва»! Открытые С. М. Осовцовым театрально-критические работы Надеждина могли бы составить солидный том важнейших суждений о русском театральном искусстве. Если же прибавить к этому четырнадцать рецензий, которые из присущей ему осторожности С. М. Осовцов отнес в своей диссертации в отдел не вполне достоверных, то можно, хотя бы отчасти, представить себе объем нового, еще неизвестного историко-театрального материала, который вводит в научный оборот диссертант, представивший свой обширный, великолепно аргументированный труд на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. В нем Николай Иванович Надеждин — выдающийся русский журналист и ученый, редактор, издатель, философ, фольклорист, историк, археолог, литературный критик, историк словесности, теоретик и историк искусства, знаток восточных и западных литератур, энтограф, географ, лингвист, беллетрист, выдающаяся фигура в русской общественной и литературной жизни и в русской науке в первое десятилетие после декабрьского восстания — выступает теперь еще и в .новом, неизвестном доселе качестве,— как замечательный критик и теоретик театрального искусства, как предшественник и единомышленник Белинского в развитии русской театрально-эстетической мысли.

Нелегким был путь, приведший С. М. Осовцова к этому важному выводу. Ибо прежде чем ученый смог совершить серию своих выдающихся театроведческих открытий, ему надо было пересмотреть утвердившиеся в нашей литературной науке представления о Надеждине как о благонамеренном журналисте, не позволявшем себе ни одного критического замечания в адрес николаевского правительства, как о беспринципном нигилисте, злобном хулителе Пушкина и едва ли не всего прогрессивного в русской литературе и журналистике. А иные (уж конечно, не обращаясь к трудам самого Надеждина), свободно интерпретируя переходящие из работы в работу суждения, сложившиеся в давние времена, дошли до того, что прямо причислили его к клике продажных писак — Булгарина, Греча и Сенковского.

При таких предпосылках приняться за тему было не

совсем просто. Еще труднее включить в число сочинений Надеждина целую серию анонимных статей с ярко выраженными прогрессивными взглядами — статей, автор которых выступает в роли защитника реализма и простоты, естественности и народности в русском театре да еще и яростного врага булгаринской клики.

Прежде всего надо было реконструировать достоверный образ писавшего эти анонимные статьи и рецензии (без чего невозможна вообще никакая серьезная атрибуция!). Надо было утвердить правильный, исторически-объективный взгляд на Надеждина и всю его многостороннюю деятельность. А кроме того, убедить в своей правоте искусствоведов и историков русской литературы и критики. Поэтому С. М. Осовцову наряду с решением частных проблем приходилось в корне пересматривать общие представления, скрепленные мощными авторитетами и долголетней традицией. Вспомним при этом, что до Осовцова специальных работ о Надеждине не было, если не считать вышедшей в 1912 году монографии Н. К. Козмина, даже в те времена не отвечавшей строгим научным требованиям. Имя Надеждина постоянно мелькает в монографиях, посвященных его современникам, а главным образом фигурирует в трудах о Белинском. Следовательно, для того чтобы обставить свои соображения бесспорными аргументами и вступить в полемику об авторе анонимных театральных статей, С. М. Осовцов должен был коренным образом пересмотреть вопрос о роли Надеждина в истории русской культуры. Должен был отвергнуть идущую от С. А. Венгерова и от М. К. Лемке одиозную версию, согласно которой все передовое, демократическое во взглядах молодого Белинского формировалось не под влиянием Надеждина, а, наоборот, вопреки ему.

Между тем еще в 1856 году, сразу же после смерти Надеждина, Н. Г. Чернышевский писал, что Надеждин был «образователем» Белинского, что именно он первый «ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд», дал критике «всеобъемлющие принципы и все эстетические основания». И абсолютно правильно поступил С. М. Осовцов, когда пошел в своих изысканиях от этой оценки Чернышевского. И от Плеханова, точно так же отметившего преемственность критических взглядов Белинского от Надеждина. Ни Плеханов, ни Чернышевский ничего в этом дурного, умаляющего значение великого критика, не уви-

дели. Так же сочувственно относились к Надеждину Герцен и Добролюбов.

Скажем сразу: труд Осовцова полностью подтверждает прозорливую характеристику Чернышевского. А кроме того, открывает множество новых, никому еще не известных фактов, позволяющих полностью отказаться от традиционных попыток дискриминировать Надеждина и систему его эстетических взглядов.

Не модернизируя облик Надеждина, не замалчивая противоречий в его трудах, ограниченности его общественно-политических взглядов, С. М. Осовцов каждый раз находит глубоко продуманные объяснения этих противоречий и слабостей и приходит к убеждению, что «резкое отношение Надеждина к дворянско-крепостническим порядкам и устоям никогда не простиралось у него до признания необходимости революционных методов борьбы с ними». И что «в этом отношении (как и во многих других) Белинский в сороковых годах намного опередил его». Диссертант убедительно пишет о том, что воинственный демократический дух уживался у Надеждина с монархическими иллюзиями и пессимистическим взглядом на современные ему революционные бури. И нельзя не согласиться с существом выводов С. М. Осовцова, что объективно настроения Надеждина, «его взгляды, его литературно-критическая и журнально-издательская деятельность способствовали формированию и распространению прогрессивно-демократических, освободительных идей». Мне кажется, что следует полностью согласиться с этими суждениями диссертанта, а не с теми учеными, которые умалили или продолжают еще умалять значение этой крупной фигуры.

Осторожно и строго подходит С. М. Осовцов к решению каждой частной и общей проблемы. Он не стремится защитить Надеждина от обвинений в нападках на Пушкина. Да! Это было! Воинствующий ниспровергатель романтизма, Надеждин нападал не только на романтические поэмы Пушкина, но даже и на «Полтаву», даже и на первые появившиеся в печати сцены «Бориса Годунова», заподозрив их в романтизме. Однако, признав трагедию Пушкина высшим образцом поэзии драматической, он уже не изменял этот взгляд до конца, а впоследствии пересмотрел свое отношение и к раннему творчеству Пушкина. Обстоятельным образом рассмотрев сближение позиций Пушкина и Надеждина в 1830 году для общей борьбы с булгаринско-

гречевским направлением, Осовцов убедительно отвергает попытки зачислить Надеждина в охранительный лагерь. И теперь уже не может возникнуть сомнений в том, что Надеждин от начала и до конца был последовательным противником этого лагеря и вел с ним упорную и последовательную борьбу.

Так одна за другой отпадают напраслины, возведенные на Надеждина. Неправы оказываются также и те, кто старался «поправить» молодого Белинского и все смущающие в его ранних статьях формулы и тирады с легким сердцем относил за счет редакторской правки Надеждина. Осовцов с большой основательностью показывает, что такие же «смущающие» формулы и тирады можно обнаружить и в личных письмах Белинского, относящихся к тем же годам. А уж письма Белинского, как нетрудно понять, Надеждин не правил и править не мог. Суждения о Надеждине, о роли, которую он играл в московской жизни 30-х годов и в идейно-литературной борьбе того времени, не всегда казались бы очевидными, если бы диссертант не обогащал их убедительными соображениями о деятельности Герцена и Белинского, Полевого, Погодина, Чаадаева, Аксакова, об игре Щепкина и Мочалова. Вообще в диссертации много умных и тонких мыслей, выводящих нас за пределы конкретной темы исследования. Это обогащает работу и возможно только благодаря обширной эрудиции Осовцова в области истории, литературы, критики, журналистики, театра, эстетики, философии — эрудиции, которая обнаруживается в его исследовании буквально на каждой странице. И едва ли не каждая основана на неизвестных доселе фактах, добытых усердием самого С. М. Осовцова. Последовательно доказывает он, что не случайность, а внутренняя закономерность привела Белинского к Надеждину, что именно он, Надеждин, явился учителем Белинского и его предшественником в русской критике. Что ошибаются те, кто видит тяготение молодого Белинского в первой половине 30-х годов к Полевому, а не к Надеждину. Ибо единомыслие с Полевым привело бы Белинского к отрицанию гоголевского направления в русской литературе. Тогда как именно он, Осовцов, обнаружил новые аргументы, подтверждающие совпадение взглядов Белинского и Надеждина на творчество Гоголя. И, в частности, на величайшее значение для русской культуры гениального «Ревизора».

Словом, для того чтобы написать диссертацию о театрально-критических работах Надеждина, Осовцов должен был написать общую диссертацию о Надеждине, пересмотреть все, что сказано о его журнальной деятельности и о критической, выяснить его роль в развитии русской эстетики. И только после этого заняться изложением своих изысканий и атрибуций. А началось все именно с них — в 1951 году. Началось со статей загадочного П. Щ.

2

По мнению многих виднейших театроведов, никому из критиков 30-х годов прошлого века не дано было сделать принципиальные выводы из искусства первых артистов эпохи — Щепкина, Мочалова, Каратыгина. Это сделал только один «П. Щ.», напечатавший в 1833 году на страницах «Молвы» серию блистательных статей. Сто двадцать лет интриговала ученых эта загадка. Никто не мог ее разгадать. Это сделал С. М. Осовцов. Он объявил имя П. Щ. — Николай Иванович Надеждин.

Загадка была очень трудной. Спор о московских гастролях четы Каратыгиных — спор театральный — превратился в бурный идейный спор. Демократический взгляд на искусство столкнулся с эстетикой аристократов, и дискуссия охватила все московское общество. Ниспровергатель официозного искусства, Надеждин в данном случае особо заботился о том, чтобы зашифровать свое имя. Но когда оно все-таки было угадано в семье почитателей Каратыгина, от которой зависели и будущность Надеждина, и его счастье, он прибег к помощи своего друга Сергея Тимофеевича Аксакова, и Аксаков публично заявил о том, что П. Щ. это он, Аксаков. В. С. Нечаева — видный ученый — доводы С. М. Осовцова, объяснения его, почему статьи П. Щ. надо считать статьями Надеждина, решительно отвергает. И печатает, казалось бы, абсолютно обоснованную статью — автор С. Т. Аксаков. Нет, Осовцов уверен в своей правоте. И находит неопровержимые доказательства — неопубликованные письма к Надеждину Елизаветы Васильевны Сухово-Кобылиной (сестры драматурга). Девушка узнала правду от сына Аксакова, Константина, и упрекает Надеждина, в которого влюблена,— он ей лжет, не хочет сознаться, что П. Щ. это он, он запретил ей ездить в театр,

а сам там бывает... И, наконец, уже после смерти Надеждина, на склоне жизни, С. Т. Аксаков сознался: П. Щ. это буквы, которыми подписывал Надеждин свои полемические статьи. Трудно придумать более сложный ребус. Разгадав его, Осовцов и установил роль Надеждина в развитии русской театральной критики, ибо, как уже сказано, именно в статьях неведомого П. Щ. русская критическая мысль возвысилась до философско-эстетического обоснования реализма и народности в театрально-драматическом искусстве. По мнению решительно всех исследователей, кои обращались к статьям П. Щ., они оказали огромное влияние на театрально-критическую деятельность Белинского, который, кстати сказать, в 1835 году вслед за новыми статьями П. Щ. напечатал свою — «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Осовцов остроумно доказывает, что союз «и» («И мое...») начисто отводит Белинского из числа возможных претендентов на буквы П. Щ.

Еще одним, и притом крупнейшим, событием в журналистике 30-х годов прошлого века явилась статья, напечатанная в надеждинской «Молве» в 1836 году — «Ревизор. Комедия г. Гоголя». В этой статье, подписанной буквами А. Б. В. (ее знает весь театрально-ученый мир!), автор называет Гоголя «великим комиком жизни действительной» и видит в его пьесе гениальное обобщение. Нельзя не согласиться с С. М. Осовцовым, который называет эту статью «блестящим взлетом русской критической мысли».

Но кто такой «А. Б. В.»? Выяснить это покуда не удалось, несмотря на то, что делалось немало попыток. Подставляли под эти буквы имена В. Г. Белинского, С. Т. Аксакова, В. П. Боткина, потом — Н. С. Селиванского. Нет, Осовцов показывает несостоятельность всех этих соображений. Около ста страниц диссертации занимает тонкий анализ, отводящий перечисленных кандидатов. Самым вероятным Осовцову (а с ним вместе и нам!) представляется тот же Надеждин. И тут исследователь применяет многоразличные способы доказательств.

Раньше не были известны суждения Надеждина о Гоголе. Но теперь, говорит Осовцов, мы их знаем. Гоголь, в его глазах, «всемогущий». Это мало: они знакомы между собой. А. Б. В. широко осведомлен в московских театральных делах. Дружен со Щепкиным. Отдает ему полную дань признания и уважения — признак, отмечает наш диссертант, снова в пользу Надеждина, который одного лишь

Щепкина видел «на пустыре московской сцены». А. Б. В.— человек огромной эрудиции: это проистекает из сопоставления статьи о Гоголе с другими статьями А. Б. В., из которых видна обширность его познаний. У А. Б. В.— архаический стиль. Ему свойственны славянизмы (ими любил злоупотреблять именно Н. И. Надеждин). Фразеологический и лексический анализ, сопоставление синтаксических конструкций приводит нас к полному убеждению, что гипотеза Осовцова правильна. Ибо при сравнении статьи А. Б. В. с безусловными статьями Надеждина обнаруживаются его излюбленные приемы. Но главное — образ автора этой статьи. Как и Надеждин — это страстный поборник реализма, противник романтизма и — с оговорками — классицизма. Он признает достоинства «Недоросля», «Горя от ума» (тоже с оговорками: в оценке этой комедии А. Б. В. сходится с Пушкиным). Он — апологет «Бориса Годунова». Он разделяет взгляды Пушкина на драматическое искусство (а совпадение их взглядов было выяснено диссертантом в другой главе). В свете атрибутированных Осовцовым театральных статей Надеждина, А. Б. В. обретает черты полного сходства с ним. При этом особого внимания заслуживает факт неожиданный: А. Л. Гришунин, не изучавший специально статей А. Б. В., в работе, посвященной употреблению языковых дублетов, в статьях П. Щ. обнаружил в них те же особенности, которые характерны для стиля статьи А. Б. В.,— особенности сугубо индивидуальные. А уж это окончательно позволяет отождествить авторов обоих циклов статей и в обоих видеть Н. Надеждина. И при этом существеннейшим доводом каждый раз является полнота доказательств Осовцова, изобилие его наблюдений и аргументов.

Не буду подробно останавливаться на том, как обстоятельный и многоаспектный анализ театрального отдела «Молвы» привел его к заключению, что пятнадцать статей, включенных в собрания сочинений С. Т. Аксакова, на самом деле являют собой статьи того же Надеждина. В ряду других существенных признаков (знание иностранных языков, которых Аксаков не знал, но хорошо знал Надеждин; цитатолюбие, характерное для Надеждина, его излюбленные приемы в построении статей, любовь к славянизмам, объясняющаяся его семинарским воспитанием, и т. п.) немаловажно и то, что автор этих статей выступает во всеоружии философско-эстетических знаний эпохи,

тогда как Аксакова ведут талант, опыт, чутье большого художника. Системы взглядов в статьях Аксакова не обнаруживается.

Однако было бы серьезной ошибкой предположить, что осовцовские атрибуции основаны на сходстве с другими, атрибутированными им же самим статьями. Каждый раз исследователь привлекает иные — бесспорные — доказательства: мемуарные, документальные, журнальные, приводит даже стихотворные посвящения Надеждину — другими словами, объективные доказательства, позволяющие опереть свод накопленных наблюдений на прочный фундамент фактов. Любопытно при этом, что первый ключ к своим атрибуциям Осовцов обнаружил... где? В той самой — единственной — театральной рецензии, которая с давних пор была включена в библиографию надеждинских трудов.

В этом отзыве нет возможности более полно обозреть и оценить богатое содержание этой талантливейшей работы, в которой исследователь приходит к бесспорному заключению, что Надеждин был первым в России теоретиком театрального искусства. Замечательным знатоком театральной жизни Москвы. Первым, кто отрешился от произвольных субъективных оценок и перешел к системе эстетической аргументации.

В своих суждениях о театре Надеждин исходил из требований «полного сходства с природой», проникновения «в сокровеннейшие изгибы бытия, в мельчайшие подробности жизни», соблюдения «всех вещественных условий действительности», «географической и хронологической истины физиономий, костюмов, аксессуаров». В этом смысле искусство Каратыгина было для него носителем ложных начал, тогда как Щепкин стоял в его представлении в одном ряду с Бальзаком, с произведениями которого знакомил русскую публику именно надеждинский журнал «Телескоп».

Требования к актерской игре всегда соотносятся в статьях Надеждина с задачей, поставленной перед актером пьесой и самим направлением драматического произведения. Надеждин был страстным защитником шекспировских методов проникновения в жизнь и в характеры и строгим критиком шиллеровской эстетики. Вся театрально-критическая деятельность этого человека была направлена к расцвету национального русского театра, в котором высшими образцами он считал «Бориса Годунова» и «Ревизора».

Существенные открытия представляют собою даже и те эпизоды, на которых диссертант не имеет возможности останавливать внимание читателя. А их — множество. Каждый из них мог бы развиться в тему самостоятельную, существенную для нашей науки. Так, например, С. М. Осовцов рассказывает о знакомстве Надеждина с Лермонтовым — факт до него не зафиксированный. Высказываются соображения о напечатанных Надеждиным стихотворениях Лермонтова «Ангел» и «Узник» в «Одесском альманахе на 1840 год» — в пору, когда Надеждин вернулся из ссылки. Все это ново, свежо и чревато дальнейшими выводами.

Разумеется, в труде, насчитывающем более семисот тридцати страниц, встречаются отдельные утверждения, которые кажутся недостаточно точными. Так диссертант полагает, что поскольку Надеждин допускал поэтизацию истины в тех случаях, когда она оскорбительна для человеческого самопознания и народной гордости, то, дескать, он оставлял лазейку для примирения с действительностью. Вопрос не простой, ибо эстетические нормы Надеждина одновременно ограждают искусство от натуралистического изображения, в коем не отобран предмет поэзии. А это отсутствие границ, в свою очередь, может вести к разрушению понятия эстетически ценного. Основополагающий тезис Надеждина — «где жизнь — там и поэзия» послужил отправным пунктом в разработке реалистической эстетики Белинского и Чернышевского. И вот последнее я, на месте С. М. Осовцова, подчеркнул бы сильнее. Ибо Надеждин видит задачу искусства не только в воспроизведении природы, но и в объяснении жизни, в «приговоре о явлениях жизни». Именно эти высказывания и вдохновили Чернышевского на ту блистательную характеристику, которую он дал Надеждину, подчеркнув его учительную роль по отношению к Белинскому. Несомненно и то, что обязанным Надеждину считал себя и сам Чернышевский.

На страницах 677—678 диссертант приводит замечания Надеждина на игру Живокини: «...комический эффект представляемого лица тем более бы возвысился, чем более артист старался бы сохранить в нем наружное спокойствие и спесивую чинность». Эта рекомендация позволяет установить те общие правила реалистической актерской игры, которые впоследствии предлагал соблюдать К. С. Станиславский. И связь именно этого характерного указания

Станиславского с лучшими традициями русской реалистической школы 30-х годов прошлого века я подчеркнул бы особо.

Я давно слежу за работой С. М. Осовцова, тщательно проверял аргументацию, когда идет речь о расшифровке инициалов П. Щ. Считаю, что принадлежность Надеждину девяноста девяти анонимных статей доказана Осовцовым многократно и всесторонне. Работа основана на скрупулезном исследовании всевозможного печатного и архивного материала. Диссертант проявил настоящий исследовательский талант и великолепную технику литературоведческого и театроведческого анализа. Использовал даже самомалейшие факты. И полемика, и конструктивные предложения обоснованы широко и обстоятельно. Автор не останавливается даже и перед тем, чтобы привести доводы против собственной точки зрения, пропущенные его оппонентами, с тем чтобы воспроизвести весь наличный для полемики материал и после, методически, последовательно накапливая контрфакты, выявляя у авторов спорных гипотез односторонние оценки, недостаточно обоснованные суждения, добиться решительного перевеса над ними. С. М. Осовцов отлично читает документ. Так, неумеренные восхваления николаевского правительства, записанные Надеждиным во время допроса в Третьем отделении, В. С. Нечаева считает выражением его подлинных взглядов. С. М. Осовцов остроумно использует пометы министра Уварова на полях допроса Надеждина, свидетельствующие о том, что правительство Николая I ни на йоту не верило этим тирадам, ибо они никак не согласовались с взглядами и деятельностью Надеждина.

Диссертация отлично построена и отлично написана. По существу, Осовцов заново открыл нам Надеждина, и открытие это составляет существенный вклад в изучение не только театра прошлого века, но и нашей литературы. Благодаря статьям Осовцова, напечатанным в журналах и газетах, интерес к Надеждину оживился, появились новые работы о нем. Прежде всего назову солидное исследование Ю. В. Манна. Из всего этого следует вывод: труд С. М. Осовцова «Надеждин — театральный критик» намного превышает требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям и автор ее в полной мере заслуживает искомой степени.

1966

Неутомимый Малышев

Он достоин того, Владимир Иванович Малышев, чтобы имя его знала широкая публика. Поэтому расскажу, не откладывая, о его удивительных результатах. В какой области? В той, которая до недавнего времени почиталась чуть ли не синонимом скуки,— в архивной. По счастью, теперь об архивах с откровенным пренебрежением не говорят. Но детям своим рекомендовать архивную специальность отваживаются покуда немногие. Поэтому восторженные почитатели архивистов водятся главным образом среди тех, кто сам причастен к архивам или любит читать на досуге об архивных находках. Но справедливости ради замечу, что, если литературоведу, историку, архивисту удается сделать несколько «звонких» находок и общество узнаёт от этих счастливцев неизвестные строки великих писателей или будут обнаружены документы, меняющие представления о судьбе людей замечательных, имена таких публикаторов становятся у нас известными широкому кругу.

Как же не говорить после этого с удивлением, с радостью, с почтением самым глубоким о Владимире Ивановиче Малышеве, который с 1949 года обнаружил, приобрел, собрал воедино семь тысяч рукописей! Вдумаемся в это число. Даже трудно себе представить реально — семь тысяч. Ибо это целое хранилище, целый новый Разряд Рукописного отдела Института русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде — института, известного всему миру под именем Пушкинский дом.

Шкафы. Шкафы. Целые стены шкафов. За стеклами старинные корешки и архивные папки. Это — находки, поступившие сюда с 1949 года. А в центре зала — витрины. В них — последние поступления: сто пятьдесят рукописных находок начиная с XIV века, обнаруженных в продолжение только истекшего года.

Наклонитесь, взгляните: массивный переплет с медными застежками, с наугольниками, изящные миниатюры, заставки. Это — замечательный памятник древнерусского книжного искусства, пергаментное Евангелие XIV века, переписанное в Галицко-Волынской земле. Попробуйте прочесть хотя бы несколько строк в тетрадке, заполненной ради экономии места мельчайшим, бисерным почерком. Г. П. Осипов, ее владелец, крестьянин, живший на самом северном крае русского государства — на Новой Земле, в становище Кармакулин, вносил в эту скромную тетрадку стихи, в том числе стихи своего великого земляка — холмогорского крестьянина М. В. Ломоносова. И поэтому по-своему озаглавил их: «Сочинения-псальмы господина философа Ломоносова, прирожденца колмогорския». В другую тетрадь, почерневшую от долгого употребления и времени, вписаны послания «огнепального» протопопа Аввакума — крупнейшего писателя допетровской Руси. Рядом — сказание о Мамаевом побоище. История о взятии Казанского царства Иваном Грозным. Часослов тех времен, повесть XVII столетия об Иване Семенове, колонизаторе Мезенского края на Севере, повесть, в которой излагается история борьбы мезенских крестьян с монастырями за право владения землей. Чего только нет здесь — письма крестьянские, письма королей польских.

Что за выставка? Откуда все это? Кто такой Малышев? Почему мы не знаем о нем? Что было до 1949 года?

Отвечу. До 1949 года не было ничего. Пушкинский дом не располагал древними рукописями. Он владел поразительным рукописным собранием XVIII—XIX веков и нашего века, но древних манускриптов не имел. А между тем в институте есть Сектор древнерусской литературы. И раз такой сектор есть, Владимир Иванович Малышев, научный сотрудник, энтузиаст и превеликий знаток древнерусских рукописных сокровищ, предложил приступить к планомерному их собиранию. И приступил.

Начал с того, что отправился на Печору, в Усть-Цилемский район Коми АССР, куда выезжал на разведку еще сту-

дентом в 1937 и 1938 годах. Низовая Печора с давних пор славится своей рукописною стариной. Но особенные богатства Малышев предвидел в Усть-Цильме, ныне районном центре, основанном в середине XVI столетия, когда новгородец Ивашка Дмитриев получил грамоту на владение печорскими землями и обосновался на Цильме, возле устья реки. В XVIII веке усть-цилемское поселение представляло собою уже крупный торговый центр. Сюда тянулись засельняки — крестьяне поморские, искавшие спасения от крепостной неволи; стекались люди «древлего благочестия» — раскольники; ехал служилый народ и торговцы; останавливались ссыльные, которых отправляли «за Камень» (то есть за Уральский хребет). На Цильме возник раскольничий Омелинский скит, на Пижме — Великопоженский.

Места были глухие, далекие. Если сюда попадала рукописная или старопечатная книга, ее старательно размножали. В скитах и общежительствах возникали рукописные библиотеки, в книгописных мастерских трудились писицы-девушки, украшали страницы узорами, рисовали настенные листы с текстами и картинками. Появились свои сочинители из народа. В тяжелых социальных и природных условиях охотники, рыбаки создавали произведения литературного и исторического характера, выдвигали из своей среды талантливых книжников. Именно здесь, на Печоре, сохранилось немало неизвестных ученым творений древнерусской литературы. За пять столетий в этих местах скопилось огромное количество рукописного материала. Да и теперь еще здесь продолжают читать старинные книги, ревностно их сохраняют. Многое можно было тут разыскать в берестяных коробах на повети, в руках хранителей старины. Сюда-то Малышев и поехал. И к осени привез в Ленинград тридцать две книги — древние сочинения, переписанные в XVI—XIX веках.

После этой разведки он организовал восемь экспедиций, обследовал окрестности Цильмы в радиусе ста километров. Сначала ездил один, два раза с известным знатоком старинной книги Ф. А. Калининым, потом в работу включился молодой историк древней литературы А. М. Панченко. В результате поездок было найдено множество сочинений, в том числе неизвестная «Повесть о самосожжении в Мезенском уезде в 1743—44 годах». И дополнение к ней — «Помянник сгоревших в Великопоженском общежи-

тельстве в 1743 году». А всего в итоге девяти экспедиций было приобретено и доставлено в Ленинград более пятисот книг, переписанных в XV—XX столетиях. Эти находки составили основу Печорского собрания.

В 1959 году сам Малышев отправился к устьцилемцам, а молодых своих помощников — изыскателей А. М. Панченко, Д. М. Балашова, А. С. Демина и Ю. К. Бегунова снарядил в экспедицию по другим районам республики Коми, а кроме того, посоветовал им заглянуть в Ныробский район Пермской области. И что же вы думаете? Помощники его привезли в тот раз целых девяносто рукописей. В 1962 году Владимир Иванович побывал в Нарьян-Маре и в окрестностях Пустозерска. И раздобыл там еще пятнадцать. В следующем году отправил туда Бегунова, и отыскались еще сорок восемь сокровищ.

Печорским собранием дело не ограничилось. К нему присоединились Гуслицкое, Карельское, Керженское, Красноборское, Мезенское, Новгородское, Псковское, Причудское, Пинежское. И каждое формировалось из крупных находок, которые всякое лето привозили из экспедиций Малышев и малышевские энтузиасты — Н. Ф. Дробленкова, Н. С. Демкова, Л. А. Дмитриева, Г. М. Прохоров, А. Х. Горфункель, Ю. К. Бегунов, А. М. Панченко (Панченко побывал в десяти экспедициях). И каждый раз это было событие — в одном только 1963 году было найдено на Пинеге сто десять рукописей. Со своей группой Малышев обследовал весь Север России — Печору и Карелию и области Архангельскую, Мурманскую, Пермскую, Горьковскую, Московскую, Калининскую, Новгородскую, Псковскую, районы Прибалтики. Нашлись «месторождения» старинных рукописных богатств.

Результаты огромны. Но не слабеет энергия изыскателей, число находок не убывает. А в итоге возникло собрание, в котором древняя рукопись представлена с необыкновенной полнотой и богатством. Тут грамоты жалованные, указные и челобитные; записи оброчные, кабальные, полюбовные, книги «Борчая» и «Степенная», писцовые, межевые, дозорные, окладные; ревизские «сказки», заемные памятки, сыски, допросные речи, реестры, азбуковники, лечебники, травники; хронографы, «летописцы», древние повести и сказания; покаянные стихи, вирши и плачи, гадания и привороты, запевки, ирмологии на крю-

ках и линейных нотах; синодики; поучения, беседы и размышления, жития, «чудеса» — апокрифы, сочинения учительного и полемического характера, рукописные сборники. Самые старые рукописи — XII век. И все это собрано на нашей памяти, на наших глазах. Не ограничиваясь этим, институт по инициативе Малышева приобрел за эти годы коллекции крупных собирателей старины. Когда же Разряд древней литературы обрел авторитет и большую в научных кругах известность, Президиум Академии наук передал в малышевское собрание коллекцию старинных рукописей своего Карельского филиала. А еще раньше — древние рукописи, хранившиеся в Москве в Институте имени Горького.

Не подумайте, что купленные и привезенные рукописи, рукописи переданные стоят, дожидаясь высокой чести войти в обиход науки. Вошли и входят все время! Не перечислить публикаций, статей, исследований, сделанных на основе рукописных находок самим В. И. Малышевым, его сотрудниками и другими учеными, которые с величайшим вниманием следят за этой в археографической области еще небывалой по размаху работой и с интересом вникают в новонайденные манускрипты и ученые труды института. И действительно, какой разворот работы, какая последовательность, методичность, глубина понимания, энтузиазм без громких слов!

Как же назвать этот упорный, увлеченный, самоотверженный труд? Только подвигом! Не иначе! Подумайте: такого подарка ни один богач не мог бы сделать науке — только одержимый научной страстью, бескорыстный исследователь, для которого высшее вознаграждение заключено в самом процессе работы, в поиске, в результате, в изучении найденного, в воспитании новых энтузиастов, в сознании, что спасен еще один документ, открыто еще одно сочинение древней литературы.

Покойный академик М. Н. Тихомиров считал работы В. И. Малышева глубокими, образцовыми, высоко оценивал новизну открытого им литературного материала. И действительно, среди публикаций Малышева можно назвать и новый список «Слова Даниила Заточника», и неизвестную прежде «Повесть о гишпанском дворянине Карле», «Повесть о хвастливом книжнике», «Повесть о быке», неизвестные варианты повестей о царевне Персике, о царице и львице, печорскую переделку «Азбуки о голом и

небогатом человеке», стих о заонежских девицах, о нищей братии, «стих покаянны о времени люте и поганых нашествий»... И это не только тексты, но и новые, очень основательные, очень талантливые исследования. Одной древней повести о Сухане, которую впервые нашел, исследовал и напечатал Владимир Иванович, одной его монографии «Усть-цилемские рукописные сборники XVI—XX вв.», одних работ о протопопе Аввакуме было бы достаточно, чтобы утвердить за ним репутацию одного из крупнейших нынешних археографов и знатоков древней литературы.

Имя его в ученых кругах и у нас, и за рубежом с каждым годом становится все более известным и очень авторитетным повсюду. Но мне лично кажется, что его должны знать не только ученые. Разыскания Малышева заключают в себе важнейший общественный смысл, далеко вышли за пределы его специальности и могли бы подкрепиться широкой общественной помощью. Каждый, кто хранит старинные манускрипты или знает, где таковые имеются, мог бы стать прекрасным помощником историков древней литературы, добровольным корреспондентом Малышева. Стоит только запомнить адрес: Ленинград, В-164, Набережная Макарова, Пушкинский дом, Малышеву Владимиру Ивановичу. Человеку, который может служить примером, чего можно достигнуть, если деловитость, талант ученого, талант воспитателя, безграничная преданность науке, литературе, сверкающему русскому слову сочетаются с истинным бескорыстием и редкостной скромностью.

1967

2 мая 1976 года Владимир Иванович Малышев умер. Осталось собранное им Древлехранилище, остались ценнейшие труды. Ученики, помощники, последователи. Осталось имя — олицетворение самоотверженной любви к древней русской литературе, память о неутомимом собирателе памятников отечественной культуры.

Хранители правды

1

Заведите разговор об архивах. И если ваш собеседник окажется причастным к изучению литературы и к тому же словоохотлив, он вам расскажет про письма Наталии Николаевны Пушкиной к А. С. Пушкину, будто бы пропавшие из Румянцевской библиотеки в Москве при таинственных обстоятельствах и, может быть, даже увезенные за границу. Или услышите историю о сгинувших сочинениях самого А. С. Пушкина, так никогда и не увидевших света, озаглавленных «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» и «Дука. Молдавское предание XVII века». По свидетельству И. П. Липранди, эти повести были написаны Пушкиным в Кишиневе на основе подлинных молдавских преданий. Копии их в составе архива Липранди будто бы поступили в Румянцевскую библиотеку. А где они — так никто и не знает. Поступили — и нет. А может быть, и не поступали.

Поведите разговор дальше — услышите, как однажды — это было в 30-х годах — из Рукописного отдела Ленинградской Публичной библиотеки воры крали Остромирово Евангелие: содрали серебряный оклад, а рукопись XI века, не поняв, что она-то и есть главнейшая ценность, сунули за трубу отопления. Там ее и нашли.

Поговорите еще — дойдете до замурованных тайников, вырезанных из тетрадей листов, перемеченных страниц и

папок с рисунками, которые поступили в государственные архивы и снова исчезли потом.

Откуда все эти легенды и разговоры?

Порождены эти легенды порядками, царившими когда-то в наших архивах, когда миллионы рукописных листов находились в ведении одного-двух научных сотрудников, когда каталогов в архивах не было, учет велся «на глазок» и ученым приходилось полностью полагаться на внимание и память хранителей. Выскажет кто-то предположение — хранитель не согласится. Проверить нельзя. Так из предположений рождались легенды. А может быть, не всегда и легенды.

Теперь, по счастию, новых историй подобного рода вы уже не услышите. Никто еще не рассказывал, что автографы великих писателей потерялись среди других материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР или какая-то рукопись исчезла из его хранилищ. На то и был создан ЦГАЛИ, чтобы великие литературные ценности не могли ни завалиться, ни затеряться, ни пропасть, ни сгореть, ни намокнуть, ни выцвести. А хранились бы самым совершенным и верным способом и были доступны для изучения.

Но прежде, чем рассказать вам о ЦГАЛИ, надо рассказать о его старших «собратьях». Без этого не будет ясно, чем отличается ЦГАЛИ от других архивов. Поэтому обратимся к истории и вспомним имена крупнейших ученых, собравших и сохранивших неисчислимые национальные богатства, без которых невозможно представить себе историю мировой культуры.

2

Когда-нибудь, надо надеяться, будет написана история наших литературных архивов — книга о замечательных архивариусах, об увлекательной судьбе документов, о великих открытиях, сделанных в тишине читальных залов рукописных отделов библиотек и музеев. И тогда по времени создания среди них на первое место встанет Отдел рукописей Ленинградской Публичной библиотеки, носящей имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Правда, это не специально литературный архив: под сводами Отдела рукописей хранятся разнообразные документы, писанные не

только на бумаге, но и на папирусе, и на коре, и на пальмовых листьях, и на пергаменте, и на шелковой ткани, и на сердцевине растения тао. Тут собраны восточные палимпсесты, древнееврейские, турецкие, арабские, курдские, самарянские, джагатайские рукописи, первенец русской письменности — Остромирово Евангелие 1057 года. То самое! Тут — Лаврентьевская летопись и свиток из «Книги мертвых», добытый из саркофага фараона в Египте, написанный более трех тысячелетий назад. Тут найденные в катакомбах отрывки папируса II века нашей эры, и латинские кодексы, и листы так называемого «первоначального Корана», молитвенники Марии Стюарт и Анны Ярославовны — дочери Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I.

Пять тысячелетий заключены в шкафах Рукописного отдела Ленинградской Публичной библиотеки — уникальные документы, без которых не может обойтись ни один раздел гуманитарных наук. Достаточно вспомнить, скажем, книгу академика И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями», чтобы представить роль Отдела рукописей Публичной библиотеки для развития мировой арабистики — изучения арабской культуры средневековья. И наряду с этим — Публичная библиотека неиссякаемый кладезь для изучения литературы нового времени. И кто из ученых не использовал документов, хранящихся в Отделе рукописей библиотеки, начало которому было положено покупкой собрания П. П. Дубровского.

В дни Великой французской революции 1789 года скромный актуариус русского посольства П. П. Дубровский, бродя по парижским улицам, стал собирать бумаги, выброшенные из особняков богачей и аристократов, бежавших от народного мщения. Эти ценнейшие находки — четыреста документов и восемь тысяч автографов были привезены Дубровским в Россию и впоследствии куплены у него для Публичной библиотеки за пятнадцать тысяч рублей и тридцать тысяч ассигнациями годовой пенсии, что не составило и малой части их действительной стоимости.

От этой коллекции и пошло Отделение рукописей библиотеки или, как оно называлось вначале,— «Депо манускриптов», первым хранителем которого был поставлен известный поэт и теоретик стихосложения Александр Христофорович Востоков.

Не много имен заведующих Отделением рукописей

Публичной библиотеки может назвать историк — не может по той причине, что за полтора века существования библиотеки сто лет из них Рукописным отделением руководили только двое ученых — сперва Афанасий Федорович Бычков, а после того, как он стал директором Публичной библиотеки,— сын его Иван Афанасьевич. Отец вступил в заведование Отделением в 1844 году. Сын, не покидая поста даже во время блокады, умер в 1944 году. Заслуги обоих огромны. При них Отделение стало одним из величайших архивохранилищ мира. Бычковы составляли не только описи поступающих бумаг, но и отчеты, и научные описания. Ивана Афанасьевича — крупного историка, публикатора, члена-корреспондента Академии наук, избранного еще до революции, хорошо знали многие здравствующие ныне исследователи. И все вспоминают, конечно, и широкую дубовую лестницу, что вела в круглый зал, увешанный превосходными портретами русских писателей, и читальный зал с мраморным Нестором-летописцем.

Казалось, ты попал в подводное царство: ни шума, ни трамвайных звонков — тишина. И часы отбивают возле Ивана Афанасьевича не часы, а столетия. Навстречу с огромной связкой ключей спешит крохотный седенький старичок, покосившийся, как избушка, весь в черном, строго застегнутый, с розовыми ободками вокруг век на бледном лице. Схватив за руку вас и понимая ваши вопросы гораздо быстрее, нежели вы можете торопливо высказать их, он обещает подготовить все материалы на завтра и подводит вас к двери, прощаясь.

На сегодня аудиенция кончена.

Он отличался каким-то особым даром доброжелательства — Иван Афанасьевич. И неизменным стремлением не только предоставить ученому материалы, но и снабдить его новыми, неизвестными. Оказать ему помощь — и в прочтении трудного текста, и в комментировании, и в осмыслении изучаемых документов. Познания Бычкова по глубине и обширности были необычайны. Справедливо будет сказать, что он не только комплектовал и хранил рукописные фонды, но и деятельно содействовал движению науки.

Но что касается пополнения фондов, то в дореволюционное время оно производилось без всякой системы, ибо средств на покупку рукописей библиотека не получала,

за исключением случаев особых, когда отпускались ассигнования на приобретение какой-нибудь знаменитой коллекции, скажем, восточных и греческих манускриптов, собранных К. Тишендорфом. Заграничные командировки и даже поездки по русским городам в поисках рукописей практиковались до крайности редко. Не хватало не только средств, но и штатов. Отделение обслуживал один постоянный и один «приглашенный» сотрудник. Изредка рукописный фонд в ранние времена пополнялся за счет военных трофеев, но чаще — слагался из пожертвований частных лиц. С течением времени к И. А. Бычкову начали поступать в большом количестве архивы общественного характера, и частные, и фамильные. Но передача последних нередко сопровождалась условием не вскрывать бумаг в продолжение обусловленного, иногда очень долгого, срока. Все это объясняет, почему собрание Публичной библиотеки комплектовалось без всякой системы. И почему знал эти сокровища в целом только один человек — Иван Афанасьевич Бычков. Его феноменальная память служила единственным путеводителем в этом безбрежном океане рукописных богатств, ибо даже самого краткого каталога в отделении не было.

3

Основу Отдела рукописей Румянцевского музея в Москве, нынешней Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, отметившей недавно свое столетие,— основу отдела составило богатейшее собрание исторических документов Н. П. Румянцева. Но дальнейшие пожертвования превратили его в один из крупнейших литературных архивов. Как и Отделение рукописей «императорской» Публичной библиотеки, этот отдел тоже рос «без чувствительных жертв со стороны казны» (так сказано в одном из отчетов). Покупки осуществлялись «за счет просвещенных жертвователей». Из них крупнейшие составили собрания коллекционера В. М. Ундольского и академика Н. С. Тихонравова. Но большая часть рукописных богатств, в частности огромный архив М. П. Погодина, была получена безвозмездно. Словом, и здесь на приобретение архивов не было истрачено даже и малой части их стоимости.

Важную роль в этом общем внимании к нуждам Отде-

ла рукописей играл авторитет его первого ученого хранителя Алексея Егоровича Викторова. Успешно продолжал пополняться Отдел и позже, когда во главе его встал Григорий Петрович Георгиевский. Это ему посчастливилось обнаружить в избе в Архангельской губернии называемое теперь «Архангельским» Евангелие 1091 года. Ездил Георгиевский на Урал, где в «ямах» жили старообрядцы. Ходил в весеннюю слякоть по московским базарам, куда старьевщики пригоняли возы, груженные всяческой рухлядью, среди которой цепкий, опытный глаз Георгиевского замечал то рукописную книгу, то старинную рукопись. Он знал всех коллекционеров в Москве. Знал интересных людей. Широко собирал архивы писателей нового времени. Именно он получил от вдовы А. Н. Островского рукописи великого драматурга. Это он вступил в переговоры с Софьей Андреевной Толстой и принял от нее березовые сундучки с рукописями Л. Н. Толстого. Именно к нему привез на извозчике сын поэта Александр Александрович Пушкин бумаги отца и передал вместе со шкафом, в котором они хранились. А рукописи Гоголя, Герцена, Огарева!..

Но никак нельзя сравнивать эту великолепную собирательскую работу Г. П. Георгиевского с заведенным при нем порядком хранения и выдачи рукописей. По складу характера и по взглядам своим Г. П. Георгиевский вовсе не был таким доброхотным помощником и советчиком своих ученых читателей, как Иван Афанасьевич Бычков. Крепко сбитый, с жесткой щеткой усов, без возраста (хотя, когда я узнал его, он был уже в весьма преклонных годах), полный ревнивой страсти, глазами быстрыми, неспокойными следил он в читальном зале за движением рук своих посетителей, листающих манускрипты, добытые им когда-то с таким трудом — им, Григорием Петровичем Георгиевским! Глядя на него, вы невольно вспоминали бальзаковского героя. Казалось, что отдавать другим это рукописное золото, хотя бы и ненадолго, составляет для него невыразимую муку.

Сообщения о поступлениях Г. П. Георгиевский печатал в самой общей и краткой форме, каталогов в Отделе не было. О том, что хранится там, точно знал он один. Читателям же что-либо выведать от него было совсем непросто. Обстановка в Отделе рукописей изменилась только после Октябрьской революции, да и то далеко не сразу.

4

Если Рукописный отдел Ленинградской Публичной библиотеки и Отдел рукописей Румянцевского музея не являются *собственно литературными* архивохранилищами, а представляют собою исторические архивы с большим числом фондов литературного содержания, то Рукописное отделение Пушкинского дома Академии наук возникло именно как хранилище документов литературных.

Пушкинский дом был основан в 1905 году. И в числе первых покупок приобрел огромный архив видного литературного деятеля пушкинской эпохи П. А. Плетнева. Известный парижский собиратель А. Ф. Онегин-Отто завещал Пушкинскому дому свою коллекцию с условием, что она будет перевезена в Россию, когда он умрет. Сюда поступили крупнейшие собрания С. А. Венгерова, Стасовых, Д. Я. Дашкова, журнала «Русская старина». Но и Пушкинский дом с самого начала испытывал затруднения, связанные с приобретением за деньги. В 1909 году продавался архив известного историка литературы и библиографа П. А. Ефремова, оцененный тогда в шестнадцать тысяч рублей. И Пушкинский дом смог приобрести только самую небольшую часть. Остальное разошлось по рукам, распылилось, и так до сих пор этот важнейший архивный фонд остается разрозненным. И если все же Пушкинский дом за короткий срок создал богатейшее собрание рукописей, то объяснение этому надо искать прежде всего в том общественном интересе к изучению Пушкина, который особенно возрос с конца прошлого века. Организация специального «Дома Пушкина» сопровождалась широчайшей общественной поддержкой, выразившейся, в частности, в приношениях Пушкинскому дому книг, музейных предметов и рукописей, связанных не только с Пушкиным, но и с эпохою, и с русской литературой вообще. Авторитет Пушкинского дома и главного хранителя его рукописных богатств Б. Л. Модзалевского очень способствовал комплектованию архивных фондов. «Отдать архив Модзалевскому» в кругах гуманитарной по своим склонностям передовой петербургской интеллигенции считалось прогрессивным решением. Если присоединить к этому энтузиазм создателей Пушкинского дома, то станет понятным, почему его Рукописное отделение смогло сосредоточить не только пушкинские бумаги, но и значительную

часть прямухинского архива Бакуниных, и архивы семьи Аксаковых, Баратынского, Гаршина, Гоголя, Державина, Добролюбова, Достоевского, Крылова, Лескова, Леонида Майкова, Некрасова, Писемского, Полонского, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Успенского, Фета и еще многих и многих писателей, ученых, общественных деятелей XVIII—XIX веков, сумело собрать ценнейшие материалы о декабристах, сосредоточить у себя фонды композиторов, актеров, журнальных редакций. Богато представлены в Рукописном отделении материалы писателей иностранных, иностранных ученых, политиков Запада...

Эти огромные рукописные накопления положили начало целому ряду научных трудов, выпущенных Пушкинским домом. И не случайно Пушкинский дом стал основой нынешнего Института русской литературы Академии наук СССР: взаимодействие между научно-исследовательским учреждением и архивохранилищем оказалось весьма плодотворным. Кажется, ни один из архивов страны даже и в наше время не может сравниться с Рукописным отделением ИРЛИ по числу научных описаний, обзоров и бюллетеней, а также по числу введенных в научный оборот новых рукописных источников, особенно русских классиков.

Велика во всем этом роль не только Бориса Львовича Модзалевского, но и сына его Льва Борисовича. Первый руководил Отделением по день своей смерти — до 1928 года. На том же посту умер и сын: Лев Борисович заведовал Отделением с 1943 по 1948 год. Эти два имени навсегда связаны с Пушкинским домом и вызывают чувство неизменной благодарности у всех исследователей русской культуры.

И не только два эти имени. То, что сделали А. Х. Востоков, А. Ф. и И. А. Бычковы, А. Е. Викторов, Г. П. Георгиевский, способно вызывать восхищение. Удивительно, как, не имея ни средств, ни достаточной помощи, эти ученые-архивисты сумели собрать и сохранить для истории сокровища, столь колоссальные по числу и значению. И Алексей Александрович Бахрушин — создатель в Москве Театрального музея, носящего его имя, и архива при нем! Или, скажем, создатели музея при Московской консерватории, из коего родился нынешний великолепный Центральный государственный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки с его нотными рукописными фондами. Или Дом-музей П. И. Чайковского в Клину, рукопис-

ный отдел Третьяковской галереи, богатейшее собрание писем художников в ленинградском Русском музее... Какие замечательные собрания! И в каждое вложен невидимый труд собирателя и хранителя — архивиста.

5

То, что рассказано здесь, касается комплектования литературных фондов и отчасти фондов, отражающих судьбы искусства, в дореволюционное время. После Октябрьской революции положение в корне меняется. На хранение начинают поступать огромные архивы ликвидированных государственных учреждений, духовных академий, монастырей, ценнейшие документы из опустевших помещичьих усадеб, из реквизированных особняков. И характерно, что в это бурное время специальный человек — М. С. Вишневский — едет по мандату В. И. Ленина на периферию, чтобы сохранить для истории архивные ценности, и пересылает их в Румянцевскую — ныне Ленинскую библиотеку. Много материалов попадает в губернские архивы.

Уже в первые месяцы существования Советского государства в это дело внесен порядок: 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров издает декрет о реорганизации архивного дела. Все ведомственные архивы царской России поступают в систему ЕГАФ — Единого государственного архивного фонда, который подчинен специальному учреждению — сперва Главархиву Наркомпроса РСФСР, а с 1922 года — Центрархиву при ВЦИК.

Помимо материалов ведомственного, делового характера, в системе Центрархива оказывается огромное количество рукописного материала, связанного с историей русской литературы, искусства и еще шире — русской культуры, в том числе архивы Дирекции императорских театров, Главного управления цензуры и множества других фондов.

И хотя декрет Совнаркома не касается вопроса о судьбе личных фондов, но и по этой части в хранилищах Главархива сосредоточиваются ценнейшие материалы — Чехова, Достоевского, Скрябина... Да одно перечисление того, что было изъято, скажем, из частных банков и сейфов, могло бы составить солидный том.

Удивление, восторг вызывает то, что сделано архивистами в эти годы! В тех условиях сохранение архивов являло собой настоящий подвиг. Вся страна стронулась с места. Идет еще никогда не бывалое перемещение архивных ценностей. Множество владельцев, бросая архивы на произвол судьбы, бежит за границу. Ценнейшие архивы подвергаются опасности в огне гражданской войны. И в этих условиях, когда страна, удушаемая в кольце блокады, отбивает одно за другим наступления врагов, появляются ленинские декреты об упорядочении архивного дела и специальная, написанная по поручению Владимира Ильича, брошюра В. Д. Бонч-Бруевича «Сохраняйте архивы».

Фамильные и усадебные архивы, свезенные в 1919 году в Москву, в бывший особняк Шереметевых на Воздвиженке, образуют особое отделение ЕГАФ. Вскоре такое же отделение создается и в Петрограде.

Растут фонды и старых хранилищ. Если в Отделе рукописей у Георгиевского до революции было десять тысяч рукописных книг и полмиллиона рукописных листов, то количество рукописных книг возрастает в пять раз, а рукописей становится в сорок раз больше. И достигает огромной цифры: двадцать миллионов листов.

Вторым важнейшим актом Советской власти в области архивного дела был декрет за подписью Ленина об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях. Этот декрет 1919 года открыл новые огромные возможности для науки.

В 1921 году Главархив ставит перед собою еще одну цель — пробует учесть материалы, которые остаются в частных руках.

Это стремление создать единый архивный фонд, включающий все категории архивных ценностей — в частности, фонд литературы, искусства и общественной мысли — зародилось еще задолго до Октябрьской революции, в 1904 году, когда в Женеве возник партийный архив при ЦК РСДРП и русская социал-демократия начала собирать партийные документы и материалы по истории революционного движения в России (они поступили потом в Истпарт — Комиссию по разработке истории партии и Октябрьской революции). Тогда же в Женеве в партийных кругах зародилась мысль и о создании в будущей

послереволюционной России музея русской литературы, критики и общественной мысли. Заметим, что эти планы обсуждаются еще до того, как при Академии наук в Петербурге организован Пушкинский дом.

Вскоре после победы Октябрьской революции В. И. Ленин говорит А. В. Луначарскому о необходимости создать специальный музей, где были бы собраны подлинные рукописи русских писателей, с тем чтобы можно было положить их в основу изданий, свободных от искажений царской цензуры. Комиссия для организации такого музея создана в 1931 году, самый музей открыт в 1933-м, а в следующем, 1934-м, слит с небольшим литературным музеем, существовавшим в Москве при Библиотеке имени В. И. Ленина, и тут получает ныне уже всемирно-известное имя: Государственный Литературный музей. Его возглавил Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич — старый большевик, сотрудник В. И. Ленина, бывший управделами Совета Народных Комиссаров, общественный деятель, историк, литератор и архивист. Начинается отмеченная подлинным советским размахом работа В. Д. Бонч-Бруевича и возникшего вокруг него коллектива по собиранию фондов рукописных, музейных и книжных.

Впервые учреждение подобного типа получает огромные средства и возможность покупать у частных лиц рукописи и музейные ценности. Устанавливается связь с периферией. В больших городах у Гослитмузея есть свои представители. Предпринимаются энергичные поиски за границей: Бонч-Бруевич сумел вовлечь в розыски рукописей аппараты наших посольств. Потоком идут в музей автографы, дневники, записные книжки, альбомы, чемоданы с письмами, черновиками, документы, воспоминания, рисунки, портреты, фотографии, книги с дарственными надписями, целые писательские библиотеки. И среди этих богатств — покупки особо ценные: тетрадь автографов Пушкина, подаренная им Н. В. Всеволожскому, рукопись Пушкина о Петре I, дневник П. И. Долгорукова — сослуживца поэта по Кишиневу, пятьдесят два тома материалов из архива П. И. Бартенева, архивы В. Г. Черткова, академика И. И. Срезневского и многое множество других.

Ни одно архивное учреждение, комплектуя свои фонды, никогда еще не применяло таких мощных средств пропаганды для популяризации своего дела и новых архив-

ных задач, вставших перед советской интеллигенцией. Пишутся сотни писем с предложением купить материалы. Направляются просьбы написать, выяснить, посоветовать. В газетах печатаются статьи, сообщения о новых покупках. Публикуются новонайденные автографы. К делу привлечен многолюдный актив. Сотни людей входят в приемную Литмузея и в директорский кабинет. Лица, передавшие свои материалы, в свою очередь, так или иначе становятся пропагандистами достижений музея. В работе его заинтересованы широчайшие круги литературоведов, историков: новые находки меняют представления, существовавшие в продолжение десятилетий. Музей выпускает «Летописи», сборники «Звенья», «Бюллетени», каталоги выставок, альбомы, комплекты открыток. В работе — десятки изданий одновременно: с собиранием архивов тесно связана публикаторская работа... Это новый этап в истории архивно-музейного дела!

Неоценима роль самого В. Д. Бонч-Бруевича: его связи, авторитет, решительность, энтузиазм, энергия, знания, государственный опыт, любовь к собиранию, ясное представление о том, как должно развиваться дело,— все оказалось существенным. К тому же этот высокий плотный старик с лысеющей головою, слегка склоненной набок и вниз, глядя на собеседника поверх очков, негромко и торопливо грассируя, так убеждает в важности этого собирания, что обратит кого хотите в страстного почитателя Гослитмузея и в помощника по розыску неизвестного, несобранного, неизданного, забытого, затерянного или запрещенного в прежние времена.

Материалы, собранные в Москве, на Моховой улице, сразу ставят Государственный Литературный музей в один ряд с самыми прославленными архивами. И не только литературными. Ни один архив никогда еще не накапливал такого количества ценнейшего материала за такой невообразимо короткий срок: 1933—1941. В сущности, период активного накопления был даже еще короче: 1933—1940. После ухода В. Д. Бонч-Бруевича с поста директора темп комплектования резко снижается. Но до самой войны — уже по привычке — в московский маленький особняк напротив станции метро «Библиотека имени Ленина» несут свои ценности люди, так или иначе связанные с русской литературой.

Только теперь, по прошествии долгого времени, в пол-

ной мере можно представить себе, какие культурные ценности спасены Гослитмузеем от неминуемой гибели и какую огромную роль в этом деле сыграл замечательный коллектив музея.

Но время требует новых решений. И перед самой войной под всем этим долгим периодом формирования русских литературных архивов подведена решительная черта.

6

В сущности, то, что последовало в марте 1941 года, было подготовлено и архивной политикой, и потребностями советской литературной науки.

Уже самые разговоры в 20—30-е годы о необходимости «искать» в архивах, чтобы «обнаружить» там нечто еще «неизвестное», самые термины «неразобранное», «залежи», «выявить», «рыться», «копаться в архивах» говорили о неполадках в архивном хозяйстве.

Покойный Н. П. Смирнов-Сокольский в каком-то из своих выступлений заметил, что, когда бухгалтер обнаруживает лишнюю копейку в отчете, он опасается, как бы эта копейка не обернулась для него недостачей. И что нечаянные находки в архивах свидетельствуют о том, что с равным успехом рукописи могут и пропадать.

Все архивные истории о находках и о пропажах объяснялись порядками, которые возникли еще в дореволюционную пору, а усугублены были мощными поступлениями фондов в первые годы Советской власти, когда в столицы рукописи доставлялись и в вагонах, и на телегах, и в пачках, и в связках, в ящиках, в сундучках и десятилетиями ожидали разборки.

Осложняло работу исследователей и то обстоятельство, что рукописи одного автора хранились не только в разных архивах, но и в городах разных. Рукописное наследие, скажем, Лермонтова находилось в трех местах в Ленинграде — в Пушкинском доме, в Публичной библиотеке, в Ленинградском отделении Центрального исторического архива. Хранилось оно и в Москве. Тут надо было обращаться и в Исторический музей, и в Литературный, и в Ленинскую библиотеку, и в Институт мировой литературы имени А. М. Горького, и в Архив древних актов, не говоря уже о списках стихов и поэм, очень важных для изу-

чения, но которые до сих пор хранятся во множестве архивов страны. А Некрасов! А Чехов!..

Централизация архивного дела открыла бы широчайшие возможности для палеографического анализа документов — сличения бумаги, чернил, почерков... Открылись бы новые данные для датировки и передатировки рукописей...

Между тем раздробленность фондов усугубилась еще и дробностью публикаций. Тексты, случайно обнаруженные в архиве, закреплялись, как правило, за нашедшими их сотрудниками и печатались в малотиражных архивных сборниках или в труднодоступных ведомственных изданиях. Осуществлять в этих условиях широкое изучение архивных ценностей, готовить значительные по характеру публикации, осмыслять новооткрытые тексты представлялось делом весьма затруднительным. Редакция «Литературного наследства», встретившись с этим в своей повседневной работе, уже в одном из первых томов поставила вопрос о необходимости изменить порядки в архивах — в деле хранения и в деле обнародования рукописей — и потребовала координации всей работы.

Поиски в этом направлении велись. И, по сути дела, создание в 30-х годах персональных архивов, располагающих всем рукописным фондом писателя,— архивов Льва Толстого, Горького, Пушкина, на Украине Шевченко,— диктовалось требованиями науки и уже представляло собою как бы подступы к этой общей целесообразной централизации.

Решению предшествовал опыт.

7

Двадцать девятого марта 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР предписал «организовать в г. Москве Центральный государственный литературный архив для хранения в нем литературных фондов государственных архивов и соответствующих документальных материалов музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов и других учреждений».

Это постановление, ускоренное необходимостью предохранить национальное архивное достояние от гибели на случай войны, не было мотивировано в документе и мно-

гими в литературных и архивных кругах было принято сдержанно. Но ученые, которых в первую очередь интересовали не архивные учреждения, а материалы архивные, организацию Центрального государственного литературного архива одобрили. 14 мая положение о ЦГЛА было утверждено. Центральный архив получал права на материалы Гослитмузея и на все, что хранится по литературе и по искусству в других центральных архивах страны, а также в музеях, театрах, учреждениях художественных и музыкальных.

Началась передача материалов Гослитмузея.

Война помешала намеченной концентрации. Полученное в количестве примерно ста пятидесяти тысяч единиц хранения срочно эвакуировано в тыл —в Саратов и Барнаул: материалы Гоголя, Жуковского, Сухово-Кобылина, Салтыкова-Щедрина, Герцена, Аксакова, Некрасова, Лескова, Короленко, Блока, Есенина, Маяковского — «Окна Роста», архив Макаренко...

Именно теперь, когда на Москву стали падать зажигательные и фугасные бомбы, надо было срочно собрать, чтобы вывезти в безопасное место, литературные материалы, принадлежащие другим — большим и малым — архивам. Центральный архив древних актов передает ЦГЛА Остафьевский архив Вяземских, материалы Зинаиды Волконской, Герцена, Суворина, редакций газет «Русские ведомости», «Речь», «Курьер»... Третьяковская галерея — архив кружка «Среда», архивы Строгановского училища, Школы живописи, ваяния и зодчества, фонды П. М. и С. М. Третьяковых, Остроухова, Клодта... В 1942 году Музыкальное издательство передает ЦГЛА две с лишним тысячи писем композиторов к издателю П. И. Юргенсону, Мурановский музей — архивы Тютчева, Баратынского. Срочно сдают свои архивы «Литературная газета», издательство «Искусство», Гослитиздат, Детгиз, журналы «Октябрь» и «Знамя». Часть материалов переходит из Исторического музея, ценные бумаги поступают из Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина... Собранная таким образом в Москве вторая партия материалов в количестве двухсот восьмидесяти тысяч единиц хранения вывозится в Барнаул. Тут материалы советских писателей, издателей, художников, искусствоведов, фонд Киреевских, Лермонтов, Достоевский, Чехов, Венецианов, Крамской, Айвазовский...

В конце 1944 года все фонды реэвакуируются в Москву. Сразу же после войны к ним приобщаются материалы: из Ярославля —Некрасова, из Горького — Короленко, из Воронежа — Никитина и Кольцова. Еще прежде Саратов передал в ЦГЛА материалы Н. Г. Чернышевского... К 1952 году фонды приведены в порядок и полностью учтены. Издан первый «Путеводитель». В 1954 году в соответствии с составом архива, далеко выходящим за пределы литературы и насчитывающим множество фондов музыкантов, художников, деятелей кино и театра, новый архив получает свое нынешнее название: Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, сокращенно — ЦГАЛИ.

8

Более трети века существует ЦГАЛИ. Эти пять прописных букв и адрес: Москва, Ленинградское шоссе, 50, знают ученые во всех странах. Не удивительно. Это один из крупнейших архивов мира, занимающий среди наших литературных хранилищ первое место. Десятки миллионов листов хранятся в его коробках. Более двух тысяч трехсот фондов. Фонды личные. Фонды учреждений. Тут писатели, поэты, публицисты, издатели, актеры, режиссеры, художники, музыканты, мастера балета, эстрады, цирка, журналы, киностудии, театры, литературные объединения и группы, учебные заведения... Тут Пролеткульт. Вхутеин. Вхутемас... Литература представлена именами от Ломоносова, Сумарокова и Радищева до Светлова, Пастернака, Олеши. Тут архивы Прокофьева и Мясковского, Довженко и Эйзенштейна, Дзиги Вертова, Мейерхольда, Таирова, Дикого, Михаила Чехова, Остужева, Виталия Лазаренко, Собинова, Обуховой, Вильямса, Мухиной, Есенина, Фурманова, Фадеева, Ильфа, Петрова, Гайдара, Казакевича, Евгения Шварца... Недавно поступила новая группа материалов из архива А. В. Луначарского: блокноты, конспекты его выступлений, наброски, множество писем — в том числе от Ромена Роллана, Анри Барбюса, Стефана Цвейга... Только за пятилетие в ЦГАЛИ поступило около трехсот пятидесяти тысяч документов — архивы Рериха, Петрова-Водкина, Глиэра, Вс. Вишневского, Галины Николаевой, Яблочкиной, Пашенной, Ильи Эренбурга...

Сотни трудов — монографий, статей, диссертаций, ди-

пломных работ — написано по материалам ЦГАЛИ. Ни одно собрание сочинений классиков и писателей новейшего времени не может быть полным без материалов ЦГАЛИ. Изучается ли декабристская литература или испанский театр, русско-венгерские литературные отношения или творчество Маяковского, символизм или мелодии Дунаевского — ни один ученый не минует читального зала ЦГАЛИ, не оставит нераскрытыми научные описания архива или изданные им многочисленные сборники, путеводители, каталоги. Не побывав в этом архиве, даже представить себе нельзя, как интересен он, как всем нужен! Но...

Перемените имена, поставьте иные цифры — и это же самое можно сказать о других литературных архивах.

Так в чем же отличие ЦГАЛИ от других литературных архивов? Почему он Центральный?

Попробуем ответить на это.

9

Постановление, подписанное перед войной, давало Центральному государственному литературному архиву право объединить в одном месте литературные материалы всех архивов страны, в частности, как уже сказано, предусматривалось их сохранение в условиях надвигавшихся международных событий. Но коль скоро объединение в полном объеме осуществлено тогда не было, а позже необходимость в этом отпала, рукописные отделения Пушкинского дома, Ленинградской Публичной библиотеки и Библиотеки имени В. И. Ленина продолжают функционировать как самостоятельные архивы. И нецелесообразно было бы лишать крупнейший научный центр — Ленинград собственных литературных архивов. Это ни в какой мере не умаляет авторитета ЦГАЛИ. Существуют же централизованные архивы Пушкина, Льва Толстого и Горького, и никто не усмотрел в том ущерба для всех остальных архивов, хотя всем пришлось отдать принадлежавшие им материалы. С другой стороны — и ЦГАЛИ не компрометирует то обстоятельство, что в его фондах нет ни Пушкина, ни Толстого, ни Горького.

Важна не абсолютная полнота — при централизации она и не кажется ощутимой. Важна организация дела. По-

добно тому как централизация промышленности в стране не означает размещения в одном городе всех предприятий, но прежде всего *централизацию управления* промышленностью, так Главное архивное управление и входящий в его систему ЦГАЛИ по-прежнему обладает правом осуществлять контроль за работой других аналогичных хранилищ и координировать ее.

Положительный результат этой координации вне сомнений. В корне изменилась система комплектования, обработки, хранения документов и в других литературных архивах страны, в которых наведен теперь отличный порядок. И было бы просто несправедливо умалить работу нынешних хранителей Рукописного отдела Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, знания, опыт, заслуги заведующей Отделением Сарры Владимировны Житомирской. Или многолюдный, хорошо «сыгранный» коллектив преемников Ивана Афанасьевича Бычкова. Или работу замечательного Рукописного отдела в Пушкинском доме, в которую много ценного внесли такие большие ученые, как Б. В. Томашевский, Н. И. Мордовченко, великолепный архивист Л. М. Добровольский и последующий руководитель отдела Н. В. Измайлов, М. И. Малова. Вы не узнаете теперь эти архивохранилища — постановку работы, порядок, систему хранения, вас удивит огромный размах в обнародовании рукописных сокровищ. Но...

Я говорил о ЦГАЛИ. Вернемся к нему.

ЦГАЛИ широко делится опытом. И каждая из его инструкций — это настоящий научный труд, в котором излагается опыт всего коллектива, и прежде всего, разумеется, его самых компетентных сотрудников.

В методическом кабинете ЦГАЛИ, где собраны описания фондов, рабочие каталоги, постоянно встречаешь архивных работников из республик, из областей, прибывших к Ирине Александровне Станкевич — еще молодой, но уже одной из старейших (и очень авторитетных) сотрудниц ЦГАЛИ, чтобы посоветоваться с ней, как строить работу, как решать возникающие архивные и исследовательские загадки.

Методический кабинет — один из важнейших «пультов» ЦГАЛИ. Это — центр научно-архивной работы. И это тоже может служить объяснением, почему Государственный архив литературы и искусства СССР в Москве носит название: Центральный.

В коридоре возле читального зала на карте СССР отмечены города, которым ЦГАЛИ помогает в постановке архивной работы. Таких точек — больше семидесяти. И надо сказать, что объединение усилий всех архивных организаций страны уже привело к созданию такого великолепного справочника, как двухтомник «Личные архивные фонды в хранилищах СССР», вышедший под тремя грифами — Главного архивного управления, Библиотеки имени В. И. Ленина и Архива Академии наук СССР.

Свою собственную работу ЦГАЛИ тоже строит на новых началах и представляет собою архив нового типа.

Первое, что надо сказать: работа ЦГАЛИ планомерна. Между тем всей предшествующей архивной работе не хватало именно плана. И даже огромный результат, полученный коллективом Гослитмузея, достигнут был главным образом вследствие того, что архиводержатели, узнав, что Бонч-Бруевич «покупает архивы», сами понесли ему ценнейшие материалы. Музей был силен прежде всего тем, что сумел широко информировать круги советского общества о своих задачах, создал вокруг себя великолепный актив и разъяснил общественный смысл своей работы. Но самотек определял ее гораздо больше, чем план.

Понятно, что работа в ЦГАЛИ над новыми документами начинается с отдела комплектования. Теперь уже нельзя рассчитывать на широкий поток материалов, какие текли в Литмузей. Поэтому, наряду с приобретением того, что переходит от писателей, поэтов, композиторов, живописцев, актеров к их детям, вдовам, друзьям или оказывается в руках собирателей, наряду с этим ЦГАЛИ ведет большую целенаправленную работу — следит за движением литературы, литературной науки, за работой людей искусства, за судьбами их архивов, за видоизменениями в структурах издательств, театров, киностудий, художественных мастерских и связанных с ними организаций государственных и общественных. И отчетливо представляет себе документальное отражение всех этих процессов.

Все достойное внимания взято на учет. Задолго до того, как материалы будут переданы в ЦГАЛИ, заводится специальная карточка, на ней отмечаются сведения, которые могут дополнить и уточнить сведения о будущем фонде. После этого начинаются переговоры.

Этого мало. Материалы еще в том учреждении, в котором они отложились, а ЦГАЛИ уже заботится о сохран-

ности и целости их, пресекает их разбазаривание, осуществляет на месте первоначальную обработку. Так были получены материалы Комитета по делам искусств СССР, аналогичного Комитета РСФСР, Всесоюзного управления по охране авторских прав, журналов...

Если речь идет о фондах происхождения личного, то тем более: прослеживается, к кому могли перейти материалы — к жене, или к близкому лицу, или к детям, к друзьям... Если создается комиссия по творческому наследию умершего композитора, или писателя, или художника, ЦГАЛИ заботится, чтобы в нее был введен представитель архива. В дальнейшем этот сотрудник работает вместе с членами комиссии, с наследниками, вдовой.

Надо искать архивы! Надо спасать архивы! Иметь дело с владельцами рукописных богатств, желающими расстаться с ними и сожалеющими об этом! А это доступно не всем! Тут надобно обладать редким тактом, умением разговаривать с людьми, вступая с ними в душевный контакт. И в то же время соблюдать интересы архива. Вот почему в ЦГАЛИ комплектование фондов поручено «архивистам-психологам» — Козловой Миральде Георгиевне и Евгении Николаевне Воробьевой.

Если мы говорили о том внимании, каким была окружена работа Б. Л. Модзалевского, И. А. Бычкова, об атмосфере общественной заинтересованности вокруг В. Д. Бонч-Бруевича и Гослитмузея, то работу ЦГАЛИ еще менее можно представить себе без актива хотя бы по той причине, что деятельное участие в комплектовании фондов его принимают сами «фондообразователи». В прежнее время такая форма участия была бы попросту невозможной, коль скоро прежде архивохранилища имели дело с материалами лиц умерших, участие которых в этом деле не могло выразиться ни в одобрении, ни в порицании работы архива, тем менее — в помощи. Однако, в отличие от всех ранее существовавших архивов, ЦГАЛИ обращает особое внимание на комплектование современных фондов, фондов советской эпохи. И не только на архивы творческих организаций и учреждений, но и на личные фонды. И не только умерших писателей, режиссеров, актеров, художников, но с не меньшим усердием собирает архивы живых, которые продолжают успешно трудиться и даже не собираются умирать. ЦГАЛИ сосредоточивает у себя их архивы, получает их «на корню», фиксирует

историю нашей культуры не «задним числом», а при жизни «фондообразователей». И собирает не случайно уцелевшие лоскутки, а комплектуя полноценные фонды. Помогали в этом архиву многие известные люди — Д. Д. Шостакович, Н. С. Тихонов, К. М. Симонов, М. В. Исаковский, С. П. Щипачев, С. Г. Бирман, Д. Б. Кабалевский, Н. П. Акимов, А. Г. Коонен, С. В. Гиацинтова... Некоторые из них сами передали практически уже ненужные им наброски, черновики, документы, записные книжки, вырезки, стенограммы, письма. В условиях постоянной смены квартир, переездов в новые районы, работы то на даче, то в городе, когда, по меткому выражению, «два переезда равняются одному пожару», такое предусмотрительное комплектование фондов всецело себя оправдывает. Естественно, что, передавая столь «живое» пополнение в архив, «фондообразователь» может поставить ограничительные условия в смысле выдачи материалов в посторонние руки в продолжение какого-то срока. И ЦГАЛИ принимает эти условия. Зато архив сохранен целиком, разобран, описан, датирован, осмыслен, ЦГАЛИ документирует сегодняшний день. И в этом его большая новаторская заслуга и существенный его вклад в архивное дело.

Однако, не ограничиваясь тем, что может сохраниться в личных архивах, ЦГАЛИ занимается еще и «организацией» архивного материала — записывает на магнитную ленту выступления известных поэтов, деятелей нашей культуры, ставит своей целью следить за стенографированием литературных совещаний, обсуждений, читательских конференций.

Активно развивает ЦГАЛИ и зарубежные связи, получает архивы, отражающие историю нашей литературы, культуры. Так возвратились на родину архивы Андреева, Бунина, Аверченко, Тэффи, Осоргина, композитора Гречанинова, автографы Герцена, Степняка-Кравчинского, Репина, Есенина, Марины Цветаевой... Чего стоит доставленный из Парижа дневник Анны Алексеевны Олениной, вызвавшей к жизни «Я вас любил...» — вдохновенное признание Пушкина!

У ЦГАЛИ множество верных друзей — ученых, писателей и артистов всех жанров и всех специальностей, которые рады помочь архиву даже без просьбы. Так, в 1965 году известный искусствовед И. С. Зильберштейн

был приглашен Французской академией наук и пробыл во Франции более трех с половиной месяцев. С собою в Москву он привез несметное количество документов, ценнейших для истории русской культуры, и передал их... куда? В ЦГАЛИ! Вот тогда-то и поступил сюда дневник Анны Алексеевны Олениной.

Ксения Александровна — дочь Куприна — отдала в ЦГАЛИ купринский архив; русская парижанка Клеопатра Андреевна Мозжухина (по сцене Клео Карини) — вдова прославленного баса Александра Мозжухина привезла в Москву свои сундуки. И в них обнаружились рисунки Врубеля, автографы Мусоргского... Этим великолепным пополнением ЦГАЛИ обязан бывшему начальнику Главного архивного управления Г. А. Белову, побывавшему в Париже и договорившемуся с К. А. Мозжухиной о передаче ее материалов в ЦГАЛИ.

Входя в систему Главного архивного управления при Совете Министров СССР, ЦГАЛИ с помощью управления и осуществляет свои зарубежные поиски и приобретения. Руководство же ГАУ энергично и неизменно содействует возвращению в Советский Союз наших архивных ценностей и за последние годы помогло существенно восполнить пробелы в фондах ЦГАЛИ.

Так обстоит дело с комплектованием архива, в частности с находками зарубежными.

10

Но получить материал — это только часть дела. Тем более что материалы редко сдаются в архив в порядке. Чаще ЦГАЛИ получает бумаги навалом, а иной раз и россыпь, в которой не найдешь ни концов, ни начал. Все это следует разобрать. Прочесть. Определить почерки. Связать документы между собой. Датировать. Узнать, кто изображен на фотографиях. И когда они сняты. Основной принцип при этом — не доверять ничему: ни надписям, ни публикациям, ни тем более заверениям словесным,— идти путем строго логическим.

Так обследуется в архиве любой документ, любое изображение. На групповых фотографиях надо узнать в лицо каждого. Для этого в ЦГАЛИ заведена картотека опознанных фотографий, кои сличая можно определить и вновь

поступившую. Аналогичная картотека заключает в себе образцы почерков. Но почерк меняется. И в картотеке отражен почерк одного и того же лица в разные годы жизни.

Если находка автографа Чайковского или Гоголя при разборке бумаг, десятки лет пролежавших в архиве, кроме понятной всем радости, вызывала у архивистов и неловкое чувство, то неожиданно найденный Гоголь в материалах, только что поступивших в архив,— это радость полная и законная. И такие праздники бывают в ЦГАЛИ нередко. Да даже и без находки получение, скажем, автографа симфонии Шостаковича или рассказа Бунина может вызвать только радость и гордость.

В прежнее время материалы десятилетиями ожидали разборки и описания. В ЦГАЛИ эти сроки сокращены до предела. Наиболее ценные, даже очень большие архивы обрабатываются не более двух лет. Достигается это прежде всего разумным распределением работ и еще тем, что каждый род материалов обрабатывает архивист, специально изучивший данную область культуры. Приведением в порядок вновь поступивших фондов заняты Наталия Владимировна Саводник — музыковед, историк литературы Елена Ивановна Лямкина. Драматургия в руках Яценко Нины Романовны. Кинематографические архивы разбирает Галина Дмитриевна Эндзина. Общее руководство отделом поручено Ираиде Васильевне Фирсовой.

Один из видных советских писателей, сдавший архив в ЦГАЛИ, как-то признался, что нужную запись ему теперь легче найти, чем в ту пору, когда его архив лежал у него дома. И за справкой, касающейся его самого, он посылает в архив. Еще бы! Проще простого найти документ в ЦГАЛИ, если ты даже не видел его ни разу. Документы описаны, отражены в каталогах. А в связи с другими документами фонда подробно представлены в описи. Но еще прежде, чем отправиться в ЦГАЛИ, вы можете взять «Путеводитель» — они у ЦГАЛИ превосходны, подробны! — и, не выходя из квартиры, отчетливо представить себе, в каком фонде находится интересующий вас материал. И можете в ряде случаев заказать микрофильм или фото, не выезжая из дома. Или из города, если живете вы не в Москве.

«Путеводитель» не составляется сам по себе. Это тоже научный труд, только особого рода. Каждая аннотация требует знаний огромных и умения коротко передать со-

держание не одного документа, а сотен и тысяч. Много труда и искусства вкладывает в составление всех этих книг Валентина Павловна Коршунова. Зато комбинация: «Путеводитель», опись и каталог — с полной ясностью раскрывает богатства архива и делает их абсолютно доступными. Можно сказать, что бумаги, хранящиеся в коробках, до которых не может добраться ни один посторонний, «лежат у всех на виду»!

На виду!.. Но для того, чтобы инструктировать другие архивы по части хранения, ЦГАЛИ прежде всего должен был сам разрешить эту проблему. И действительно: она решена! Пятиэтажное здание архива на Ленинградском шоссе дает возможность хранить материалы в условиях, полностью отвечающих современным научно-техническим требованиям: сквозь специальные стекла проникает рассеянный свет, в помещении поддерживаются заданные температура и влажность. Коробки на стеллажах, в которых хранятся папки с драгоценными документами, непроницаемы для огня и для пыли. Наблюдает за сохранностью этих бесчисленных сокровищ Меллит Зинаида Павловна, главный хранитель ЦГАЛИ.

11

Полнота, последовательность, с какою представлены в ЦГАЛИ фонды деятелей советского искусства и советской литературы, в известной мере предопределяет теперь и характер архива. Многие фонды в ЦГАЛИ начинают «перекликаться». Известно, например, что Всеволод Эмильевич Мейерхольд, начинавший свой путь на сцене Художественного театра, впоследствии со МХАТом порвал, а на старости лет снова мечтал о творческом содружестве с К. С. Станиславским. Сергей Михайлович Эйзенштейн,— его архив хранится в ЦГАЛИ,— пишет, что любовь Мейерхольда к К. С. Станиславскому, даже в самые боевые годы борьбы против Художественного театра, была удивительной. «Я помню его на закате,— пишет С. М. Эйзенштейн о Мейерхольде,— в период готовящегося сближения с Константином Сергеевичем. Было трогательно и патетично наблюдать это наступающее сближение двух стариков... Помню сияние глаз «блудного сына» (Мейерхольда), когда он говорил о новом воссоединении обоих «в обход троп, сторонних истинному театру».

И Эйзенштейн заключает это воспоминание словами: «Для меня это слишком близко, слишком родное, слишком «семейная хроника»... я же в некотором роде сын и внук этих ушедших поколений театра».

Этим листкам, хранящимся в ЦГАЛИ в фонде С. М. Эйзенштейна, отвечает документ из мейерхольдовского архива — письмо одного из основателей Вахтанговского театра народного артиста Б. Е. Захавы, из которого мы узнаем, как относился к Мейерхольду Станиславский. Оказывается, еще в 20-х годах он мечтал о новом творческом содружестве с Мейерхольдом. Письмо датировано 1924 годом. Вахтанговцы после смерти своего гениального режиссера надеются, что Станиславский и Мейерхольд возьмут на себя руководство театром.

«Перспектива работы с Вами увлекает Константина Сергеевича,— пишет Мейерхольду Захава.— Когда он говорит об этом, он весь оживляется. Интерес к Вам у него очень большой. Говорит о Вас с большим уважением и как бы с некоторой гордостью (ведь он все-таки мой ученик)».

Эта новая творческая встреча состоялась незадолго до смерти К. С. Станиславского, который после закрытия мейерхольдовского театра пригласил В. Э. Мейерхольда работать в оперной студии своего имени.

Еще одна «единица хранения» — из архива С. М. Эйзенштейна — фотография В. Э. Мейерхольда с дарственной надписью:

«Горжусь учеником, уже ставшим мастером. Люблю мастера, уже создавшего школу. Этому ученику, этому мастеру — С. Эйзенштейну — мое поклонение. *22 июня 1936 года»*.

Если к этому прибавить, что архив В. Э. Мейерхольда, которому грозила опасность погибнуть, взял С. М. Эйзенштейн, что он отвез его на свою дачу в Кратово, сложил в чулан и сохранил для истории около двух с половиною тысяч документов, в которых отразился творческий путь самого Мейерхольда и руководимого им театра, откуда вышли такие великолепные мастера сцены, как Ильинский, Бабанова, Жаров, Боголюбов, Яхонтов, Гарин, Свердлин, Мартинсон, да и сам Эйзенштейн; если вспомнить, что об этом стало известно после смерти самого

С. М. Эйзенштейна, то уже по глубочайшим связям этих трех великих имен — Станиславский, Мейерхольд, Эйзенштейн,— отраженных в ЦГАЛИ, можно судить хотя бы отчасти о документальной «драматургии» архива, о листах, заключенных в его хранилищах и доступных теперь всему ученому миру и миллионам читателей.

Эта перекличка документов в ЦГАЛИ составляет его особенность, ибо другие архивы скомплектованы либо по личным фондам, либо по учреждениям; ЦГАЛИ же хранит и те и другие. И личный фонд генерального секретаря Союза писателей СССР А. А. Фадеева отвечает материалам из фонда Союза писателей СССР за эти же годы. Личный фонд В. Э. Мейерхольда соотносится с материалами носившего его имя театра. Фонд Камерного театра дополняется личным фондом А. Я. Таирова и материалами А. К. Коонен. А это помогает сразу увидеть живую картину истории — литературы, искусства...

12

Для всех архивов, о которых я здесь рассказываю, едва ли не единственной формой использования ими накопленного была выдача документов в читальный зал. Нет, ЦГАЛИ широко применяет многоразличные формы работы и знакомит с богатством фондов своих охотно и широко — и специалистов, и просто людей, интересующихся архивными раритетами и новинками. Не раз приходилось видеть витрины и стенды ЦГАЛИ в Колонном зале Дома союзов в Москве, когда там проходили съезды писателей, в Кремле в дни организации Союза кинематографистов, в Центральном доме литераторов в дни юбилейных торжеств, посвященных и классикам и живым. В Доме работников искусств. В Доме ученых. А в Доме кино за полгода выставку видели миллион пятьсот тысяч — 1 500 000 (ошибки тут нет!).

Побывали материалы ЦГАЛИ и в Европе, и в Азии — на выставках в Лондоне и Париже, Варшаве и Праге, Вене и Копенгагене, в Дели... Эта связь ЦГАЛИ с внешним миром происходит не от случая к случаю. В читальном зале архива занимаются ученые из Стамбула и Хельсинки, Бостона, Стокгольма, Флоренции, Осло... Архивист из Вьетнама приезжал, чтобы перенять опыт работы.

Но еще чаще и куда в большем числе посещают ЦГАЛИ ученые наши — из всех городов, посещают режиссеры, начинающие писатели, аспиранты, редакторы, журналисты. Имя ЦГАЛИ известно всей нашей стране, а за пределами нашими — всему ученому миру.

Много способствуют этому журнальные публикации, выставки, вечера встреч, телевизионные передачи. Тут нельзя заменить Майю Михайловну Ситковецкую с ее художественным вкусом и опытом.

Но еще не бывало, пожалуй, чтобы архив выступал как издатель полных собраний сочинений классиков. А ЦГАЛИ выступает! Под маркой его, Института истории искусств и Союза кинематографистов вышли полные собрания сочинений классиков мирового кинематографа С. М. Эйзенштейна и А. П. Довженко, фонды которых составляют часть величайших сокровищ ЦГАЛИ.

По архивной части этими изданиями ведает Юрий Александрович Красовский, известный обширностью знаний своих и работавший еще с Бонч-Бруевичем.

Совместно с ленинградским Институтом театра, музыки и кинематографии ЦГАЛИ предпринял многотомное издание «Советский театр в документах». В архиве эту еще небывалую по размаху работу ведет театровед широкого профиля Ксения Николаевна Кириленко.

Меняются времена. Меняется и характер архивной работы. И вид хранилища. И вид читального зала. Исчезли старомодные шкафы. Ушли в прошлое хранители-чудаки, они же и подлинные хранители культуры, и великие труженики.

Прежде всего в архиве сейчас не один сотрудник, не два, а их много. И работают они слаженно, согласованно, дружно, дополняя один другого.

Но оттого, что работу эту ведет уже не один человек, а множество,— менее привлекательной и менее романтичной она не становится. Только эта романтика выражается сейчас в открытости, в кипении работ, а не в таинственной тишине и покое. Да и самый архивист имеет теперь совсем другой вид.

О, это не старичок! Теперь это люди все больше среднего возраста, обладающие знаниями, деловыми связями, опытом, а зачастую незаурядными способностями, умом, беспредельно любящие свою профессию, свой архив, но в то же время полные молодой энергии. В ЦГАЛИ боль-

шинство из них женщины. Серьезные, но всегда готовые посмеяться. Деловые, но не забывающие об элегантной одежде. И сами ученые, и серьезные помощники многих ученых, и знаменитых и начинающих, лоцманы в океанах истории литературы, музыки, театра, кино и художеств.

Возглавляет ЦГАЛИ уже долгие годы Наталья Борисовна Волкова — один из самых талантливых, опытных и глубоко современных по стилю работы архивистов-филологов. А помогает ей недавно пришедший в ЦГАЛИ историк и архивист Зонтиков Виктор Кузьмич.

Все ли сделал ЦГАЛИ? Всего ли достиг?

Нет еще! Он растет. Если б все было уже позади, ЦГАЛИ превратился бы в мертвое учреждение. Такого не будет с ним никогда.

Нет сомнения, что ЦГАЛИ может и должен сосредоточить у себя микрофильмы решительно всех документов, хранящихся в других архивах этого профиля, и практически стать архивом, создавшим единый фонд. И для меня нет сомнения, что в дальнейшем к этому и придет. Пока же ЦГАЛИ микрофильмирует документы из собственных фондов, чтобы предохранить от износа драгоценные оригиналы. И двадцать процентов всех выдач в читальный зал составляют уже микрофильмы.

Нет сомнения и в том, что ЦГАЛИ может создать генеральный каталог всех рукописей, хранящихся в других архивах страны, располагающих документами по литературе и по искусству. И надо думать, что это составит впоследствии одну из его важных задач.

Что еще пожелать архиву? Собирать и хранить звукозаписи выступлений писателей — живое звучание стихов, прозы; речей, сказанных на творческих вечерах, юбилеях, заседаниях редакционных коллегий. Откладывать нельзя. И так упущено многое. А как часто живое слово писателя выше его автографа и заключает более поздний текст... Что еще? Практиковать археографические поездки. Еще больше искать, расширять свои поиски литературных материалов и всего того, что отражает художественное творчество за пределами уже освоенного обширного круга связей в мире искусства.

Успеха вам, хранители исторической правды, дорогие цгалийцы!

1970

Издание высокого класса

В конце 1931 года в Москве, под маркой Журнально-газетного объединения вышло новое издание — «Литературное наследство», № 1 — сборник, которому суждено было стать первым в ряду замечательных историко-литературных томов, заключающих сотни выдающихся литературных находок и литературных открытий, колоссально расширивших наши представления о классической русской литературе и о ее истории.

И не только русской. И не только истории.

Первый номер открывался публикацией ценнейших теоретических документов — неизданного письма Фридриха Энгельса к Паулю Эрнсту, заключающего в себе важнейшие эстетические положения марксизма. Затем шли документы, проливающие свет на борьбу В. И. Ленина с богостроительством, неизданные литературно-критические работы Г. В. Плеханова, листовки о Парижской коммуне... Забегая вперед, замечу, что в следующих десяти номерах редакция опубликовала письма Энгельса о Бальзаке, высказывания Маркса и Энгельса о трагедии Лассаля, мысли Энгельса о тенденциозности в литературе, эксцерпты Маркса из «Эстетики» Фишера, пометы В. И. Ленина на «Книжной летописи» и на книге Ю. М. Стеклова о Чернышевском — публикации, которые сразу же были отнесены к числу важнейших открытий марксистско-ленинской эстетики.

Инициатором и создателем этого замечательного издания был двадцатипятилетний историк литературы Илья Самойлович Зильберштейн — человек, одержимый в своей страсти к литературе, к истории, организатор неукротимой энергии, могучей работоспособности, воли. Задумав

то, что вот уже какое десятилетие называется «Литературным наследством», он явился к руководителю Журнально-газетного объединения Михаилу Ефимовичу Кольцову и стал убеждать его в необходимости приступить к публикации и к изучению того, что таится в недрах наших архивов.

Кольцов увидел в этом предложении важное и весьма современное дело. Партия призывала взять все лучшее в наследии прошлого для строительства советской культуры. А для этого передовую русскую культуру прошлого времени надо было очистить от предвзятых и ложных истолкований и не противопоставлять классическое наследство современности, а показать, как это настоящее созревало в прошлом в жестокой борьбе реакции и прогрессивных сил русской литературы. Не забудем: в ту пору слышались призывы сбросить Пушкина с корабля современности и отвергнуть дореволюционную русскую и буржуазную западную культуру как якобы ненужные в эпоху диктатуры пролетариата.

Кольцов поддержал идею издания сборников, где И. Зильберштейн предлагал публиковать неизвестное, забытое, запрещенное, изувеченное царской цензурой.

Первые номера были целиком подготовлены И. Зильберштейном. И получили самую высокую оценку читателей и печати. В качестве эпиграфа на издании значатся ленинские слова: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством».

Среди материалов, обнародованных в первом номере, были помещены неизданные тексты Щедрина с примечаниями молодого, очень серьезного литературоведа Сергея Макашина, который вслед за этим включился в работу редакции и так же, как И. Зильберштейн, отдал ей более сорока лет.

К работе над четвертым номером был привлечен Иван Васильевич Сергиевский, успевший зарекомендовать себя в качестве острого литературного критика и эрудированного пушкиниста. Он рано умер, Иван Васильевич, но все, кто знал его, всегда вспоминают его с большим уважением и самыми добрыми чувствами.

И вот уже не первый, а восемьдесят третий номер вышел сегодня в свет. Даже трудно представить себе, что сделано за все эти годы! Напечатаны за сорок лет *сорок одна тысяча* страниц высоконаучного текста!

Многие тысячи впервые увидевших свет документов.

Одиннадцать тысяч иллюстраций — неизвестные портреты, карикатуры, рисунки, репродукции неизданных рукописей, надписи великих писателей на их книгах!.. Одних цветных вкладок — 130, составляющих украшение этих всегда отлично изданных, отлично оформленных книг, которыми вправе гордиться не только наука советская, но и советская полиграфия (и прежде всего типография Гознак, которая придает томам «Литнаследства» такой современный, такой деловой и праздничный вид).

Но я хочу назвать и других, кто отдал годы работе в редакции: Наталью Давыдовну Эфрос, Леонида Рафаиловича Ланского, Алексея Николаевича Дубовикова, Лию Михайловну Розенблюм, Маргариту Ильинишну Беляеву. Позже пришли нынешний ответственный секретарь редакции Николай Алексеевич Трифонов, Татьяна Георгиевна Динесман. В разные годы трудились в редакции Ксения Петровна Богаевская, Владимир Викторович Жданов, Наталия Александровна Роскина. Нельзя не вспомнить сегодня тех, кого уже нет: Галину Николаевну Шевченко и Марию Рувимовну Рабинович, которую заменила Клавдия Ивановна Афонина.

Более четверти века редакция помещается на Волхонке, дом 18. Первый этаж. Комната площадью 16 кв. метров. Вся русская литература прошла через эту комнату. Ее заполняли русские песни. И XVIII век. И Пушкин. И декабристы (декабристам «Литературное наследство» посвятило три тома). И Лермонтов (Лермонтову отведено два тома). Грибоедов. Гоголь. Белинский (материалы Белинского занимают три тома). Герцен и Огарев (шесть томов). Некрасов (три тома). Салтыков-Щедрин (два тома). Чернышевский и Добролюбов. Революционные демократы, Слепцов, Достоевский (два тома), Лев Толстой (шесть томов). Чехов. Символисты. Горький — переписка с Леонидом Андреевым. Маяковский. Международное объединение революционных писателей. Особый том заняла переписка Горького с советскими литераторами. Еще два — «Советские писатели на фронтах Отечественной войны». А сколько замечательных материалов было напечатано в сборных томах! Довольно было бы назвать пять неизвестных «Философических писем» П. Я. Чаадаева. Но ведь тут и Грановский. И Полежаев. И Денис Давыдов. И Гончаров. Языков и Тютчев. Козьма Прутков, Пи-

сарев, Курочкин, зарождение пролетарской литературы. Какое богатство!

А гётевский том! А три тома «Русская культура и Франция»!

Еще при начале издания были намечены выявление и публикация документов, хранящихся в советских архивах и освещающих международные связи русской литературы. В связи с приближением сотой годовщины со дня смерти Гёте редакция стала готовить специальный гётевский том, куда вошли публикации неизданных переводов из Гёте, обзоры высказываний о нем русской критики, и воплощений Гёте в русской музыке, и в русском театре, и в русском художественном наследии, и судьбы сочинений Гёте в русской цензуре. Но основные труды этого тома — вводная статья А. В. Луначарского «Гёте и его время» и исследование С. Н. Дурылина — огромное, более четырехсот страниц! — «Русские писатели у Гёте в Веймаре», написанное по материалам, выявленным, собранным и всесторонне проверенным редакцией «Литературного наследства». Увы! Этот том вышел в свет в начале 1933 года, когда уже горел рейхстаг и культурные связи с Германией были разрушены. Только спустя тридцать лет с лишним со дня выхода его в свет этот труд получил оценку, и оценку очень высокую, в ученой среде ГДР.

Наступившее оживление наших научных связей с Францией побудило редакцию приступить к работе над томами «Русская культура и Франция». Чего только нет в этих ценнейших трех книгах общим объемом почти в три тысячи страниц! Широчайший обзор связей русской и французской культур на протяжении трех столетий. Тут неизвестный Вольтер и неизвестный Руссо, Гюго, Беранже, Шатобриан, Жорж Санд, Золя... И шедевр, украшающий эти тома,— исследование Л. Гроссмана «Бальзак в России», написанный на материалах, выявленных, изученных и проверенных редакцией «Литнаследства». А в итоге — труд, за который Л. Гроссману была присуждена ученая степень доктора филологических наук без защиты.

Но, увы, два тома из трех вышли в свет, когда сапоги гитлеровских солдат уже попирали мостовые Парижа. И во Францию тогда эти тома не попали. По счастью, сборники «Литературного наследства» не стареют. Не могут устареть! И по прошествии долгого времени советские и французские филологи и историки обращаются и будут

впредь обращаться к этим неисчерпаемым по содержанию томам. Ибо рассчитаны все эти книги не на один год и не до следующего труда на эту же тему, а на долгие сроки. Почти каждый том «Литературного наследства» — это *этап* в изучении темы. Вышел, скажем, в 1935 году пушкинский том «Литнаследства». С тех пор началось и закончилось академическое издание Пушкина — труд большого коллектива ученых, изданы десятки новых трудов. А № 16-18 «Литературного наследства» продолжает сохранять значение для литературной науки, и сохраняет не только потому, что в нем впервые увидела свет тетрадь автографов Пушкина, известная под названием «Тетрадь Всеволожского», отыскавшаяся в Белграде. Не только потому, что тут впервые воспроизведены репродукции страниц не найденной до сих пор тетради автографов Пушкина, так называемой «тетради Капниста». Нет, в этом томе с замечательной полнотой отражено открытие нового Пушкина, каким он предстал перед нами в нашу эпоху. Есть там одна-две статьи, которые заключают преходящие точки зрения — сейчас я говорю не о них.

Лермонтовские тома! И они стали этапом в изучении русской литературы. Один из томов вышел во время войны, другой — в 1947 году. С тех пор сделано много нового. Но лермонтовские тома «Литнаследства» не опровергнуты, не отменяются, не устарели. Все основательно, проблемно, добротно, документировано, насыщено новыми фактами. Это каскады ранее неизвестных фактов, подвергнутых филигранной научной обработке. Все связано между собой, каждый раз подчинено большой научной проблеме. Во всем обстоятельность, скрупулезность. И — масштаб! При этом каждая публикация обоснована, проверена, перепроверена, осмыслена, сопоставлена со множеством других документов. То же можно сказать и о некрасовских, и о «белинских» томах — это стиль всех работ «Литнаследства», обеспечивающих их долговременность. При этом все несущественное, случайное, не имеющее прямого отношения к изучаемой теме редакция отвергает. Но зато не упустит даже и самомалейшего факта, если он может оказаться путеводительным для дальнейших открытий. Я не хочу утверждать, что «Литературное наследство» никогда не допускало ошибок. Но, за исключением трех-четырех статей, за четыре десятилетия все остальное сработано первоклассно. Открытие за откры-

тием. Неизвестные стихи. Неизвестная проза. Неизвестные письма. Новые документы. Новые факты. Новые исследования. Какой том ни возьмешь — в руках твоих подлинная энциклопедия. Как обогатились наши представления о писателях-декабристах. Какое невиданное богатство заключено в шести томах, включающих новые материалы о Герцене и об Огареве. Сошлюсь на страстного почитателя «Литнаследства» Корнея Ивановича Чуковского, который пишет, что в каждом из этих томов такая атмосфера пытливости, досконального знания, о какой не могли и мечтать прежние публикации этого рода... «Тома, посвященные Герцену и Огареву,— продолжает К. И. Чуковский,— опровергли столько неверных суждений о них, уточнили столько фактов и дат, исправили столько ошибок, накопившихся в прежних исследованиях, что теперь, после выхода этих томов, многие прежние работы об Огареве и Герцене сразу стали казаться дилетантскими, недостоверными, шаткими».

Но ведь и раньше, до «Литературного наследства», тоже были издания, в которых публиковались ценнейшие материалы по истории русской культуры и общественной мысли,— «Русский архив», «Русская старина». Разве не выполняли они в свое время роль «Литнаследства»?

Не будем хулить ни «Русский архив», ни «Русскую старину», ни другие подобные им издания. Они свое дело делали. Но можно ли сравнить их с «Литературным наследством»!

В тоненьких книжечках этих ежемесячных журналов материалы печатались без системы, без плана, без научного аппарата, без серьезной проверки и представляли собою, по сути, журнальную смесь, рассчитанную на вкусы подписчиков. Печаталось то, что было у редактора под рукой. Со временем эти дробные публикации затеривались на страницах самих этих журналов. Даже «Звенья» — сборники, выходившие уже в наше, советское время,— полностью зависели от самотека. И сколько же начиналось за эти полвека «наследств», «ежегодников», «временников» и просто сборников публикаций и литературных исследований, про которые уже теперь и не помнит никто. А «Литературное наследство» живет и поднимает один за другим целые пласты истории нашей литературы.

В чем же источник его силы и долголетия?

В том, что это издание *строго научное,* в основу кото-

рого положен тщательно продуманный, четко разработанный *план*.

Что, трудясь над очередным томом, редакция исподволь готовит не менее десяти будущих номеров. И таким образом работа над каждым номером ведется в продолжение многих лет. Это — второе, что составляет отличительную черту нашего замечательного издания.

Третье: «Литературное наследство» печатает не случайные материалы, лежащие под рукой, а ведет планомерную, систематическую работу по выявлению неведомых архивных богатств. И черпает их не из одного какого-либо архивохранилища, а изо всех архивов страны. Это — всесоюзный научный орган. И это — третья отличительная особенность «Литературного наследства».

Кроме того, редакция никогда не рассчитывает на публикацию готовых исследований, а сама организует работу над очередной темой. Сама выявляет материал. Сама подвергает его научной проверке. Сама формирует авторский коллектив и предлагает ученым помощь в работе. «Очень интересно отметить,— говорит академик М. Алексеев,— что эта новая форма организации работы свойственна только редакции «Литературного наследства». Ни одна редакция до сих пор не вмешивалась активно в творческий процесс отдельных ученых так, как это имеет место здесь. Редакция не только заказывает статьи, но оказывает широкую помощь автору, выписывает материалы, находит материалы, дает материалы, наталкивает на новые, чрезвычайно содержательные источники... Коллектив авторов в известной мере находится на положении ученичества у редакции... И если бы не эта помощь редакции, то многие статьи, которые даны в «Литературном наследстве», не получили бы их нынешней формы».

Начиная с четвертого номера, редакция положила в основу своей работы монографический принцип. Из восьмидесяти трех томов только семь представляют собой номера смешанные. Остальные посвящены одному писателю или одной теме.

Прежней литературоведческой практике, когда в ведомственных изданиях публиковались одно письмо, один документ, одна запись, «Литературное наследство» противопоставило новую практику — укрупнение публикаций. Письма, хранящиеся в разных архивах, сводятся в одну содержательную публикацию, а это позволяет сделать су-

щественные обобщения и выводы. Даже в том случае, если публикаторов много — редакция сводит дробные материалы в одну коллективную работу. Так, скажем, в номере пятьдесят втором обнародованы выдержки — по нескольку фраз из дневников и писем ста современников Пушкина и пояснения... пятнадцати комментаторов.

Структуру томов определяет стремление существенно исчерпать новые материалы и подвести итог сделанному. Прежде всего тут публикации новых текстов. И каждой предшествует осмысляющая ее вступительная статья, а завершают — обстоятельные подробные комментарии. Тут проблемные работы. Исследования. Итоговые статьи. Обзоры. Информации. Описания. Библиографии. Указатели. Особо следует сказать о литературном стиле статей «Литнаследства». Никаких упрощений и оживлений. И в то же время изложение деловое, ясное, строгое, чистый литературный стиль. Статьи обтекаемые, сухие, многословные, рыхлые редакция не печатает. Если же материал заслуживает особого отношения, то и тут она помогает автору довести его труд до кондиции. Мне кажется, что в заметной эволюции стиля нынешних историко-литературных трудов важную роль играет «Литнаследство». Не говорю уже об иллюстративных богатствах, об оформлении — обо всем в целом, что позволило профессору В. Десницкому увидеть в «Литературном наследстве» достижение не только историко-литературного, историко-культурного, но и культурно-эстетического порядка.

В течение сорока лет редакции помогает неисчислимый актив — архивисты, библиотекари, библиографы, музейные работники, коллекционеры, художники. Они дают ценные справки, способствуют розыскам, не говоря уж об исследователях-литературоведах, которые привлекаются в качестве консультантов и принимают непосредственное участие в работе над томом. Так номер, посвященный литературе XVIII века, несколько раз прошел через руки Г. Гуковского, который был вдохновителем этой работы. Ближайшее участие в работе над пушкинским томом принимал В. Томашевский; Б. Козьмин и Я. Черняк «курировали» герценовские тома. В подготовке томов «Декабристы-литераторы» большую помощь редакции оказывал М. Азадовский. Вообще неверно было бы приписать высокий авторитет «Литературного наследства» одному лишь рабочему составу редакции, хотя роль его огромна, неоспо-

рима. Тем не менее «Литературное наследство» — плод коллективной научной мысли, создание редакции и лучших сил советского литературоведения и советской исторической науки.

В это издание внесли свой вклад Ю. Тынянов и Е. Тарле, К. Чуковский и М. Нечкина, В. Жирмунский и В. Виноградов, М. Цявловский и М. Алексеев, В. Асмус и Д. Благой, В. Стасова и Я. Барсков, Б. Эйхенбаум и Н. Гудзий, С. Бонди и Н. Бродский, В. Орлов и Н. Мордовченко, Т. Цявловская и Л. Модзалевский, И. Ямпольский и Б. Бухштаб, И. Боричевский и П. Берков, Ю. Оксман и В. Гиппиус, Ф. Шиллер и А. Цейтлин, С. Рейсер и Э. Зайденшнур, П. Эттингер. Должны быть упомянуты здесь профессор Андре Мазон и профессор Анри Гранжар. Вообще для того, чтобы назвать всех, чьи работы печатало «Литературное наследство», пришлось бы назвать более восьмисот пятидесяти имен.

Долгие годы главным редактором «Литературного наследства» был П. Лебедев-Полянский, позже В. Виноградов, И. Анисимов.

Тридцать шесть лет — с 1934 года и по сей день с редакцией связан академик М. Храпченко. До 1960 года он подписывал тома как заместитель главного редактора, сейчас он — член редколлегии.

За годы своего существования «Литературное наследство» выходило и под маркой Журнально-газетного объединения, и под маркой Пушкинского дома и Отделения литературы и языка АН СССР. Последние десять лет — это орган Института мировой литературы имени А. М. Горького. И надо сказать, что с переходом в ведение этого института «Литературное наследство» расширило сферу своих изысканий и публикаций, включив в круг своих интересов классику советской литературы. В этом «Литнаследству» помогал институт в лице Сектора советской литературы, Рукописного отдела и Архива А. М. Горького.

В настоящее время главным редактором издания является В. Щербина.

Но под чьей бы маркой «Литературное наследство» ни выходило, ни одно из этих научных учреждений не сочло возможным вносить изменения в характер издания, в его ориентацию на все архивы страны, в его многообразные зарубежные связи. Благодаря этому «Литературное наследство» смогло, скажем, неизвестные материалы из

Нью-Йоркского архива связать с полученными из частного собрания в Женеве и, дополнив теми, что хранятся у нас, выпустить переписку Горького с Леонидом Андреевым. Без разысканий по всему миру нельзя было бы издать ни материалы из парижского архива Тургенева, ни пражский архив Герцена — Огарева, ни тома франко-русские, ни те, в которых раскрывается тема «Лев Толстой и зарубежный мир»,— именно те исследования и те материалы, которые демонстрируют авторитет русской литературы за рубежом и ее влияние на литературу всемирную. Не только полученное редакцией из Парижа, Женевы, Нью-Йорка, Белграда и Праги обогатило нашу науку, но и добытое ею из Амстердама, Лондона и Милана, Рима, Веймара, Софии, Кракова, Будапешта. В настоящее время готовятся, например, два тома «Яснополянские дневники доктора Маковицкого». В работе участвуют Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве и Словацкая академия наук в Братиславе.

Сейчас уже нельзя представить себе собрание сочинений Герцена или Щедрина, Льва Толстого, Тургенева, Некрасова, Чехова, Белинского, Чаадаева, Достоевского, Горького без новых текстов, без писем, дневников, записных книжек, которые достоянием читателей сделало наше замечательное «Литературное наследство».

Казалось бы, можно привыкнуть... Нет, каждый новый том поражает обилием и новизной материала, широкими научными перспективами, обоснованностью каждого утверждения, каждой страницы.

Хотя «Литературное наследство» и смолоду было зрелым, оно продолжает расти, а вместе с ним росли его замечательные редакторы.

Инициатор издания Илья Самойлович Зильберштейн, так блестяще проявивший свой организационный талант еще в начале 30-х годов и все четыре десятилетия являющийся «центром энергетического излучения» редакции, ничего не утратил от своего молодого энтузиазма, но стал за это время замечательным советским ученым. Это не только талантливый историк литературы, но и крупный искусствовед, доктор наук, автор множества превосходных трудов по истории русского изобразительного искусства, известных каждому специалисту у нас и за рубежом. Одна из его работ составила огромный том «Литнаследства» и посвящена изучению живописного творчества Николая

Бестужева, создавшего в сибирской каторге портреты всех сосланных декабристов и героических женщин, разделивших их трагическую судьбу. Эту книгу можно считать образцом «воскрешения» истории. Имя И. Зильберштейна стоит на двух томах «Художественного наследства», битком набитых новыми фактами и публикациями неизвестных работ И. Е. Репина. Кто не читал в последние годы очерки И. Зильберштейна о его парижских находках, которые он раздобыл за три с половиной месяца своего пребывания во Франции,— целые чемоданы ценнейших воспоминаний, писем, акварелей, фотографий, листовок, ненапечатанных сочинений... не перечислить всего! А сам — все такой же, неистовый в своей страсти к открытиям, к установлению исторических истин, к разоблачению ошибок, фальсификаций... В нем соединились великолепный исследователь и журналист самой высокой марки, который может достать решительно все. У него всегда множество планов. И планы осуществляются. То и дело видишь его с созданной им новой книгой «Александр Бенуа размышляет...», «Константин Коровин вспоминает...», «Литературное наследство» — новый том «Достоевский». Еще новый том: «Ленин и Луначарский». Триста пятьдесят неизданных документов! Переписка, доклады! Подлинный праздник! Новый колоссальный вклад в теорию и в историю литературы, искусства. Шире — культуры! Ни один историк, ни историк литературы, искусства, ни историк советского государства, ни биограф Ленина, Луначарского, эстетик, философ не пройдут мимо этого тома в семьсот шестьдесят шесть страниц, на котором стоит имя редакторов — И. Зильберштейна и А. Соловьева, в статье «От редакции» отмечена большая научно-исследовательская и редакторская работа, которую вела по этому тому Л. Розенблюм. Огромное достижение! И прежде всего — Зильберштейна.

Другой наш друг и товарищ, другой «литнаследник» Сергей Александрович Макашин — человек внешне менее бурного темперамента. Но прочтите хотя бы его вступление к томам «Русская культура и Франция» и в глубоких обобщениях, в энциклопедической эрудиции, даже и в сдержанном изложении вы ощутите душевный жар замечательного исследователя, талант, высокую творческую любовь к поэзии, к науке, к искусству... Главные темы его редакционных трудов в «Литературном наследстве», кро-

ме франко-русских, тома, посвященные революционным демократам, в том числе Щедрину, Некрасову, Белинскому, Герцену, Чернышевскому, а также Льву Толстому, народным песням в записях русских писателей.

Все мы ценим энергию, и знания, и заслуги этих людей, восхищаемся ими, но, к сожалению, недостаточно знаем о них самих. Между тем их труд и их жизнь — найдут со временем отражение в истории нашей литературы и нашей науки. И один эпизод мне хотелось бы рассказать.

В разгар Отечественной войны Сергей Александрович Макашин ехал из Свердловска в Москву. Брони у него не было. И комендант одной из станций предложил ему зачислить его на офицерские курсы. Не желая терять времени, торопясь на фронт, Сергей Александрович предпочел в службу вступить рядовым, был зачислен в артиллерийскую часть и отправлен в действующую армию. После того как в одном из боев эта часть потеряла орудия, Макашин попал в пехоту. В 1944 году 22 июня он написал жене, что завтра предстоит решающее сражение; если он останется жив, то припишет к этому письму еще несколько строк, если нет — письмо отправит командир части.

Несколько дней спустя в Военную комиссию Союза писателей письмо это доставлено было с припиской: «23 июня 1944 года Сергей Александрович Макашин пал в бою смертью храбрых». Я читал тогда это мужественное письмо и очень остро пережил эту потерю. Мы ничего не знали о том, что С. Макашин освобождал псковскую землю и прошел недалеко от Михайловского, что сражение, в которое вступила та пехотная часть, происходило на границе Латвии близ Саласпилса. Что в рукопашном бою Сергей Александрович был тяжело ранен осколочной гранатой в обе ноги, был подобран и оказался в плену. Не знали тогда, что его спас пленный советский доктор. Что через Гдыню группу пленных, в которую он попал, эвакуировали в фашистский тыл и дважды транспорт попадал под атаку подводных лодок и под бомбежку. И Макашин остался жив. Что потом на открытой платформе, опутанной колючей проволокой, их повезли к Берлину и тут они попали под бомбежку англо-американцев. Затем пленных доставили в интернациональный лагерь «Шталакфир Б», где французы спасли С. Макашину ноги. Что затем его перевели в лагерь для военнопленных, где он принимал участие в движении Сопротивления. Когда вра-

жеская оборона была прорвана и в прорыв вошла конница Белова, пленные бежали в расположение 5-й Армии. И, зачисленный в противотанковую артиллерию, Макашин стал командиром орудия, участвовал в штурме Дрездена, награжден орденом Красной Звезды и брошен на освобождение Праги. В Чехословакии С. Макашин умудрился обнаружить архив писателя-эмигранта Василия Немировича-Данченко, а в нем — ценнейшую рукопись воспоминаний о Некрасове. Ее текст вы найдете в одном из томов «Литнаследства».

Вернувшись в конце 1945 года домой, Макашин пришел в редакцию, сел за свой стол, а месяц спустя защитил диссертацию по Щедрину и был удостоен за эту работу Государственной премии. Меня поражает не только судьба Макашина, его мужество, но и скромность его. Потому что об этом никто до сих пор не имел ни малейшего представления.

Корней Иванович Чуковский, любивший «Литературное наследство» особой, нежной любовью, писал, что этим двум энтузиастам, прекрасно дополняющим друг друга, обязаны своим существованием все тома «Литературного наследства», что все они прошли «через талантливые и энергичные руки» Ильи Зильберштейна, бессменного их редактора. И называет имя Сергея Макашина — «другого ученого редактора, человека разнообразной и большой энергии, необыкновенного труженика, автора глубокомысленных книг и статей»...

С величайшей самоотверженностью делается это издание. И такой вот любви, любви к поэзии и к науке, энтузиазму, тонкому вкусу, вдохновенному подвижническому труду должны учиться молодые исследователи у И. Зильберштейна, у С. Макашина, у коллектива редакции «Литнаследства». Высокой похвалы заслуживает труд этих людей!

Наталья Давыдовна Эфрос. Работает в продолжение тридцати шести лет. На нее возлагается и собирание материалов, и переводы иноязычных текстов. И во всех томах — иллюстративная часть. И какой вкус, знания какие, труд! Методически, изо дня в день, из года в год поднимает архивную новь Леонид Рафаилович Ланский, выросший в подлинного ученого, специализировавшийся на изучении Герцена. Тот, кто познакомился с записными книжками Достоевского, расшифрованными Лией Михайловной Розенблюм, кто прочел ее комментарии — восхи-

щаются ее блестящей работой. Алексей Николаевич Дубовиков — специалист по Тургеневу и по Чехову, Николай Алексеевич Трифонов — знаток Луначарского. И оба — специалисты по советской литературе. И оба вносят свою долю в достижения «Литературного наследства».

Ученый особого типа трудится в этой редакции — ученый-изыскатель, первопроходец, организатор, исследователь.

Я рассказываю сегодня о «Литературном наследстве» не потому только, что я, как и многие тысячи,— благодарный читатель почти ста бесценных томов. Нет, я решился занять внимание читателей потому, что в 1933—1934 годах был сотрудником «Литнаследства» и с тех пор состою с редакцией в самых дружеских отношениях.

Началось с того, что в январе 1933 года И. Зильберштейн приехал в Ленинград, позвонил мне,— в ту пору мы ни разу друг друга не видели! — вызвал меня в Пушкинский дом и заявил, что я должен стать в Ленинграде постоянным представителем «Литнаследства». Говорил он с такой настойчивостью, так нетерпеливо и властно, что представлять в Ленинграде редакцию должен именно я, и столько раз раскрывался при этом сигнальный гётевский том, и показывались цветные вклейки и суперобложка, и упоминалась марка Гознака, и отношение Кольцова к изданию, и отношение ко мне Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова и К. Чуковского, что это они рекомендовали меня и отказа моего не поймут, так часто повторял: «Верьте мне», «Бесспорно, вы сделаете большую ошибку, если откажетесь», «Клянусь, вы будете благодарить нас!» — что я был совершенно ошеломлен и колебался недолго.

После этого он целых два года звонил мне из Москвы в семь утра и кричал:

— Вы еще спите! Сейчас же отправляйтесь на вокзал и возьмите у проводницы пакет с фотографиями. Не уроните их под вагон! Сегодня же выясните в Пушкинском доме, кто на них снят, и высылайте обратно. Скопируйте в Русском музее двадцать два письма скульптора Рамазанова. Если завтра мы не получим от вас материалы Барскова, сообщение Беркова и книгу от Гиппиуса, которую вы должны были взять у него в понедельник,— считайте, что вы у нас не работаете. На прошлой неделе мы вами гордились. Но вот уже пятый день вы ходите по гостям. Ответьте Макашину. Иван Сергеевский плачет кровавыми

слезами: где рукопись Томашевского? На прошлой неделе вы помогли нам украсить статью Орлова подлинными жемчужинами. И все же не дослали двух иллюстраций. Вы делаете все, чтоб вывести нас из терпения. Поезжайте к вдове Кустодиева. Это обаятельная женщина. Вырвите у нее две картины, которые она разрешила нам переснять. И сегодня же отвезите обратно. Вы, наверное, плохо кормите ваших старух, которые копируют для нас французские тексты в Публичке? Достаньте для них пропуск в столовую Публичной библиотеки, чтобы они не тратили полдня на обед. Наверно, с утра они спят, вроде вас?! Пойдите, оденьтесь.

И на мое возражение, что я стою у телефона одетый, кричал:

— Что вы мне говорите! Я же вижу, что вы стоите у телефона в валенках и в пальто!

Это было ужасно. Мне казалось — он видит меня из Москвы.

«Литературное наследство» было для меня большой школой. Школой поиска и организационной работы. Первые мои встречи с людьми, у которых хранятся стихи и письма великих поэтов, и тетради воспоминаний, и портреты неизвестных военных,— все это началось с «Литнаследства». И сегодня я хочу поблагодарить моих дорогих друзей, моих добрых учителей за эту науку.

«Такого литературоведения, как у нас, нет нигде в мире»,— говорил Александр Александрович Фадеев, познакомившись с «Литературным наследством». И действительно: оно принадлежит к высочайшим достижениям советской науки. Новаторский характер его уже признан. Возникнуть такое издание могло только в наших условиях. Только у нас возможно планомерное обследование всех архивов страны и частных собраний. И многолетний график работ. Только нашей, советской науке присуще сочетание документальной точности и широты обобщений, исторической конкретности и теоретической обоснованности. Тут отразились особенности нашего общественного устройства, нашей идеологии, нашей культуры, в которой классическое наследие занимает такое важное, такое высокое место и участвует в созидании будущего. Это издание давно уже знакомо всему ученому миру. И во всем мире завоевало непререкаемый научный авторитет.

1972

Всемирная библиотека

Начну издалека.

1925 год. Я, семнадцатилетний студент первого курса Ленинградского университета, избравший своей специальностью русскую литературу, стою возле дверей романо-германского кабинета и, прижимая к стене толстую общую тетрадь, переписываю перечень сочинений немецких, французских, английских, итальянских, испанских, норвежских писателей, которые следует прочесть за четыре года «факультативно». Многих великих — Шекспира, Сервантеса, Гёте, Шиллера, Байрона — я прочел, еще будучи в школе. Но тут имена, которых я даже не слышал, и список кажется бесконечным. Я тихонько произношу имена и заглавия и кручу головой.

Рядом со мной серьезный, очень воспитанный (старше меня), очень любезный студент-казах (мы с ним еще незнакомы, но кланяемся), в фуражке с синим околышем (мы такие не носим), занятый тем же, чем я, слушая мои вздохи, говорит (с легкой улыбкой):

— А между тем без них представить себе всемирную литературу нельзя. Это классика. Каждый век создает свои классические творения, каждая эпоха оставляет в истории литературы свой след. За нашу жизнь возникнут новые книги, достойные стоять рядом с этими. Читать придется всю жизнь... Рекомендательные списки по русской литературе вы уже видели?

Он записывает только пять-шесть имен, прощается и уходит. Значит, остальные книги читал?!

— Кто это — сейчас отошел? — спрашиваю я студента Диму Обломиевского.

— Мухтар Ауэзов. Из Алма-Аты. Писатель. Очень образованный человек.

— Когда это он успел?

— Он старше нас лет на десять. И очень серьезный.

Я вспомнил про эту встречу в связи с завершением двухсоттомной «Библиотеки всемирной литературы», потому что два тома из двухсот занимает эпопея великого казахского писателя Мухтара Омархановича Ауэзова «Путь Абая», ставшая классикой.

1

Закончен исполинский труд. Вышли в свет двести объемистых томов, вместившие литературы 81 страны. Это тысячелетия человеческой мысли, тысячелетия духовной жизни человечества, история художественного познания мира. Это творения самых выдающихся писателей всех времен — от заклинаний, дошедших до нас в клинописных знаках, до сочинений, созданных в середине XX века, творения, без которых жизнь человечества была бы неполной. Нет! Не то слово! Без которых мы не можем представить себе жизнь человечества. Произведен самый строгий, порой беспощадный отбор. И все же тут 3235 поэтов, прозаиков, драматургов, около 26 тысяч произведений.

Такого издания нигде в мире нет и не было от начала книгопечатания. Появиться оно могло только в нашей стране. Вскоре после Октябрьской революции А. М. Горький изложил В. И. Ленину свой план издания для народа классиков зарубежной литературы. Ленин поддержал эту великую инициативу, и в 1918 году в голодном Петрограде было создано издательство «Всемирная литература», выпустившее множество томов — основной и малой, карманной, серий в переводах с немецкого, французского, английского, испанского, с восточных языков... План Горького был выполнен только отчасти: трудно было с бумагой, стояли типографии, не хватало квалифицированных переводчиков. С тех пор возникла замечательная советская переводческая школа, появились переводы, конгениальные великим оригиналам, ставшие событием в русской литературе. Я говорю о таких мастерах, как Н. Тихо-

нов, Б. Пастернак, С. Маршак, Н. Заболоцкий, А. Ахматова, К. Чуковский, С. Шервинский, А. Межиров, А. Тарковский, В. Левик, Б. Ахмадулина... С тех пор сочинения зарубежных авторов выходили в наших издательствах сотни раз. Но только в 1967 году явилась возможность приступить к изданию двухсоттомной «Библиотеки всемирной литературы», которое завершено в 1977 году, к 60-летию Октября.

Обо всем не расскажешь. Когда-нибудь об этом издании будут написаны обширные монографии. А пока скажу лишь о том, на что обратил внимание и что следует, как мне кажется, отметить прежде всего.

Полноту. Полноту представления о литературах во времени и пространстве. Древность. Современность. Глобальность. Недаром эмблема издания — крылатый конь поэзии, парящий над земным шаром. 64 тома заняли литературы Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков. Почти столько же — 63 тома — отданы XIX столетию, 73 тома отведены XX веку. Тут советская литература, литературы социалистических стран, зарубежного мира, литературы развивающихся стран Африки, Азии, Латинской Америки.

Многие сотни специалистов принимали участие в этом беспримерном издании, включающем лучшие создания художественной литературы,— переводчики, исследователи-литературоведы, писатели, комментаторы, редакторы, художники, оформители, организаторы всего этого дела, полиграфисты, бумажники, целые коллективы: Институт мировой литературы имени А. М. Горького, издательство «Художественная литература», 1-я Образцовая типография, типография «Красный пролетарий». Тут велик вклад покойных ученых И. И. Анисимова и Б. Л. Сучкова. Очень много сделали для издания академик М. Б. Храпченко и главный редактор издательства А. И. Пузиков, член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой, заведующий редакцией Б. Т. Грибанов. В Госкомиздате СССР координировал всю эту работу один из инициаторов создания Всемирной библиотеки — И. Чхиквишвили...

Не только полнота отличает это издание: оно заключает в себе много нового. Тут есть книги, которых прежде никто не читал и читать не мог, потому что не было до сих пор таких антологий, как «Поэзия и проза Древнего Востока», «Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи,

Вьетнама, Японии», «Арабская поэзия средних веков», не было антологий, посвященных классической прозе Дальнего Востока, песням южных славян, европейским поэтам Возрождения и европейской новелле Возрождения. Это совершенно новый вклад в нашу культуру. А памятники хеттской литературы, которые расшифровал и перевел В. В. Иванов, вообще публикуются здесь впервые и представляют собой открытие мирового порядка.

Впервые видим мы тома «Героический эпос народов СССР», в которых собраны вместе русские былины про Вольгу и Микулу Селяниновича, про Илью Муромца, Василия Буслаевича, богатого новгородского гостя Садко. Тут грузинский эпос «Амираниани», азербайджанское сказание про Кёр-оглы, армянское — про Давида Сасунского, эстонский «Калевипоэг», узбекский «Алпамыш», калмыцкий «Джангар», и осетинские сказания о нартах, и адыгские сказания о нартах, и их балкаро-карачаевский вариант, эпос башкирский, бурятский, якутский. Такого фольклорного свода тоже еще не бывало.

Иные тома включают произведения, которые до сих пор известны были только узкому кругу читателей. Так, «Изборник» (том 15-й) представляет собою свод самых ранних памятников древнерусской письменности. Помимо прославленных «Слова о полку Игореве» и «Жития протопопа Аввакума», в него входят куда менее известные «Киево-Печерский патерик», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Савве Грудцыне». Этому сборнику предпослана блистательная статья академика Д. С. Лихачева. Берешь осторожно этот полный красивый том, на суперобложке которого красочное воспроизведение «Невского сражения» из лаптевского летописного свода, и открывается начало тысячелетней истории русской литературы.

Не было раньше такого изборника.

2

Много нового и прекрасного внесли в эту удивительную библиотеку крупнейшие советские переводчики. Прежде всего назову Н. М. Любимова, которому принадлежат перевод «Дон-Кихота», полный перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля» и новый перевод «Декамерона» Боккаччо.

Со средневековым германским эпосом «Парцифаль», с поэзией вагантов, с поэтами немецкого барокко читателя впервые знакомит Л. Гинзбург. Арк. Штейнберг полностью перевел поэму Д. Мильтона «Потерянный рай», а Ю. Корнеев — доселе неизвестные нашему читателю стихотворения этого великого англичанина. В. Марковой принадлежат переводы японских классических драм и стихи поэта японского средневековья Басё... Более ста переводчиков приняли участие в этом издании.

Предисловия к каждому из томов, изданные вместе, могли бы сами составить многотомный труд по истории мировой литературы. Специалисты и большинство читателей, успевших познакомиться с этими книгами, отмечают великолепные вступительные статьи А. Аникста к сочинениям Шекспира и Мильтона и И. Абашидзе к поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Но нельзя не сказать похвального слова и о вступительных статьях Ю. Виппера и Н. Томашевского. Если собрать вместе комментарии ко всей «Библиотеке», то они составят не меньше десяти толстых томов. Кроме советских писателей и ученых, в работе над этим изданием приняли участие литературоведы Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Англии, Франции,— замечательный труд, в котором научная строгость сочетается с абсолютной доступностью.

Высокой похвалы заслуживает общее оформление издания, которое принадлежит художнику Д. Бисти,— цветные коленкоровые переплеты легких тонов, отвечающие характеру заключенных в них сочинений, и суперобложки, на которых радуют глаз воспроизведения знаменитых полотен во всей роскоши красок, нежные акварели миниатюр, фрески, рисунки, гравюры, статуи, маски, орнаменты, гобелены,— высокий вкус художественного редактора Л. Ф. Калитовской.

Множество отличных иллюстраций, и прежде известных и новых, выполненных для БВЛ. Превосходны иллюстрации Ореста Верейского к «Анне Карениной». Я бы сказал: они свободны от иллюстративности в обычном смысле этого слова и в то же время точно отвечают тексту Толстого. Чем внимательнее смотришь на них, тем больше вызывают они наше согласие с художником. Они поэтичны. Вообще вклад Верейского в это издание очень высок — он иллюстрировал Бунина и Твардовского, Фадеева, Лакснесса. Сочинения Марка Твена и Фолкнера

сопровождают замечательные рисунки Виталия Горяева. Как всегда лаконичные, как всегда проникающие в глубины текста. Великолепен Андрей Гончаров в рисунках к трилогии Сухово-Кобылина, Д. Бисти — в иллюстрациях к сочинениям японца Акутагавы Рюноскэ, к пьесам Грибоедова и Островского. И ранее созданные, уже известные нам работы Д. Шмаринова, Н. Кузьмина, Кукрыниксов, Дейнеки... Более ста художников иллюстрировали книги «Библиотеки всемирной литературы».

3

Однако новыми сочинениями, новыми переводами, новыми иллюстрациями дело не ограничивается. Самое новое — это факт создания такой серии, которая лет двадцать назад многим казалась неосуществимой, тем более в столь короткий — десятилстний — срок.

Чем чаще обращаешься к этим двумстам томам, тем больше поражает великое богатство литературы и ее бесконечное разнообразие. А более всего тому поражаешься, что во всем — в краткой строке или в великой эпопее, исторгая слезы или вызывая смех, говоря о внутреннем мире поэта или описывая судьбы целых народов, она едина в стремлении своем и в умении своем создать бессмертный образ человека. Человек умирает, а образ человека живет. Правда, это можно сказать и про живописное полотно, и про статую, и про сонату. Но повелевает в искусстве слово. Только слово дарит человеку способность объясниться с другим. А слово поэта! Оно соединяет людей в их любви к прекрасному, и прежде всего к человеку. Для того, кто станет впервые читать эти книги, они не только раскроют перед ним величайшие ценности, запечатленные в слове. Они станут и путеводителями его в великом океане других искусств. Ведь литературе обязаны жизнью своей и драматический театр, и музыкальный, и сюжет хореографического спектакля, и песня, и киноискусство, и телеискусство. Будучи и сама великим духовным сокровищем, литература открывает нам путь к овладению всеми сокровищами культуры. С наибольшим успехом будет выполнять эту миссию «Библиотека всемирной литературы». И в этом особое, еще более высокое значение замечательного издания.

Более 60 миллионов экземпляров книг БВЛ поступили в библиотеки страны, украсили личные собрания читателей. Можно представить, сколько человек прочтет их! Уверен, что через некоторое время понадобится новое издание, но не просто повторение нынешнего, а другое, дополненное, в которое войдет наш сегодняшний день. Классика — понятие движущееся. Когда в 1925 году в университетском коридоре я познакомился с Мухтаром Ауэзовым, существовали великие книги Горького, гениальная поэма Блока «Двенадцать»; новая эпоха уже назвала имена Маяковского и Есенина, но, скажем, Фадеева тогда еще не было, не было и романов Шолохова, Алексей Толстой написал еще только начало «Хождения по мукам», Федин выпустил первую свою книгу, только что заявил о себе Леонов, никто еще не слыхал имени Александра Твардовского. Не было главных книг самого Ауэзова. Теперь сочинения корифеев советской литературы плюс два тома советской поэзии, плюс два тома советского рассказа — живое доказательство того, как много нового возникло и успело уже стать классикой и как расширилось представление о мировой литературе, когда в нее вошли книги, рассказывающие об Октябре, о жизни и людях нашей страны, какое важное место заняли они среди литератур мира. Сотни имен, которых в 1925 году никто еще не слыхал...

Может возникнуть вопрос: как согласуются между собой сочинения Хемингуэя и стихи Василия Казина? Микула Селянинович и Марк Твен, Лесков и Бернард Шоу? Мария Пуйманова и Андрей Вознесенский? Отлично! В «Библиотеке всемирной литературы» они воспринимаются как единое целое, как движение от одной эпохи к другой через века и страны, как воплощение высших духовных сил народов, населяющих землю, их стремление к добру и миру.

1978

Перечень иллюстраций

Содержание

Ираклий Луарсабович Андроников

Собрание сочинений
ТОМ 1

Редактор Т. Халилова. Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Л. Ковнацкая. Корректоры Г. Ганапольская и Н. Гришина.

ИБ № 1613. Сдано в набор 14.01.80. Подписано к печати 26.09.80. А 09408. Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 26,04+1 вкл.+альбом=26,512 усл. печ. л. 26,424+1 вкл.+альбом=26,865 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № Шб-18. Заказ № 387. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, Красная, 23.